

9/93



ДРУЖБА НАРОДОВ

Шота Иаташили

Больной город

ПОВЕСТЬ. ТБИЛИСИ В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

Славомир Мрожек

Рассказы

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ НА СТРАНИЦАХ "ДН"

Вячеслав Чорновил

Грехопадение после путча

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАРОДНОГО РУХА УКРАИНЫ

Александр Оболонский

На краю пропасти

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ТРАГЕДИЯ
РУССКОЙ ИСТОРИИ (XIX ВЕК)





ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ПРОЗА

А.И.КУПРИН. Купол святого Исаакия Далматского.

Произведение, некогда вычеркнутое из творчества писателя-«невозвращенца».

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ. Расплата.

Окончание эпопеи, начатой знаменитыми «Детьми Арбата».

АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ. Седьмое ноября. Анекдоты и факты.

Историческое повествование об эпохе Павла I. Автор не несет ответственности за могущие возникнуть у читателя ассоциации и параллели.

ЖАН АНУЙ И ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Вариации на тему

«Красивая жизнь».

ЕЖИ ЖУРЕК. Казанова.

Историко-авантюрный роман. Приключения великого любовника в Польше и России. С польского. Перевод К.Старосельской.

Э.ВИЗЕЛЬ, лауреат Нобелевской премии. Город удачи. Роман.

С французского. Перевод О.Боровой.

ГЕНРИ МИЛЛЕР. Из прозы последних лет («Тихие дни в Клиши», «Sexus»). С английского.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ. Рассказы.

ДАВИД САМОЙЛОВ. Из книги «Памятные записки».

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ. Vixi (Прожито). Роман-исповедь.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. Голоса Чернобыля. Документальное повествование.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН. Радиостанция «Тамара». Повесть.

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Бабья сторона. Повесть.

В разделе ПОЭЗИЯ вы прочитаете:

Одного из крупнейших писателей Германии XX века, поэта-экспрессиониста **ГОТФРИДА БЕННА** (1886—1956) в новых переводах Сергея Морейно.

Подборку стихов **ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ**. В одухотворенно возвышенной интонации ее стиха, в полуфантастической ауре его есть обаяние «нежного внимания», неподдельная красота добра.

Впервые в журнале — лирика якутского поэта **АВГУСТА МУРАНА**. Это поэзия романтическая, экспрессивная и глубокая.

Стихи **ВЛАДИМИРА СТРОЧКОВА** необычны и смысловыми сдвигами в строю фраз, и неожиданно эффектными сращиваниями слов — семантических гибридов.

Прочитаете вы и подборки стихов латышской поэтессы **МАРЫ ЗАЛИТЕ**, армянки **СИЛЬВЫ КАПУТИКЯН**, поляка **ЧЕСЛАВА МИЛОША**; русских поэтов: **ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА**, **АЛЕКСАНДРА ОЖИГАНОВА**, **АНДРЕЯ СУЗДАЛЬЦЕВА** и многих других.

ДРУЖБА НАРОДОВ



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

9/93

ОСНОВАН В МАРТЕ 1939 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

БРОНИСЛАВ ХОЛОПОВ	Самостояние и общежитие. Взгляд на интеллигенцию из домашней библиотеки	3
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ		
ШОТА ИАТАШВИЛИ	Больной город. Повесть. С грузинского. Перевод и вступитель- ное слово А. Эбаноидзе	13
СЛАВОМИР МРОЖЕК	Рассказы. С польского. Как я сражался. Перевод А. Бази- левского. Тот, который падает. Перевод В. Кли- мовского. Последнее слово. Перевод Е. Лысенко	43
ГАЛИНА НЕРПИНА	Пенелопа. Стихи	62
АСАР ЭППЕЛЬ	Из книги рассказов «Травяная улица»	66
АНАТОЛИЙ НАЙМАН	...Торжествующий свет бытия. Стихи	88
ГАЙТО ГАЗДАНОВ	Полет. Роман. Окончание	95
ЛАСЛО ДИЕНЕШ	«Рождению мира предшествует любовь...» Заметки о романе «Полет»	131
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ		
БОРИС СЛУЦКИЙ	Запеваает строчка одна... Публикация и вступительное слово Ю. Болдырева	91
ПУБЛИЦИСТИКА		
АЛЕКСАНДР ОБОЛОНСКИЙ	На краю пропасти. Русская интеллигенция и трагедия русской истории (XIX век)	140
	Грехопадение после путча. С председателем Народного руха Украины В. Чорновилом беседует корреспондент «ДН» Л. Тархова	164



В. И. ВЕРНАДСКИЙ	Дневник 1940 года	173
	Публикация и комментарий И. И. Мочалова	
НАЦИЯ И МИР		
АНДРЕЙ НОВИКОВ	Перспективы русского национализма	195
КРИТИКА		
	«Мертвым не больно» под арестом. Архивные материалы о судьбе повести В. Быкова. Публикация Г. Мещерякова	204
БРЕМЯ БЫТИЯ		
АЛЕКСАНДР СТАНЮТА	Мираж (Стефания). Вступительное слово Я. Брыля	211
ЭХО		
ЛЕВ АННИНСКИЙ	Нация или не нация?	237
SUMMARY		240

Правовую поддержку журнала «Дружба народов» осуществляет Юридическое бюро «Хромцов и партнер».

Тел./факс (095) 161-7455

Транспортные услуги журналу «Дружба народов» оказывает Таможенно-экспедиционный комплекс «Ространс».

Генеральный директор
Александр Федорович Ионов

Тел. (095) 971-0901

Факс (095) 971-1245

Telex: 411450 MOST SU

Главный редактор
Вячеслав ПЬЕЦУХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, заместитель главного редактора Евгений БЕНЬЯШ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Самостояние и общежитие

ВЗГЛЯД НА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ ИЗ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ

1

Если начнешь размышлять о судьбах русской интеллигенции — то хочешь того или нет, — а всегда думаешь и о собственной судьбе. Ведь так или иначе, а принадлежишь-то все-таки к этому сословию. Гадаешь, как сложится для тебя конец века, и прикидываешь — что произойдет с такими, как ты. С людьми, именуемыми интеллигентами.

Предаваясь размышлениям такого рода, я оглядывал полки домашнего собрания книг. Несколько тысяч томов, увы, не каталогизированных и расставленных по весьма несовершенной системе, журналы, папки с различными вырезками из газет... Немало во всем этом и сочинений о судьбах интеллигенции. А что, осенило меня, если статью об интеллигенции на некоторых из этих сочинений и построить? Взгляд на интеллигенцию из домашней библиотеки — вот границы темы.

Сказано — сделано. Рассматривая свои книжные полки в таком ракурсе, я прежде всего остановился на четырехтомном собрании сочинений Юрия Валентиновича Трифонова. Двенадцать лет уже нет с нами писателя, но старые «дружбинцы» всегда его помнят. Новомирец Трифонов после того, как партийная власть сломала его журнал, возглавлявшийся Твардовским, пришел к нам, в «ДН», к Сергею Баруздину. Все трифоновские последние крупные вещи — повесть «Дом на набережной», романы «Старик», «Время и место» печатались у нас. Даже после своей кончины в 1981 году Юрий Валентинович не исчез со страниц журнала, хотя — парадокс! — его неоконченный роман, которым мы открыли 1987 год, назывался «Исчезновение».

«ДН» в меру сил пыталась продолжать традиции «Нового мира», и Трифонов понимал это. Его сочинения журнал с трудом пробивал через цензуру. Между тем идеологический мороз крепчал и крепчал, стычки с цензурой могли перерасти для «ДН» в принудительную перестройку свер-

ху. Поэтому некоторые члены редколлегии начали сомневаться: печатать ли «Время и место»? Не слишком ли мрачен роман, вот даже герой, писатель Антипов, в котором угадывалось многое от автора, умирает в конце повествования.

Мы с Трифоновым не состояли в коротких отношениях, хотя были знакомы к тому времени более десяти лет. И всё же тут, когда стали сгущаться тучи над публикацией «Времени и места», он предложил мне и моему другу Александру Орлову, редактору отдела прозы, умершему чуть позже Трифонова в том же 81-м году, поговорить о судьбе романа. Знал, что мы-то принадлежим к его сторонникам. Об этом разговоре с писателем я однажды писал («ДН» № 5. 1991), повторяться не стану. Добавлю лишь к написанному ранее, что Юрий Валентинович, человек вообще не слишком разговорчивый, на той встрече за столом все-таки разошелся. В какой-то связи вспоминал и о правительственном «доме на набережной», где жил в детстве с отцом и матерью, о людях, которых в 37-м НКВД взяло из этого дома. Среди них оказался и отец писателя, профессиональный революционер-большевик, видный комиссар времен гражданской войны.

Чтобы завершить сюжет со «Временем и местом», скажу, что на заседании редколлегии голоса «за» и «против» разделились. Все решил весомый голос главного редактора: Сергей Алексеевич Баруздин стоял за публикацию. Напрасно только Трифонов пошел на уступки: он оставил Антипова жить, а сам умер. В романе смерть была нужна, лучше в жизни бы ее не было, но тут ничего не поделаешь. Роман появился в журнале после смерти Трифонова.

Читая трифоновские произведения, в которых действовали революционеры (кроме названных, «Нетерпение», «Отблеск костра»), я предполагал, что Юрий Валентинович, как, скажем, и Булат Окуджава, человек схожей с Трифоновым судьбы, стоял за то, чтобы мы в нашей общественной

жизни возвратились к идеалам первых лет революции, к духовной чистоте народных, к Ленину, которого он — думалось — причислял к интеллигентам, вернулись к окуджавским «комиссарам в пыльных шлемах». Может, пронзительнее всего написал об этой вере в революционную юность Владимир Луговской в своей лебединой песне — книге поэм «Середина века»: «Она жива! Ты слышишь — нету в мире той силы, чтобы юность погубила. Она зовет нас: — Говорите правду, творите людям честное добро, навеки станьте под Октябрьским ветром...» Да, я предполагал, что Трифонов в это еще верит. Но вот, в начале 1981 года услышал выступление Юрия Валентиновича на вечере нашего журнала — да проходившего не где-нибудь, а в большом зале Центрального Дома Советской Армии, — и понял, что мои предположения не верны. Трифоновские оценки революционной юности изменились.

Тогда мы с Баруздиным ожидали, что на вечере писатель станет говорить о новом, готовившемся к публикации романе, но он неожиданно для нас повел речь о «Бесах» Достоевского. Говорил, что именно в этом романе Федор Михайлович проанализировал болезнь, разъедавшую самую суть русской интеллигенции, а именно бесовщину, нечаевщину. Часть русской интеллигенции, затронутая этим недугом, убеждал Трифонов, поневоле вывернула наизнанку благородные цели, которые сама провозглашала и осуществляла революционным путем. И потому рожденное революцией государство оказалось отнюдь не земным раем, а антинародной и антигуманной структурой.

Трифонов выбирал, конечно, в то время выражения более осторожные, чем те, которые я могу употребить сегодня, но смысл его высказываний был именно таким. Мы удивлялись выступлению писателя — его, так сказать, неконформизму, нам представлялось, что уж где-где, а не в Доме армии высказывать бы такие взгляды. К тому же на нашем вечере и актеры Марка Розовского разыгрывали ироничную сценку, и Лариса Голубкина пела романсы. После вечера я осторожно спросил Трифонову, зачем он знакомил со своими взглядами, не отвечающими официальной точке зрения, такую аудиторию. Юрий Валентинович выглядел неважно — был какой-то мрачный, одутловатый, а тут еще я со своим вопросом. Он буркнул в ответ что-то вроде: у нас у всех времени мало, некогда

заниматься развлекаловкой, надо говорить о том, что тебя действительно волнует.

Теперь, перелистывая четвертый том его собрания сочинений, я понимаю, как волновало его то, о чем он говорил в ЦДСА. В этом томе помещена одна из его последних статей, и она называется «Нечаев, Верховенский и другие...». Читаю ее и, кажется, снова беседую с писателем в том, теперь уже давнем, 1981 году. Трифонов в статье объясняет, почему его так задевает в наше время модель общества, построенная Достоевским в «Бесах» столет назад. Да потому, что она жгуче актуальна для нас, живущих в конце века. Вот слова Трифонова: «Через столетие писатель заглянул в наши будни: похолодание, снежные заносы, эпидемии гриппа, ограблен банк, взорвана школа, захвачены заложники, требуется выкуп в пять миллионов — в противном случае сто сорок человек будут взорваны вместе с самолетом. **Для пользы дела.** (Подчеркнуто мною.— Б. Х.) Некоторые события нынешней «террориады» почти в деталях повторяют знакомые сюжеты...»

Да, бесовщина в наши годы не знает предела, но корни ее уходят в прежние времена и очень глубоко. Не останавливаться перед применением любых средств ради пользы дела — перед террором, убийством, даже геноцидом. Русские революционеры, большевики прежде всего, реализовали эту нечаевскую заповедь в массовом масштабе, правда, не слишком оглашая то, что происходило в застенках. И нынче, как ни странно, сомкнувшие свои ряды иные националисты и коммунисты, среди которых есть люди, причисляющие себя к интеллигентам, опять грозят демократам кровавой «разборкой», готовят боевые отряды да уже и пробуют свои силы в уличных схватках. А то ли еще будет, если они получают власть! И все ведь опять ради благородных целей, для пользы народного дела.

Следом за томом Трифонова я достаю книгу Юрия Карякина «Достоевский в канун XXI века» (1989). Автор подарил мне свой труд, итог, должно быть, многолетней работы. Друг Трифонова, Карякин долгие годы болел теми же проблемами, которые в конце жизни не давали покоя Юрию Валентиновичу. В «Самообмане Раскольникова», первой части книги, Карякин пишет, что именно **самообман**, ложное сознание стало той жестокой хворью, которая поразила изрядную часть интеллигенции. Одно из самых вредоносных проявлений этой

хвори — следование убеждению, что «цель оправдывает средства». Иные русские интеллигенты осознавали свою болезнь. Карякин приводит строки письма Чернышевского, посланного им сыну из Виллюйского острога: «...люди, ученые и не-ученые, слишком часто ошибаются самым глупым и гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало или может быть, что дурные средства — средства, пригодные для достижения хорошей цели... <...> Средства должны быть таковы же, как цель».

И это Чернышевский, принадлежавший прежде к тем людям, кто звал Русь к торю!

Карякин развивает мысль о самообмане далее: «Очевидная неправота средств лишь выявляет скрытую неправоту целей... Цель и средства меняются местами, замещают (и выявляют) друг друга. *Провозглашаемая цель на деле становится лишь средством достижения цели скрытой <...>*, а средство оказывается самоцелью. Средство и есть цель в действии. Цель не оправдывает, а определяет средства».

Это относится ко всем нам, размышляющим сегодня над советским прошлым и думающим о своем будущем интеллигентам. Мы долгое время принимали (а иные и сейчас еще принимают) как благородную декларировавшуюся государством цель — построение социалистического общества. Но для ее достижения применялись дурные средства — обман, насилие, репрессии, лагеря. Эти-то средства сами и стали целью и выявили цель истинную, которую осуществляла правящая сила, коммунистическая партия: укрепление тоталитарного государства во главе с номенклатурой, безнравственным и всемогущим Новым классом.

Намерение возродить разоблачившую себя, рухнувшую идеологию — это результат самообмана или попытки обмануть других? В конце концов, неважно — то это или иное. Главное — не повторить трагедии и ошибки прошлого, не вывернуть опять цели наизнанку. Интеллигенту следует учиться на опыте истории, и едва ли может называться интеллигентом тот, кто не хочет или не умеет это делать.

Карякин в своей книге напоминает беседу Трифонова с немецким литературоведом Р. Шредером, состоявшуюся все в том же упомянутом нами 1981 году. Трифонов говорил тогда: «...самообман — это очень точное слово. Это счастливая находка Карякина. Я тоже очень горд своим названи-

ем «Нетерпение». Оно характерно для людей типа Желябова, Перовской... Слово «самообман» лишь отчасти для них характерно».

Отчасти, но все-таки характерно, а вот нетерпение, значит, характерно полностью. Для большевиков же стали полностью характерны и то и другое понятие. Большевикам и, к сожалению, тем интеллигентам, которые с ними шли — временно или в течение всей жизни.

2

Большевистские руководители первого поколения вышли главным образом, как и народники, из интеллигентских кругов. Вначале делали погоду в партии Ленин, Троцкий, Бухарин, даже Луначарский. Это потом пришел к власти не-интеллигентный Сталин и маскировочные фигуры вроде пролетариев Калинина или Ворошилова. При Ленине у многих интеллигентов оставалась вера в истинность декларируемой цели, социализма, а при Сталине стали все полнее обнаруживать себя цели подлинные — власть Нового класса, всестороннее принуждение народа, диктатура одного человека, когда отсталость страны выдавалась за успехи, а нищета населения — за процветание.

Впрочем, мы знаем, что уже Ленин и ленинцы отталкивались от той интеллигенции, которую они считали старой, «интеллигентскими», и призывали к созданию интеллигенции новой, **советской**. С ними вместе в этом оказывались иногда и великие люди, как, скажем, Александр Блок. Он очерчивал «интеллигентку» в «Двенадцати» сатирическим пером. Достану том его сочинений. Вот эти строки: «А кто это? — Длинные волосы и говорит почти вполголоса: — Предатели! Погибла Россия! Должно быть, писатель — Вития...»

В том же собрании сочинений есть и статья «Интеллигенция и революция» (1918). Заключительные слова из нее цитировались в советское время бесконечно: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию!» Однако опускали фразу, предшествующую этим строкам: «Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки». Да, увлечение демонизмом толкало интеллигента Блока к революции, а что это, как не самообман? Правда, одновременно поэт видел впереди революции и Иисуса Христа в «белом венчике из роз». Сумятица идей, почище



нынешней, завораживала тогдашнюю интеллигенцию. Ведь верил же Блок: «Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнет с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ». И опять самообман. Александра Блока быстро измял «вихорь», а скольких великих русских интеллигентов после него! Но где они, те «неисчислимые духовные сокровища»? Их нет.

Интеллигенция и власть. Проблема их взаимоотношений, трансформируясь в зависимости от характера той или иной эпохи, тем не менее, остается актуальной до сих пор.

Народники, эсеры, а затем большевики не чинились в средствах борьбы со старой властью. Другие отшатывались от крови. Тем не менее, в конце прошлого и в начале нынешнего века этот слой, интеллигенция, был еще более или менее единым. Что же единило ее? Отвечая на этот вопрос, обратимся ради объективности не к трудам советских историков, которые всегда были доступны, но чаще всего излагали прошлое интеллигенции по партийной указке (тех, кто не слушался, лишали голоса), а к работам ученых, философов, не принявших ни революцию, ни коммунистическое мировоззрение и, как правило, эмигрировавших из СССР. Теперь в наших домашних библиотеках появились книги В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова и других мыслителей. Вот сборник «О России и русской философской культуре» (М., 1990). Здесь статьи из зарубежья. Для темы, обсуждаемой нами сегодня, особенно ценной представляется мне статья Георгия Федотова, помещенная в сборнике «Трагедия интеллигенции». Она написана Федотовым в эмиграции, в 1926 году. Федотов «основным руслом в истории русской интеллигенции» считал то направление, которое шло от Белинского, через народников, к революционерам наших дней. Именно в этом русле формировался «идейный штаб русской революции».

Правда, Федотов отмечает, что «значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой». Но что же в таком случае объединяет всех в один слой? Вот федотовский «ключ к определению русской интеллигенции»: «У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику, и общественное поведение; идеал, практически заме-

няющий религию <...>, но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагая к жизни, как ее норма и канон». Отсюда, по Федотову, возникает беспочвенность — ядро трагедии русской интеллигенции, которая отрывается «от быта, национальной культуры, национальной религии, от государства, от класса, от всех органических социальных и духовных образований». Оторвавшаяся от всего этого интеллигенция навязывала свой канон нации. Вероятно, этим объясняются во многом самообман и нетерпение русской интеллигенции, потому она, развивавшаяся, в основном, перед революцией как оппозиция официальной России, в своих крайних устремлениях пришла к большевистскому радикализму — то есть к отрицанию самое себя.

Статья Федотова интересна и тем, что прослеживает развитие русской интеллигенции от ее праистоков — со средневекового Киева, с Москвы XVII века чуть ли не до наших дней. Исследователь констатирует, что если пророки русского Просвещения, от Ломоносова до Фонвизина и Новикова, еще испытывали «неподдельный восторг перед самодержавием», то Александр Радищев стал его оппозиционером и потому первым русским интеллигентом в том понимании, которое утвердилось впоследствии.

Итак, даже и философы-эмигранты считали, что интеллигент в старой России — это прежде всего оппозиционер, а потому само понятие «интеллигенция» в нашем толковании — явление исключительно русское. Но и этакая интеллигенция в начале века раскололась по крайней мере на два лагеря. Символом раскола стали «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», репринтное издание которого теперь тоже обычно имеется в наших библиотеках.

«Веховцы», хотя и оставались в оппозиции к официальной имперской идеологии, тем не менее, в отличие от ленинского радикализма, не останавливавшегося чуть ли не перед поголовным истреблением «эксплуататорских классов», выступали за эволюционный путь прогресса, неотделимый от духовного самосовершенствования человека. И основываться это самосовершенствование, по мнению некоторых «веховцев», должно было у русских интеллигентов на высоких нравственных принципах Нагорной Проповеди Христа.

История не признает сослагательного

наклонения, но вздохнем: ах, если бы утвердилось такое миропонимание, какой могла бы быть Россия!

Федотов не был автором «Вех», но его взгляды близки философии этой книги. Любопытно: когда он писал цитируемую нами статью (а СССР переживал нэповские времена), то гадал, что произойдет с интеллигенцией после гибели коммунизма. Для нас сегодня это тоже насущный вопрос. Так вот: «Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет (...) рост буржуазного сознания. Интеллигентские «идеи» находят свою настоящую (не псевдоморфную, религиозную) почву: в новом мещанстве».

Самому Федотову такое направление русского общественного развития не было близко. Он отодвигался от американизма, самодовольства, мещанства и надеялся, что «религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе (...) новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идеесимволе». Тут особая, большая тема для размышлений. Церковность, да еще не обычная, этнографически-храмовая, а некая новая, философски-символическая, как новый стрелен, по которому пойдет развитие русской интеллигенции... Реально ли это? Сомнения возникают. Конечно, у многих нынешних интеллигентов, воспитывавшихся раньше с детства по-марксистски, после того, как рухнула господствовавшая в обществе идеология (господствовавшая при помощи насилия), в сознании воцарились идейный хаос и вакуум. Но чисто формальное причастие к православной церкви интеллигентов не спасет. И самих христианских церквей много, и слишком уж иные священнослужители оказываются тесно связанными с грешным светским миром... Однако не стоит мельком прикасаться к теме «интеллигенция и религия», «интеллигенция и христианство»... Журналу лучше обратиться к ней в основательной и беспристрастной статье. Надеемся, так оно в будущем и произойдет.

Сегодняшние интеллигенты — в духовных метаниях. Но оно ведь и раньше так было. Когда думаешь об этом, то поневоле обращаешься к Борису Леонидовичу Пастернаку, его жизни, его творчеству. Поэзия Пастернака стала мне близка еще в самой ранней юности, даже в конце детства, то есть в сороковые-пятидесятые годы, когда и имя-то поэта не появлялось в печати. Я нашел его книжку в завале старой литературы, которую мать спрятала

в диван, прочитал, и, не вполне осознавая смысл стихов, тем не менее, раз и навсегда оказался втянутым в их силовое поле. Так же, как пушкинская, есть в моей библиотеке и пастернаковская полка — я стараюсь покупать все, что относится к творчеству Бориса Леонидовича. Слава Богу, теперь пастернаковской литературы выходит немало.

Вот уж кто был интеллигентом, полным духовных метаний, включая и те, которые относились к болезненному переживанию отношений поэта и власти. Отнюдь не так, конечно, как Маяковский, который мечтал, чтобы Сталин делал доклады о работе стихов на Политбюро, Пастернак относился к власти. Но одно время он верил в истинность декларируемых ею целей. И в то же время что-то останавливало его. Известны строки из послания Борису Пильняку, написанные тогда же, когда и самый «советский» цикл «Второе рождение»: «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой кости косней?»

У интеллигентов в тридцатые годы, у «шестидесятников» в конце пятидесятых — шестидесятые жило стремление «меряться пятилеткой» и тем самым, как считалось, идти в ногу с обществом, коллективом, да и партией тоже. И все-таки ощущалась ложность движения «с партией и народом». Хотя бы потому, что оно часто противоречило совести творческих людей, их тяге оставаться самими собой. Ведь всеми, и Пастернаком, конечно, помнилась истина, сформулированная Пушкиным: «Самостоянье человека — залог величия его». Самостоянье личности вступало в противоречие с властью, которая требовала беспрекословного подчинения себе, с «социалистическим» общежитием, уравнивавшим всех под одну линейку. Принять такую власть, такое общежитие? Но слишком уж декларируемые цели расходятся с их реализацией да и со средствами осуществления. Пастернаку это, видимо, стало окончательно ясно к середине тридцатых, когда стали исчезать многие близкие люди, интеллигенты, тот же Борис Пильняк. И Борис Леонидович почти перестает писать свое, уходит в переводы. Новый подъем творчества наступает лишь во время войны, когда народ объединился перед лицом великой беды, и после войны, когда поэт обращается к христианству — и в романе «Доктор Живаго», истории русского «старого» интеллигента, и в новых циклах стихов:



«Как будто внутренность собора — простор земли, и чрез окно далекий отголосок хора мне слышать иногда дано».

Пастернака не печатали, но мои друзья, поэты Сергей Дрофенко и Анатолий Горюшкин, побывали у него в Переделкине, привезли тетради неопубликованных стихов. Мы переписывали их, запоминали.

Менялись времена, но Пастернака всегда волновало противоречие между самостоянием личности и необходимостью существовать в конкретных, не отвечающих устремлениям личности формах человеческого общежития. Как менять эти формы, как менять самого себя? Я бы сказал, что даже не столько оппозиционность по отношению к несправедливой власти всегда была наиболее общей характерной чертой русских интеллигентов, сколько страдание от неразрешимости возникающих здесь противоречий, от того, что люди не могут всегда поступать в соответствии со своим высоким предназначением — быть носителями высокой нравственности и высокого разума. А ведь такое предназначение требует, чтобы человек жил даже не столько ради себя, сколько для других — и в том, насколько полно он может это требование выполнить, тоже дает о себе знать степень реализованного им самостояния.

Если формы общежития таковы, что они подавляют самостояние человека, он должен способствовать их изменению, но так, чтобы другие люди как можно меньше страдали от этого. Идеал: человек самостоятельный работает на общежитие, содействующее его самостоянию, а общежитие в исповедуемых им принципах, в своих свершениях способствует развитию самостояния в человеке. Обратная связь! Но как трудно достижимы идеалы.

Эти терзания — «как мне быть с моей грудною клеткой?» — были характерны не только для Пастернака, не только для «старой» интеллигенции, но и вообще для тысяч и тысяч размышляющих людей. В одном из шкафов лежит у меня портфель с бумагами отца. Он происходил из крестьян ярославского села Великое, хотя они скорее были мещанами, чем крестьянами. Кончил педагогический институт, преподавал русский и литературу, то есть вполне советский интеллигент. Пропал без вести в сорок втором году на фронте. Вел записи, и я нахожу среди них такую, относящуюся к 1931 году, когда Пастернак писал «Второе рождение»: «Люди, несмотря на то, что уже имеются зачатки коллектив-

ного дела, еще слишком индивидуальны, нет даже среди них товарищества и дружны, а есть только временная связь, способная разорваться при небольших причинах». И еще: «Можно и нужно с людей требовать общественную совесть, но нельзя играть на ней, убивая в человеке все страсти и желания». В этих записях, сдается мне, слышится высказанный по своему вопросу: «Но как мне быть с моей грудною клеткой?»

Люди приходят в интеллигенцию из разных социальных слоев, да интеллигенция и не прослойка, как нас учили. Интеллигенция многослойна, и ее разные слои, разные поколения взаимодействуют друг с другом, бывает, друг другу противостоят, а, значит, определяют судьбы людей. Они же влияют на облик народа, нации, особенно на его культуру.

Хотя Г. Федотов и называл «беспочвенность» ядром трагедии русской интеллигенции, он же отметил «пассивно-стойкую» группу ее представителей, в основном, либерально-народническую, вытесненную из политической борьбы и ушедшую в будничную культурную работу. «Это прекрасные статистики, строители шоссе дорог, школ и больниц,— пишет философ.— Вся земская Россия создана ими».

Возьму сейчас чуть ли не любой том из собрания сочинений Чехова или Бунина и встречу на их страницах с этими людьми. Или перелистаю главы воспоминаний Николая Любимова, которые мы опубликовали в «ДН». Эти воспоминания — искреннее хвалебное слово, сказанное в честь старых интеллигентов русской глубинки. Они-то взрастили в поколении наших отцов таких людей, как Любимов, а вот мы, «дети войны», смогли ли мы передать полученное от отцов своему потомству? На этот вопрос отвечать ему.

Начиная с детства, я повстречал в своей жизни немало «старых» интеллигентов и благодарен за это судьбе. Есть у меня и книжки, оставшиеся от них. Вот изящная, с обложкой «под черный мрамор», с корешком из мягкой потертой коричневой кожи. Веленевая пожелтевшая бумага. Эдгар По. «Баллады и фантазии». Перевод с английского К. Бальмонта. (Тоже, кстати, ярославец.) 1895 г. Книжка осталась у меня от Павла Адамовича Богдановича, младшего брата Максима Богдановича, возрождавшего в нашем веке белорусскую поэзию. Сейчас ярославцы открыли в своем городе его музей.

Отец Максима и Павла служил дирек-



тором гимназии в Ярославле. Младший сын сохранил библиотеку отца со многими годовыми подшивками журнала «Нива» и приложениями к ней — сочинениями русских классиков. Глуховатый, рассеянный, чрезвычайно вежливый Павел Адамович снабжал меня многими книгами, прежде всего об античности, но давал и рассказы о Нате Пинкертоне. Он, как и моя мать, преподавал в ярославском химико-механическом техникуме. Его здание в классическом стиле выстроил перед революцией купец-меценат Н. П. Пастухов для Механико-Технического училища и Ремесленной школы, где платы за обучение не взимали. Пастухов же подарил училищу и отличную библиотеку, куда мать, бывало, подбрасывала меня на полдня на попечение библиотекарши Лидии Сергеевны, тоже, как и Павел Адамович, кончавшей когда-то гимназию. Благодаря книгам, благодаря знакомству с такими людьми как бы сама собой обволакивала нас аура старой интеллигенции.

Но разве расскажешь обо всех встречах, кто эту ауру нес? Тут пришлось бы мне говорить о враче из Великого, Илье Дмитриевиче Писареве — организаторе концертов и спектаклей, но одновременно и создателе лучшей сельской пожарной дружины; о замечательной художнице Варваре Дмитриевне Бубновой, родом из пушкинских Вульфов, из Бернова. Она много лет прожила в Японии, вернулась на родину. Но уж если зашла речь об интеллигентах-эмигрантах, то тут особый рассказ. Я дважды, в шестидесятые и восьмидесятые годы, работал по несколько лет в Чехословакии. Эта страна стала после революции одним из самых крупных «странноприимных домов» русской эмиграции. Сейчас старых эмигрантов почти не осталось, а их потомки «очестились и ословачились», но я-то ветеранов еще застал. В 1960 году в Братиславе словаки предложили самоликвидироваться Клубу советских граждан — кружку тех эмигрантов, которые после победы в 1945 году приняли советское гражданство, да, слава Богу, не смогли вернуться в СССР — там бы многих ждал ГУЛАГ. Словаки-коммунисты решили: этот клуб ни к чему, имеется же Дом словако-советской дружбы, и достаточно. Старики-русские позвали меня и еще одного советского гражданина — у нас были с ним добрые отношения, и предложили взять из библиотеки Клуба все, что пожелаем. К сожалению, от эмигрантских изданий они к тому времени сами избавились, но все же

мне достались неплохие советские книжки 20-х — 30-х годов.

Или вот изрядное собрание книг по искусству. Их подарила мне в Праге Клавдия Петровна Макаева. Мы были знакомы с ней более тридцати лет. Ее муж, Сергей Степанович Макаев, уехавший после революции студентом, стал в Праге архитектором-реставратором и вдохнул новую жизнь во многие чешские замки, памятники зодчества. Он написал и краткую историю жизни русской художественной эмигрантской интеллигенции в Праге. Клавдия Петровна передала эту рукопись нам с женой.

И Клавдия, и ее старшая сестра Галина — ох, активная была общественница, не то что младшая! — приходились падчерицами известному русскому юристу, проф. С. В. Завадскому, тоже ставшему пражанином. Среди подаренных мне книг — брошюра Завадского «Жизнь и дело Т. Г. Масарика» (Прага, 1925 г.) на русском языке. Тут тоже много размышлений об отношении власти и интеллигенции. Первый президент Чехословацкой республики, по мысли Завадского, приближался к идеальному образу главы правительства. Завадский видел в Масарике (излагаю абзац из книги) умение сочетать запросы ума с велениями сердца, высокие идеалы с искусным решением практических вопросов, ценил то, что Масарик отличал истинный патриотизм от патриотических выкриков, не заменял стремления к успеху своего дела стремлением к своему личному успеху, наконец, хотел, как русский хирург Пирогов, всегда быть, а не казаться.

Вы помните, что Г. Федотов вспоминал об этике русского интеллигента? По-моему, Завадский изложил заповеди этой этики, да, наверное, и сам старался следовать им. Для нас они звучат как завет.

3

Для нас... А для кого это, собственно, для нас? Кто мы, сегодняшние русские интеллигенты? В поисках ответа на этот вопрос, я, подписчик «Знамени», достаю № 3—4 этого журнала за прошлый год. Здесь помещена статья Льва Гудкова «Интеллигенты и интеллектуалы». С социологом Гудковым я знаком. Четыре года назад он вместе со своим коллегой Борисом Дубиным напечатал в «ДН» работу «Литературная культура: процесс и рациона». Откликов на нее пришло тогда немало — мы печатали обзор их. Читатели «толстых» журналов

тогда во всю проявляли активность, жаль, сейчас поутихли. Итак, Гудков специализируется на социологии культуры, интеллигенции. Что же обещает социолог нашей общественной группе? Хорошего немного: «Общество давно перестало платить интеллигенции вниманием и уважением... Убогая зарплата, низкая «рыночная стоимость»... Падает привлекательность интеллигентских занятий для молодежи»...

Между тем четыре года назад Гудков и Дубин говорили об интеллигенции с большим оптимизмом. Только к потенциальным авторам книг, то есть к своего рода интеллектуальной элите, они причисляли 700—800 тысяч человек, которые ежегодно могли бы подготовить 200—300 тысяч названий книг. А теперь вроде и спроса на эти книги нет, да и авторы их не нужны обществу.

Процесс развития интеллигенции при советской власти Лев Гудков конспективно описывает так: после революции «интеллигенция умерла, была уничтожена вместе со старым порядком. Остатки ее, уцелевшие в эмиграции, долгое время пытались законсервировать все, что можно было, из тематического наследия русской культуры, литературы, истории, но практически не дали развития намеченных ранее тем. Восстановление или второе рождение интеллигенции произошло уже в 50-х годах, с началом кризиса советского режима, с прекращением массовых репрессий».

Гудков, правда, считает, что интеллигенция этой, новой волны состояла из людей с образованием, но во многом ущербных, «образованцев», ставших во многом не более, чем своего рода квалифицированными чиновниками. Даже творческие союзы, даже академии наук и искусств, считает социолог, являли собой этикие государственные департаменты и их членов тоже можно считать чиновниками особого рода. Нежелательных членов, выламывавшихся из общего строя, творческие «госдепы» прижимали, а «своих», «наших» поощряли. Писателей, к примеру, вошедших в «секретарскую обойму», — большим количеством изданий и огромными тиражами их книг, которые навязывались читателям, хоть мало кто эти книги читал, разнообразными премиями, льготами.

Короче говоря, и на этом этапе советское общезнание не позволяло слишком уж разгуливать интеллигентской личности с ярким самостоянием.

В этих оценках, представляется, содержится много верного, хотя описание процесса выглядит по-моему все же излишне

схематичным. Ибо и в тридцатые-сороковые отнюдь не вся старая интеллигенция была уничтожена и воздействовала на общество, что я хотел показать — пусть мельком, и после 50-х отнюдь не все интеллигенты стали такими уж чиновниками. Да, государство субсидировало развитие культуры, но отнюдь не все деятели ее работали по партийной указке. Немало можно назвать творцов в разных областях науки и искусства, отмеченных самостоянием.

Вообще-то Лев Гудков склонен причислять к истинным интеллигентам нашего времени, кажется, только тех, чьи интеллектуальные силы были подчинены изучению одной проблемы, одной внутренней темы: «каковы ресурсы этой (советской, — Б. Х.) власти, как возник этот режим, где его границы, как можно ему сопротивляться, к чему ведет его сохранение, каковы последствия — экологические, медицинские, социальные, нравственные, культурные и проч. его существования».

То есть в подходе к определению понятия «интеллигенция» у социолога Гудкова наблюдается переключека с философом Федотовым. Философ видел основное русло прежнего интеллигентского сознания в оппозиции самодержавию, социолог — тоталитаризму недавно ушедших дней. Радикальная интеллигенция в прошлом готовила свое самоотрицание, а вот нынешний поворот интеллигентской трагедии: она «разрушила верхний слой массовой идеологической лояльности в советском обществе, но одновременно упразднила и смысловую почву собственного существования». Лояльная власти интеллигенция — уже не интеллигенция, так?

Триумф нелояльности, однако, дал о себе знать вот еще в каком неприятном явлении: теперь проявилась «удивительная неготовность интеллигенции к практическим делам, обнаружившаяся после победы демократов».

Ах, как мне не хотелось бы соглашаться с такой оценкой! Как это мы неспособны к практическим делам? Я знаю многих интеллигентов, которые все умеют. Вот был у меня любимый директор школы, Василий Прокофьевич Губкин, советский интеллигент. После гражданской войны — беспризорник, потом техник-геолог на Колыме, потом учитель-историк — вот стоит восьмитомник Ключевского, 1959 года издания, который он мне когда-то подарил. Танкист, тяжело раненный в руку, пришел в школу во время войны и многих ребят спас от

колонии: отца заменял. Был он интеллигентом до мозга костей по своему свободомыслию и ненависти к штампам и имел золотые руки: мог сделать и резной буфет и капитально отремонтировать свой мотоцикл, на котором гонял на рыбалку.

Нравятся мне такие вот интеллигенты и потому же самому я люблю фотографию, где Б. Л. Пастернак запечатлен на собственном огороде, в кепке, рубахе с расстегнутым воротом, в сапогах и с лопатой в руках. Вот уж на что «беспочвенный» интеллигент, а как крепко стоит на почве картофельного поля!

Я, разумеется, понимаю, что Лев Гудков говорит о другой неготовности интеллигенции к практическим делам. Они реальной программы реформ не сумели выработать, взять власть в свои руки не смогли, раскололись теперь на десятки противостоящих друг другу фракций. В том же нашем издательском деле привыкли существовать под крылом государства, а самостоятельно жить не могут. Дело тут, впрочем, тонкое. Независимость средств массовой информации независимостью, но переходный этап от одной общественной формы к другой культуре в одиночку пережить трудно. Тут можно и многие нажитые ценности потерять. Министерство печати и информации выступает сейчас за то, чтобы СМИ стали учреждениями, независимыми от государства (вот они, правильные взаимоотношения самостояния и общежития), считает, что журналам и газетам нужны не дотация, а гибкие налоговая политика и система акционирования. Хорошо, но льготные условия для развития культуры необходимы. Обязательно! Иначе не только интеллигенцию-оппозицию потеряем, но и вообще станем лишаться мыслящих людей.

Ладно, интеллигенция-оппозиция не нужна, а кто нужен? По Гудкову в нормальном обществе — а таким он считает демократическое общество Запада — интеллигенция не противостоит власти, а занята своим делом. Интеллектуальной элите там присущи три функции: инновация, «выработка, синтезирование новых идей, создание новых моделей действия, ценностей, политических программ, имеющих чисто индивидуальный и неповторимый характер» — это раз; критика, то есть «анализ и отбор наиболее важного и достойного в потоке нового» — два; и, наконец — три: хранение и кодификация интеллектуальных ресурсов, которые осуществляют «держатели нормы, исторической памяти».

Неплохой prospect будущей деятельности нашей интеллигенции, хотя тут можно и возразить: мы еще далеко не Запад, станем ли им — проблематично. А раз так, то у нас многое будет по-другому. Скажем, рано еще нашей интеллигенции отказываться от оппозиционной роли и становиться полностью лояльной к власти. Та ли у нас нынче власть, чтобы быть к ней лояльной? Такое желание у интеллигенции, однако, действительно есть (многое можно вспомнить — хотя бы телепортрет Бориса Ельцина, сделанный Эльдаром Рязановым) и уже пишут, что интеллигентский неконформизм надо заменять неоконформизмом. Рановато все-таки, да и сказано неточно.

У Гудкова точнее: интеллигент-интеллектуал, считает он, будет не соперничать с новой, демократической властью, а увидит в ней «единственного своего собеседника». И тогда «уход интеллигенции с исторической сцены (превращение ее в общественную группу интеллектуалов.— Б. Х.) был бы знаком принципиального изменения самой структуры общества, симптомом конца его модернизации, началом «нормального» гражданского существования». Дай-то бог!

Меняется общество, укрепляется класс предпринимателей... Каковы его отношения с интеллигенцией, с культурой? Где они, меценаты, такие, как помянутый ярославец Н. П. Пастухов? В своей статье Г. Федотов давал им высокую оценку: «...буржуазная Россия строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллигенцию в рациональное и европейское, и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала приют мощной русской культуре». (Подчеркнуто мною.— Б. Х.) Вот бы этот процесс развернулся по-новому на новом этапе развития России!

Мечты и упования! Пока нам до этого еще далеко. В цитировавшейся мною брошюре С. П. Завадского говорится, что русской интеллигенции всегда было свойственно не столько упорно работать и терпеливо ждать, по Герцену, сколько действовать «рывом, а не тяжем; скоком, а не шагом». Трифоновское нетерпение! Александр Ципко наблюдает сейчас нечто подобное у интеллигентов-демократов. В статье «Демократическая Россия» как большевистская и одновременно почвенническая партия» с подзаголовком «Грехи и бедды советской революционной интеллигенции («Независимая газета», 9.04.93) Ципко

утверждает: нынешний советский интеллигент-революционер в своем стремлении к реформам ошибочно, как и большевики когда-то, встал на путь максимализма и радикализма. Только большевики выступали за социализм, а нынешние реформаторы — против. Но, каков бы ни был знак интеллигентского радикализма — плюс или минус, он, по Ципко, всегда вредоносен. Ципко тут и Федотова берет в союзники, который проклинал русских максималистов.

Да, оно, может, безумный радикализм и вреден, да вот только что-то плодотворное, конструктивное реформирование общества идет вразброс и отнюдь не быстрыми темпами. А как его вести правильно — тут и у Ципко нет предложений. Тут он тоже остается русским интеллигентом, не слишком склонным к практическим делам. По нему главное — от марксизма, от максимализма придти к эволюции и национальной идее. Едва ли этого достаточно.

Суждений о судьбах русской интеллигенции высказывается много. Не буду пытаться

излагать их. Судьбы эти все еще противоречивы и неясны. Но подчеркну еще раз, что в целом они будут зависеть, по-моему, прежде всего от того, как станут складываться взаимоотношения личности, мыслящего человека, осознавшего свое самостояние, и того общества, человеческого общежития, в которое он входит. Люди вообще-то поняли это давно, только вот в России не могут правильно наладить такие взаимоотношения. Их смысл четко сформулировал академик Н. И. Конрад. Беру с книжной полки читанный и перечитанный его «Запад и Восток», нахожу подчеркнутые строки: «Целью развития человека, целью его бытия является не приход к небытию (тут неувязочка с некоторыми церковными учениями.— Б. Х.), а приход ко все более совершенным формам общественной и культурной жизни, что вместе с тем означает и все большее совершенствование человеческой личности».

Хотелось бы двигаться по этому пути. Ведь мы все-таки пока интеллигенты, а?

ШОТА ИАТАШВИЛИ

Больной город

ПОВЕСТЬ

ПЕРЕВОД С ГРУЗИНСКОГО АЛЕКСАНДРА ЭБАНОИДЗЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Повесть Шота Иаташвили датирована, и сделано это не для историков литературы; дата в конце текста — последний аккорд, в котором сухость календарной цифры преобразуется в горестный набат. Он долго не умолкнет для нас. Как ни быстро течет наше время, мы еще помним тбилисский январь 92-го, пушки, бьющие прямой наводкой в центре города, Святую гору сквозь дым пожаров... Противники нелепого и опасного режима приветствовали его свержение, но травма, нанесенная национальному организму, оказалась гораздо серьезней, чем представлялось в пылу борьбы... Я не знаком с автором «Больного города», знаю только, что он молод. И первую большую вещь написал в стилистике новой молодежной культуры; уже в журнале, при подготовке к печати, ее жанр удачно определили как «роман в стиле рок». Для

него и впрямь характерны ритм и рефрены, гротеск и абсурд, агрессивный натурализм и трогательная, по сути детская незащищенность... Раскаленный этот сплав обжигает. Боль, переданная болью — то, к чему стремится совестливый художник. За пределами Грузии мало кто представляет, как трагично то, что у нас происходит, сколько темных сил вырвал из-под спуда раскол нации, как трудно дается консолидация... В повести Иаташвили нет анализа событий, нет прогноза, нет даже выраженной тенденции. Ее автор с полным правом мог бы сказать: «Я не врач, я — боль». Чтобы его голос был услышан, я отложил все дела и сел за перевод. Казалось бы, кому сейчас до чужой боли — хватает и своих бед. Но что литература, как не утроение и удешевление общего опыта жизни, а в дни невзгод — общий урок и предостережение.

13

Я живу в больном городе. Здесь я родился, вырос и, по-видимому, здесь умру, ибо вырваться из больного города почти невозможно. Не потому, что он окружен высокими стенами с бдительной стражей на башнях, а по той простой причине, что за его пределами больные никому не нужны. Наше место только здесь. Я говорю «наше», потому что и сам болен. Однако я не совсем обычный больной. Большинство жителей города считает себя здоровыми, более того, даже не осознает, что живет в больном городе. Я же все понимаю и знаю, и потому страдаю больше других. В особенности, когда смотрюсь в зеркало и разглядываю в своих зрачках собственное отражение. Это я делаю почти ежедневно и с отчаянием убеждаюсь, что, несмотря на все мои усилия, отражение с каждым разом мутнеет, а порой вовсе пропадает — я не вижу его!..

В такие минуты, пав духом, я думаю, что болезнь одержала верх, хотя через день-другой удастся кое-как разглядеть смутный, нечеткий силуэт и тогда, встрепенувшись, возрождается крошечная жажда жизни, все еще тлеющая в глубине моего существа...

Что же до остальных горожан, то в последнее время я всячески избегаю их взглядов — главное, не встретиться глазами. Почему? Сейчас объясню. Конечно, в этом городе больны все поголовно, но у одних покамест болезнь протекает в легкой форме, другие поражены основательно, а третьи и вовсе неизлечимы.

Шота Иаташвили — родился в 1958 г., живет в Тбилиси. «Больной город» — его первая крупная публикация. Повесть напечатана в журнале «Мнатоби» — № 8, 1992 г.

Внешне отличить их почти невозможно, впрочем, я-то научился различать. Для этого надо заглянуть человеку в глаза. Если болезнь в начальной стадии, в зрачках больного можно разглядеть свое отражение. Чем сильнее болезнь, тем мутнее взгляд и тем труднее разглядеть что-нибудь в зрачках. У тяжело больных глазные яблоки остекленевают, как от наледи, и вообще ничего не отражают. Таких в городе большинство. Вот почему в последнее время я стараюсь не смотреть людям в глаза. Раньше я знал, что пробродив целый день по городу, хотя бы в одних глазах увижу свое отражение, и, представьте себе, это придавало сил. А теперь... Теперь мотайся хоть неделю — все напрасно... Потому-то без крайней нужды я и не выхожу. Запираюсь и ныряю в свое омерзительное одиночество...

Но все-таки пришлось выйти: кончилась еда, надо было чего-нибудь купить.

В очереди за мышиными консервами оказался перед пышнотелыми женщинами лет тридцати. Глаза у них были мутные, как в разгаре болезни. Рыжая доказывала подружке-пышке с зелеными губами, что может одновременно с пятью мужчинами... Та изумленно расспрашивала: если не врешь, расскажи, как ты это делаешь. Рыжая расписала в подробностях. При этом она то и дело поглядывала на меня. Я отвел глаза. Пышка с зелеными губами пришла в неописуемый восторг: «Ну, ты даешь, подруга! Вот это да-а!» — восклицала она. «Попробуй и ты», — посоветовала рыжая. «Я бы попробовала, но где взять пятерых мужиков». — «Чего-чего, а этого добра хватает», — расхохоталась рыжая и в упор уставилась на меня. Я отвернулся.

Погодя, где-то в конце очереди заварилась буча: пожилая матрона сцепилась с небритым парнем и стала царапать ему лицо. Парень без слов лягнул ее ногой ниже живота. Она рухнула, выкатив глаза, завопила и стала кататься по асфальту, извиваясь и втискивая ладони между ляжек. Народ возбужденно загалдел. Кто-то сунулся к парню: дескать, ты что себе позволяешь!.. Тот выхватил из кармана револьвер и выстрелил в воздух. Все сразу примолкли. Даже ушибленная перестала вопить, поднялась и понуро встала в очередь. За это время очередь продвинулась, и я оказался у прилавка. На каждого давали не больше трех банок консервов. Тут в магазин ворвался верзила с всклоченной бородой, вытащил из-за пазухи гранату и завопил: «Давай пять банок или всех взорву к чертовой матери!» Продавец и не пикнул, поспешно выложил пять банок. За верзилой подошла очередь молодой женщины. Она, волнуясь, предъявила паспорт: «У меня четверо маленьких детей, очень вас прошу, может, дадите четыре банки, дети повидло из тараканов не едят, разве что на мышиных консервах продержимся...» — «Нет! — завопила очередь, — ни в коем случае!» Худенький, тщедушный паренек попытался вступить за многодетную мать: дайте, дескать, человеку лишнюю банку, что особенного... очередь набросилась на него, молча стала избивать.

Рыжая огорва и пышка с зелеными губами отоварились. За ними и я. Рыжая ждала меня у двери. Схватила за руку.

— Идем со мной...

— Нет! — ответил я.

— Не пожалеешь!

— Нет, тебе говорят! — я вырвал руку и продолжил путь.

— Импотент! — крикнула она и плюнула мне вслед.

В уличной толпе приметил женщину, которая просила лишнюю банку консервов. Я ускорил шаг. Она входила в подъезд, когда я настиг ее.

— Что вам нужно? — взгляд тревожный, испуганный. Глаза светло-карие. Присмотрелся и почудилось, что увидел в них свое отражение. Не очень отчетливо, но все-таки... Я невольно улыбнулся.

— Сударыня, я стоял в очереди за вами и все слышал. Я уступаю вам одну банку.

Лицо женщины выразило изумление, затем она нахмурилась.

— Нет, нет, не надо... То, чего вы хотите, невозможно.

— Чего я хочу? — на этот раз пришел мой черед изумиться. — Я хочу только помочь вам.

— Помочь? — переспросила она и с сомнением покосилась. Судя по всему, напряженно думала. Затем торопливо достала кошелек, отсчитала деньги, сунула мне и взяла банку.

— Большое спасибо за помощь! Большое спасибо... — повернулась и поспешно вбежала в подъезд.

Я пересчитал деньги: точно стоимость банки.

В конце улицы показались манифестанты. Они несли портреты недавно низложенного главы правительства и скандировали его имя... Вообще в нашем городе правительство свержается часто. За последние семь лет свергли пять правительств. Скорее всего, сбросят и новых. Правда, через три месяца назначены выборы, которые вроде бы должны остановить эту карусель, но вряд ли нынешние продержатся до тех пор...

А ведь раньше все было не так. Раньше город то и дело что-то праздновал. Случалось, и я включался в празднества, азартно размахивал стягом, трещащим на ветру, и в такие минуты казался себе совсем здоровым... Но, вернувшись с демонстрации, я сворачивал флаг, садился в кресло, задумывался, и тут-то обступали сомнения. А внимательней вслушиваясь в себя, я понимал, что этот праздник не коснулся моей души, и здоровье мое мнимое, кажущееся...

Потом вдруг что-то переменялось. На улицах появились люди с другими флагами. Поначалу я решил, что это очередной общегородской праздник и хотел равнодушно пройти мимо — праздники поднадоели и свернутый флаг давно пылился в углу моей комнаты. Но услышал нечто необычное. «Наш город болен! — вещал с трибуны оратор. — Все, что нам внушают о его здоровье, — ложь, и наша миссия — вылечить наш город...» Он еще много чего говорил, но суть была э т а. Я слушал, как замороженный. Думаю, не ему одному приходили в голову подобные мысли, но так громко, во всеуслышанье об этом никто не заявлял... И взволнованный, потрясенный, я говорил себе: может, мы и впрямь спасемся, если поймем, что больны и живем в больном городе... Когда митингующие разошлись, я бросился домой, сшил новый флаг и прикрепил к старому древку, а прежнее полотнище бросил в мусорное ведро. И с того дня всегда спешил туда, где собирались манифестанты. Шел со своим флагом и верил, что мы выздоровеем — я и мой больной Город. Похоже, так же думали и другие, поскольку манифестантов с каждым разом становилось больше. Наконец, нас стало так много, что мы сместили старое правительство и на его место посадили новое, во главе с тем самым оратором. Тогда мы надеялись, что очень скоро излечимся, но ошиблись. Оказалось, что новый глава болен, как и мы. А ведь уверял, что только он один здоров — если хотите излечиться, слушайте меня во всем!.. Многие так и делали, но еще больше было тех, кто понял, что этому человеку нас не вылечить. Они заупрямились, а затем сбросили говоруна и на его место посадили другого. Но что толку, если и этот нуждался в лечении не меньше остальных... С тех пор так и идет: сбросим одного, посадим другого, и так без конца... Хотя и напрасно говорю «сбросим-посадим», поскольку в этих акциях давно уже не участвую. Я понял, что в нашем городе больны все без исключения, а потому никто никому помочь не может. Да и как помочь другому, когда себя спасти не в силах... Вот взять хотя бы меня. Я же прекрасно вижу, что, как бы ни старался, мой взгляд постепенно мутнеет и скоро я стану как те, у кого в оледеневшем зрачке ничего не разглядеть. Это так же неизбежно, как то, что я умру и меня сожгут, как я сжег свою сестру. Ее убил муж. Застал в постели с тремя мужчинами и зарезал. Наверное, он был прав, но об этом не скажешь вслух: ведь сестра есть сестра, хотя в последние годы ее глаза сделались как обледеневшее стекло, и я разлюбил ее. Как и зятя, у которого зрачки помутнели гораздо раньше. Теперь мне без конца твердят, что я должен отомстить и убить зятя, но какой в этом смысл? Ведь он и без того обречен. Впрочем, как была обречена и сестра. А ведь я помню время, когда мог целыми днями смотреть в ее глаза, необыкновенно ясные и голубые, и разглядывать свое отражение... Потом, с болезнью зятя, они стали мутнеть. Как я ни пытался спасти сестру, ничего не помогло. Расстанься они вовремя, может, и обошлось бы, но этого она не хотела. Ослепленная любовью, не видела, что творилось в глазах мужа... А теперь и мама ослепла. Моя старая мама. Узнав о гибели дочери, она закричала, стала

биться головой об стену, потом вдруг испуганно примолкла, обернулась ко мне и растерянно проговорила: «Я ничего не вижу». Слепла сразу, в одно мгновение. Но, как ни странно, взгляд слепой прояснился, сделался зеркально чист и, заглянув в ее зрачки, я увидел не только себя, но комнату, в которой мы находились, нашу квартиру, весь город, весь мир... Взволнованный, обнял ее: «Ты видишь лучше всех, мама». А она: «Нет, нет, сынок, я ничего не вижу, совсем, совсем ничего! Я слепла...» Вот так это случилось, и с тех пор мама ощупью передвигается по квартире и ее глаза отражают больной город. Я уже боюсь мамы, боюсь ее глаз, когда она бредет, вытянув руки и шаркая шлепанцами, и зовет меня: «Сынок, сынок, где ты?». В такие минуты я хочу бежать, скорониться, исчезнуть, только бы не видеть этих широко открытых глаз, отражающих все то, что я хочу забыть, от чего прячусь в своем постылом одиночестве. Но мама находит меня, дрожащими руками обшаривает мое лицо и в который раз спрашивает, отомстил ли я за свою сестру. «Нет, мама, нет, подожди немного», — отвечаю я, бледнея, и дрожь пробегает по моему телу. Терпение мое на исходе, я готов сдаться и думаю, что лучше убить зятя, только бы избавиться от ясных материнских глаз. Тем более, что, как я уже сказал, он все равно обречен. И если я до сих пор не сделал этого, то по одной лишь причине: как только я убью, мои глаза помутнеют, и я стану как те, что толпами бродят по улицам города, выкрикивая бессмысленные лозунги, такой же, как эти манифестанты, что длинной колонной идут сейчас по улице бок о бок со мной... А вообще-то лучше держаться от них подальше, не то скоро их начнут разгонять, еще попадешься под горячую руку...

Я ускорил шаг. Меня кто-то окликнул. Оглядываюсь и вижу Сиро — старого приятеля. Мы вместе учились в университете и посещали литературный кружок. Сиро — поэт и, по-моему, очень хороший.

Я искренне обрадовался ему, со страхом и надеждой заглянул в глаза. Слава Богу, он еще борется с болезнью!

— Как живешь?

— Эх, да что там... Живу! — с грустью вздыхает Сиро и, махнув рукой, добавляет: — Пока еще не подох.

Стоим на краю тротуара и беседуем. Сиро сообщает, что выпустил новый сборник стихов.

— Давно? — спрашиваю я.

— Да уж с год. Ты, конечно, не видел?

— Нет, — отвечаю смущенно и вяло вспоминаю, что сто лет не заглядывал в книжный магазин.

— Такие дела, — кивает Сиро. — Поэзия больше никому не нужна.

— Непременно куплю и прочитаю, — горячо уверяю я.

— Какое имеет значение, прочитаешь ты или нет, — все так же вяло продолжает Сиро. — Все дело в том, что никто не читает стихов. Тираж книжки сто экземпляров. Из них продано всего тридцать семь. Остальные по-прежнему на полках... Искусство умерло, придется с этим смириться, мой дорогой... А раз умерло искусство, все остальное отправится за ним следом. Это факт. — Сиро похлопал меня по плечу и как-то жалко улыбнулся.

Над улицей пролетел вертолет.

— Лучше уйдем отсюда, — сказал я. — Чего доброго, сбросят бомбу на колонну.

— Пошли, — согласился Сиро.

Через несколько минут до нас и впрямь донеслись звуки разрывов.

— Сбросили, — проговорил Сиро.

— Правительство? — сострил я.

— Нет, пока только бомбы. А вообще-то скоро и правительство сбросят, — усмехнулся Сиро.

— Давай, свернем сюда, — предложил я.

— В парк?

— Да, посидим, поболтаем...

Вошли в парк, нашли свободную скамейку и сели. На соседней скамье сидела молодая женщина. У ее ног играл в песке мальчуган лет трех.

— Как называется твоя книга?

— «Голубое на оранжевом».

Ответ Сиро удивил меня.

— С каких пор ты заделался оптимистом? Я помню названия твоих прежних сборников: «Крылья смерти», «Слезы и кровь»...

— Верно,— прервал он.— Когда все писали о цветочках, я кричал об Апокалипсисе. Может, что-то предчувствовал и хотел предупредить, но увы... А теперь, когда смерть предстала перед всеми, я подумал: а вдруг немножко тепла поможет людям, но...— Сиро опять жалко усмехнулся.— Как мы с тобой выяснили, искусство умерло. А в наши дни не то что до мертвеца, до живого никому нет дела.

За спиной послышались прерывистые вздохи и постанывания. Мы оглянулись. На лужайке в позе лотоса предавалась любви молодая пара.

— Видишь,— Сиро кивнул в их сторону.— Хочешь уцелеть, служи Эросу. Это единственное, что осталось людям.

— Как — служить? — не понял я.

— Просто,— ответил Сиро.— Я, например, продаю презервативы.

Я засмеялся. Смех перешел в хохот. Глядя на меня, Сиро тоже улыбнулся.

— Ах, чтоб тебя!..— я еле перевел дух.— Ну, распотешил. Поэт — продавец презервативов. Замечательно! Оригинал!

— Реалист,— поправил Сиро.

Мальчуган подошел к нам. Руки у него были в песке.

— Хотел бы я знать, кто из него вырастет? — флегматично проговорил Сиро.

Я пожал плечами.

— Может, он и вовсе не вырастет.

— Тем лучше для него,— заключил Сиро.

Некоторое время сидели молча. Затем Сиро сказал:

— Мне кажется, его маму сейчас изнасилуют.

— С чего ты взял? — поинтересовался я.

Он ничего не ответил.

— Пошли отсюда.

Мы встали. Выходя из парка слышали пронзительный женский крик.

— Что я сказал! — Сиро не оглянулся.

На улице показались новые манифестанты. «Долой насилие! Да здравствует гуманизм!» — гласил большой транспарант.

— Завтра концерт симфонической музыки,— неожиданно сообщил Сиро.

— Где?

— В большом концертном зале.

— Что в программе?

— Третья симфония Бетховена. Придешь?

— Нет денег. На последние купил мышиных консервов.

— Где раздобыл? — удивился Сиро.

Я объяснил, но предупредил, что, скорее всего, уже кончились.

— А я и не хочу. Лучше поднимусь к озеру.

— К озеру? — удивился я; стояла ранняя весна, до купального сезона было еще далеко.

— Я часто туда хожу,— задумчиво проговорил Сиро.— Сажу на берегу и смотрю на воду. Это помогает.

Манифестанты разрядили в воздух несколько автоматных очередей и пошли дальше. Две однорукие женщины несли белое полотнище, на котором красными буквами было накорябано: «Долой тиранию! Да здравствует свобода!»

— Пожалуй, схожу с тобой на озеро.

— Вот и ладно,— согласился Сиро.

Спокойное озеро сверкало как сталь.

— Когда-то я был на море,— сказал я.

— Я тоже,— отозвался Сиро.

— Помню женщин, на которых было очень мало одежды.

— Я тоже помню,— подтвердил Сиро.
 — Я заглядывал в кабинки для переодевания, видел соски кизилового цвета, и думал, почему они такие красные...
 — Я тоже заглядывал,— признался Сиро.
 — А на мысу загорался маяк, похожий одновременно на солнце и на женскую грудь.
 — Точно...
 — И я думал, что человек должен жить у моря...
 — Я тоже так думал...— прошептал Сиро.
 — И я думал...
 — Хватит! — крикнул Сиро. — Хватит! — крикнул он еще.
 И в третий раз:
 — Хватит!
 — Хватит,— сказал и я.
 Спокойное озеро сверкало как сталь.

18

На следующий день я продал банку мышиных консервов и пошел на концерт симфонической музыки. В зале собралось шестнадцать человек. Среди них Сиро. Я встретил знакомого музыканта. Он сказал, что работает над новой оперой. Перед концертом объявили, что Третья «Героическая» симфония посвящена Бонапарту.

— Это неправда! — заволновался музыкант. — Бетховен снял посвящение...
 В третьем ряду сидела девушка с жесткими, всклокоченными волосами и носом с горбинкой. После исполнения второй части почему-то объявили перерыв. В фойе наши взгляды встретились. У девушки были ясные зеленоватые глаза. Я давно не видел таких ясных глаз. Только у моей матери. Но мама была слепая, ее глаза отражали страшный больной город. В глазах же этой девушки я отчетливо увидел собственное отражение, и, подхваченный легким радостным чувством, бездумно поздоровался:

— Здравствуйте!
 — Здравствуйте,— девушка внимательно посмотрела мне в глаза.
 — Вы прекрасны,— сказал я.
 — Нет,— ответила она. — У меня нос с горбинкой и грубые жесткие волосы, я некрасивая.

— Неправда! — искренне возмутился я. — Вы прекрасны!
 — Как вам угодно,— она не стала возражать.
 — Как вас зовут? — спросил я.
 — Агрипина,— ответила она.
 — Мне не нравится это имя,— невольно вырвалось у меня. — Вас должны звать по-другому.

— Как же? — Агрипина улыбнулась.
 — Не знаю... Например, Мария...
 — В таком случае, зовите меня Мария,— разрешила она.

Прозвенел третий звонок.

— Я сяду рядом с вами,— сказал я Марии.
 — Пожалуйста.
 — Вы любите Бетховена? — спросил я шепотом, когда заиграл оркестр.
 — Нет.

Ответ прозвучал неожиданно.

— Почему?
 — Он борется,— ответила Мария. — Я люблю Вивальди, но его редко исполняют.

— Почему же вы пришли сюда?
 — Я же сказала, что Вивальди играют редко.

После концерта я вызвался проводить ее.

— Пожалуйста, но ведь я в самом деле некрасивая,— повторила Мария. — У меня длинный нос с горбинкой и жесткие волосы.

— Замолчите! — с досадой воскликнул я. — У вас ясные, чистые глаза.

— У вас тоже,— прошептала она.

— Нет, у меня — нет,— я покачал головой, но она повторила:

— У вас чистые и ясные глаза.— Помолчала, еще раз взглянула и добавила: — По сравнению с другими...

Вышли на улицу. Патруль проверил наши документы. Некоторое время шли молча. Потом Мария спросила:

— Хотите меня поцеловать?

— Нет,— ответил я.

— Правда?

— Правда.

— Почему? — заинтересовалась она.

На балконе дома мелькнули два силуэта. Двое прыгнули, держась за руки. Кружась, переворачиваясь, полетели вниз и грохнулись на мостовую метрах в двадцати от нас. Мария вскрикнула и закрыла лицо руками.

— Перейдем на другую сторону,— поспешно сказал я.

Мария не шелохнулась. Потом оторвала руки от лица и шагнула вперед. Я попытался ее остановить. Она грубо оттолкнула меня и побежала. Приблизившись к лежащим на мостовой, опять вскрикнула, на этот раз тише, и застыла. Я глянул под ноги — мозги, перемешанные с кровью, растекались по мостовой.

— Старик и старуха,— проговорил я, разглядев то, что лежало на земле. Они и мертвые держались за руки. Отвел взгляд и опять потянул Марию: — Пошли...

Мария не отрывала остеклевенных глаз от лежащих в крови стариков.

— У него в руке какая-то бумажка,— прошептала она.

Я присмотрелся. У старика и впрямь торчал из кулака клочок бумаги. Мария наклонилась, попыталась вытащить его, но не смогла.

— Помогите!

Я тоже наклонился, с трудом разжал пальцы старика. При этом выпачкался в крови.

— Дай! — Мария потянулась за листком. Разгладила, отошла к фонарю и прочитала, морщась, как от боли.

— Что там написано? — спросил я.

— «Весны больше не будет»...

— Что?

— «Весны больше не будет».

— И все?..— Я подошел к Марии и заглянул в листок. Он был в крови и на нем в самом деле было написано только четыре слова.

— Весны больше не будет...— проговорила Мария, сложила записку, положила в нагрудный карман и взглянула на меня.— Идем...

Мы продолжили путь. Шли молча. Потом свернули в переулок. Там было темно и безлюдно.

— Боишься? — спросила она.

— Не знаю,— ответил я.— Теперь уже не боюсь.

— Теперь?

— Да, теперь.

— Оружие есть?

— Нет.

— Почему?

— Дорого стоит.

— А при возможности купил бы?

— Не знаю... Наверное...

— Зачем?

— Для самозащиты.

— Как же до сих пор уцелел?

— Дело случая. Подфартило.

— Ты не думал, что как только обзаведешься оружием, в тот же день и... убьют.

— Нет, не думал.

— А как по-твоему, может такое случиться?

— Конечно.

— Какой же тогда смысл? — Мария остановилась и повернулась ко мне. Я тоже остановился. Мы смотрели друг на друга, хотя было темно и ее лицо таяло во мраке.

— Ты можешь спастись... — как-то загадочно проговорила она. Я зажал в руке ее ладонь. — Но можешь и погибнуть, — совсем по-другому, деловито и трезво добавила она.

— Постараюсь спастись, — отозвался я шепотом.

— Я живу здесь, — сухо сообщила она.

— Завтра приглашаю тебя на озеро, — неожиданно сказал я и крепче сжал ее пальцы.

Спокойное озеро сверкало как сталь.

— Когда-то я была на море, — сказала Мария.

— Я тоже, — глухо отозвался я и вспомнил Сиро, который тоже был на море, а теперь продавал в своей лавчонке презервативы.

— Ты кто? — спросила Мария.

— Человек, который боится заглянуть в глаза матери, — тихо ответил я и сам удивился своим словам.

— Кто ты? — повторила Мария.

— Человек, который может равнодушно уйти оттуда, где на глазах у сына насилюют мать, — отозвался я и почувствовал, как тяжесть навалилась на меня.

— Кто ты? — еще раз спросила Мария.

— Человек, убедившийся в собственном бессилии, — прохрипел я.

— Кто ты? — не отставала Мария.

— Человек, который сознает, что живет в большом городе, — голос уже не подчинялся мне.

— Кто ты? — настаивала Мария.

— Хватит!! — закричал я. И еще раз: — Хватит!

И в третий раз:

— Хватит!

— Хватит! — тихо повторила Мария.

— Ну что, сын, ты еще не отомстил? — мама обратила ко мне глаза, отражающие весь город.

— Нет, мама, может быть, и не отомщу, — раздраженно ответил я.

— Выходит, ты трус, — голосом, полным укора, бросила она.

— Нет, я не трус! — крикнул я и схватил ее за плечи.

— Трус, — убежденно повторила она.

— Как ты не понимаешь! Все это глупо, нелепо, бессмысленно! Пойми же! Пойми! — вне себя от досады и гнева, я что было сил тряс за плечи больную мать; на губах у меня выступила пена.

— Убийца твоей сестры не должен ходить по земле! — она сказала это так, что кровь заледенела в моих жилах. Сказала, и я увидел, как из ее глаз двинулось на меня чудище, обросшее беззаконными домами, пушками, одно-руками и одноногими мужчинами, изнасилованными женщинами, мозгами в луже крови, измятым листком, на котором написано «Весны больше не будет», развратницей сестрой, зарезанной мутноглазым мужем, мышинными консервами, манифестантами, палящими в воздух из автоматов, поэтом, продающим презервативы — чудище, которое было моим городом, и я не выдержал, рухнул на колени и взмолился:

— Мама! Умоляю, мама! Не говори мне этого, мама! Пойми, что так нельзя! Поверь, больше нельзя так! Поверь и не мучай меня, мама! — сердце чуть не вырвалось из меня вместе с этими словами, я упал на пол и уткнулся лицом в пыльный ковер. Стало тихо. Ужасно тихо. Я лежал, уткнувшись в ковер и словно ждал приговора. Ждал долго, очень долго. Наконец, мама сказала, сухо и четко:

— Я тебя не понимаю.

Сказала и, шаркая шлепанцами, побрела в свою комнату.

Мария слушала, широко раскрыв глаза. Затем потянулась ко мне и погладила по голове.

— Что мне делать? — в отчаянии спросил я.

— Ты должен спастись, — голос ее дрогнул.

— Знаю, но как?

— Ты должен спастись, — повторила она.

— Не удастся, — безнадежно сказал я.

— Должен, — ее пальцы скользнули по моим щекам.

— Я не смогу. Какой смысл спастись, если все вокруг гибнет?

— А я? — спросила Мария.

Я пожал плечами. Мария нахмурилась.

— Я устроился на работу. В крематорий, — сообщил я, погодя.

— Что ты там делаешь?

— Укладываю трупы на вагонетку, которая везет их в печь.

— Брось эту работу.

— А деньги?

— Брось! — громче повторила Мария.

— Подохнуть с голоду?

— Брось! — Мария почти кричала.

— Лучшей работы не найти. Покойники самые безобидные.

— Давай поедом на море, — неожиданно предложила она.

— Море далеко.

— Все равно.

— Море за пределами нашего города...

— Ну и уйдем из города!

— Где уж нам! Не выйдет...

— Почему?

— Там мы никому не нужны.

— Не беда.

— К тому же нас не выпустят.

— А тайно, мы украдкой...

— Не получится.

— Попробуем!

Я удивленно взглянул на нее.

— Если я уйду, мама умрет.

— Твоя мама злая, — проговорила Мария.

— Мама есть мама, — ответил я.

Спокойное озеро сверкало как сталь...

— Давай шустрой! — раздался окрик надзирателя, но я не слушал его.

Передо мной была та самая молодая женщина, которой я уступил банку мясных консервов. Пуля попала ей в рот. Передние зубы были выбиты и верхняя губа, превратившаяся в засохшее кровавое месиво, прилипла к ноздрям. Несмотря на изуродованную нижнюю часть лица, я все-таки узнал ее. Ну, конечно, это она, я не сомневался... Я поднял ее и забросил на вагонетку. У нее осталось четверо детей... И зачем нарожала столько!.. Разве детям место в мире, где старики, взявшись за руки, прыгают с балкона многоэтажного дома? Неужели на свет стоит появиться для того, чтобы увидеть, как насилуют твою мать и убивают сестру! А если каким-то чудом они выживут и вырастут, то как им не проклясть родителей, породивших их там, где невозможно жить!..

— Э, ты чего филионишь? — орал надзиратель.

Я поспешно подхватил труп тощей старухи, забросил на вагонетку и с досадой подумал: «Будь оно неладно, рабочий день никак не кончится!..» Я выдохся, обессилел. Вспомнил Марию. Неужели она и впрямь такая длинноногая и некрасивая, как говорит? Очень может быть... Но все равно Мария права: работу в крематории надо бросать и ехать на море. Если не на море, то хотя бы к озеру. Увезти туда маму, поселиться на берегу и жить... Я, мама и Мария, все вместе... Но ведь мама не увидит моря. Да и озера тоже. И опять привяжется ко мне: убил ли я зятя. О, как было бы прекрасно вдруг обнаружить его среди этих

трупов! Хотя бы кто-нибудь всадил ему пулю в лоб или в брюхо, пусть даже случайно! Тогда, наконец, я перевел бы дух и, может, избежал бы общей участи... Но покамест труп зятя, увы, не попадался. Судьба вручила его жизнь мне: захочу убью, захочу помиую.

Завыла сирена. Слава богу! Я забросил на вагонетку последний труп, снял спецодежду и поспешил к выходу.

Улица была перекрыта. По ней к центральной площади на грандиозный митинг, посвященный защите прав человека, спешили сторонники правительства. Вдруг мне почудился звон гитары. Я пошел на звук и увидел лысого старика. Наряженный во что-то очень пестрое, с серьгами в ушах и нарисованным на лбу ярким цветком, он сидел у витрины порномагазина и пел:

Цветок взошел в моем мозгу,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в твоём мозгу,
Да взойдет цветок, хей...

22

Я остановился неподалеку и стал наблюдать. Старик пел самозабвенно. Можно было подумать, что он никого вокруг не замечает, впрочем, и на него не обращали внимания. Во всяком случае, никто не останавливался, разве что недовольно косились в его сторону и ускоряли шаг. Голос у старика дрожал, дребезжал, вибрировал, и мне вдруг показалось, что он может разбиться на осколки и разлететься по тротуару, по улице, по всему городу... И люди пройдут по звонким осколкам грязными башмаками. А утром выйдут дворники, сметут рассыпавшуюся по городу песню и свалят в мусорные урны. И еще мне показалось, что старик предвидел все это, знал, что так оно и будет, и все-таки пел...

Цветок взошел в моем сердце,
Цветок взошел, хей...

Пел старик, задрал голову, серьги в его ушах дрожали, и пальцы его рук дрожали, и голос дрожал, дребезжал, вибрировал, и вдруг я почувствовал, что тоже задрожал и запел вместе с ним:

Цветок взошел в моей душе,
Цветок взошел, хей...

Мы пели... Мы двое, он и я, я и старик, потрясающий старик, лысый, в пестром тряпье, с цветком на лбу и на груди. И мы пели...

А потом... Потом песня кончилась, старик опустил задранную вверх голову, увидел меня. Долго разглядывал. Наконец спросил:

— Ты кто?

— Человек, который боится посмотреть в глаза матери, — ответил я.

— Иди сюда, — сказал он своим вдребезги разбитым голосом и похлопал рукой по тротуару. Я подошел и сел рядом.

В это время на центральной площади начался митинг. Громкоговорители доносили его до нас.

— Наш священный долг — защита прав человека! — вещал оратор. — Мы должны добиться того, чтобы человек чувствовал себя свободным и счастливым, независимым и защищенным. Это наша прямая обязанность и главная цель, и мы уверены, что достигнем ее! — площадь взорвалась аплодисментами. Оратор смолк, переживая, когда шквал стал стихать, воскликнул: — Верьте, мы добьемся своего! Мы восстановим в городе порядок! Мы превратим наш город в земной рай! Мы победим! — при последних словах он пустил «петуха», но это не ослабило гром оваций. «По-бе-дим! По-бе-дим!» — дружно скандировала толпа и гул с площади докатывался до нас.

Старик грустно взглянул на меня:

— Пошли отсюда...

— Куда?

- Ко мне.
- К вам?
- Да. В гости... Пойдешь?
- Пойду,— ответил я.

У старика была однокомнатная квартира над тем самым порномагазином, у витрины которого он пел свои песни. В комнате было много книг и еще больше цветов — желтых, красных, белых...

- Откуда столько? — изумился я.

— Из города,— ответил старик.— Представь себе, в городе тоже растут цветы, только их никто не видит, и все они достаются мне. Цветы всего города — мне одному! Вот я и собираю их...

В комнате стоял удивительный запах. Он напомнил мне море. Море и Марию... А старик неожиданно сказал:

- От тебя пахнет.
- Пахнет? Чем?
- Трупом...

Я содрогнулся. Исчезли море, Мария, цветы — их место занял крематорий... И молодая женщина, мать четверых детей, которой я уступил банку мышиных консервов и которой пуля выбила передние зубы... И старик со старухой, рука об руку падающие на мостовую... И зять, перерезающий горло моей сестре. И еще многие, многие другие. А под конец мой собственный труп предстал передо мной, и я увидел воочию, как наклоняюсь, поднимаю его и бросаю на вагонетку.

— Эй, что с тобой? — старик потрепал меня по щеке.— Не волнуйся, ничего особенного...

Я поднес руку к носу и понюхал. Тлетворный запах разложения и засохшей крови, переполнявший крематорий, пристал ко мне во всем своем тошнотворном многообразии оттенков, и я нес его на себе. Я смердел.

- Вы правы,— глухо проговорил я и добавил.— Я работаю в крематории.
- Давно?
- Уже несколько дней.
- Да...— задумчиво протянул старик.— Но причина не только в этом.
- О какой причине вы говорите?

— Ну ничего, от других и не так разит!..— старик взглянул на меня, стер с лица брезгливую гримасу и сказал: — Приходи ко мне почаще и все будет хорошо... У моих цветов волшебная сила, они передадут тебе свой запах...— с этими словами он вынул из вазы букет ромашек, подошел к крану и сменил воду.

— А почему ты не можешь смотреть в глаза матери? — спросил он, покончив со своим делом.

- В них отражается весь город,— тихо ответил я.
- Ты любишь мать?
- Не знаю... Раньше любил, а теперь, пожалуй, нет.
- А город?
- Ненавижу,— с отвращением процедил я.
- В том-то все и дело! — кивнул старик.

Мама спала. Я подошел и осторожно поцеловал ее в щеку... Потом в лоб... Потом поцеловал ей руку... Потом хотел поцеловать глаза, но не смог. Испугался, что она вдруг проснется и раскроет их...

- Мария, ты чувствуешь какой-нибудь запах?
- Нет.
- Ну-ка, принюхайся как следует.
- Мария старательно втянула ноздрями воздух и покачала головой.
- Нет...
- Понюхай, пожалуйста, мои руки. Неужели ничем не пахнут?
- Удивленная, Мария поднесла мои ладони к носу.
- Нет. А чем ты можешь пахнуть?

— Трупом.
 — Перестань! — проговорила с укором.
 — Он говорит, что от меня пахнет трупом.
 — Кто — он?
 — Старик.
 — Что за старик?
 — Есть такой старик, поет о цветах. И дома у него стоят цветы.
 — Цветы? — Мария вдруг переменялась в лице. — Мне никто никогда не дарил цветов.

— Никогда? — удивился я.
 — Я ведь некрасивая, — она виновато улыбнулась. — Ты забываешь, что у меня длинный нос с горбинкой и жесткие, всклокоченные волосы. А теперь даже красавицам не дарят цветов.

— Я подарю тебе цветы, — взволнованно проговорил я.

— Здравствуйте!.. Можно?
 — А, здравствуй, здравствуй!.. Заходи.
 — Решил навестить вас... Позволил себе, раз вы пригласили.
 — Молодец! Хорошо, что пришел! — старик похлопал меня по спине и повел в комнату. — Садись!

Мне показалось, что цветов стало еще больше. И цветок, нарисованный на лбу у старика, тоже был больше прежнего.

— В тот раз я не спросил вашего имени, — смущенно проговорил я. — Все как-то так случилось...

— Ничего, — успокоил старик. — Меня зовут Мафусаил.

— Мафусаил?

— Да, Мафусаил, и мне 969 лет.

Я усмехнулся.

— Не веришь? Ничего не поделаешь, никто не верит. А ведь мне и в самом деле 969 лет, как нашему городу. Мы с ним ровесники. Очень давно на этом месте было чистое поле. Потом пришло кочевое племя. Им понравилось место — сперва они разбили лагерь, потом построили город и стали жить. В тот самый год я и родился. И с тех пор живу, тащу на себе бремя жизни. Я помню все, что связано с этим городом, праздники и дни скорби, мир и войну, изобилие и голод... Я знаю все его тайники и закоулки, все его достоинства и недостатки. И все чаще мне кажется, что погибну я тоже вместе с ним... — Мафусаил глубоко вздохнул и уставился на меня. Смотрел, смотрел, потом сказал: — А ведь похоже, что я скоро умру. Я болен. Очень болен...

— Нет! — прервал его я. — Вы не больны. Это город болен. Я болен, моя мать больна, Сиро, президент, надзиратель в крематории, манифестанты, мой зять. Все, все мы больны. Может быть, даже Мария, но только не вы. Вы единственный здоровый человек в этом городе! — я разволновался, размахивал руками.

Мафусаил внимательно слушал меня. Когда я смолк, он странно, словно бы через силу улыбнулся:

— Тебе так кажется, но ты ошибаешься... Знаешь, сколько человеческих жизней на моей совести?

Потрясенный таким признанием, я во все глаза смотрел на него. А он опять через силу улыбнулся и продолжал:

— Не знаешь... И я не знаю. Потому что их число очень велико. Ты знаешь, сколько предательств на моем счету? Не знаешь. А я тебе скажу, что очень много. Знаешь ли ты, что я обесчестил собственную дочь? Не знаешь. А я знаю, и до сих пор не нахожу себе покоя. Знаешь ли ты, что я подлил яд своему отцу? Не знаешь. А я очень хорошо помню это... Знаешь ли ты, что я ограбил сотни людей и оставил без гроша за душой? Не знаешь. А я знаю. Знаешь ли ты, что никто не сравнится со мной в распутстве, пороке и разврате? Не знаешь. А я знаю... Я все знаю! Знаю, что я самый грешный человек в этом городе, самый несчастный человек в этом городе, самый больной человек в этом городе...

Из глаз Мафусаила катились слезы. Я понурился и сник. Навалилась пауза.

Долгая пауза — безмолвное чудовище, червивыми зубами грызущее кору головного мозга, сердечную мышцу, мочевой пузырь, двенадцатиперстную кишку... И что-бы как-нибудь прервать эту пытку, я сказал:

— Не может быть...— и еще, погода.— Невероятно...

— Почему? — Мафусаил утер слезы.

— Вы такой добрый, такой спокойный и мудрый... Вы поете такие чудесные песни... У вас дом полон цветов... Нет, не может быть,— повторил я, поднял голову и посмотрел на старика.

— Ты прав,— сказал Мафусаил.— Все это и в самом деле плохо сочетается, но в том-то и заключается превратность моей судьбы. Я прозрел... Прозрел, в сущности, недавно и увидел всю свою мерзость. И взвалил на себя этот смрадный, тлетворный груз, всю эту грязь и несую. Пуще того — на мне виснут грехи и преступления всего города... Я и город — мы срослись. Нас различает только одно: я знаю, что грешен, город же этого о себе не знает. Но скоро я умру, и тогда городу придется самому владеть груз своих грехов. И тогда он осознает, увидит воочию, что собой представляет. Увидит, и в последней агонии возмечтает об искуплении грехов. Станет собирать цветы, петь странные песни и плакать, но будет поздно, безнадежно поздно... И город умрет, подобно мне, умрет в ясном уме и трезвой памяти, исполненный презрения и отвращения к себе. И, представь, с любовью. С любовью — беспомощной, бесконечной, необъяснимой, безумной любовью ко всему, что погибло из-за легкомыслия, глупости, неадекватности, ко всему, что могло принадлежать ему, но утеряно навсегда. Умрет как я, умрет обреченный, со странную песней на устах...

Мафусаил грустно поднялся из кресла, взял гитару и запел:

Цветок взошел в сердце моем,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в сердце твоём,
Да взойдет цветок, хей...

В крематорий привезли новую партию трупов. Надзиратель сказал, что по большей части это противники правительства, собиравшиеся на манифестации протеста.... «Так им и надо, заслужили!» — процедил он сквозь зубы, грозно глянул на нас и каждого смерил взглядом. Убедившись, что никто не возражает, гаркнул: «Чего глазеее? Живо за дело!»

В крематории увеличили штаты, у меня появился напарник — пожилой коренастый мужик со шрамом поперек лица и мутным, оледеневшим взглядом. Теперь работа пойдет полегче. Я буду брать труп за руки, он — за ноги, или наоборот и — хоп! — на вагонетку... Напарник оказался бузотер — каждую минуту затевает спор, матерится, угрожает. Но только если поблизости нет начальства. Стоит кому-нибудь из них появиться, как бузотер превращается в ягненка... Я, говорит, с тобой временно и скоро сам заделаюсь надзирателем, тогда вы у меня попляшете!..

В перерыве он, чавкая, пожирал повидло из тараканов и ворчал: «Скоро и мышинных консервов не коснусь — только тушеная собачина и вяленые кошки...»

После перерыва в груди тел я опять обнаружил знакомую, только никак не мог вспомнить, где мы виделись. Женщина была примерно моего возраста, если не моложе, автоматная очередь прошла ее сверху вниз. Возможно, я даже переспал с ней когда-то, но не помнил. Мой напарник прорычал: «Чего пилишься на эту блядь! Хватай за щиколки!» — и вмазал ей сапогом пониже пупка. Я нагнулся, взял женщину за ноги, вместе мы раскатали тело, бросили. И пока она летела в воздухе, я вспомнил: нет, я не спал с ней, это была подруга сестры, несколько раз я видел их вместе, и однажды она к нам приходила. Черт побери! Из-за нее опять вспомнилась сестра, а за сестрой зять, которого я должен убить. Господи, что тебе стоит подбросить в такую грудку мертвяков моего зятя! Каждый божий день молю тебя об этом, только об этом и ни о чем больше, а ты отказываешься... Хочешь, я приду в церковь и поставлю тебе большую свечу, только избавь меня от муки...

Церковь оказалась запертой. Сторож сказал, что она открывается по воскресеньям с двенадцати до трех. «А как в других церквях?» — спросил я. «В каких еще других?! — удивился сторож. — Остальные и вовсе позакрывали. Эта одна осталась, да и ее порноконцертноровит прибрать к рукам — перделать в блудилище...»

Я ушел. По дороге встретил Сиро. Мы давненько не виделись. Я рассказал о Марии и Мафусаиле. Про Марию он спросил: «Красивая?» — «Красивая», — сказал я. Почему-то промолчал про ее длинный нос с горбинкой и жесткие волосы. О Мафусаиле он сказал, что знает его и что он сумасшедший. «Никакой он не сумасшедший», — обиженно возразил я. «Ну ты даешь! — засмеялся Сиро. — Слыханное ли дело, чтобы человек жил 969 лет!» — «А Мафусаил жил», — уперся я. «Не кажется ли тебе, что ты тоже сходишь с ума?» — ответил он. Словом, мы не поняли друг друга. Затем Сиро неожиданно спросил:

— Купил сборник моих стихов?

— Нет... забыл... Вернее, не смог... дела... — беспомощно оправдывался я.

— Так я и знал, — он иронически усмехнулся. — Лучше предложу-ка тебе презервативы. Погляди! — и извлек из кармана пачку. — Высший сорт, с усиками. По знакомству уступлю за полцены.

— Не хочу... — пробормотал я.

— Почему? Ты что, не интересуешься женщинами? Что же в таком случае ты делаешь в свободное время? Стихов не читаешь, на концерты не ходишь, на выставках не бываешь, митингов и манифестаций сторонисься, в вооруженные отряды не записываешься. Единственное твоё занятие — грузить трупы на вагонетку, но это в рабочее время. Объясни, пожалуйста, чем заполняет досуг такой человек, как ты? — в голосе Сиро послышалось раздражение; похоже, он серьезно досадовал на то, что я не прочитал его книжку, и, говоря по совести, его можно было понять. — Ну, чего молчишь? Скажи что-нибудь! Если хочешь знать мое мнение, глупо упускать такой шанс. Презервативы экстра в полцены! Другой на твоём месте с руками бы оторвал! — горячился Сиро, размахивая передо мной толстой пачкой.

— Ладно, беру, — вдруг решил я. — Сколько с меня?

— Смотря сколько возьмешь! — усмехнулся Сиро. — Штука — десять, десятков — столько... Лучше бери все. Обойдется в тыщонку, а хватит надолго, может, до конца жизни. Состаришься, обессилеешь, используешь последний и — привет. Потом только пепел и дым из трубы родного учреждения. Фюить! — Сиро сложил губы трубочкой, подул и расхохотался.

А я вдруг замахнулся и влепил ему пощечину. Получилось как-то само собой. Я вовсе не собирался этого делать и от неожиданности растерялся. Он тоже переменился в лице, саркастическая улыбка оледенела на губах. Посмотрел мне в глаза. Рассеянно провел рукой по лбу, уголки его рта медленно опустились. Он был поражен моей выходкой и в растерянности топтался на месте.

— Извини... — проговорил он наконец. Помолчал, подумал, еще раз повторил: — Извини... — повернулся и пошел.

Я тоже пошел. Отыскал книжный магазин и купил сборник стихов Сиро.

— Обещал одной девушке подарить цветы, — сказал я Мафусаилу.

— Вот и прекрасно! — подхватил он.

— Но... — я запнулся и слегка развел руками.

— Что — но?

— Цветов нигде нет, — ответил я смущенно. — Во всяком случае, я не нашел. Мафусаил сощурился.

— Видно, плохо ищешь... — и обвел взглядом цветы, переполнившие его жилище.

— Обошел весь город, и нигде ничего, — сокрушенно повторил я. — Ни в парке, ни на газонах, ни у озера.

— Я же сказал — плохо ищешь.

— Но я же не слепой. Попадись цветок, увидел бы...

— Когда ты встречаешься с девушкой?

- Сегодня вечером.
- Пошли,— сказал он.
- Куда?
- Собрать цветы.

Вышли на улицу. Пройдя немного, Мафусаил остановился и указал мне на канализационный люк.

- Открой!
- Зачем?
- Открывай, когда говорят! — строже повторил он.

Я недоуменно подчинился.

- Теперь лезем,— сказал он, странно улыбаясь.

Полезли. В канализационном колодце смрад такой, что пришлось зажать нос. Мафусаил перелез через трубу. Я за ним. Он достал из кармана фонарик, протянул мне.

- Ищи!

Я засветил фонарик и стал недоверчиво озираться. Мафусаил присел на трубу.

— Здесь ничего нет,— у меня закралось сомнение: уж не разыгрывает ли старик.

- Ищи, ищи хорошенько,— подбодрил он.

Я присмотрелся внимательней. Луч фонарика высветил под трубой что-то лиловое. Наклонился — фиалки!

- Нашел! — воскликнул я.
- Я же говорил,— довольно пробормотал Мафусаил.

Нарвав букетик фиалок, я подошел к старику, присел рядом.

- Никогда бы не подумал, что здесь могут расти цветы!

— Это я,— он повел рукой вокруг.— И ты... И другие... Весь город... Никто не верит, что в канализации могут расти цветы... Я один поверил, и в этом мое превосходство. Больше ни в чем,— Мафусаил поднес фиалки к лицу.

Когда вылезли из люка, я спросил:

- Скажи пожалуйста, от меня опять трупный запах?
- Да,— жестко ответил он.

Даже сердце оборвалось. Прошли еще немного, и я, словно цепляясь за соломинку, спросил:

- Пахнет как раньше, или поменьше?

Довольно долго старик молчал, только когда терпение мое иссякло, пробурчал неохотно:

- Почти так же...

- Здравствуй, Мария!
- Здравствуй! — Мария пожала мне руку и слабо улыбнулась.
- Это тебе! — сказал я и протянул ей фиалки.

Лицо Марии просияло.

— Большое спасибо! — выдохнула она.— Ты первый, кто дарит мне цветы. Первый и, скорее всего, последний... Я никогда тебя не забуду,— голос ее дрогнул, глаза наполнились слезами. Она взглянула на меня, обняла вдруг за шею и поцеловала в губы. Я смутился. Она тоже была смущена. Наступило неловкое молчание. В конце концов опять заговорила она.

- Прости меня.
- О чем ты? Что прощать?
- Прости... Ты говорил, что тебе не хочется меня целовать.
- Нет, нет... Я не говорил этого.
- Сказал!

— Не говорил... А если и сказал, значит, соврал... Или имел в виду совсем другое.

- Другое? Что?

Я беспомощно пожал плечами.

— Вот видишь,— со значением подчеркнула она.— Не хочешь признать правду. А правда в том, что я уродина.

— Нет! — вскричал я и порывисто обнял ее. — Нет!
Мария оттолкнула меня.
— Отстань! — вырвалась и побежала.
Я за ней.
— Мария, что с тобой?
— Я не Мария! — досадливо отмахнулась она.
— А кто же ты? — оторопел я.
— Меня зовут Агрипина. Марию придумал ты.
— Нет, ты больше не будешь Агрипиной! Ты будешь Мария! Моя Мария!
— Твоя? — Мария вдруг остановилась. — Но что ты знаешь обо мне? Кто я?
— Знаю!
— Ничего не знаешь!
— Даже если и так, — горячо возразил я. — Я не знаю и не хочу знать. Меня это не интересует!
— Нет, тебя это очень интересует! Но в конце концов, ты должен знать все!
Идем! — повелительно бросила она и пошла.
— Куда?
— Ко мне, — ответила сухо. — Там все узнаешь.

Мария достала из сумки ключ и отперла дверь.

— Входи! — сказала тихо.

Мною овладело странное и неприятное предчувствие, я не сомневался, что увижу за порогом нечто страшное. И все-таки ступил в коридор. Мария шла следом. В комнате было темно. Мария нажала на выключатель, и вместе со щелчком я услышал какое-то противное хлопанье. Оглянулся на звук... и — волосы у меня встали дыбом, а в живот вполз омерзительный варан и впился в мои внутренности. Крик застрял в глотке. Ко мне со странным хлопающим звуком ползло маленькое отвратительное существо о двух головах. Одна голова была большая, вислоухая и плосколицая, с ввалившимися глазами и широко разинутой коричневой пастью, из которой свешивался кроваво-красный язык, текла пена и неслись всхлипы, скулеж, сипение — все попеременно; вторая голова, маленькая и удлинённая, походила на перезревший огурец и вяло свешивалась на бок. На ее сморщенном, старческом лице горел единственный глаз, большой желтый глаз, казалось, видевший все разом, всюду проникавший и все пронизывающий — меня, стены, горы, преисподнюю и небеса... Я замахал руками и невольно попятился, тогда как Мария удивительно мягко и ласково сказала:

— Как ты тут, мой дорогой? — и погладила подползшее существо по большой голове. Существо сразу успокоилось и стало лизать Марии руки.

— Мария! — потрясенный, я едва сдерживал гадливость и ничего не понимал. Отвел взгляд от уродца, попятился. При звуках моего голоса уродец опять заволновался — затрясся и разинул пасть, желтый глаз вспыхнул — и меня словно от волос до ногтей пронзило током. Тошнота подступила к горлу, захотелось бежать как можно дальше, исчезнуть, укрыться от этого всепроникающего желтого взгляда. Я так бы и сделал, если б не Мария, которая вдруг произнесла нечто настолько непостижимое, что у меня подкосились ноги, вернее, обмякли, как гусеницы, и чтобы мне тоже не повалиться на пол и не поползти на четвереньках, вроде этого уродца, я ухватился за дверную ручку. А Мария... Мария негромко сказала:

— Это мой сын.

Да, вот так и сказала, в точности так. Еще раз погладила его по голове, на этот раз по длинной и увядшей, похожей на перезревший огурец, улыбнулась (о, Господи, не дай мне сойти с ума!) и взглянула на меня... Взглянула, и я понял, что вот-вот и впрямь свихнусь. Глаза Марии, зеленые и ясные, в которых я без искажения видел себя, всевидящий желтый глаз этого уродца, проникающий во все закутки моего существа, и еще глаза моей матери, поджидающие, где-то рядом, с запечатленным в них больным городом, в котором живет мой зять, которого я должен убить, и Сиро, который пишет замечательные стихи и которому я дал пощечину, и мой напарник, который станет надзирателем, подзаправится вяленой кошатинной и задаст мне жару, и Мафусаил со своей песней и цветком

на лбу, который все равно останется убийцей, предателем и насильником — все-все это вместе взирает на меня с укором и насмешкой. И я не могу спрятаться, ибо всюду, на всех стенах проступили эти глаза, я не могу бежать, ибо ноги мои превратились в дряблые гусеницы, и я не могу ничего, совсем ничего, не могу даже покончить с собой, ибо слишком труслив и слаб для этого... И в негодовании от своего бессилия, я засунул в рот все свои десять пальцев и с такой яростью стиснул зубы, словно впился в ненавистный мне мир; наконец-то я мог изгрызть ему горло, вспороть брюхо и выпустить потроха, и терзать их, кромсать, рвать. Мой рот наполнился сладковатой кровью с привкусом блевотины, а слуха достиг крик Марии и слюнявые всхлипы уродца, и в темных глубинах сознания мелькнуло, что я победил, ненавистный голос все слабее, слабее и — смолк, и сознание мое, одурманенное иллюзией освобождения, медленно погрузилось в просторную тишину...

В церкви было малоллюдно. Безногий мужчина в тележке на подшипниках перед иконой Иоанна Предтечи, старуха на коленях посреди храма да сопливый пацаненок лет десяти, грызущий подсолнух у белой колонны. Я купил свечу, подошел к иконе Вседержителя, зажег. Хотел прочитать какую-нибудь молитву, но не знал ни одной, а только три раза кряду пробубнил — «Господи, помилуй», перекрестился и добавил: «Аминь». И вдруг почувствовал пустоту. В теле, в душе, в голове — везде. И ясно, отчетливо осознал, что во мне не было Бога, и чудовишной фальшью показались крестные поклоны, бормотание и горящая свеча. Я только и смог, что сказать:

— Господи! Господи, которого нет во мне, и я не знаю, есть ли ты хоть где-нибудь! Скажи, почему так происходит? Скажи, почему тебя нет во мне, когда душа моя жаждет тебя. Тебя жаждет мое сердце, мой мозг и моя кровь. Я хочу, чтобы ты был, как крепость, и я, как твой маленький бастион. Но я всего лишь разоренная щелястая хибара, и все-таки я жажду спасения, хочу уцелеть, отстроиться заново, и в отчаянии ищущий, кто бы мог мне помочь... Но стоит подумать, что вот человек, опершись на которого я спасусь и уцелею, как ты тут же растаптываешь его, обращаешь в пыль. Ты не оставил мне никого — ни сестру, ни мать, ни Сиро, ни Мафусаила, ни Марию... За что, Господи? За что? Почему ты хочешь убедить меня, что в этом городе все такие же ничтожные, как я? Все грешные, все больные, все убийцы, прелюбодеи, и нет никого кто не заслуживал бы презрения? Я хочу понять, зачем тебе это, что тебе от нашего ничтожества? Почему ты внушаешь мне то, что окончательно погубит меня?..

Я поднял голову, посмотрел на икону Вседержителя — и увидел, что он тоже смотрит на меня. Смотрит и взглядом своим хочет что-то сказать, даже не хочет, а говорит. Но я не понимал, что вещают эти глаза, чего требуют от меня... Я легко читал в глазах матери, в глазах Марии, даже в желтом глазе маленького уродца мог вычитать то, чего совсем не хотел знать; сейчас же, когда, наконец, встретил взгляд, говорящий мне нечто жизненно важное, необходимое, я оказался бессилен...

Тут в церкви раздался гулкий и строгий голос. Я вздрогнул. Обернулся. Увидел седобородого священника с крестом на груди и скипетром в руке. Хотя, пожалуй, это был епископ, католикос или патриарх — кто-то из церковных иерархов, одно из высших духовных лиц, я не разбираюсь в их чинах. Он начал проповедь. Народу в церкви прибавилось, теперь нас было человек двенадцать...

— Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, — начал он своим гулким и суровым голосом. — К вам обращаюсь я, грешные и больные, убийцы и изменники, распутные и падшие духом! — холодок пробежал по телу, я почувствовал, как кожа моя покрылась пупырышками. — Все вы, кто своим присутствием оскверняет храм Господень, и все, кто вне храма оскверняет мир поднебесный, Божьи создания, слушающие меня и не слушающие, я обращаюсь ко всем без различия, ибо нет среди вас того, кто услышал бы слово Господне, потому как все вы оглохли, потому как все вы ослепли, и не стало смысла в проповеди... Сегодня я в последний раз исполню долг свой перед Господом и перед вами и оставлю пристанище Всевышнего на поругание сатане. Покину, по вашему настоянию и с вашей помощью, ибо храм сей больше не нужен Господу. Он нужен вам, но

вы не сознаете этого! И да воздастся вам то, чего вы просите и воистину станет вам храмом! И вы станете ходить туда во множестве, и взирать на изображение порнозвезды там, где прежде была икона Пресвятой Девы!..— первосвященник воздел руку со скипетром в ту сторону, где висело изображение Божьей Матери.— И вы станете плясать, задирая ноги и вихляясь, и почувствуете себя счастливыми, и возблагодарите Бога за то, что он явил вам идола с такими крутыми бедрами, такой высокой грудью и такими чувственными губами! Так идите же — храм сатаны открыт для вас! Идите, грешные и больные, прелюбодей и прелюбодейки, убийцы и предатели, бесстыжие и бесчестные! Пусть никто не скажет, что не войдет сюда! Все войдете! Все! И ты! И ты! И ты! — он поочередно указывал рукой со скипетром на каждого, кто стоял в храме. Указал на меня.— И ты войдешь! Да, да, тем более, что ты случайно забрел на эту проповедь. В последний раз напомним вам одну из притч Иисусовых: «Вышел сеять, и одни семена упали на дорогу, и птицы склевывали их. Другие упали на камни и быстро проросли, но засохли и погибли, ибо не было у них глубоких корней, третьи упали среди колючек, и взошли колючки и заглушили ростки так, что они не принесли зерна. Остальные же семена упали на благодатную почву, пустили ростки и дали богатые всходы...» И горе нам, ибо нигде не осталось у нас благодатной почвы, кругом только тернии и камни! Знайте же, что вы и есть колючки и тернии, глушащие слово Божие... Впрочем, мне следовало бы говорить это не вам, а себе, ибо самая большая глупость, которую я совершил в жизни,— эта проповедь! Воистину, суета сует! И все-таки, коли я заговорил, скажу: придут последние времена и сатана покинет вас и не станет у вас заступника ни на небе, ни в преисподней. Вы возмечтаете о сатане, но он захохочет и отречется от вас. Но вы не возмечтаете о Боге, ибо к тому времени забудете его. И останется вам единственное упование — смерть. Вы будете мечтать о смерти! Но и смерть не придет к вам, ибо сказано в пророчестве: «И будут в те дни люди искать свою смерть, но не найдут ее, пожелают смерти, но смерть будет бежать их...» И тогда вы превратитесь в вечных грешников, вечных прелюбодеев, вечных предателей и убийц и будете вечно страдать и маяться. И да будет проклят ваш род, ваш корень и семья ваша, и будьте вы прокляты ныне, присно и вовеки веков! Аминь!

Первосвященник поднял голову, воздел вверх дрожащие руки, из его горла вырвался звук, похожий на рыдание, он замер, и гробовая тишина охватила храм. Я не знаю, сколько времени продолжалось это... Первосвященник стоял, воздев скипетр, с лицом грозным и горестным, и мы, как замороженные, смотрели на него... Потом вдруг кто-то расхохотался. Расхохотался — гнусно и громко, повернулся и пошел к выходу. Пройдя несколько шагов, остановился, обернулся, плюнул сквозь зубы и пошел дальше. Когда он проходил мимо меня, я увидел, что это юноша лет двадцати, смазливый и, по нынешним временам, довольно хорошо одетый. Он неторопливо шел к выходу и на его лице играла презрительная улыбка. Подошел к выходу и собирался ступить за порог, как вдруг грянул гром! Юноша пошатнулся и упал. Потрясенный, я оглянулся: в вытянутой руке первосвященника чернел револьвер. В левой руке скипетр, в правой — револьвер. Несколько мгновений он стоял так, не шелохнувшись, потом взглянул на оружие, поднес к виску и еще раз выстрелил...

Спокойное озеро сверкало как сталь.

Я сел и уставился на воду. Ни о чем не хотелось думать... Ни о воде, ни об озере, ни о море... Хоть бы стать ничем... Пустым местом... Но я все равно думал. Думал о том, что хотел стать пустотой и ничем, и потому не был тем, чем хотел стать, потому что хотел чего-то...

Сидел долго.

Солнце склонилось к закату и стальное озеро порозовело.

Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Я оглянулся. Это была Мария. Мы не виделись с того дня.

— Здравствуй,— сказал я и попытался улыбнуться.

— Здравствуй,— ответила она и села рядом.

Я не знал, о чем говорить. Мария тоже молчала. Время от времени мы

смотрели друг другу в глаза и тут же отводили взгляд... Наконец, когда молчание стало невыносимым, она сказала:

- Я тебе отвратительна?
- Нет,— глухо проговорил я.
- Отвратительна.
- Нет,— повторил я.
- Ты меня любишь? — спросила она.
- Нет,— тяжело отозвался я.

Солнце наполовину село.

— Я почти каждый день поднималась сюда,— немного погодя сказала Мария.— Знала, что когда-нибудь встречу тебя.

- Помнишь, ты просила отвезти тебя на море.
- Помню.
- И я отказался, сказал, что мама умирает.
- Помню.
- Тогда я думал, что ты свободна. Но оказалось, это не так...
- Да...
- Ты могла бы оставить его?

Наступила пауза. Тяжелая, бесконечная. Наконец Мария ответила:

- Нет.
- Я удивленно посмотрел на нее.
- Не понимаю.
- Оставить — нет. Я убила бы его и пошла бы с тобой.

В ушах у меня опять прогремел выстрел и перед глазами возник священнослужитель с револьвером в руке.

- Не говори так! — воскликнул я.
- Я убила бы его! — безжалостно повторила Мария.— Убила и пошла бы с тобой... Потому...— у Марии дрогнули скулы.— Потому, что я люблю тебя больше, чем его...

Стемнело. Спокойное озеро почернело. И я сказал:

- Кто любит, тот не убивает.
- Нет. Убивает... Убивает того, кто мешает любви,— прошептала Мария.
- Даже сына?
- Даже сына,— отозвалась Мария и погода добавила: — Тем более, сына-

уродца.

- Ты не права,— неуверенно сказал я.

Мария молчала.

Мафусаил сидел на тротуаре и пел:

Цветок взошел в сердце моем,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в сердце твоём,
Да взойдет цветок, хей...

Я подошел, сел рядом.

- Куда ты пропал? — спросил он, закончив песню.

Я пожал плечами.

Мафусаил всмотрелся, полюбопытствовал:

- Что с тобой происходит?
- Много чего,— ответил я.
- Подарил девушке цветы?
- Подарил.
- Ну?
- Она сказала, что может ради меня убить сына.
- Мафусаил переменялся в лице.
- Сказала, что любит меня больше сына.
- Мафусаил молчал.
- И она сказала, что ее сын уродец.

Мафусаил упрямо продолжал молчать.

— Ее сын и правда уродец, — сказал я. — Мне отвратителен ее сын.

Мафусаил взял гитару и запел:

Цветок взошел в моей душе,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в твоей душе,
Да взойдет цветок, хей...

Мама плакала. Я подошел к ней, погладил по голове, спросил:

— О чем ты, мама?

— Сегодня день рождения твоей сестры...

С балкона многоэтажного дома бросились старик и старуха, летели, держась за руки и кувыряясь, грохнулись оземь, и во все стороны брызнули мозги вперемешку с кровью. В липкой красной луже белел смятый листок. Я подобрал его, разгладил, прочитал:

— Весны больше не будет. Ты убил весну.

Послышалась пальба. Оглянувшись, увидел огромный желтый глаз, зрачок которого пронзила пуля. Рука ощутила холод и тяжесть револьвера. Откуда-то возник седобородый первосвященник и истерически расхохотался. Я выстрелил в него. Промажнулся. Еще раз выстрелил. Опять промахнулся. Первосвященник прямо-таки зашелся в хохоте. Вдруг кто-то набросился на меня сзади, выбил из рук оружие, повалил и стал стегать хлыстом. Я взвыл от боли и все-таки успел разглядеть напарника по работе. В свободной руке он держал кошку. Из кошачьего живота свешивались кишки, она жалобно пищала. Расправившись со мной, напарник принялся за хохочущего первосвященника... И тут, в кровь исхлестанный, я увидел мать: она нетвердо направлялась ко мне и несла в горстях свои глаза; на месте глаз чернели бездонные воронки. Подошла, наклонилась и деловито принялась выковыривать глаза из моих глазниц. Выковыряла и взамен вставила свои. И я увидел Сиро у прилавка, к которому тянулась длинная очередь. Все подходили к Сиро и каждому он надевал на голову огромный презерватив. Пышка с зелеными губами попыталась проскользнуть без очереди — ее забили чуть не до смерти. В очереди стояли главы старых и новых правительств вместе со своими подручными, стоял зять с моей убитой сестрой на спине, стояли надзиратель, первосвященник, рыжая грудастая шалава и в самом конце — Мария со своим уродцем. На его маленькой увядшей голове вместо желтого рдела кроваво-красный глаз; Мария увидела меня, обернулась к сыну и по очереди оторвала обе его головы — сперва маленькую, похожую на перезрелый огурец, затем большую, подошла, схватила меня за уши и, припав к моим губам, засунула мне в рот липкий язык с засохшей на нем кровью. Я не мог дышать, я задыхался, бился, корчился, дрожал, силился позвать на помощь, но не мог; мечтал о глотке воздуха, но не мог, хотел наконец умереть, но не мог и этого...

— Мне приснился ужасный сон, — сказал я Мафусаилу.

— Расскажи, — попросил он.

Я рассказал. Мафусаил слушал, насупившись, потом спросил:

— Меня не было в твоём сне?

— Нет, — несколько удивленно ответил я, только теперь заметив, что во сне были все, кроме Мафусаила. — Странно.

— Вовсе нет, — откликнулся он. — Придет и мой черед. Я стану твоим последним сном...

На следующий день в городе начались бои. Противники правительства пошли на штурм правительственной резиденции. На улицах появились танки и артиллерия. В небе летали боевые вертолеты и бомбили город. Я живу не в самом центре, но даже у нас выходить из дома опасно. И все-таки я выхожу. Большинство предприятий и учреждений закрыты; почти никто не работает. Что же до нас, то в крематории работы прибавилось, трупов поставляют в три раза больше, чем обычно, и зарплату увеличили втрое, но мы так устаем, что к концу

рабочего дня сами уже почти трупы. К тому же этот непрерывный грохот и взрывы! И страх, что в любую минуту можешь взлететь в воздух... Временами я порываюсь бросить работу, но вспоминаю про утроенный оклад и думаю, что, может быть, удастся немного скопить, и если эта война когда-нибудь кончится и я уцелею, то тогда отдохну. Сейчас же глупо торчать в доме и ждать, когда он обрушится тебе на голову от шального снаряда. Работа вносит какое-то разнообразие: отвлекаешься и хотя бы ненадолго забываешь, что в городе война и для тебя тоже не пожалеют парочки патронов — всадить в лоб или в пах, хотя ты не числишься ни в сторонниках правительства, ни в его противниках. Напротив, ты самый что ни на есть нейтральный человек, с одинаковым равнодушием нагружающий вагонетки солдатами обеих воюющих сторон и одним и тем же маршрутом отправляющий их в последний путь. Здесь же должен отметить новую трудность: теперь, когда труп забрасывается на вагонетку, нередко приходится подбирать оторванные руки, ноги, а то и голову... Поначалу это было тяжело, но скоро я привык и даже нашел, что по частям тело гораздо легче, не так устаешь. Да, еще должен сказать, что несколько дней назад моего напарника и в самом деле назначили надзирателем, теперь он буквально сдирает с нас шкуру. Особенно не щадит меня. Раза два я едва удержался, чтоб не впитаться ему в горло. Если и дальше так пойдет, у меня останется выбор: или задушить его, или бросить работу, хотя не знаю, на что мы с мамой станем жить... И вообще, если уж душить, то лучше зятя — хотя бы маму успокою. Но как, в таком случае, быть с надзирателем?.. Оставалось надеяться, что в этом бедламе какой-нибудь добрый человек им обоим раскроит черепа. А до тех пор придется терпеть...

Из крематория вышел с тяжестью на душе. В городе вроде относительно спокойно. Изредка раздавались одиночные выстрелы и короткие очереди. Но не прошел и двадцати шагов, как увидел вооруженные отряды. Поднялась пальба. Я рухнул на асфальт, распластался. Надо мной страшный свинцовый град лупит. Убитые по обе стороны так и валяются снопами. «Каюк!» — подумал я и почувствовал, как намокшие штаны. Гляжу — рядом молодая женщина. Когда слегка пообвыкли и притерпелись, чувство страха притупилось, она подняла голову и глянула одним глазком. Показалось — недурна, и даже очень. Что-то сказала, в свисте пуль не расслышал.

— Что вы сказали? — громко переспросил я и вытянул шею.

— Подвинься поближе! — говорит.

Я удивленно подчинился. Она вдруг обвила меня руками за шею и стала целовать. Над ухом свистят пули, а она постанывает и дрожит.

— Вы с ума сошли! — пролепетал я.

Некоторое время лежала без движения, затем взглянула смелее, прильнула всем телом и ну елозить!

— Все равно нас убьют... Убьют... — шептала, задыхаясь. В двух шагах от нас, как подкошенный, упал солдат, перебежавший через улицу. Женщина оборвала пуговицы на моей ширинке. Другой рукой стала задираТЬ платье... Грохот взрыва оглушил нас. Я уже не отдавал себе отчета — что я? где я?.. Только почувствовал, как она взобралась на меня, оседлала, и увидел прекрасное девичье лицо с пухлыми губами, пышные каштановые волосы и длинные ресницы... Ее лицо, исполненное блаженства, возшло надо мной и показалось, возносится все выше, вверх, в небо... На нем играла улыбка счастья, освобождения... И я почувствовал, что возношусь следом за ней в рай, в нирвану, в небеса обетованные. И в миг наивысшего напряжения сокровенных сил, в миг экстаза оно вдруг исказилось и окрасилось кровью, на меня хлынул красный фонтан, и мои руки, грудь, тело залила густая липкая жижа, я почувствовал, как женщина своим тяжелым телом повалилась на меня — как же она вознеслась — такая тяжелая? И сразу исчезло ощущение счастья, я вспомнил стариков, грянувшихся оземь, и разлетевшиеся в брызги кровь и мозги...

Кровь, мозги, моча, сперма — все перемешалось. Страх, боль, отвращение, злоба — все перемешалось. Убитые, раненые, умирающие — все перемешалось. Мат, плач, вопли, хрип — все перемешалось. Сторонники, противники, пацифисты и террористы — все перемешалось. Женщины, дети, мужчины, старики

и старухи смешались друг с другом. Смерть, отвращение, голод, грязь — все смешалось...

Цветок взошел в моем мозгу,
Цветок взошел, хей...

Пел Мафусаил. Он стоял посреди площади и пел. Вокруг свистели пули, взрывались гранаты, падали убитые, он же стоял с гитарой в руках и пел...

Цветок взошел на моей крови,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и на твоей крови,
Да взойдет цветок, хей...

— Неужели это правда? — удивленно спросил я у Сиро.

— Правда, — ответил он. — Я сам видел. Он стоял посреди площади и пел. И ни одна пуля не брала его.

— И теперь не веришь, что ему 969 лет?

— Не знаю... — неуверенно ответил Сиро. — Может быть...

— Я купил сборник твоих стихов, — сообщил я.

Сиро только рукой махнул.

— Пошли к Мафусаилу...

— Стихи хорошие, — почему-то это прозвучало фальшиво.

— Пошли к Мафусаилу, — повторил Сиро.

— А дойдем ли?

— Должны дойти...

Жилище Мафусаила переполняли цветы. Их было гораздо больше, чем тогда, когда я впервые вошел в этот дом. Сиро изумленно озирался.

— Садитесь, — пригласил Мафусаил. Я сел. Сиро по-прежнему стоял, разинув рот, и смотрел на ярко расцветенную комнату. — Сядь, — повторил Мафусаил, обращаясь к нему. Сиро сел. — Я прочитал сборник твоих стихов, — сказал старик.

— Прочитали? — лицо у Сиро напряглось. Он вскинул глаза на старика.

— Это самый слабый из твоих сборников, — жестко сказал тот. — Но... — Мафусаил помолчал и добавил. — Но самый нужный.

Наступила тишина. Наконец Сиро опомнился.

— Вы ошибаетесь. Он никому не нужен.

— Он нужен тебе, — прервал старик. — Прежде всего — тебе. Ты должен был написать такие стихи, — Мафусаил взял с книжной полки сборник стихов Сиро, раскрыл и прочитал:

Улетят голубые птицы
в страну малинового цветения
улетят голубые птицы
и на лету ощутят
тепло своих крыльев
и трепет сердец...

— Слабые стихи, но нужные, — Мафусаил закрыл книгу.

— И фальшивые, — добавил Сиро.

— Нет! — возразил старик. — Это лучшая частица твоей души, а она не может быть фальшивой... То, что ты писал раньше, было ярко, необычно, но от нечистого. Это же банально, но от Бога.

— Я не хочу быть банальным. Я хочу быть гениальным! — выдавил Сиро сквозь зубы.

— Это-то и губит мир! — воскликнул Мафусаил. — Безмерная гордыня, мания величия... Так рождаются Геростраты, Македонские, Наполеоны...

— Я поэт, — Сиро покачал головой. — Поэт не может погубить мир.

— Может,— сказал Мафусаил.

— Как? — спросил Сиро.

— Если не спасет его,— был ответ.— Если мир погибнет, это в первую голову случится по вине поэтов.

— Но нас никто ни о чем не спрашивает! — беспомощно вырвалось у Сиро.

— Вы за все в ответе! — старик повысил голос.— Да, именно вы — поэты, музыканты, художники, а не Наполеоны и Муссолини. Запомни это! — Мафусаил взволнованно поднялся с кресла и ткнул в Сиро указательным пальцем.— И еще я... В этом городе прежде других за все отвечаю я, ибо больше других виновен и грешен... Вот ты,— он вдруг обернулся ко мне.— Ты говорил, что видишь в глазах матери весь город. А в моих глазах? В моих глазах ты видишь что-нибудь?

— Свет добра,— ответил я.

— Свет добра,— насмешливо повторил Мафусаил.— Так знай, что это личина. Я прикрыл ею глаза, в которых отражается город в тысячу раз ужасней того, что видится тебе в глазах твоей матери. В ее глазах город после твоего рождения, а в моих — со дня его рождения. Но личина однажды будет сорвана и все ответят за все!

35

Мы вышли от Мафусаила. Всюду слышалась пальба. Сиро достал из кармана револьвер. Прошли метров двадцать и укрылись за платаном.

— Перебежим до следующего дерева,— предложил Сиро.— Пригнемся и побегим.

Неподалеку от нас разорвался снаряд. Мы залегли.

— Ты жив? — спросил я.

— Пронесло. А ты?

— Вроде, тоже.

Приподняли головы, огляделись.

— Надо в ту сторону пробираться. Там не так опасно....

Поползли. Сквозь пальбу послышался скрежет и лязг. Из проулка выползли три танка и двинулись в нашу сторону.

— Бежим! — крикнул я и, пригнувшись, побежал. Сиро за мной. Перебегав через улицу, оглянулся. Сиро немного замешкался. Танки приближались к нему.

— Быстрее!! — заорал я, и в эту самую минуту Сиро поскользнулся. Тут же привстал. Танк был в каких-нибудь двух метрах. Сиро отчаянно пытался увильнуть от него, сначала на четвереньках, потом, изловчившись, покатился в сторону, но танк надвигался. В последнее мгновение Сиро выстрелил в него из револьвера. Я закрыл глаза руками. Душераздирающий вопль разорвал мои барабанные перепонки. Обессиленный, я упал на колени... Буханье пушек, треск автоматов, лязг гусениц, вопль Сиро терзали мой слух. Потом от этой какофонии отделился лязг гусениц и медленно удалился. Я оторвал руки от глаз... и на асфальте, в нескольких шагах от себя увидел кроваво-красное пятно. Грохот смолк. Потрясенный, я шагнул к Сиро: у него не было ног. Они почти по пояс превратились в кровавое месиво. Сиро выл. Вернее, половина Сиро, кровавым месивом приклеенная к красной луже. Я наклонился. Глаза его расширились, он раскрыл рот и что-то невнятно промывчал.

— Сиро! — крикнул я.— Сиро!! — я не знал, что еще сказать.

Он пошевелил губами, и я не расслышал, но понял:

— Убей меня... — и мотнул головой вправо. Я увидел револьвер, он валялся возле. Потерянно посмотрел ему в глаза. Губы его опять зашевелились. Он повторил:

— Убей меня... — изо рта текла струйка крови.

Я подобрал револьвер и выстрелил Сиро в лоб.

И в то же мгновение опять загрохотали танки, затрещали автоматы, и посыпались хриплые голоса.

— Сиро, я отомщу за тебя,— глухо проговорил я и сунул револьвер в карман.

— У тебя есть оружие?
— Нет.
— Почему?
— Дорого стоит.
— А будь возможность, купил бы?
— Не знаю... наверное...
— Зачем?
— Для самозащиты.
— Как же до сих пор уцелел?
— Что?
— Я говорю, как до сих пор жив без оружия?
— Дело случая.
— Ты не думал, что, как только обзаведешься оружием, в тот же день и... убьют?

— Нет, не думал.
— А как по-твоему, может это случиться?
— Конечно, может.
— Какой же тогда смысл?..
Я сидел в своей комнате. Передо мной на столе лежал револьвер.
— Теперь оружие нужно мне не для самозащиты, а для мести,— сказал я Марии.
— Я не смогла бы его бросить. Я убила бы его и пошла за тобой. Потому что...— у Марии дрогнуло лицо.— Потому что люблю тебя сильнее, чем его...
— Что, сын, все еще не отомстил? — спросила мама и уставилась на меня глазами, вмещающими весь город.

— Нет, мама, и, может быть, никогда не отомщу,— с досадой ответил я.
— Выходит, ты трус,— в голосе только презрение.
— Нет, не трус! — я схватил ее за плечи.
— Трус! — повторила она.

Я сидел у стола и думал. Долго, бесконечно долго... Наконец выдвинул ящик, положил в него револьвер и задвинул.

В комнату, шаркая шлепанцами, вошла мама.

— Сынок, убей этого подлеца! Больше не могу. Каждую ночь вижу его во сне. Он смеется над нами — надо мной, над тобой и твоей сестрой. Господи, я не вынесу этого!.. Если он останется жив, я умру, сердце во сне разорвется от боли и ненависти... Ты этого хочешь, да? Видно, тебе только это и нужно...— голос у мамы дрожал, она хотела угадать, где я, чтобы глаза наши встретились, словно знала, что только так могла подчинить меня своей воле. Я не отвечал. Я не знал, что сказать. Как никогда я был близок к согласию, но все-таки не говорил «да». Сидел, уронив голову, и старательно избегал ее глаз.

— Сиро погиб,— сказал я Мафусаилу.
— Тем лучше для него,— неожиданно спокойно отозвался старик.
— Я убил Сиро,— сказал тогда я.
— За что? — взгляд Мафусаила выразил удивление.
— Он сам попросил об этом. Он очень страдал. Его раздавил танк. От него осталась только половина. И я убил... Но я не убивал.
— Ты прав, это не ты убил,— согласился Мафусаил.
— Он все равно бы умер,— сказал я.
— Мы все умрем.
— Он бы умер скоро,— я ни за что не хотел соглашаться со стариком.— И он очень страдал.

— Все скоро умрем. И все мы страдаем.

Я не знал, что еще сказать. Мафусаил вышел в другую комнату и принес веревку. Я недоуменно смотрел.

— У меня к тебе одна просьба,— начал он.— Я очень страдаю, к тому же скоро умру. И прошу как друга. Я решил повеситься, но слишком стар и слаб, чтобы сладить с этим. Если б ты привязал веревку крепче к карнизу... сделал бы петлю и привязал к карнизу... С остальным, думаю, я и сам справлюсь....

— Нет!

— Очень прошу!
 — Нет!
 — Как друга... Это совсем просто.
 — Нет! — я вырвал у него веревку и швырнул на пол.
 Мафусаил как-то грустно улыбнулся.
 — Издеваешься? — зло спросил я.
 — Нет. Просто трупный запах от тебя сильнее, чем прежде.
 — Врешь! — заорал я. — Будь это так, я бы первый почувствовал. Но я не чую, и никто не чувствует. Потому что нет никакого смрада. Его выдумала твоя больная фантазия, чтобы свести меня с ума!
 — Эх! — вздохнул старик.
 — Что — эх! — взъярился я. — Объясни, что это за «эх»!
 — Давай споем! — неожиданно предложил он.
 — Не хочу! — отмахнулся я.
 — В том-то все и дело, — пробормотал он и потянулся за гитарой. — Тогда я спою один.
 — Не споешь! — сказал я грубо.
 — Спою! — ответил Мафусаил. — Никто не запретит мне петь.
 Я очнулся. Ярость отхлынула, и я растерянно посмотрел на старика. А он, пощипывая пальцами струны гитары, начал:

Цветок взошел на моей крови,
 Цветок взошел, хей,
 Да взойдет цветок и на твоей крови,
 Да взойдет цветок, хей,
 Да взойдет цветок над родным городом,
 Да взойдет цветок, хей...

На следующий день меня выгнали из крематория. Когда надзиратель в очередной раз огрел меня хлыстом и обложил матом, я не удержался и схватил его за горло. Налетели другие надзиратели, им на помощь — рабочие. Меня привязали к столбу и лупцевали до тех пор, пока тело не покрылось сукровицей. Еле до дома дотащился. Теперь лежу, мать прикладывает компрессы к распухшей спине и проклиная тех, кто учинил надо мной такое. Злоба душит меня. Я так ненавижу всех этих надсмотрщиков из крематория, что, будь возможность, продырявил бы всем башку, не задумавшись ни на секунду. Теперь мне ничего не остается, кроме мести. Работы нет, сбережений хватит от силы недели на две. А потом? Где в разгар войны найти работу? А если и найду, смогу ли работать, избитый и обессиленный... Я должен был отомстить за унижение, за то, что меня лишили последней надежды... Должен отомстить надзирателю, зятю, убийцам Сиро... Мафусаил сказал, что Сиро убил я, но я-то знаю, что это не так. Я знаю подлинных убийц. Город кишит убийцами. Я должен отомстить городу, этому грязному городу, этому грешному, больному городу... Месть — без оговорок и без промедлений...

За мной в очереди стояла молодая женщина. Она, волнуясь, предъявила продавцу паспорт и попросила: у меня четверо детей, очень вас прошу, может, дадите четыре банки, сами знаете, дети повидло из тараканов не едят, разве что на мышиных консервах продержимся... Нет! — завопила очередь. — Ни за что!! Тщедушный паренек попытался вступить за многодетную мать: дайте, дескать, человеку лишнюю банку, что особенного... Его повалили и били ногами. Я достал револьвер и перестрелял всех, кто бил его...

Некоторое время мы молчали. Потом Сиро сказал:

— Мне кажется, маму этого мальчика сейчас изнасилуют.

— С чего ты взял? — спросил я.

Он ничего не ответил, помолчал, предложил:

— Пошли отсюда.

— Нет, — сказал я.

— Пошли! — еще раз попросил Сиро.

— Нет! Если хочешь уходи, а я останусь.

Я укрылся за деревом. Тут же появилось трое мужчин. Увидев женщину, они

набросились на нее. Женщина закричала. Мальчик заплакал. Я вышел из укрытия и выстрелил три раза. Все трое, бездыханные, упали на землю...

— Защита прав человека — наш священный долг! — бросил в толпу оратор. — Мы должны добиться того, чтобы человек чувствовал себя свободным, счастливым, защищенным. Да, да! Это наша святая обязанность и первейшая цель, и мы уверены, что добьемся ее! — площадь взорвалась аплодисментами. Оратор умолк и, дождавшись, когда шквал слегка затихнет, патетично возгласил: — Верьте, мы добьемся своего! Мы восстановим порядок! Мы превратим наш город в земной рай! Мы победим! — на последнем слове он подпустил петуха, но все равно аплодисменты были дружные и продолжительные. «По-бе-дим! По-бе-дим!» — скандировала площадь. Я стоял среди митингующих. Вытащил из кармана револьвер, прицелился в оратора, выстрелил. Струйка крови вытекла из его рта.

Зять с ножом в руке шагнул к моей сестре. Только занес нож, как я ударом ноги распахнул дверь и выстрелил.

Лязгая гусеницами и скрежеща, по улице полз танк. Он надвигался на Сиро и должен был вот-вот вмазать его в асфальт. Я вскочил на башню, открыл люк и нажал на курок. Танк остановился.

Мафусаил открыл дверь. Я уткнул револьвер ему в лоб и прохрипел:

— Я должен убить тебя!

— За что? — спросил он.

— За то, что ты убивал людей. За то, что изнасиловал дочь, отравил отца и предал друга.

— Поздно, — сказал старик.

— Что — поздно? — насмешливо сощурился я.

— Все.

— Бороться со злом никогда не поздно.

— Ты избрал не тот путь.

— Хочешь сказать, что я не должен был их убивать?

— Город настолько погряз в грехе и мерзости, что так их не искоренить. Только погубишь себя.

— Значит, мы не должны бороться?

— Должны бороться, — кивнул Мафусаил.

— Но как?

— Песней... — ответил он.

— Песню никто не слышит, — сказал я.

— Ты-то слышишь?

— Я? Я слышу.

— А это уже немало, — Мафусаил поднял глаза и сказал: — Чего же не стреляешь?

Я увидел ствол револьвера, приставленный к виску старика, и рука моя дрогнула.

— Убей меня...

Пот струйками потек со лба. Левой рукой я достал платок и утерся.

— Чего ждешь? Убей, — повторил старик.

Я опустил оружие.

— Ты больше не совершишь ни подлостей, ни преступлений. Так что твоя смерть бессмысленна. Вокруг толпы тех, кто больше тебя заслуживает смерти.

— Поверь, твоя борьба только увеличит количество зла. А добра не прибавит ни капли.

— Нет, — как заведенный, твердил я. — Все равно я буду бороться до конца.

— Тогда убей меня, — попросил он. — Какое имеет значение, совершу я еще одно преступление, или нет. Ведь ты знаешь, что я самый большой грешник в этом больном городе. И если решил бороться до конца, не можешь оставить в живых самого большого грешника.

Я вник в смысл слов, поднес револьвер к виску Мафусаила и нажал на курок. От грохота выстрела задребезжали стекла.

Я испуганно раскрыл глаза. Горло пересохло. Я плавал в поту. Все тело горело и ныло. В комнате стояла крошечная тьма.

Только через десять дней я поднялся с постели. На двенадцатый день вынул из ящика стола револьвер, положил в карман и вышел из дома.

Бои на улицах достигли высшего накала. Оппозиция перешла к последнему штурму. Ожесточенные схватки шли на подступах к правительственной резиденции. Я все еще чувствовал слабость, и, чтобы подкрепиться, решил купить банку повидла из тараканов...

Не пройдя и квартала, увидел пятерых в военной форме — они шли в мою сторону. В одном из них узнал зятя. С автоматом через плечо, он курил сигарету и что-то оживленно рассказывал своим спутникам. Я попятился, шмыгнул в ближайший подъезд и достал револьвер. Судьба все-таки свела нас. И как раз тогда, когда я решился на месть. Оказывается, он теперь воюет. И, быть может, на стороне тех, чей танк раздавил Сиро. Ну конечно!.. Одним выстрелом я отомщу за сестру и за Сиро... Парни в военной форме поравнялись со мной. Я поднял револьвер. Я не умел толком прицелиться. И вообще стрелял второй раз в жизни. Но знал, что не промахнусь... И не промахнулся. Спутники зятя, ошалев от страха, стали строчить из автоматов во все стороны. Задыхаясь, я бросился вверх по лестнице...

— Мама!

— Что? — мама встала со стула, и, шаря руками, двинулась на голос.

— Мама, я отомстил.

Мама остановилась, раскрыла рот, глаза у нее расширились.

— Мама, я убил его.

Стало тихо. Мы оба примолкли. И долго стояли так, лицом к лицу. Наконец она спросила:

— Это правда? — глаза ее еще больше расширились.

— Да, правда! — с досадой отозвался я. — Не веришь?

Опять молчание.

— Ты что, не веришь?! — в ярости заорал я.

Мама молчала.

— Не веришь... — я сразу поник. — Не веришь... — и вдруг опять взорвался. — Убил! Пойми, я убил его! Пристрелил! Прикончил! — я вытащил из кармана револьвер и протянул ей. — Вот этим и прикончил! Продырявил башку! Потрогай, если не веришь. Потрогай и убедись! — я прижал револьвер к ее руке. — Чувствуешь? Чувствуешь холод стали! Это револьвер!

— Верю! — и на лице мамы проступила улыбка. — Верю, — она вперила в меня невидящие глаза: — Молодец, сын!

А я заглянул в глаза матери и содрогнулся. Город, страшный город, запечатленный в них, стал еще грязней и ужасней. Я увидел все, что видел прежде — Левиафана, чудище с выгоревшими, незаконными домами, однорукими и одноногими мужчинами, изнасилованными женщинами, перемешанными с кровью человеческими мозгами и смятым листком со словами «Весны больше не будет», распутной сестрой, резанной своим мужем, мышинными консервами, повидлом из тараканов, поэтом, продающим презервативы, двухголовым мальчиком-уродцем, пастырем, проклинаящим паству, девушкой, стонущей от желанья среди убитых, в лужах крови, надзирателем, матерящим меня и стегающим хлыстом, переполненным, смрадным крематорием и пеплом из его трубы, заслонившим небо над городом; город задыхается от этого пепла, кашляет, отхаркивается, плюется, и я вместе со всеми, я один из них — такой же отвратительный и жалкий, такой же ничтожный и грязный, и у меня нет сил бежать из этого больного города, который с каждым днем разрастается, обзаводится новыми щупальцами, впивается ими в окрестности, все дальше и дальше, и если дать этому волю, если это еще продлится, город поглотит всю землю, станет всем... Все будет больной город, и тогда всё и все заболеют, и пока еще не поздно, этот город надо уничтожить, взорвать, смести с лица земли... И пусть я погибну вместе с ним, только бы не задыхаться от вязкого, жирного пепла его крематория. Я нажал на курок и в упор выстрелил в город... Раз... И другой... И город погас... Исчез... Страшный город... Большой город...

— Мария, уйдем отсюда... Уйдем далеко... Уйдем к морю.

— К морю? — взглянула растерянно.

— Да, к морю. Ты же мечтала о море!

— А твоя мама!

— Мама больше нет. Я убил ее. Я уничтожил город. У меня больше нет родных. У меня нет родины. У меня нет корней. Я оборвал пуповину и плюнул на то, что породило меня и взрастило, что сделало больным и отвратило от всего. Я освободился... И уйду. Уйду. Покидаю это проклятое место... Уйду и хочу, чтобы ты была со мной. Хочу вместе с тобой ступить на долгую дорогу, которая приведет нас к морю.

— Нет,— тихо сказала Мария.

— Почему? — удивился я, и услышал скулеж и всхлипывания; гадкие слюнявые всхлипывания и сиплый скулеж, а вслед за ними шаркающее, словно на ластах, шлепанье.

— Что? Из-за него?! — возмутился я.

— Да,— сказала Мария.

Тут он вполз в комнату и как только увидел меня, всхлипывания и скулеж перешли в визг. Он бросился к Марии, ухватился за материнский подол, спрятался за ним. Потом испуганно выглянул.

— Помнишь, что ты говорила прежде.

— Помню.

— Что-нибудь изменилось?

— Изменилось.

— Что?

— Я не люблю тебя больше.

— Почему?

— Ты давно не видел себя в зеркале?

— В зеркале? При чем тут зеркало?

— Притом,— спокойно сказала она.— Ты похож на всех остальных. Стал такой же, как они.

— Нет! — крикнул я.— Я не такой, как они! Я хочу бежать отсюда, а они не хотят.

— Они тоже хотят.

— Нет,— повторил я.

Мария отвернулась.

— Все равно... Я не смогу пойти с тобой.

— Пойдешь! Если б не этот змееныш, ты пошла бы! — я так взбесился, что попытался ногой отпихнуть уродца.

— Не тронь его! — в сердцах сказала Мария.

— Убей его и пойдем! — приказал я.

Уродец опять заверещал, уставился на меня своим желтым глазом. Меня пронзала боль, как под током, и я почувствовал, что город, уничтоженный мной в материнских глазах, уцелел, он существует в этом желтом, всевидящем зрачке. И я прошипел:

— Убей, или я убью его!..

— Уходи! — Мария грудью пошла на меня.— Убирайся!

Я достал револьвер и выстрелил. Желтый глаз погас. Мария набросилась на меня, расцарапала лицо, впилась зубами в руку, пытаясь вырвать оружие. Я оттолкнул ее. Она склонилась к мертвому, обняла, прижала к груди и завывала.... Это было невыносимо — видеть, как женщина, которую я когда-то ласкал, чьих губ касался губами, обнимает отвратительного уродца о двух головах и целует его. Я выстрелил еще раз. И наступила тишина. Удушливая, свинцово-тяжелая тишина. Мария прижимала к груди двухголового уродца: из его погасшего желтого глаза сочилась коричневая жижа. Коричневая жижа стекала и с волос Марии...

— Агрипина... — с отвращением проговорил я, сунул револьвер в карман и повернулся к дверям.

Мафусаила дома не оказалось, но дверь была открыта. Комнату заполонили жасмин и сирень, гортензии и ромашки. Я постоял, растерянно озираясь, затем повернулся и вышел. На улице царствовала странная догадка. Меня привлек канализационный люк, прямо-таки притянул. Я сдвинул чугунную крышку, полез. И сразу увидел его. Он лежал возле заржавевшей, глухо урчащей трубы

с большим и ярким цветком на лбу, с прижатым к груди огромным букетом. Глаза были закрыты. На мертвом лице удивительный покой.

Взвалив Мафусаила на спину, я выбрался через люк на улицу. Поток людей двигался в сторону площади. Пальба смолкла. Я прислонил Мафусаила к дереву, сел на край тротуара, достал платок и утер пот. А народ все шел и шел — оживленный, радостный. Похоже, что война кончилась, — подумал я и, передохнув, опять взвалил на спину Мафусаила. Шел в ту же сторону, что и все — к центральной площади. А оттуда доносился усиленный громкоговорителями голос:

— Поздравляю, друзья! Тиран повержен! Мы победили!

— Ура-аа! — вопль восторга пронесся над толпой. Затрещали автоматные очереди. В воздух взлетели ракеты.

— По-бе-ди-ли! По-бе-ди-ли! — скандировала толпа.

И тут я услышал за спиной:

Цветок взошел в моем мозгу,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в твоём мозгу,
Да взойдет цветок, хей...

41

Это был голос Мафусаила. Я испуганно оглянулся. Его подбородок упирался в мое плечо, глаза закрыты, рот сомкнут. И все-таки он пел... Я узнал его голос — надтреснутый, дребезжащий. Такой не спутать ни с каким другим. Озноб пробежал по спине, руки ослабли, но все-таки я не сдался. Я нес его... Вот площадь. На ней тесно от людей. Все стоят, вскинув сжатые кулаки. Оратор вещает:

— С этого дня начинается новая эра! Эра свободы, счастья, любви и изобилия! Мы вырвали отравленные корни и отныне будем жить так, как этого заслуживаем, как того заслуживает наш прекрасный, неповторимый город!

Шквал аплодисментов заглушил его слова. А я... отчетливее, чем прежде, услышал за спиной:

Цветок взошел в моей душе,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в твоей душе,
Да взойдет цветок, хей...

Мафусаил пел... И я вспомнил море... Море, до которого должен добраться... добраться любой ценой, во что бы то ни стало поселиться на его берегу и забыть город, как кошмарный сон... Забыть мать, сестру, зятя, Сиро, Марию, Мафусаила... «Я буду твоим последним сном», — предрек когда-то Мафусаил, и мне вдруг открылось, что всех и все можно забыть, но не Мафусаила. Его не вычеркнуть из памяти, не стереть никакими силами. И захотелось бросить его, бросить здесь же, посреди улицы, и бежать прочь, но и это было невозможно. Мафусаил ни за что не отстанет от меня, мне до скончания дней тащить его на спине, тащить через всю жизнь... И всю жизнь слушать его песню, с каждой минутой звучащую все громче и громче...

Цветок взошел в сердце моем,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и в сердце твоём,
Да взойдет цветок, хей...

Мафусаил был бессмертен. И бессмертна была его песня. И обоих я нес на себе — его и его песню. Нес к морю... «Хоть бы знать, в какой оно стороне — море!» — подумал я, раздвигая толпу митингующих. Оно могло быть только по ту сторону толпы, мне предстояло рассечь ее, пройти сквозь людей с помутневшими, словно оледеневшими глазами, миновать этот лес и продолжить путь... И я настойчиво прокладывал дорогу среди восторженных лиц, кричащих ртов и взметнувшихся кулаков и тащил на себе Мафусаила. А песня его с каждым шагом звучала все громче, и мне казалось, что она

слышна на площади и прилегающих улицах, во всем городе... Но вместе с тем, вроде, никто, кроме меня, не слышал его, ибо все слушали оратора. А тот продолжал:

— Новое правительство даст вам все, о чем вы мечтали годами. Вернет покой и уверенность в завтрашнем дне! Защитит права и свободы! Это будет поистине ваше правительство!

И опять грянуло восторженное «ура!», опять затрещали автоматы и в воздух взлетели ракеты. И опять послышался голос Мафусаила:

Цветок взошел на моей крови
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок и на твоей крови,
Да взойдет цветок, хей...

И чем громче звучала песня Мафусаила, тем тяжелей становился он сам, и мне все труднее было тащить его. Но я не сдавался и все-таки ташил... Раздвигал толпу и шел к морю. Вот уже пересек площадь, народ по краям толпился реже... И с забившимся от радости сердцем я подумал, что покидаю город, что он остается позади... Позади оставалось огромное чудище с беззаконными, выгоревшими домами, расплюснутыми пушками, однорукими и одноногими мужчинами, изнасилованными женщинами, смешанными с кровью мозгами, смятым листком, на котором написано «Весны больше не будет», распутной сестрой, зарезанной мутноглазым зятем, мышинными консервами, повидлом из тараканов, поэтом, продающим презервативы, двухголовым мальчиком, священником, проклинающим паству, красоткой, предающейся любви под градом пуль на усеянной трупами улице, надзирателем, стегающим хлыстом человека, который и сам убийца, который презирает себя, который взвалил на спину это поющее чудо и тащит его к морю, к земле обетованной — туда, где на беспечно улыбающихся женщинах очень мало одежды, где мальчики через щелки заглядывают в кабины для переодевания и видят соски кизилового цвета, где море без усталости хлобыщет в берег, а на мысу загорается маяк, похожий одновременно на солнце и на женскую грудь, где нет надзирателей и крикливых ораторов, нет священников с револьверами в руке и двухголовых уродцев-детей, нет крематориев, а ушедших из жизни хоронят в море, где цветы срывают на цветущих лугах, а не в канализационных колодцах... А Мафусаил... Мафусаил по-прежнему прижимал к груди большой букет и пел все громче, и с каждой минутой тяжелел. Я уже миновал площадь и ступил на узкую, безлюдную улицу... Я был уверен, что она приведет меня к морю, но до моря было еще бесконечно далеко, и каждый шаг давался все труднее, все невыносимей давил гнет тяжести на спине, и песня, чем дальше, тем оглушительней гремела в моих ушах...

Да взойдет цветок над родным городом,
Да взойдет цветок, хей...

И постепенно все дальше оставался город, и постепенно силы оставляли меня, и постепенно все отчетливей я видел море и долгую-долгую, поистине бесконечную дорогу к нему, и еще... о, еще мертвую мать, мертвую сестру, мертвого зятя, мертвую Марию, мертвого ребенка, мертвого Сиро... себя самого — мертвого-мертвого. И бессмертного Мафусаила — убийцу, грешника, распутника, изменника, предателя, порочного и одновременно святого Мафусаила, ровесника города — он сидел на краю тротуара, держал в руках гитару и, задрвав голову с нарисованным на лбу цветком, покачивая серьгами в ушах, пел дребезжащим голосом вечную песню:

Цветок взошел на моей крови,
Цветок взошел, хей,
Да взойдет цветок над родным городом,
Да взойдет цветок!..

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Рассказы

С ПОЛЬСКОГО

Как я сражался

ПЕРЕВОД А. БАЗИЛЕВСКОГО

Выйдя утром за молоком, я увидел, что перед моим домом на улице выросла баррикада. Ее, должно быть, построили недавно, потому что, когда я часа в четыре вставал, ее еще не было.

— Ну, дела,— подумал я.— Лучше вообще не ложиться.

Баррикада, как это обычно бывает, была сложена из самых разных предметов. Ее основу составлял огромный шкаф, оббитый железным листом, словно броней. Тут и там были рассыпаны помидоры, которые обычно держат на шкафах, чтобы они дозрели. Когда я приблизился, между людьми, укреплявшими это фортификационное сооружение, шла перебранка.

— Черт возьми! — говорил высокий загорелый человек, похожий на лидера.— Ответь наконец вразумительно: хочешь ты умереть за дело или нет?!

Тот, кого он спрашивал, маленький мужичонка, опиравшийся на длинное ружье, ковырял спичкой в зубах, очевидно, желая оттянуть время.

— Не хочешь — никто тебя не заставляет! — кричал высокий.— Как постелешь, так и выспишься!

— Это можно,— примирительно согласился маленький.— Где встать-то?

Командир показал ему место. Меня охватила зависть. Я всегда бунтовал против серости, обыденного ритма бесперспективной жизни. Каждое утро выходить за молоком, возвращаться, ставить его в тепло, чтоб оно скисло, потом мыть бидон... Я хотел сражаться. Да и работы у меня тогда никакой не было.

— Мне бы хотелось сражаться,— обратился я к командиру и добавил внушительно: — Не на жизнь, а на смерть.

Командир смерил меня взглядом.

— Интеллигент? — спросил он коротко.

— Так точно. Но нельзя сказать, чтоб я много читал,— ответил я.

— Интеллигенты нам нужны,— отрезал командир.— Заляжете здесь,— указал он место на баррикаде.— Стрелять вы не умеете, зато череп у вас достаточно крепкий, чтобы в нем бессильно увязли пули карателей. Не бойтесь, они сыплют мало пороха. Порох крадут снабженцы и офицеры. Бидончик тоже пригодится.

Я выполнил приказ. Залег в указанном месте, вдоль баррикады. Правым боком впрытк к дверцам шкафа, ногами упирался в чучело медведя. День обещал быть чудесным.

На баррикаде продолжалась возня. Довольный, что мне уже поставили задачу, я мог вволю разглядывать своих товарищей по оружию и наблюдать за соседними домами. В одном из окон третьего этажа, справа, кто-то вывесил белый флаг. Патруль, посланный туда командиром, вернулся с известием, что белый флаг вывесил какой-то дальтоник. Было начато расследование.

Солнце поднималось все выше. На улицу из подворотни вышел знакомый сторож. Я подождал его тихим шепотом. Он подошел с миной озабоченной и серьезной. Я намеревался было послать его наверх, чтобы он принес думку, поскольку угол шкафа начал сильно резать мне голову. Но в последний момент

передумал, опасаясь, что командование может посмотреть на это косо. Поэтому я только спросил, что он обо всем этом думает.

— Первоклассно,— осторожно выразился сторож. И тут же добавил: — Кто потом будет все это убирать?

Подъехал воз с овощами, направлявшийся в центр города, на рынок. Я видел, как командир коротко переговорил с возницей. Возница тут же к нам присоединился, и вскоре корзины с картошкой, капустой, морковью и кольраби укрепили нашу баррикаду. Она поднялась еще на добрые пол-локтя.

Едва управились с овощами, как из-за угла показалась процессия. Маршировал детский сад во главе с воспитательницей. Каждый ребенок нес куклу, мишку или деревянную утку. Они рассчитались на первый-второй и построились в две шеренги. Воспитательница отсалютовала командиру и доложила, что детский сад, стремясь внести свой вклад в сопротивление врагу, жертвует игрушки для укрепления баррикады. Командир принял рапорт, прошелся перед строем дошколят и осведомился, проходили они уже рукопашную схваточку или нет. Потом отряд отступил, топая ножками. Мишками и куклами был укреплен правый фланг.

— Пусть только попробуют,— сказал старый солдат, грозно шевеля усами. Он имел в виду врагов.— Встаньте-ка да помогите передвинуть шкаф.

Шкаф оказался тяжелее, чем можно было ожидать. Когда мы закончили, солдат скрутил сигарку, угостил и меня. Однако перекур пришлось прервать, потому что принесли пергаменты из Исторического Архива и Музея, а вскоре после этого книги из Академии Наук. Укрепленное ими левое крыло казалось теперь неприступным. Враг должен был вот-вот появиться.

Еще не было десяти, а наша баррикада уже достигла второго этажа. Ежеминутно прибывали новые транспорты стройматериалов. Из соседней больницы принесли матрацы, и мы соорудили из них со стороны врага отличный бруствер. Теперь лежать мне было почти совсем удобно, вид передо мной открывался все более широкий. Командир, казалось, был весьма доволен. Во время очередной инспекции он остановился возле меня.

— Порядок,— удостоверился он, осмотрев мое лежбище.— Эти варвары наверняка уже готовы открыть по вам огонь.

— Канальи! — ответил я вполне убежденно.

— Подонки,— поддержал командир, и я почувствовал, как меня охватывает теплое чувство братства по оружию.— Именно этого от них и следует ожидать.

Он удалился по своим делам, а я ощутил такую гордость, что мысль о думке отверг окончательно, как недостойную. Впрочем, и больничные матрацы были совсем недурны.

Панорама баррикады постепенно становилась все разнообразней. Союз инвалидов прислал протезы. Размещенные в центре и густо переложенные мешками с манной крупой, они выглядели поистине внушительно. Я перевернулся навзничь и стал смотреть в небо. С некоторого времени мне не с кем было перемолвиться словом, потому что старый солдат, вместе с частью личного состава пошел реквизировать постельное белье. Вскоре изрядная гора разных разностей, которой мы все больше гордились, поднялась еще выше благодаря валу из перин и стеганых одеял. Однако на мой сектор выпали швейные машинки, и, должен признать, досаждали они мне немилосердно. Однако я оправдывал это стратегической необходимостью. Допустим, убеждал я сам себя, неприятель ударил на моем участке. Он рассчитывает попасть в постельное белье. Но уже преграждает путь не белье, а швейные машинки. Какой конфуз для вражеских генералов! А в итоге — какое поражение!

По последним данным, враг должен был начать наступление около полудня. Я не скучал, потому что со своего поста — как известно, я все время лежал наверху — мог видеть все, что делается в квартирах третьего этажа. Из-за усиливающейся жары окна были открыты. В каждой квартире уже чего-нибудь не хватало. Например, в шестнадцатой, в окне возле водосточной трубы, двое одноруких играли в шахматы. Причем занимались этим лежа на полу. Всю мебель оттуда давно уже вынесли на нашу баррикаду. Один из игроков, очевидно, тайный пособник врага, показал мне язык. Я сообщил об этом старому

солдату, который тут же выслал патруль. Шахматную доску мы бросили на вершину баррикады, и я не без удовлетворения смотрел, как однорукие, которым теперь было нечего делать, ловили мух, неумело пытались играть в прятки или в слова.

Какой простор открывался теперь перед моим взором! Передо мной улица, в конце ее маленький скверик со скамейками — именно оттуда должен был появиться враг. Справа и слева водостоки, а в них — что за чувство свободы и высоты! — я мог видеть обломки черепицы, мусор и даже мертвого воробья. Дальше — крыши, печные трубы, диковинные жестяные вертушки вроде вентиляторов, вращающиеся от ветра, антенны, а еще дальше — шпили костелов. Взглянув вниз, под огромным крутым откосом, россыпью всевозможных предметов, я видел трудолюбивый муравейник; бесконечные колонны граждан несли, толкали и катили на баррикаду все, чем были богаты: лампы, части каруселей, железо, картон, лак, банки, ленты, фотографии, белье, граммофонные пластинки. Сердце наполнялось гордостью при виде этого, так что почти хотелось, чтобы явился враг, — явился и рассышался в прах перед нашей мощной баррикадой. Иногда, правда, меня удручала мысль, что враг не придет, но я не выражал ее вслух, чтобы не быть наказанным за пораженчество. Быть может, подобные сомнения посещали меня под влиянием голода, который поначалу несмело, но потом все более настойчиво давал о себе знать. Несколькое раз я пытался уяснить себе, где же может быть мой молочный бидончик. Я утешал себя мыслью, что планом командира ему безошибочно предусмотрено то место, где он самым действенным образом выполнит свою идентификационную функцию.

Послеполуденное солнце, неустанная, хотя и отдаленная суматоха там, внизу, подо мной, лежащим на передовом посту, некоторая расслабленность послужили причиной того, что время от времени я проваливался в дремоту; тогда мне казалось, что битва уже позади, и я видел свой бидончик стоящим в строю, награжденным за участие в битве и за доблесть орденом, который блестел на его голубой эмалированной выпуклости. То я снова видел его иначе: на газовой плите, с беленьким кружком молока внутри — молока, которое постепенно согревалось и благоухало. Меня будили болезненные шлепки по уху и по носу. Я вскакивал, уверенный, что это враг, но это только однорукие стреляли в меня горохом из стеклянных трубок. Старого солдата поблизости не было, впрочем, я утешался тем, что даже горошинки, направленные в меня из зловредности и желания отомстить, хоть немного да укрепляли нашу баррикаду.

Я очень хотел, чтобы враг пришел — до самых пяти часов, а то и до полшестого. Между тем стало ясно, почему шкаф такой тяжелый. В нем обнаружили старика, который спрятался, не желая участвовать в строительстве баррикады. Он оправдывался тем, что уже воевал на трех войнах и у него болят ноги.

Разомлевший, близкий к обмороку, пролежав целый день на солнцепеке, я слышал, как за моей спиной скандалит человек с длинным ружьем.

— Прямо не понимаю! — нервно кричал он. — Вы обещали, что я умру за дело. Так давно же пора, гляньте-ка на часы! И это называется серьезное дело... Сами скажите!

Я прислушался.

— Терпение, — втолковывал ему старый солдат. — Вам все сразу подавай. Посмотрите на меня. Я старый вояка, но даже со мной и то еще ничего не случилось. И в этом не я виноват, а враг.

— Меня это не касается, — как ребенок, упирался тот, с ружьем.

К ним подошел командир.

— Что за шум? — спросил он сурово. — Не верите мне? Даю вам слово, враг будет наступать, даже если мне самому придется штурмовать баррикаду. К оружию!

— Если так, то все в порядке, — пробормотал брюзга.

Старый солдат приблизился ко мне.

— Голова болит, — сказал он недовольно. — Вам нигде не попадались таблетки от головной боли?

— Таблетки от головной боли возле швейных машинок, — вспомнил я. — Где-то на уровне второго этажа, под бетономешалками.

Движение в тылу баррикады почти прекратилось. Только иногда подвозили какие-нибудь редкие предметы, которыми прежде пренебрегали — офорты, мумии, синьку для белья... Хотелось пить.

Надвигались сумерки. Городу суждено было остаться без света. Лампочки, насколько я помнил, укрепляли баррикаду, где-то посредине.

Было уже совсем темно, когда, помогая себе пальцами рук и ног, нащупывая выступы и цепляясь за них, я осторожно начал спускаться. В какой-то момент я столкнулся нос к носу со старым солдатом — он копался где-то между слоями бетономешалок и швейных машин. Я миновал его в молчании. Видел я и командира. Он выбирал себе шляпу.

Я искал долго. Бродил, перепрыгивал, полз. Иногда протискивался в глубины баррикады, в самую ее сердцевину, туда, где слои прилегали друг к другу не слишком плотно. Я то извивался в ее лабиринтах, то снова прыгал по наружным эркерам, пытаясь отличить фарфор от бакелита, лен от шерсти, лозу от тростника, медь от железа — на вкус, на ощупь, по запаху. Я миновал тысячи поверхностей и ароматов, шероховатостей и форм, пока в свете восходящей луны не блеснула знакомая голубая эмаль.

Я дернул. Где-то в глубине раздался тихий шорох, потом шипящий звук, похожий на шелест песка, осыпавшегося с дюны.

Помню, как, подняв свой молочный бидончик, я побежал что есть духу в боковую улочку. За моей спиной рушилась баррикада.

Тот, который падает

ПЕРЕВОД В. КЛИМОВСКОГО

Поначалу я лишь пришел в сильное замешательство и даже не сразу понял, что падаю. Противоречивые чувства схлестывались между собою, словно коты в мешке. Не зная, что падаю, я не испытывал страха. Только слегка подташнивало — вследствие внутреннего хаоса.

Потом — привык. Привычка породила скуку. Скучая, я искал причины скуки и пришел к выводу, что скучаю оттого, что привык. Но к чему я привык?

К хаосу, к чему же еще. А откуда хаос? Оказывается, я вращаюсь вокруг собственного центра тяжести, то есть кувыркаюсь. Почему? Не узнаю, пока не перестану кувыркаться. Маневрируя конечностями, мне наконец удалось принять вертикальное положение. То есть такое, при котором трава, мох и кустики на скальных уступах проносились мимо, возникая под моими ногами и исчезая над моей головой. Только тогда я понял, что падаю, и начал бояться.

Ясное дело, боялся я не столько самого падения, сколько его последствий. Падение, само по себе безвредное, не могло длиться вечно. Боялся я, однако, уже порядочное время, а конец все не наступал. Так что привык я и к страху, по крайней мере настолько, чтобы разобраться в ситуации.

Я падал вдоль отвесной скалы — за спиной был бескрайний простор. В скале кое-где попадались выступы и впадины. Мне пришло в голову, что можно бы использовать эти неровности — ухватиться за что-нибудь, за какой-нибудь выступ, деревце или хотя бы травку — и прекратить свой полет. Глядя вниз, я стал ждать подходящего случая. Показалось чахлое деревце — горная сосна. Я вытянул руки и, поравнявшись с ней, схватился за ветку. Дернуло, треснуло — и вот я лечу с горной сосной в руках, будто собрался нанести визит, заготовив странный букет.

Конечно, я бросил ее, пусть летит себе сама, раз уж ни на что не пригодилась. Может, подвернется случай поудачнее? Вон то деревце довольно внушительно на вид, гораздо солидней горной сосны. Я растопырил пальцы и снова — как только поравнялся с ним — ухватился. Снова треск — и снова я лечу, но на этот раз с удивлением замечаю, что у меня четыре руки — четыре пятерни

судорожно вцепились в отломанную ветку. Нет — мои только две, другие же две принадлежат какому-то типу, который — пока я смотрел вниз — подлетел незаметно сверху и схватился за деревце в ту же самую минуту, что и я. Он был полнее, а следовательно — и тяжелее меня, и летел быстрее, чем я. (В вакууме все тела падают с одинаковой скоростью, но ведь мы падали вроде бы не в вакууме...) Он догнал меня, и теперь мы летим вместе, лицом к лицу, приглядываясь друг к другу с весьма близкого расстояния. Нас разделяет ветка, которую мы дружно сжимаем. Наконец он освободил одну руку и, вежливо приподняв шляпу, представился:

— Такой-то и такой-то (какой-то там).

Я кивнул головой, хотя нельзя сказать, чтобы я был расположен к нему дружелюбно. Ведь это из-за него продолжаю я падать — потому что дерево не выдержало нашей общей тяжести. Если бы не он... тогда... Вот если б я один... а теперь... Теперь я падаю даже быстрее, чем прежде, так как этот тип прибавил мне весу. И все же я не разжал руки, хотя это был бы самый простой способ избавиться от него.

— Вы тоже падаете?

Дурацкий вопрос. Должно быть, какой-то пикнический экстраверт ¹.

— Ага...

— Значит, будем падать вместе, — обрадовался он, будто было чему.

Откуда такая уверенность? Разве он не понимает, что я могу отпустить ветку в любую минуту? Однако я остался. Может, я был прав, надеясь, что веселей падать в компании? Вдвоем или даже втроем, так как по ветке ползала маленькая зеленая букашка.

— Сорвалось, — сказал я с упреком. Пусть, по крайней мере, не воображает, что я в восторге от того, что вынужден по его вине падать и дальше. Пусть, по крайней мере, осознает свою вину.

— Вы имеете в виду деревце? — засмеялся он. — Не первое и не последнее. Хватался уже за всякое — и всегда одно и то же. Не стоит огорчаться.

Не стоит огорчаться! Можно подумать, мы сидим где-нибудь за столиком в кафе! Глупость или легкомыслие?

— О, вы только посмотрите! — он показал мне куда-то глазами.

Я оглянулся. В каких-нибудь трехстах метрах от нас летел вниз пожилой мужчина в пенсне, по виду уважаемый профессор университета. В объятиях он держал дику горную козу, которая вырывалась, брыкаясь и бодая воздух. По-видимому, он ухватился за нее на лету, как мы за дерево, и вместе с ней продолжал падать, но, плененный бессмысленной надеждой, не выпускал козу из рук, несмотря на ее сопротивление.

— Так, значит, мы не одни?

Вместо ответа он оторвал одну руку от ветки и описал широкий полукруг. Я проследил за его жестом.

Только теперь заметил я, что все пространство заполнено падающими фигурами. До сих пор я был слишком занят собственной судьбой и разглядыванием скалы, чтобы смотреть по сторонам и назад, где была пустота.

Одни кувыркались, как я недавно, другие падали головой вниз или головой вверх — как я сейчас. Были и такие, что падали в горизонтальном положении, словно лежали на невидимых диванах. В принципе, можно было определить два вида падения: одни за что-то цеплялись, другие же, смирившись, падали свободно. Вторых, надо сказать, было меньшинство.

Среди этого меньшинства некоторые падали, как настоящие денди. Видно было, какое большое значение придавали они манерам. Ноги вместе, руки раскованно упираются в бока, голова откинута назад, молодецкий взгляд. Другие, наоборот, падали как придется, беспорядочно жестикулируя или даже вовсе не контролируя свои движения, словно куча разрозненных частей.

Пролетел мимо молодой человек. В руке он держал эдельвейс. Ухватил где-то, хотя и не надеялся, конечно, на нем повиснуть.

¹ Экстравертный — психологическая характеристика личности, направленной на внешний мир, отличающаяся преобладающим интересом к внешним объектам.

— Эстет,— понимающе подмигнул мне мой попутчик и крикнул молодому человеку: — Восхитительно, восхитительно!

Хотел даже похлопать в ладоши, но передумал. Он тоже не хотел выпустить ветку из рук. Далась она ему, как профессору коза!

Мимо нас пролетела немолодая женщина, в руках она сжимала какую-то травку, вырванную с корнями. Видно, ухватилась за нее когда-то. Когда-то давно, потому что трава уже увяла, засохла — однако женщина прижимала ее к себе, словно то был букет свежих цветов. Кроме того, она была обвешана разными палочками, стебельками, пучочками сена, а в сумочке у нее лежали камешки.

— Памятные реликвии,— тихо пояснил мне попутчик. И поклонился ей галантно.

— Вы с ней знакомы?

— Нет, но мне ее жаль.

Тут я перестал смотреть по сторонам, потому что у меня зачесалась рука. Это букашка, перебравшись с ветки, поползла по моему указательному пальцу. Я дунул, но она только остановилась и, замерев, крепко вцепилась в меня какими-то невидимыми крохотными лапками. Притворилась, будто ее нету. Я хотел дунуть еще раз, но за букашку вступился мой попутчик.

— Оставьте, что она вам, мешает?

— Но мне щекотно!

— Ну и пусть. И так...

Он не договорил, но я догадался, что он хотел сказать. И оставил букашку в покое. Она выждала немного и пустилась в дальнейший путь.

Тонкий намек моего попутчика представил мне его в новом свете. Значит, он все же отдает себе отчет в трагизме нашего положения (если только падение можно назвать положением), не такой уж он бездумный оптимист, как мне казалось. Можно поговорить с ним серьезно.

— Долго еще это будет продолжаться? — спросил я, в свою очередь ограничившись намеком.

— Откуда мне знать? Нужно сначала проделать весь путь вниз, а затем полететь обратно вверх, чтобы получить на этот вопрос ответ.

— Обратно... Вы видели кого-нибудь, кто бы возвращался?

— Не видел.

В этот момент я почувствовал сильную боль в пояснице. Живо оглянувшись, я успел заметить толстое, надутое, перекошенное лицо с широко раскрытым ртом (он извергал какие-то оскорбления) и удаляющуюся ногу, которая меня лягнула.

— За что?! — закричал я, хотя этот агрессивный тип не мог уже меня слышать.

— Вы еще спрашиваете? За падение.

— Полноте, я ведь не виноват, что он падает!

— Конечно, вы не виноваты, и я тоже, и никто не виноват. Но он мстит всем. Пинает и кусает каждого, кто подвернется. А если не может дотянуться, то хоть оплюёт. Очень больно?

— Очень.

— Больно — зато не чешется. (Действительно, по сравнению с этой болью зуд от букашки показался сущим пустяком). У меня с собой таблетки от кашля. Может, примете?

— Так ведь я не кашляю.

— Все равно, важно принять какое-нибудь лекарство. Вот увидите — станет легче.

Я принял — и в самом деле стало легче. Мой попутчик оказался человеком опытным.

К счастью, не все вели себя, как тот грубиян. В основном все реагировали на падение не таким опасным для окружающих способом. Вспоминаю об одном.

Он падал, как все, но то и дело смотрел на часы и, обращаясь скорее к себе, чем к нам, бормотал:

— Ах, я спешу, спешу!..

- Куда это вы так спешите? — спросил я с удивлением.
- Наверх!
- Как это наверх, ведь...
- Тссс... — зажал мне рот мой попутчик. — Пускай уж...
- Лечу вверх! Я лечу вверх! Аллилуйя! — закричал тот и продолжал лететь вниз.

Только однажды встретились мне такие, что падали, возбуждая зависть. Думаю, если бы сам я не падал, но увидел таких падающих — тут же прыгнул бы за ними, зачарованный. Говорю «за ними», потому что было их двое. Совсем юные, они падали, крепко обнявшись и глядя друг другу в глаза, в которых оба, похоже, видели нечто такое, чего никто, кроме них, не видел. Они не обращали никакого внимания на окружающих, быть может, даже не знали, что падают, а если и знали, то было им это абсолютно безразлично.

Мой попутчик тоже заметил их, но промолчал, впрочем, как и я, так как обоих нас охватили смущение и досада. Мы старались не встречаться глазами, и каждый таил обиду. Я досадовал, что он — это он, а он, что я — это я.

Все это, однако, не идет ни в какое сравнение с тем, что приключилось с нами потом. Я как раз в тот момент не смотрел по сторонам — снова был занят букашкой, которая, поползав там и сям, остановилась на ногте мизинца моей левой руки, с минуту помедлила и вдруг расправила маленькие крылышки.

- Смотрите-ка, — обратился я к своему попутчику. — Может, оборвать их?

Тот побледнел, — но не в ответ на мое предложение. Он смотрел совсем в другую сторону, себе под ноги.

- Там, там... — бормотал он, не в силах больше ничего сказать.

Я проследил за его взглядом — и моментально забыл о букашке.

Привыкший к тому, что все падают поодиночке, я не сразу понял, что эта темная, бурая масса состоит из людей. Они тоже падали — но как падали! Они образовали плотный шар, диаметром с добрый километр, и слиплись друг с другом таким образом, что каждый из них был обращен лицом к центру. Так что снаружи не видно было ни одного лица — одни лишь зады и хребты. Впрессованные, вдавленные и вбитые друг в друга, они образовали сообщающее некое монолитное тело правильной формы, а именно — шар. Нечто вроде небольшой планеты. От шара исходило отчаянное зловоние.

- Великолепно! — закричал я, захваченный грандиозным зрелищем.

— Вы с ума сошли! Ведь мы летим прямо на них! Необходимо что-то предпринять, или мы погибли!

- Почему? Издали выглядит неплохо.

- Издали, но не вблизи. А они все ближе!

И правда, шар приближался, кривая, обозначающая его поверхность, выпрямлялась на глазах и уже вытянулась в линию горизонта, пока еще чуть выгнутую. От массы, которая переставала быть шаром и становилась огромной выпуклостью, доносился глухой шум.

- Расстегивайтесь, быстрее!

- Что я должен расстегнуть?

- Пуговицы!

Не раздумывая над странным приказом, я последовал примеру попутчика. Он расстегнул пальто, я — пиджак. Пальто раздулось наподобие парашюта, мой пиджак — тоже, но толку от него было еще меньше, чем от пальто. Мы немного притормозили, однако вскоре падение набрало прежнюю скорость.

- Все напрасно! Это свинство притягивает нас!

В самом деле, шар, как большая масса, обладал силой притяжения, согласно известному закону физики. Мне казалось, ничто уже нас не спасет и посадка наша на гудящую и булькающую массу неизбежна.

Вдруг у меня засвербило в носу, и я чихнул изо всей силы. Чиханье подействовало, как реактивный двигатель на космический корабль, и мы изменили траекторию полета. Вместо того чтобы падать, мы плавно спланировали в сторону, облетая поверхность планеты. Когда перестала действовать реактивная сила, мы уже находились за пределами планеты, недалеко от нее, но на расстоянии достаточном, чтобы, когда снова перевесит свободное падение (более

сильное, чем притяжение массы), миновать ее в полной безопасности. Я видел довольно хорошо ее неровную, пульсирующую поверхность, словно сотканную из хребтов и задов, без конечностей, запущенные в глубь массы наподобие корней, они не были видны. И ни одного лица. Оглушил нас грохот и шум, дохнуло жаром, от жуткого смрада мы едва не лишились чувств — но через минуту все уже было позади. Шар остался в стороне и выше, он отдалялся, принимая все более правильную форму.

— Дайте я вас обниму! — закричал мой попутчик, когда мы уже пришли в себя. — Ну, вы молодчина! Если б не вы... Страшно подумать! Но как это вам удалось?

Мне польстило его признание и восхищение, но я тоже был взволнован после пережитой опасности, опасность облагораживает, — и не захотел присваивать чужую заслугу.

— Это не я, это букашка, — решительно открыл я правду.

Конечно же, это букашка, в критическую минуту она расправила крылышки, взлетела и угодила прямехонько ко мне в нос, чем и вызвала спасительное чиханье. Это она спасла нас, ни малейшей моей заслуги в том не было.

— Где же она?

Но букашка исчезла. Спасла нас и пропала без вести, как и полагается герою. Да наградит ее Бог. Навечно сохраним ее в нашей благодарной памяти.

Долго потом обсуждали мы страшное приключение. Оказалось, мой попутчик кое-что знал о шаре.

— Начинается с одного. В самой середине сидит один, с которым косвенно сцеплены все, а непосредственно — двое-трое, те, что ближе остальных. К этим двоим-троим цепляются еще несколько, к нескольким — десятки, к десяткам, в свою очередь, сотни, и так далее и так далее — счет тут может пойти и на миллионы. Теоретически предела нет.

— И зачем же нужна такая глыба?

— Да ведь когда они так сцеплены, носом внутрь, то не видят, что падают. Те, что внутри, не видят, потому что не могут, а те, что сверху — потому что лица у них обращены к центру, а затылки выпячены наружу. Кроме того, вместе им так тепло и они так сдавлены, что постоянно пребывают в полубморочном состоянии, словно в какой-то дреме. Вы слышали гул? Он оглушает и успокаивает.

Мы постепенно забывали о приключении (а также о букашке). Падение продолжалось — монотонное, однообразное. Всяких мы еще встречали. Один, например, изображал птицу. Махал руками и чирикал, утверждая, что он не падает, а просто так — летает. Другой притворялся неодушевленным предметом. Разные были. Но не буду всех перечислять.

Наконец провалились мы в густой туман. Стало холодно и сыро. Каждый из нас с трудом мог разглядеть лицо другого, хоть расстояние между нами было совсем небольшим.

— Может, это уже... — заговорил я первым, осторожно.

— Да, пожалуй, уже близко.

Туман сгущался. Я уже видел лишь контуры его лица.

— Кажется, скоро пора прощаться.

Теперь говорили только его руки, потому что растаяли даже контуры лица. В том месте, где оно виднелось минуту назад, образовалась такая же серая пустота, как и повсюду. Так что трудно даже сказать, где это место было.

Четыре руки, две мои рядом с двумя его — на ветке. Они видны только от запястья, словно отсечены. А сама ветка увяла, как травка той женщины, которую мы случайно повстречали и которая трепетно прижимала к груди свои реликвии. Когда же это произошло?

Две руки оторвались от ветки, одна моя, другая его. Пожали одна другую в пространстве. Потом куда-то исчезли. На ветке — еще две.

И их уже нет. Только ветка. Пока еще.

Еще ми... мин... мин...

Последнее слово

ПЕРЕВОД Е. ЛЫСЕНКО

1

По натуре я философ. Однако мой труд «О природе всего» не принес мне известности, потому что я его так и не написал. Стихи мои появлялись в университетских периодических изданиях, читаемых небольшим кругом людей, близких к редакциям. Чуть успешней пошло дело с рассказами, опубликованными в солидных порнографических журналах. Но славу принес мне только телесериал, то есть роман-спектакль в сериях, автором которого я был. Название романа, как и отзывы о нем весьма придирчивых критиков, обойду молчанием, а упоминаю о славе или, точнее, о популярности лишь затем, что именно благодаря своей популярности я однажды оказался в приемной тюрьмы строгого режима лицом к лицу с Томашем, по прозвищу Зомби, убийцей-рецидивистом.

Томаш Зомби был приговорен к смертной казни. Еще продолжались протесты принципиальных противников такого вида наказания, еще адвокаты подавали апелляции, однако дата приведения приговора в исполнение была назначена и шансы на смягчение или хотя бы отсрочку приговора ничтожны. Томаш убивал профессионально, то есть был наемным убийцей с ранней юности и на протяжении многих лет, пока не попался в первый раз. Ему дали большой срок, но освободили досрочно ввиду безупречного поведения, и он сразу же возвратился к прежнему занятию. После вторичного ареста и приговора к пожизненному заключению он опять был освобожден, хотя не так скоро, как прежде, на основании заключения психиатров — и опять не преминул возобновить свою деятельность, которую трактовали самым различным образом. Одни считали эти убийства обычными преступлениями, другие усматривали в них упрек обществу, которое дурно воспитало Томаша Зомби, и требовали немедленного, радикального, политического и экономического изменения этого общества. Кое-кто находил поступки Томаша любопытными, заслуживающими изучения симптомами бунтующей психики. Одни лишь непосредственно заинтересованные лица, то есть сам Томаш Зомби и его жертвы, не высказывали никаких суждений.

Томаша арестовали в третий раз и осудили на смерть. Приговор вызвал столько же протестов, сколько и похвал, однако принять другое решение суду было бы очень трудно. Против обвиняемого оказалось слишком много улик, отчасти даже утомлявших своей бесспорностью и обилием; к тому же сам обвиняемый, пусть без особой поспешности, но и без тени упрямства, не только признал свою вину — что, как известно, не может считаться доказательством виновности, — но и дополнял уже имевшиеся против него свидетельства так усердно, что самые искусные его адвокаты становились в тупик. Да и в приверженцев перевоспитания преступников путем кротости и убеждения явная неискоренимость Томаша вселяла уныние, если не отвращение. Так что для тех судей, которые были бы склонны вынести более мягкий приговор, его поведение явилось непреодолимым препятствием.

Предстоявшая казнь стала бы первой после многих лет, в течение коих либерализм сохранял решительное превосходство над прочими мировоззрениями. Независимо от споров по существу — о правосудии и в связи с ним о социальной философии и практике в целом — эта казнь возбудила сенсацию иного, низшего свойства, не только интеллектуального и морального.

Благодаря небывалому развитию (вернее, вследствие него) зрелищной информации или информационного зрелища, или же, короче, просто зрелищ, и вследствие существования мощной информационно-зрелищной промышленности и спроса на продукцию этой промышленности — ни спрос, ни предложение не могли упустить такого случая, как казнь Томаша Зомби. Право на телепередачу, киносъемку, звукозапись и на распространение соответствующих видеокассет

было приобретено наиболее солидными фирмами, и несколько сот миллионов будущих зрителей с возрастающим нетерпением ждали минуты, когда они станут очевидцами казни Томаша Зомби.

Между тем его-то самого подобная известность, казалось, ничуть не испортила. Передо мной сидел человек с виду не то чтобы скромный, но скорее далекий от вызванного им шума. Человек, способный мысленно сосредоточиться на предмете, не склонный поддаваться ни массовым психозам, ни тревоблениям великого актера. Человек немногословный, однако немногословие его происходило от врожденной неспособности складывать фразы, хотя — если бы мы хотели написать его портрет в более утонченном стиле — это можно было бы объяснить сдержанностью. Так что беседа предстояла нелегкая, не присутствуя при ней адвокат.

Мы все трое сидели в удобных креслах, обитых превосходной имитацией кожи. Я сидел в позе выжидающей, адвокат — в деловой, а Томаш Зомби — в той особой позе человека, который где угодно и при каких угодно обстоятельствах сидит одинаково.

— Томаш хотел непременно вас увидеть, — сказал адвокат.

Томаш кивнул.

— Зачем?

— Томашу придется сказать последнее слово, прежде чем... ну, вы понимаете... Перед самой... Вот Томаш и хотел бы, чтобы его последнее слово прозвучало как можно лучше. Ведь оно будет последнее.

— Понятно.

— Ему требуется помощь профессионала. Он хотел бы, чтобы его последнее слово было хорошо отделано. Как по форме, так и по содержанию.

— Но почему же именно я?..

— Томашу очень понравился... — тут адвокат назвал телесериал, автором которого я был. — Он считает, что вы единственный человек, на которого можно положиться.

— Но...

— Гонорар будет очень большой. Томаш продал право на телепередачу и повторные показы и, получив свою долю будущей прибыли, стал богатым человеком.

— И все же...

— Вам, может быть, требуется время, чтобы обдумать свое решение? Увы, время не ждет по причинам, которые я не должен вам объяснять. Решение надо принять немедленно.

Деньгами я не пренебрегал. Но следовало обдумать другой момент. До сих пор каким бы видом творчества я ни занимался, пусть даже таким, гордиться которым не было повода, я всегда выступал под собственным именем. Анонимность меня не привлекала.

— Прежде чем я отвечу... нельзя ли узнать суть мысли или сообщения, которое ваш клиент желал бы изложить публике?

— Это будет зависеть от вас.

— Но это же не мое последнее слово!

— Конечно. Однако вам предоставляется полная свобода. Мой клиент вам доверяет. Он утверждает, что вы единственный человек, который сумеет с этим справиться.

— Но с чем же?

— Да с этим.

— С чем именно?

— Высказать это.

— Что высказать?

Адвокат стал проявлять нетерпение.

— Но ведь если мы обращаемся к вам как к профессионалу, мы вправе ожидать...

Он запнулся, потому что в эту минуту Томаш Зомби внезапно встал и медленно направился к моему креслу. Мне стало жутковато, ибо — хотя в той ситуации эта мысль могла и не возникнуть — я невольно подумал, что для

многих приближающаяся фигура Томаша Зомби была последнее, что они видели в жизни.

Томаш Зомби склонился надо мной и, ничего не говоря, указал сперва на себя, потом куда-то перед собой, в даль, не ограниченную стенами тюрьмы, охватывая этим жестом все находящееся между ним и бесконечностью.

— Согласен! — вскричал я, ощутив внезапное вдохновение.

2

Когда Томаш Зомби сделал тот жест бессловесной коммуникации, я понял, что мне предстоит создать нечто более важное, чем прежние мои творения. Разве что мой ненаписанный труд «О природе всего» мог бы претендовать на равную значительность с той лишь разницей, что его следовало бы писать языком философским, тогда как последнее слово Томаша Зомби надо было сочинить на языке разговорном. И это мое слово — оно же будет мое, только под именем Зомби — дойдет до самой широкой аудитории и будет выслушано с величайшим вниманием. Получить возможность высказаться и быть выслушанным — этого нетрудно достигнуть при известной настойчивости, ловкости и удаче. Однако чтобы тебя выслушали со вниманием, с величайшей сосредоточенностью, выслушали с начала и до конца — такое выпадает очень редко и отнюдь не мастерам слова, но вождям народным и религиозным, да и то лишь в переломные моменты истории. Литераторы-профессионалы могут о таком внимании лишь мечтать либо тешить себя иллюзией, будто общество уделяет им такое внимание. Последнее слово Томаша Зомби предоставляло мне шанс исключительный.

Соглашение мы подписали в тот же день в конторе адвоката, после чего я возвратился в гостиницу. Портье едва успел предупредить, что меня ждут, как из-под пальмы поднялись два господина. У одного в руке была папка светлого бежевого цвета.

— Можем мы с вами побеседовать?

— Извольте.

— Только не здесь.

Они выбрали кафе на расстоянии нескольких кварталов от гостиницы.

Говорил один, держа папку на коленях. Другой молчал. Я вскоре перебил говорившего.

— Откуда вам известно, что последнее слово Томаша Зомби поручено мне?

— Это к делу не относится.

Напрасно задал я этот вопрос, он свидетельствовал не в пользу моей сообразительности. Пока я, выйдя из конторы адвоката, добирался до гостиницы, у адвоката было достаточно времени, чтобы их известить. Осознав бессмысленность своего вопроса, я удовлетворился уклончивым ответом.

Когда первый кончил говорить, я, ни секунды не раздумывая, отказался.

— Размеры гонора мы можем обсудить. Они, разумеется, не окончательные, — сказал тот, что до сих пор молчал.

— Дело не в этом. Неужели вы и впрямь полагаете, будто я могу согласиться на подобное предложение?

— Но мой коллега всего лишь подал идею. Совсем не обязательно, чтобы Зомби, затягиваясь сигаретой нашей фирмы, произнес «Лучше умереть, чем бросить». Можно придумать что-нибудь совсем иное, хотя, конечно, с тем же смыслом.

— Нет.

— Просим вас еще подумать.

И, оплатив счет, они оставили мне визитную карточку со словами:

— Будем ждать вашего ответа в любое время дня или ночи.

Входя в гостиницу, я внимательным взглядом окинул угол под пальмами. Но в кружке сидевших там не заметил никого с папкой какого бы то ни было цвета или формы. Не мешкая, я уложил чемодан и отправился на аэродром. Пока сидел в зале ожидания, все окружающее меня постепенно куда-то удалялось. Мозг мой, хотя я еще не находился в уединении, в каком привык работать, нетерпеливо

и как бы помимо моей воли устремлялся уже на поиски моего Главного Слова — сперва медленно, затем все набирая скорость, уходил от непосредственно окружавшей меня действительности. Лишь какими-то периферийными участками он реагировал на подаваемые ею сигналы, чего, однако, было достаточно, чтобы я в должную минуту и надлежащим путем очутился в самолете в качестве пассажира.

Стали разносить напитки, спросили, чего я желаю. Я не желал ничего. Вместо бутылки и стакана я положил на столик перед собою лист бумаги. На нем я собирался написать первое слово последнего слова. Каким оно будет? Все зависело от начала. Перо в нерешительности повисло над листом.

— Приступим сразу к делу, — сказал сосед слева.

— Вы со мной говорите?

Он раскрыл на коленях папку цвета антрацита.

— Контракт у нас уже готов, остается лишь определить величину суммы.

— Но о чем вы?

Он взял за горлышко стоявшую перед ним бутылку и повернул ее так, чтобы я увидел этикетку. Это было пиво.

— Нет! — воскликнул я и рванулся с места. Но предохранительный ремень отбросил меня обратно в кресло.

— Достаточно, чтобы Зомби сказал «аааа», только «аааа», ничего больше, ну, разумеется, с надлежащей интонацией, вроде возгласа наслаждения, — вы меня поняли? — и он заранее утер губы тыльной стороной ладони, держа в другой руке бутылку. — Прошу подписать.

— Не подпишу!

— Bravo! — отозвался сосед справа, раскрывая отвратительно-желтую папку. — У нас гораздо более интересное для вас предложение. Томаш Зомби показывает таблетку...

— Какую таблетку?

— Нашу таблетку.

Я отстегнул ремень.

— От головной боли. Затем...

Я встал.

— Разрешите мне пройти.

— Не произнося никаких слов — вы понимаете? — никаких «аааа», он ее глотает.

— Пожалуйста, немедленно пропустите меня!

— ...И на его лице изображается облегчение. Возможно, даже улыбка.

Остальную часть пути я провел в уборной, куда кто-то неоднократно рвался.

3

На другой день меня похитили. Люди, которые подошли ко мне на улице и заставили сесть в машину, ничего мне не предлагали. Они молчали на протяжении всего пути к расположенной на отшибе ферме, где заперли меня в не слишком чистом подвальном помещении без окон, рядом с котельной.

Только утром следующего дня меня навестил элегантно одетый господин с черной папкой.

— Что у вас? — спросил я, едва он ступил на порог. — Что это должно быть?

— Мы еще не знаем, — сказал он, усаживаясь и кладя папку на колени.

— Сигареты, пиво или таблетки?

— Это могут быть либо сигареты, либо пиво, либо таблетки, либо еще что-нибудь другое. Мы ждем предложений.

— Это я жду.

— О нет. Решение будет зависеть от нас. Когда накопится достаточное количество предложений, мы выберем самое выгодное.

— Вы?

— Можете считать нас посредниками между вами и вашей клиентурой.

Клиенты обращаются к нам, мы, как на аукционе, выбираем того, кто даст больше, и передаем вам заказ. Вы его выполняете, и дело с концом.

Только теперь я понял.

— Да вы не огорчайтесь, в предложениях недостатка не будет,— он похлопал по своей папке.— Уже в данный момент у нас их больше десяти, а это только начало.

— Ах так!

— Нам безразлично, кто победит на аукционе. И вам также.

— Мне?

— Для вас, конечно, это будет менее выгодно, чем если бы вы работали самостоятельно, без нас. Вместо всей суммы вы получите от нас определенный процент, и, признаюсь, не такой уж большой. Но что вы хотите, бизнес есть бизнес.

— А если я не соглашусь?

— Как вы сказали?

— Если я откажусь?

— Об этом я бы не советовал вам и думать,— сказал он мягко.

Тишина.

— Нет ли у вас какого-либо особого желания? — спросил он, оглядывая подвал.— Нет? Ну что ж...

Он посмотрел на часы и встал.

— Мне пора идти. А вы пока отдыхайте и ни о чем не думайте. Когда будет что-либо конкретное, мы вас известим.

55

4

Меня похитили, увезли, заперли и бдительно стерегли. Но в моем положении это как раз было хорошо. Хорошо в определенном смысле. Теперь уже никто не мог мне ничего предложить.

В свой черед и я уже не мог ничего предложить. Последнее слово Томаша Зомби теперь не принадлежало мне. Его мне продикут, я им распоряжался лишь формально. Не было никаких шансов на то, чтобы последнее слово Томаша Зомби стало моим Главным Словом. А ведь я согласился его сочинить лишь ради того, чтобы оно было моим Главным Словом.

Будто в насмешку мне стали приходить на ум идеи одна другой лучше насчет того, что и как я сообщил бы миру устами Томаша Зомби, будь это мне дозволено. Хотя, правду сказать, идеи были не завершенные, а так, некие призраки идей, предчувствия, что теперь-то я сумел бы сочинить эту декларацию, осуществить эту возможность. Сумел бы, кабы разрешили.

И вся моя энергия ушла в беспомощную ярость против мешавшего мне насилия. Беспомощную, ибо похищенный, заточенный и строго охраняемый, я мог только ждать, что они мне продикут.

Ночью меня разбудил вопрос:

— Вы любите пингвинов?

Сперва я подумал, что это мне снится. Но нет, кто-то сидел на моей постели.

— Кто тут?

— Так вы их любите?

— Пожалуй, в меру...— ответил я, не поступаясь своей совестью.

— Что значит — в меру?

— Это значит, что я их поддерживаю. Во всяком случае, ничего против них не имею. Можно включить свет?

Но мой собеседник уже меня опередил. С облегчением я узнал одного из стражей, охранявших меня и одновременно исполнявших обязанности прислуги. Второй был намного старше, однако еще отнюдь не старый, даже не средних лет и, по всей видимости, гораздо выше поднявшийся по лестнице преступной карьеры. Увидеть знакомого, пусть и палача, это лучше, чем увидеть призрак. Даже если он рехнулся или пьян. Я потянул носом, ожидая услышать запах алкоголя. Однако ничего такого не было. Неужели рехнулся?

— А что вы знаете о пингвинах?

— Ну как — что? Это не птицы и не млекопитающие, скорее птицы, только не летают. Живут на Крайнем Севере...

— Также и в Антарктиде,— строго поправил он меня.— В окрестностях полюса. И это все, что вы о них знаете?

— Наверно, все,— сокрушенно признался я.

— Ну ясно, этого следовало ожидать.

И он погрузился в угрюмую задумчивость.

Я не знал, что делать. Встать? Одеться? А может, лучше покорно ждать дальнейшего развития событий. Не раздражать сумасшедшего. И я лежал тихо, не шевелясь.

— Никто о них ничего не знает,— с горечью произнес он наконец.— Никто не заботится.

Я начал о чем-то догадываться. Недаром я человек, живущий в современном мире.

— О да,— согласился я,— к сожалению, общественность проявляет тут преступное неведение.

— Нет, равнодушие. Кого волнуют пингины?

— Никого,— подтвердил я, теперь уже с глубочайшей убежденностью.

— Вот именно. Никого не волнует их судьба, их привычки, история, культура... Это несправедливо. По-вашему, так и должно быть?

— О нет! Но если я сам плохо осведомлен, то лишь потому, что стал жертвой манипуляций, лживой информации, а также бюрократической организации общества, за которой скрываются силы империализма и крупного капитала.

Лицо его просияло.

— По крайней мере, этого вам не надо объяснять.

— Само собой.

— Так вы согласны, что дальше так не может продолжаться?

— Ни минуты! — вскричал я, соскакивая с койки и хватая брюки.

— Согласны, что надо действовать?

— Немедленно! — выкрикнул я, борясь со штаниной.— Слишком долго несправедливое отношение к пингвинам сходило безнаказанно. Но час настал!

— Что вы предлагаете?

Я замер с накинута на голову сорочкой. Нет, выступить с инициативой нельзя, надо действовать осторожней.

— Почему я знаю...— сказал я, вынырнув из сорочки и наткнувшись взглядом на неподвижные, горящие глаза фанатика.— Может, создать движение борьбы за...

— Это потом, а пока что делать?

— Такое движение могло бы выдвинуть надлежащие требования. Например... Вы говорите, они живут у полюсов?

— Исключительно там.

— То-то и оно! Их загнали в край, где условия существования самые ужасные! Первым нашим требованием будет вернуть их в умеренный, даже субтропический, климат. У меня у самого от последнего посещения тропиков осталось гнетущее впечатление. Но лишь теперь я понял — почему. Ведь там нет ни е-ди-но-го пин-гви-на. «Пингвинов на Флориду!» — таким будет наш лозунг.

Мне показалось, что я хватил через край, но, к счастью, мой собеседник не обратил на это внимания. От моего максимализма он отмахнулся нетерпеливым жестом.

— Прежде всего надо пробудить тревогу общественности.

— Но как? — спросил я, делая вид, будто не знаю, к чему он клонит.

— Это можете сделать вы.

— Я?

— Надо лишь, чтобы Зомби сказал о пингвинах.

— Откуда вы знаете, что я и Зомби?..

— Мне не положено знать, моя обязанность только охранять вас. Но у меня есть уши.

— А если вы знаете, стало быть, знаете также, что это невозможно, и знаете, почему невозможно.

— Знаю. Но невозможно, только пока вы тут сидите.

Я молчал, не веря своему счастью.

Он подвинулся ближе и понизил голос.

— Я вас впущу в котельную, и там вы пробудете до утра. Через минуту меня сменит на посту у дверей мой напарник, а я пойду спать. Утром я должен ехать в город за продуктами. Я подгоню грузовик к окну котельной, и вы прямо из окна перейдете в грузовик.

— А дальше?

— А дальше Томаш Зомби скажет что-нибудь о пингвинах.

Он закончил фразу ликующим тоном, в глазах его светился энтузиазм борца за правое дело.

5

Местечко было далеко не такое, в каком я хотел бы поселить пингвинов, вознаградив их за несправедливость многовековой ссылки в полярные области. Каменистый берег, окутанный холодным туманом, рыбацкий поселок, где нет ни ремесленников, ни развлечений, а значит, нечего искать больших заработков, перспективных дел и предприимчивых личностей. Я сам выбрал его как место добровольной ссылки. В одиночестве, но свободный, я сидел у жаркой печурки в нанятой комнате наедине с последним словом Томаша Зомби, сиречь с моим Главным Словом.

Оно опять принадлежало мне. Я работал за непокрытым деревянным столом, а напротив висел календарь. Времени оставалось все меньше. Стопки исписанной бумаги густо устилали пол. И все это были только наброски, планы, общие концепции. Что ни начну, все тотчас развивалось, разветвлялось, росло и никак не достигало зрелости. И даже если бы один из замыслов показался мне наконец не только готовым, но и достойным того, чтобы сделать его Главным Словом (впрочем, откуда я мог знать, пригоден ли он, если он не был завершен), надо еще было сырую эту массу превратить в нечто сжатое, краткое и чем короче, тем совершенней по форме. И эта вторая часть задачи, к которой я даже не подошел, заранее виделась мне неким зернышком риса, в котором индийские мастера вырезают целый город с пагодами и процессией магаарадж на слонах.

Я убедился, насколько обманчиво было вдохновение, осевшее меня в моей темнице. Насколько невозможность осуществления вселяла прямо-таки фантастическую уверенность в своих силах. Да, последнее слово Томаша Зомби теперь принадлежало только мне, мне одному, но превратить его в мое Главное Слово было теперь столь же трудно, сколь это казалось легко, когда оно мне не принадлежало.

Я испытал первый приступ сомнения. А если отказаться? Я превозмог минутную слабость и продолжил работу. Но второй приступ был более тяжелым и едва не завершился полным крахом. Если этого не произошло, то отчасти лишь благодаря моему героизму.

Пришла, однако, ночь, когда мне и впрямь осточертело. «Хватит. Не смогу, не осилю». Табачный дым давно жег глаза, теперь он словно бы осел на мне, на мебели, на стенах — серая тонкая пелена. Черный кофе перестал на меня действовать, будто я вливал его в покойника. Я внезапно встал, сбросил плед, которым укрывал зябнувшие колени. Как лунатик, спустился по лестнице, чувствуя внутри омерзительную пустоту, непристойное наслаждение безусловной капитуляцией. Подошел к телефону в прихожей.

Набрал номер, перед которым шло много кодовых цифр. Разговор предстоял на большом, очень большом расстоянии.

— Слушаю,— раздался в трубке голос адвоката.

Я молчал. Еще было время положить трубку и возобновить борьбу.

— Кто говорите? — в его голосе звучало не столько раздражение, как недоумение,— время-то было ночное. Вероятно, я нарушил его сон.

Я назвал себя.

— Откуда вы звоните, где находитесь и где пропадали все это время?

— Это неважно. Я только хочу сказать...

— Да знаете ли вы, какое сегодня число? Понимаете ли, что это последние минуты?

— Знаю. И я хотел сообщить, что отказываюсь.

Молчание. А затем:

— Как вы сказали?

— Я расторгаю контракт. Я не буду сочинять последнее слово Томаша Зомби.

— Вы что, с ума сошли?

— О причинах не спрашивайте. Просто я уже не хочу.

Опять молчание. Потом вдруг совершенно не сонным, трезвым голосом:

— Хорошо. Но у нас остается клаузула три, параграф Е-семь.

— Какая клаузула, какой параграф?..

— Нашего контракта. В случае невыполнения условий вы должны выплатить в виде возмещения...— и он назвал сумму.

Теперь в свой черед уже молчал я, теперь я протрезвел. Сумма была куда больше, чем все мои заработки за последние три года.

— Вы еще слушаете меня?

— Да.

— Жду вас в моей конторе в ближайший понедельник. Разумеется, с готовым текстом. А об этом разговоре забудем. Спокойной ночи.

Он положил трубку. Я тоже. Долго и без единой мысли в голове я стоял у телефона, пока не очнулся от прикосновения ко лбу чего-то холодного. Оказалось, я то ли задремал стоя, то ли впал в летаргическое оцепенение, и голова моя легла на аппарат. Я возвратился к себе наверх и сразу же заснул, но теперь в лежачем положении.

6

Оставалось всего три дня. Не до «ближайшего понедельника», который уже прошел, но до казни. Один день надо было вычесть на поездку, один — на то, чтобы Томаш Зомби успел кое-как усвоить текст, и на сочинение того, что я не мог придумать за последние несколько недель. Оставались одни сутки. Один день и одна ночь. После чего я рано утром покину поселок.

Около полудня я пошел к морю. Оно было бурное. Бесконечный простор, пена, брызги, водовороты, вздымающиеся и опадающие валы, игра красок — от кобальта до темного серебра, шум набегающих и откатывающихся волн, шорох и хруст гальки, увлекаемой туда-сюда водою по пологому берегу,— бесконечность в движении. Для нас движение всегда связано с целью, порыв же без цели — это лишь призрак порыва, а тут были одни порывы и никакой тебе цели, бесчетные порывы, бесчисленные формы, но не сопряженные с чем-либо вне себя самих, с чем-либо, находящимся рядом, позади или сверху,— словом, нечто гигантски призрачное. Даже одинокая чайка летала сама по себе, замкнутая в себе самой и самодостаточная,— символ одиночества. Илистые водоросли налипали на мои резиновые сапоги. Говорят, несколько миллиардов лет тому назад я вышел из моря, но теперь я, увь, уже не мог в него возвратиться.

Как же найти мое Главное Слово? Кипы исписанной бумаги там, позади меня, в четырех стенах комнаты, отсюда невидимой,— но она есть там, справа от граненой верхушки костела и чуть ближе трубы рыбоконсервного заводика,— так же не давали ответа, как это пенящееся бурление передо мной. От бурления я, однако, и не требовал ответа. Я давно знал, что ждать его отсюда бессмысленно. К морю же пошел не за тем, чтобы о чем-то кланчить, не за дармовой милостью. Мне просто не хватало воздуха.

Я, конечно, мог отказаться, не уплатив ни гроша, даже заработав тысячу-другую. И контракт расторгать не надо, достаточно принять любой из предложенных мне вариантов. Мог отказаться от моего Главного Слова,— не от

последнего. Последнее слово может быть какое угодно, но мое Главное — о нет.

А я должен был придумать свое Главное Слово. Дело шло о чем-то более значительном, чем мое самолюбие. Требовалось решить вопрос, столь же важный, как «быть или не быть», — а именно, «мыслить или не мыслить». Пожалуй, еще более важный. Потому что «быть или не быть» только с виду зависит от нашего решения, в основном же решается независимо от того, что мы об этом думаем. Между тем в вопросе «мыслить или не мыслить» фактор свободной воли играет роль более существенную. И наконец, ведь само решение вопроса «быть или не быть» в большей мере зависит от того, мыслим мы об этом или же не мыслим, и лишь в том случае, если мыслим, от направления наших мыслей.

Мыслить... Но чего стоит мышление, если оно не доведено до главной сути, если оно подобно всего лишь этому бурлению, простирающемуся передо мной. Этому бесконечному множеству порывов без единой конечной цели, этому столь энергичному и бесконечно разнообразному движению без какого-либо смысла, этакому шуму из ничего? Чего стоит литература, если она не способна дать погибающему человеку слово, достойное смертного часа? Чего стоят наши слова, миллиарды слов, которые мы уже миллиарды лет говорили, повторяли и поныне повторяем, если человек в решительный миг не может высказать самого важного, самого главного? Если в миг явления ему Целого он способен высказать лишь некий осколок, некую дробь, то, что получается при делении единицы на бесконечность? Дело было не во мне, не в моем самолюбии и даже не в престиже литературы. Дело шло о чем-то куда более значительном.

Но в моем распоряжении уже оставался всего один день, даже неполный: среди гула, шорохов и клочкотанья моря, как осколок стекла среди растений, осколок, чуждый их природе, прозвучал бой часов на башне костела. Час дня — значит, осталась лишь часть дня да ночь. Нет, мне не удастся выполнить задание.

Ну, а если бы у меня было больше времени? Я ведь мечтал свести те груды бумаги к некоей квинтэссенции и лишь с этой целью умножал их и нагромождал. Чем больше субстанции, тем верней добудешь квинтэссенцию. Но зачем себя обманывать, я никогда не достигну той границы, откуда мог бы повернуть назад. Я обречен лишь множить бумажные горы и мечтать.

И тут чайка, до тех пор неподвижно висевшая в воздухе, замкнутая в своем одиночестве на себе самой и потому сама для себя не существующая, — исчезла. Среди волн раздалось какое-то трепыханье, а вот и она, взмыла в небо снова, что-то неся в клюве. Теперь не поднимается уже высоко, летит над водой, удаляется. Это уже не та чайка, что прежде.

Пропади она пропадом, эта груда бумаги! Я шел по неверному пути, поэтому никуда не дошел. Я строил системы, громоздил аргументы, искал связи, обоснования и аксиомы. Системы никак не удавалось замкнуть, аргументов всегда не хватало, связи распадались, в обоснованиях появлялись дыры, а аксиомы держались на честном слове. Я кружил по плоскости, надеясь, что из моих следов сложится рисунок, чертеж, математическая схема, формула Вселенной. Увы, шансов на это у меня было не больше, чем у червя, которого обмакнули в чернила и пустили ползать по бумаге. Нет, тут надо по-иному. Не плоскость нужна, а точка, не постепенность, но удар на миг раньше того мига, то есть действовать надо не разумом, а интуицией. Вспышка, виденье, озаренье. Надо было сразу так взяться, но еще не поздно. Чтобы выполнить задание, мне хватит наступающей ночи.

Я вернулся домой и снял со стены уже ненужный календарь. Потом сел и принялся за работу по новой формуле. На рассвете встал из-за стола.

Она сидела в приемной, лживая, но эффектная, с примитивным лицом и весьма красноречивым телом. Лицо из тех, от которых после беглого взгляда отвлекаешься, дабы сосредоточиться на остальном, которое отнюдь не остальное, а главное, ибо именно лицо в данном случае — оно-то и есть остальное

сравнительно с телом. Совершенство форм не было ее заслугой, тем не менее она узурпировала все почести, полагающиеся званию красавицы, и эта узурпация не вызывала возражений. Однако в ту минуту она, казалось, была не в состоянии заниматься ни назначенной ей в жизни ролью, ни иллюстрированными журналами, которые листала нервно и машинально. Но недолго, через минуту она уже смотрела только на меня, потом подошла и без приглашения села в стоявшее рядом кресло — красноречивое тело на превосходной имитации кожи.

— Вы — друг Томаша?

— В известной степени.

— Только не отрицайте. Томаш мне все рассказал.

— А именно?

— Нечего вам притворяться. Вы пришли, чтобы встретиться с ним. Я знаю, по какому делу.

— Если вы знаете...

— Да, знаю и хочу вам сказать, что все это чепуха.

— Возможно, в каком-то смысле.

— В любом смысле. Томаш прекрасно знает, что он хочет сказать. Без вас.

— Однако он подписал контракт со мной.

— Чепуха. Томаш всегда знал, какое будет его последнее слово. И он его скажет — независимо от того, что вы ему придумали. И вам тут нечего делать.

— Возможно. Но я должен выполнить контракт. Потом пусть он делает, что хочет.

— А я вам говорю, убирайтесь отсюда немедленно!

Я оглянулся вокруг. Приемная походила скорее на читальный зал или курилку клуба средней руки. За последние десять лет сделано все, чтобы тюремная жизнь напоминала нормальную. Если бы не охранник, скромно стоявший возле бара, трудно было бы найти различие.

— Уходите отсюда!

— Я уйду, но только тогда, когда то, что вы сказали, услышу от Томаша.

— Вы уйдете или нет? — истерически взвизгнула она.

Охранник возле бара недвусмысленно пошевелился.

— Нет.

— Ну ладно, сидите, — сказала она пренебрежительно и надменно. — Это вам все равно не поможет. Томаш скажет только то, что он хочет.

— А вы знаете, что он хочет сказать?

— Конечно, знаю.

— Мне бы тоже очень хотелось узнать.

— Что он меня любит.

— Вот как!

— Да! Всегда меня любил. И никто не заставит его сказать что-то другое.

Ни вы, ни ваши советчики. Никто!

— Разумеется. Если такова его воля...

— Он меня любил, любит и всегда будет любить, даже за гробом. Вот это и будет его последнее слово.

— В таком случае...

Дверь, через которую вводили узников на свидание, отворилась. Это была точно такая же дверь, как та, в которую входили и выходили посетители, и как та, возле бара, для obsługi. Тоже под красное дерево. Я встал, одновременно вскочила и моя собеседница.

Томаш Зомби вошел в сопровождении конвоира. Войдя, остановился, сделал пол-оборота и вышел.

Я взглянул на женщину и убедился, что теперь ее лицо впервые было достойно внимания.

Конвоир возвратился, но без заключенного. Он подошел к нам, вид у него был озабоченный.

— У вас свидание с Зомби?

— Да.

— Зомби сказал, что не войдет, пока тут находится эта дама.

Я и конвоир посмотрели на нее.

— Я хотела бы сказать вам еще несколько слов.

Конвоир отошел в сторону.

— Скажите ему, чтобы он сказал... Вы же знаете — что.

Я кивнул.

Она повернулась к двери и с улыбкой, в которой было столько же правды, сколько в каждом из ее предыдущих предложений, прибавила:

— Буду ждать вас у выхода.

Я же подождал у входа. Когда Томаш вошел, я с расстояния одного шага всадил ему в живот семь пуль из короткоствольного револьвера, называемого «бульдогом». Для таких случаев он превосходен — крупнокалиберный, но небольшой, не оттопыривает карман и не вызывает преждевременных подозрений. Томаш скончался без слова, как я и хотел.

8

Если ты не можешь сказать Главное Слово, надо умереть молча. Зомби этого не понимал.

Хотя, возможно, я убил его по личным мотивам. За то, что я не сумел придумать Главное Слово. Смертельно раненное самолюбие литератора. Фрустрация.

Во всяком случае, если меня приговорят к смертной казни, я и не подумаю произносить последнее слово. Чего-чего, а этого не будет.

Ибо не исключено, что меня приговорят к смерти. Мотивы моего преступления для них и впрямь достаточно неясны, и они могли бы меня оправдать. Но тогда пришлось бы отменить зрелище, в которое вложено уже столько денег и на которое все так рассчитывают. Во всяком случае, когда дойдет до дела, я не стану валять дурака. Я ничего не скажу, что было бы ниже Главного Слова.

То есть не скажу ничего.

Умру без слова.

Хотя, может быть... Может быть, я все же что-нибудь еще придумаю? А вдруг получится? У меня ведь еще есть немного времени.

ГАЛИНА НЕРПИНА *Пенелопа*

Возвращение

Молчи, молчи,
 твои слова огромны,
 Как темный шум качающейся кроны...
 Мне холодно на ветреном мосту.
 Мне этот час уже полжизни стоит.
 Худая птица длится над водою,
 Внезапно обрываясь в пустоту.
 Что ж, мне пора.
 Я буду помнить четко
 Цветок чугунный сломанной решетки:
 Ты, уходя, задел его плащом.
 Теперь ты прежний, прежний, — я
 другая.
 И цепью жизнь гремит, осенний дождь ругая.
 О чем он плачет? Право, ни о чем.



Элегия

Ты говорил, что с разными людьми
 Ты рвал внезапно
 и сходиллся тоже.
 Тогда меня покрепче обними.
 Конец рассказу. Мы с тобой похожи.

 Но сумрак старомодного жилья
 Тебя хранит своей усмешкой барской.
 Метель и гипс морозного белья
 Ты зарифмуешь в речи тарабарской.

 Ты в одиночество зарывшись с головой,
 На собственный манер сей мир устроил.
 Покой и воля, воля и покой...
 Тебя напрасно Пушкин успокоил.

 Но есть тоска, привычка и грехи,
 И есть любовь, которая уходит.
 Поближе сядь, подвинь чуть-чуть стихи.
 Дурная голова — к плохой погоде.

* * *

Что же делать, ничто не сгорает дотла.
 Это, в общем, обидно.
 И разглядывать сны абсолютно смешно,
 Все и так очевидно...
 Надо пить за тоску. Хлещет мутный портвейн
 Из открытого крана.
 И не очень-то Млечный мерещится путь,
 Но тебе еще рано.

Ангел мой, погляди сквозь окно на меня —
Чтобы сразу отринуть.
Величава печаль и свобода легка,
Если руки раскинуть.

* * *

Ты создал мир
Из сложных сокращений,
Из вероятностей, обратных допущений...
Довольно, не трудись, заварим чай,
Потушим свет.

Сказать тебе «прощай»?

Сказать тебе? — ты не умрешь от пуль,
И память зашвырнет тебя в июль:
И это мой приют ненарушимый,
Ты будешь часто, часто красться мимо,
Ловя случайное, мгновенное тепло...

Оставим. Это так...

Пройдет. Уже прошло.

* * *

Опять вокзал и вздохи тепловозов,
Я плохо слышу твой усталый голос,
Но я пойму, что семь без двадцати.
Я этот час любила: чем он ближе,
Тем ближе ты —

и я тебя увижу.

Я так уже не думаю. Прости.

Ты говоришь, что осень высокосна,
Что платье зелено, распутица несносна,
Что наша жизнь наладится сама...
Ты поезжай, хранит тебя Всевышний.
В твоём купе двухместном третий — лишний.
А лишний сходит. Иногда с ума.

Ты выйдешь с сигаретой в серый тамбур,
Прекрасен и свободен, словно ангел.
Подумаешь, что точно —

разлюбил.

Качнется ночь составом окаянным,
Спиной к тебе лежит какой-то пьяный,
Нет, я не знаю, кто его убил...

* * *

Ты — бесспорный любимец спокойной и верной судьбы,
Не такой уж капризной, как нам полагается верить.
Ты устал от страны, как от долгой и нудной ходьбы,
Как от женщины, вечно без стука твои открывающей двери.

Моя бедная родина — тонут ее корабли,
Ее гибельный код мы, увы, набираем исправно.
Чтобы ангелы душу твою для меня сберегли,
Без тебя не хочу. А с тобой не хочу и подавно.

* * *

Все сложилось удачно:
Засни, перепутай, забудь.
Час вечерний уступчив
и занят своим совершенством.
Это все для тебя.
Осчастливь и меня как-нибудь
Отдаленным подобьем
невольного нежного жеста.

Мне придется разлуку во всех океанах топить.
Нужно долго прожить, нужно боль эту глупую выжить.
Просто кашляют птицы, темнеет, мне хочется пить;
Просто ангелы громко поют —
ну да их все равно не услышать.

Пенелопа

Ты медленно идешь сквозь мутный сумрак сквера,
И мысленный твой путь далек от этих мест.
Твой Одиссей давно проник в иные сферы.
Он бредит кораблем. Он ничего не ест.

Его не обогнать бесстрашными мечтами,
И не твоим глазам разжечь его глаза.
Что за твоим окном? — а за его плечами
И слава в смертный час,
и божия гроза...

Маленький цикл

1

Что же это: тень решетки,
Ночь, стена, внезапный дом,
Как во сне — твой профиль четкий
За спасительным стеклом.

Дай, судьба, еще отсрочку.
Вот настал и мой черед.
И как в той давнишней строчке
Все сейчас произойдет.

Так наврешь, насочиняешь —
Что и больно, и смешно.
Думаешь, что все играешь,
Как играют в домино...

А потом конец рассказу.
Победителю — труба.



И так страшно, и так сразу:
Вот любовь и вот судьба.

2

Все стало тише, глуше, разрешимей,
И жить сложнее от этой простоты.
И линии судьбы непогрешимей
Разводят мои темные мосты.

Гори дотла. Есть встречи, как пожары.
Ты что-то вечно пишешь на клочках,—
Мне говорил один приятель старый
В пронзительно сверкающих очках.

Стихи, прощайте! Вот она, победа.
Вы взяли все, теперь ступайте прочь.
Спасибо за стремительность разбега —
Где жизнь моя слезами гасит ночь.

65



3

Обними меня. Что ты подумал?
Что листва у ограды горит?
Это только ничтожная сумма
Наших, в общем, ничтожных обид.

Прошлогодня, жалкая, хрупкая,
Сметена в грязноватый костер
Вперемежку с тоской и окурками,
И безмолвен шемящий простор.

Как нам жить в этих даях немеренных,
Как уйти от наскучивших слов,
Отгулявших, уставших, растерянных,
Как последняя книга стихов?

Я еще для тебя что-то значу?
Послезавтра начнется апрель.
Ты с ума сошел! Я и не плачу.
Это март... ради Бога... Капель.

АСАР ЭППЕЛЬ

Из книги рассказов «Травяная улица»

Темной теплой ночью

66

Господи Боже мой, прости мне, как простил — если простил — наказание кота в Ленинграде, когда тот воровал, крал у соседей и, нарочито деланным голосом воя, не давал мне, измотанному и больному, спать. Прости мне, Господи, и странную шалость, жуткую выдумку уходящего детства, которую я позволил себе и всю никчемность которой все равно тогда бы не постиг, и никто не смог бы вразумить меня, да и вразумлять было некому, да и сейчас она забавляет меня — правда, чуть-чуть, — а может, и не забавляет, и улыбаюсь я, вспоминая свою дерзость и веселье, тогдашние дерзость и веселье, но давно не улыбаюсь, вспоминая отчаяние той женщины, ее беспомощность в ту ночь, ее жестоко угаданные мной паранойю и одиночество...

Теплой летней ночью, каких теперь нет, а раньше было сколько угодно, летней ночью, когда травяные улицы, нахлебавшись дня, уходили на дно, и на черной глубине переставали шевелиться ветви и занавески — хотя, возможно, и не переставали, а тихо шевелились, но во тьме это неразлично, — темной теплой ночью я вышел из сверкающего трамвая и стал уходить в темноту, на дно океана, туда, где то ли шевелятся, то ли не шевелятся ветви и занавески.

Я вышел на эту дорогу один, потому что один только и приехал на сверкающем трамвае, а ступив на нее, пошел не очень-то спеша, но живо, а под ноги даже не глядел, потому что по дороге этой я могу хоть сейчас пройти с завязанными глазами, вернее, мог, потому что дороги этой больше нет, верней, есть, но не вся, а лишь трехминутное начало ее, где светились тогда кое-какие фонари.

В их свете я увидел впереди и в отдалении старую женщину, идущую — вернее сказать, медленно идущую — попутно со мной. Было заметно, что она как бы подволакивала ногу и шла, тупо ставя обувь. Не сбавляя хода и не производя шума, я быстро оказался в полусотне метров за ней, грузневшей от небольшой головы к бедрам, тяжело завершавшим малопригодные для пешего передвижения конические ноги.

Всех населяющих травяные улицы, куда вела нас поздняя дорога, я знал, так что узнал и ее, хотя поселилась она недавно и жила одна, сама по себе. Вот и сейчас, в теплую эту ночь, она одна, сама по себе, брела домой, чтобы дома тоже оказаться самой по себе и одной.

Начиная рассказ, я встал уже, читатель, перед тобой и Внемлющим на колени, и не надо хотеть, чтобы, вспоминая давно прошедшее, я был в этом прошедшем собою только прошедшим; все ведь перемешалось, так что сам разбирайся, где я какой.

— На цепочку даже запирается! — сообщил мне друг-приятель, сын сапожника. Еще он рассказал, что ребята — сколько раз постучатся и бежать, а она с опаской осторожно выглядывает в щелку.

Я вспомнил это, признав шаркающую фигуру, вспомнил вздрагивающее лицо, испуганную манеру разговора, искательное заглядывание в глаза и как бы про запас задабривание этим взглядом, слегка как бы добавлявшим заикающемуся голосу плевою отвагу: «Я же вас не боюсь, видите — я вас не боюсь; заметьте,

что я вас не боюсь, а заметив это, не обижайтесь и не обижайте меня... И не пугайте меня, потому что мне страшно, потому что я себе места от страха не нахожу... Я тут новая, а новички, попав туда, где кто-то уже есть, навсегда остаются новичками. П-п-помните, как к вам во втором классе гимназии... ах при чем тут гимназия!.. Я т-т-тоже в ней не училась!.. Так вот — вы, наверно, п-п-помните, как во втором классе п-п-появился новичок? Он же так новичком и остался, п-п-потому что он не все про вас знал, и я про вас не все знаю, но тем не менее не боюсь. Видите, даже храбро заглядываю в глаза... в-в-видите?..»

«В-в-вижу!» — подумал я и, резко шваркнув подошвами, прижался к забору.

На внезапный и нелепый звук она не отреагировала. Сперва не отреагировала. Прошла несколько шагов и вдруг, словно звук до нее наконец дошваркал, замерла и стала медленно поворачиваться вокруг ноги, которая получше. Она повернулась, а не оглянулась — она обезопасила спину, что является разумной реакцией всего живого, когда не можешь убежать. Она замерла, прислушиваясь, повернулась и, прижав кошелку к груди, не увидела никого. То есть того, кто, шваркая подошвами, догонял ее...

Сын сапожника, мой друг-приятель, оказался прав.

У нас никому и в голову не приходило опасаться ночных, темных, как ночная вода, улиц. Даже мамыши не нервничали из-за поздно возвращавшихся дочек, ибо возвратиться можно было только поздно; любая поездка в город, нескончаемое сидение в театре — а спектакли тогда были длинные, — долгое затем ожидание трамвая неминуемо приводили отлучившихся к рубежам слободы не раньше половины двенадцатого, так что в богохранимые пределы бестранспортного пространства, на его тропинки, бульжные тракты и косогоры временно убывший вступал иногда и после полуночи, чтобы за двадцать-двадцать пять минут пешего хода достичь своего прогретого за день и душного теперь жилья, где поедал в придонной мгле вязкий суп из мидий и слышал: опять где-то шлялся, шлялась, шлялись — ну, шлялся! — шатался, шаталась, шатались — ну, шатался!.. Спи, не приставай!..

Даже в войну не случалось, чтобы кого-то — даже ночью — обидели или ограбили. И хотя законы на травяных улицах разным образом нарушали почти все, жизнь протекала спокойно. Обильный уголовный элемент, время от времени за правонарушения исчезающий в антиподах, в своей округе никого не трогал, хотя кого потрогать было, а ограбить — тем более, а запугать — еще тем более. Страшные образом своим и подобием шпана и ворье у себя сидели тихо: если дрались, то меж собой, держались оравой и, чванясь, блюли друг перед другом интересы своих сообществ и территории. Тогдашняя милиция продолжала табельную службу старых околоточных — в округе было два участковых, а на привычных постах всегда топтались постовые в героических буденовках — числом три. Значит, если что, — известно, куда сбегать за спасением.

И всё же обитатели травяных улиц на ночь запирались. На проволочные крючки, но запирались. Пошел закрыл наружную дверь на крючок, который, между прочим, с улицы, просунув руку в отдушину, можно откинуть, — это секрет для своих: вор, надо думать, не догадается! — потом пошел, запер комнатную дверь тоже на крючок и спи себе. Если уходишь куда или уезжаешь, уходи на здоровье! Даже в эвакуацию можешь уехать, если замок висячий повесил. Даже на 3-ю Мещанскую к дяде Якову, пожалуйста, отлучайся!

Тем не менее случалось, что и подворовывали. У кого-то пропало белье с веревки, у кого-то курица. Правда, курица могла и сама куда-нибудь подеваться, навозну кучу разрывая, а белье просто могли забыть повесить или даже постирать, или ветер мог унести его вдаль. Но это вряд ли. Вдаль же можно сходить, поискать белье и курицу — и найти.

Так что не станем отрицать — кражи все-таки были. Целых как бы две.

Но возвращаться домой в поздноту — это, повторяю, не возбранялось, то есть никому ничем не грозило.

Она же беспомощно повернулась и, прижав кошелку к груди, стала вглядываться в полутьму, однако ничего, ясное дело, не высмотрела, а я, вжавшись в забор, глотал смех и знал, что позабавлюсь будь-буди, и, кому завтра ни расскажу, все порадуются. Кстати, так оно и было — кому ни рассказывал, все

веселились; не помню, чтобы хоть кто покачал головой. А я себя ощущал героем жутковатого и, как мне теперь представляется, недоброго сочинения про Тома Сойера.

Повернулась она, поглядела, потом повернулась туда, куда шла, и — насто-роженная — поплелась: наверно, решила, что ослышалась или что свою одышку приняла за внезапный звук.

Ей бы повернуть назад и просидеть до рассвета на Мало-Московской, где трамваи ходят, а она поплелась дальше. Правда, никакому нормальному человеку, да еще и уставшему к ночи, не придет в голову сидеть до утра на остановке, оттого, что что-то померещилось. А если нормальному не придет, ей и подавно не пришло — она же все-таки была не совсем нормальная.

Но обречь себя на предстоящее — даже на недолгом ночном пути, — по правде говоря, не стоило.

Как же в таком случае, по правде говоря, следовало поступить, чтобы предстоящего избежать? По правде говоря, никак. Идти быстрее? Бежать? На таких ногах и с одышкой дай Боже вообще добраться. Двухминутная для всех дорога для нее и без того продлевалась вдвое. Ждать, пока кто-то придет на следующем трамвае, тоже бессмысленно — навязывать своековыливание вряд ли уместно, да и неловко показывать себя такой пугливой, да никто и не поймет твоих глупых страхов.

Самое правильное было дождаться Петю, знай она вообще о Петинем существовании. Но откуда ей было знать, если в часы Петиних возвращений она обычно спала, а в Парк культуры и отдыха имени Дзержинского глядеть, как Петя играет в городки, не ходила?

А хоть бы и знай она Петю — ждать его было неблагоприятно; в зависимости от разных причин Петя мог сойти и на другой остановке — допустим, у «Села Алексеевского».

Вступал он обычно в слободу за полночь, достигнув родных заборов по окончании спектакля и дружеского (на профессиональной почве) возлияния в актерской уборной. Петя имел бас, каких мало, и пел в хоре оперного театра, причем, надо сказать, наилучшим образом. Попадались, правда, оперы, где замысел композитора ограничивал октаву крохоборным порывкиванием, тогда Петины возможности за всю партитуру применения не находили, а если солировавший бас бывал еще и не в голосе — а в голосе тогда бывал один Максим Дормидонтыч, — то Петя, продвигаясь по темным тропам к своему обиталищу, сам исполнял партию, загубленную солистом, прекрасно вживаясь в образ и легко перекрывая своими возможностями всех, кто когда-либо издавал низкие ноты.

Войти в наши места он мог по трем дорогам: со стороны известной уже Мало-Московской, со стороны упомянутого Села Алексеевского и со стороны вовсе незнакомых нам Останкинских улиц. Зависело это от причин разных. От репертуара, какой Петя намеревался спеть, от степени творческого несогласия с солистом, от задушевности разговора в уборной, а также — и это главное! — от состояния летнего воздуха, теплого темного океана, на дне которого в раковинах, а то и просто под камнями дышат жабрами во сне люди, а по дворам сидят на цепях, чтобы не всплыли к луне, собаки.

Петя вступает в затонувший мир и, прокашлявшись, утробно хмыкает. И сразу же на другом конце — на самом дальнем, — где-то в паре километров от Петиного зыка взлаивает пес. Заметьте: сперва взлаивает самый дальний, что, во-первых, говорит, насколько у Пети мощный голос (а ведь Петя еще и ноты не взял), а во-вторых, свидетельствует в пользу собачьих навыков — первыми взлаивают самые дальние. Те, что поближе, Петю видят и чувят, а многие — даже узнают в лицо. Ближние эти сперва тихо озирают огромную, полную мятущейся музыки Петину фигуру, нюхают воздух, изготавливаются и, лишь когда Петя с арией Гремينا на устах возникает возле их заборов, заходятся лаем, а те, что поглупее, на заборы еще и кидаются. Петя на них даже ноль внимания не обращает. Плевать он хотел. Тут же, на ходу, приспособливает он куплеты из оперы Гуно «Фауст»:

Полно ла-а-аять, ва-а-ашу мать!
Вашей злобы не бою-у-у-ся!..

Спокойно и торжественно идет певец и никому не мешает. Никому не мешает неимоверный голос в ночи, поскольку те, кто спит, не слышат, а кто не спит и тревожится, и страшится шорохов за окошками, и вообще смущается душой, успокаиваются, потому что, если по улице идет и поет человек, значит, все спокойно, значит, за окном есть живая душа, а раз заперто на крючок, никто войти не сможет, в том числе и живая душа.

Однако для живой души, ковыляющей впереди меня, было бы ошибкой ждать Петиного появления, и не потому, что он мог избрать другую дорогу. Просто Петя с воскресенья забюллетенил, ибо, когда играл в городки, какой-то еврейчик на соседнем кону, впервые в жизни взявшийся за окованную жестью тяжеленную биту, дерзко замахнулся, но на полуотлете испугался сокрушительной тяжести и до поры выпустил из рук свистящую палицу, которая и ушла в сторону Пети, каковой как раз целился в остатки трудной фигуры под названием «серб». Страшная бита, страшная даже в руках этого еврейчика, за херачила Пете поперек спины, и певец уже неделю не поет даже тихим голосом, опасаясь кровохарканья, сгубившего Максима Горького и многих революционеров.

Итак, она двинулась в сторону своего жилья, а значит, в сторону своего ужаса, потом снова замерла, оборотилась, взгляделась, вслушалась, потом снова повернулась и — потихоньку, как шла, — пошла, но вдруг как-то заспешила, то есть тащить ноги и переваливаться стала с большим рвением: видно, решила ускорить дорогу, не понимая, что это вряд ли получится, вернее, наверняка не получится. Так оно и было — шагов через пятнадцать решительное подтаскивание ног прекратилось, прежнее ковыляние снова стало удобным для мышц, а дыхание справилось с одышкой, хотя и осталось на пределе — некоторые сбитые вдохи-выдохи я расслышал.

От забора я не отлипал, чтоб не обнаружить себя, когда, испуганно повернувшись, она глядела в темноту. Я хотел дать ей уйти за угол. Дорога за углом, свернув направо, дальше — почти до конца — пойдет прямо и вниз по склону широкой впадины, на дне которой течет речка Копытовка, через каковую имеется превосходный бревенчатый мост.

Когда она дошла до угла, я от забора отделился, снова зашуршал ногами и снова к нему прижался. Она же рванулась за угол. Она исчезла за углом, и — едва я решил снова отлепиться — выглянула и чуть меня не обнаружила. Ну, хитрая! Ну, тетя Полли! Потом опять выглянула — неприметно так выглянула — и назад. И стала то и дело выглядывать, изучая свой страх, а я — в паузы между ее клоунскими выглядываниями — продвигался тихими бросками вдоль забора к углу. Высшее вдохновение намерения слатило наш ритм в мою пользу — она меня не заметила. Да и выглядывать вскоре перестала.

И вот со всеми предосторожностями я в свою очередь заглядываю за угол и вижу, что она уже метров на сорок ушла вперед и продолжает ковылять дальше. Не выходя из-за угла, я что есть силы топаю, как топают, разогнавшись с горы, опрометью бегущие за кем-то люди, а она — эть! — приседает, и рывком поворачивается, и беззащитно воздымает руки со своей дерьмовой кошелкой.

И видит, что позади опять никого нет.

Она стоит и стоит с поднятыми вверх руками, со вскинутыми по-дурацки руками, потом их опускает, зачем-то заглядывает в кошелку и хватается за сердце. Мне почему-то ясно, что делается это намеренно — показать, что она вот — больна, что у нее вот — больное сердце и что нападать поэтому нехорошо. Быть может, она даже считает, что с ней всего-навсего решили пошутить, и как бы дает понять — не заходите, мол, слишком далеко, у меня, вы видите, сердце пошаливает.

Так и есть — картинно притискивает левую руку пониже горла и, с усилием этак лова воздух, внимательно глядит в околзаборную темноту.

Никого опять не высмотрев, она тяжелее прежнего поворачивается и плетется дальше. Теперь она тихо идет, готовая в любой момент дернуться

и обернуться, и, обезмысленная страхом, проходит мимо спасительного темного барака с единственным освещенным окном на первом этаже, возле которого можно бы и крикнуть «помогите!».

В первом своем страхе, то и дело до поворота оглядываясь, потом высовываясь из-за угла, потом — пока шла — преследователей не обнаружив, она проворонила этот, стоящий справа, сразу же за углом, темный барак и теперь, когда после третьего оглядывания поняла, что ее все-таки преследуют, и поплелась дальше, я, прилипая к забору, угол обогнул (он и образовывался этим глухим забором, кажется, детского сада — сейчас уже точно не помню), так вот, обогнув угол, я оказался возле барака с желтевшим окном, а она барак уже прошла, и впредь ей попадется лишь одинокое деревянное строение, нахлобученное на пригорок возле почти моста, а дальше — совершенно пустые пространства в пойме Копытовки, текущей сейчас по дну мрака. И будет два фонаря всего, и оба за мостом, а до моста — темнота, замглаенная этими сияющими вдалеке промасленными пятнами. А с тыла — световая граница — угол забора в контр-ажуре освещения на изначальной дорожке моей затеи, где в первый раз я шваркнул подошвами.

Не оцененный ею барак меня внезапно привлекает. В нем живет толстопятая ученица женской школы, куда я хожу в драмкружок, а она в этом драмкружке тоже. Свет на первом этаже горит как раз у нее, и можно посвистеть — вдруг выглянет или даже выйдет. Я сразу весь напрягаюсь. Наплевать, что время позднее. Хотя ученицу я знаю плохо, но на последней репетиции, вскарабкиваясь с пола на сцену, она оступилась и, чтоб не сорваться, схватила меня, стоявшего у края сцены, спереди за штаны. Ошеломленный, я даже не отреагировал как положено в ответ ее руке (наверно, от неожиданности и удара ногтей), а она, обретя равновесие, это дело отпустила и невозмутимо принялась репетировать сцену из пионерской жизни в идиотской пьесе Розова, где раздражал фальшью и настырностью немосковский глагол «рюмзать».

Вот почему мне перехватывает горло идея посвистеть; я ведь уже заходил к ней, когда мать была дома, — брал списывать роль; и, понуждаемый инстинктом нереста, я направляюсь было к желтому с белым ситом занавески окну, ибо уже решил, что вцепилась она неслучайно, и обдумал продолжение события во всех распаленных вариантах, включая совместное попадание на необитаемый остров, потому что теперь — моя очередь хватать толстопятую ученицу и лезть ей под школьный фартук с оборками.

Но я посвистеть не останавливаюсь. Я не поддаюсь величайшему из слободских наваждений, ибо сейчас не нерест — сейчас я зверь, я преследую, догоняю, я на послушных лапах, на тропе, а впереди — верная, уготованная мне добыча.

Добыча так беспомощна, что даже видимость безопасности, даже лженадежда на спасение с готовностью трактует как само спасение, как самоё безопасность. В отчаянном ее житье надежда на что-то — такая большая редкость, что, торопливо обольщаясь, она спешит счесть надежду возможностью. Иначе с чего бы ей вдруг успокоиться и как-то ровней пойти? Не может быть, чтобы взяла себя в руки. Наверно, всем своим страшным страхом решила, что след ее или потерян, или вероятен конец преследования. Быть может, ее инстинкту солгал и спокойный теплый воздух: мол, ночь тепла и все уладится — ведь заторчи я у желтого с белым занавесочным дном окошка, и ее бы Голгофа тут же кончилась, и она пошла бы спокойнее, хотя идти еще и идти и все равно страшно, но зато не будет жутких шварканий и топота — необъяснимых этих пушечных звуков, про которые знает правду лишь уголовница ночь.

Все это можно предположить сейчас, а тогда...

А тогда она встала у огорожи одинокого деревянного домишки, нахлобученного на речной косогор по левую руку от нашего хода. Дом настолько глух и выключен из бытия, что его можно населить чем угодно: пустотой и тьмой, где палец, проткнув толстую пыльную паутину, угодит в липкий чертов блин в холодной черной сметане, или бегающими по стенам мохнатыми исчезанцами, или кем-то погребенным заживо, кем-то истлевшим и хоронящимся за дверной косяк, где хоронящийся, притаясь, истончился, запылится за сто лет и, когда ступишь

в темноту, сразу вывалится, захнычет и, тихо чмокая, присосется круглым ртом к твоей шее. И подо ртом с вялыми гоголевскими усиками тут же вздуется, брызгая кровью, шейная твоя жила...

Так что позвать на помощь кого-то из этого дома — значит взбудоражить полночное бытие, глухоту и кособогое запустенье...

На самом деле так только кажется — дом просто-напросто спит, но и это кажется; я-то сразу углядел слободским своим палисадниковым зрением, что на лавочке у стены за бузиными кустами обжимаются. Там и без того сидели тихо, боясь обнаружить себя перед обитателями дома — вдруг мать спит или вдруг мать не спит (отца в таких жилищах не бывает), а теперь, сперва услышав, а затем разглядев приближающийся силуэт, замерли, остановили свои предкульминационные грабки, оцепенили взведенные курки, прижали к лавочке трясущиеся подколенки.

Она их не видит, потому что такого не замечает уже, потому что это дело проморгала уже, а может, в свое время обошла, а может, была выдана сразу замуж и не было у ней ни поцелуев на завалинке, ни объятий на лавочке, ни умопомрачений на скамеечке. Заметь она этих двоих, попроси помочь, и — кто бы они ни были, пусть даже не знаю кто, — они бы помогли. Хватальщик бы поднялся и хмуро бы вышел боком на имеющийся свет, сохраняя в тени торчащие спереди брюки; хватаемая спустя минуту выглянула бы из темноты, уже прибранная, преля и надеясь на новое колупание кнопок и пуговичек, на вытаскивание намертво засевших крючочков, и проникновение, и залезание, и — ёу! — завоевывание каждой пяди стыдливых, но ополоумевших от неотвязной горячей пятерни жеманных своих поверхностей.

Однако моя этих двоих не видит, она темного дома трепещет, у нее глаза на спине, а подлобные побелели от страха, и правое веко вздрагивает, и щека, я так думаю, дергается, и губы никак не сложатся в звук «п-п-п» для слова «помогите».

Все-таки она п-п-поворачивается к дому, словно собирается обратиться к погребенному заживо певцу запорожского психопата или к суетливым бегунам-исчезанцам. Она глядит на темное строенье и не решаетея никого позвать: ее деликатность и такт сильнее инстинкта самосохранения (поэтому, наверно, людей воспитанных остались единицы, а скоро совсем не будет). Она стоит и нерешительно глядит на дом, а возможно, просто отдыхает, берет, наверно, дыхание и перетряхивает в себе отвагу для дальнейшего движения.

Это мне на руку. Теперь надо ее обогнать, чтобы спрятаться под мостом, по которому она пойдет. Мост, как я уже говорил, перекинут через маленькую речонку, за тысячелетие существования Российского государства прорывшую обширный овраг с не очень-то пологими берегами-склонами.

Дорога наша подходит к мосту по высокой и широкой насыпи, хоронясь за которой, я и проберусь к нему боковой тропинкой. Тропинка жутковата, а ночи и темноты я боялся всегда. Меня пугают неразличимые кусты, темные комнаты, и с открытым окном я на первом этаже ни за что спать не лягу, хотя по ночной дороге хожу, хотя в душные ночи — точь-в-точь белый покойник — преспокойно сплю в саду на холщовой раскладушке. Почему так? Потому, наверно, что идти по дороге, устроенной людьми, — значит оградить себя осмысленными обочинами, расчищенным пространством, булыжной скорлупой стези; спать в саду, потому что жарко, — значит спать в саду, потому что жарко. А вот пробираться меж обочинных кустов и лопухов, а кусты, как известно, по ночам гуще и выше, а тропинки — уже и хуже, а в кустах — тьма, а тьма — вещество, черное на ощупь и норовящее слиться с тьмою внутри тебя, причем пути проникновения — твои глаза, ноздри, уши, а защита — тонкая беловатая в темноте кожа, а кожу царапают кусты и колючки — это вот жутко и неестественно.

Однако сейчас мне не страшно, ибо у меня есть *она* — моя добыча. Но *она* же и защита от *моих* страхов. Не будь фигуры, растерянно вставшей у глухого дома, не будь за бузиной в палисадничке тех двоих с их нарывающей похотью, я бы ни под каким видом не полез под мост. Только уверенный в неодионочестве я бесстрашно исчезаю в лопухах и устраиваюсь сбоку на подмостных бревнах, чтобы она, когда подойдет, была мне видна, а я ей — не виден.

Я вполз в тухлявую темень, что-то шуршало и сыпалось в глаза и за

шиворот, но мне, повторяю, было не страшно; у меня была она, а у нее — никого.

Я пристроился сбоку моста, предварительно подхватив в хламе на откосе изрядную дырну, и удобно сидя на конце бревна (кто видел такие мосты, знает, что устои их составлены из головоломно пересекающихся по всем направлениям бревен), и удобно, значит, сидя так, что глаза мои прилипли к уровню дощатого настила и дороги, стал разглядывать темнеющую метрах в тридцати у косогорного строения фигуру.

Сижу я спокойно. Фигура тоже стоит спокойно — вроде бы отдышалась. Но беспокойной оказывается палисадниковая похоть. То ли там засопели, то ли лапаемая, выпячивая свою немоту, стукнулась затылком об стену, — но от какого-то не достигшего меня звука, цель моя срывается с места и, оглядываясь и не оглядываясь, изо всей мочи поспешает к мосту... к мосту... к мосту... Подальше, подальше — скорей от этого глухого домишки с его нежитью и породившим пугающий звук запустением.

Наверно, решила, что источник страха наконец обнаружен, и, утвержденная в этом, пустилась прочь. Ну резво идет! Переваливаясь, но идет; и шаг не мелкий враскачку, а широкий враскачку, и эта раскачка при широком шаге всею ею мотает. Даже разогналась. — дорога под горку. И со свистом дышит. Я вижу ее белое лицо, чуть кривой рот — у нее он такой — кошелку, плоскую и внизу что-то содержащую — то ли брюквину, то ли сайку. А поскольку глаза мои вровень с мостовым настилом, я больше гляжу на ее ноги, состоящие из прокисшего, но еще живого белка, огромные, отчетно выплывшие за края белых носочков. Она торопится, не разбирая дороги, глядя вперед, не оглядываясь — на оглядку не достает координации: ее и без того мотает из стороны в сторону, а верх туловища раскачивается как придется, потому что она не умеет, не умеет — как будто еще не научилась! — быстро ходить. И, ясное дело, она не замечает выбоину, какими сроду заканчивались дороги, утыкаясь в мосты, что известно каждому, а ей — нет.

И я вижу, как подворачивается ее одутловатая в венах и желваках под плохой кожей нога, как сама она спотыкается, вскрикивает, чуть не падает — от падения ее спасает страх, еще не ужас, еще страх, но уже истеричный, уже панический. Внезапная выбоина пресекает ее разгон, и на мост она ступает медленно-медленно. Ну и дышит! У вдоха и выдоха всегда разный звук, а тут одинаковый, как у насоса в одну сторону — *хись, хись, хись*. Она совершает шаг, второй, третий, а я, сидя на торце подмостного бревна, совершаю вот что; едва она собирается ступить в четвертый раз, я, сообразно ее шагу, тупо ударяю дырной снизу в настил.

Тях!

— Что?! — хись, хись, хись, хись... — Что это? Что-что-что? — вскрикивает она, но идет, остановившись было, ничего уже не соображая, ничего не видя.

А я помираю со смеху, погибаю со смеху, трясаясь, зажав рот, стиснув колени, привалясь к сухому и шершавому вертикальному бревну. От невозможности хохотать во все горло втягиваю носом с досок настила воздух. Поперхнувшись уже смехом моим, проклятьем моим будущим, всхрипывая и растирая по лицу пот, — под мостом душно, — смешанный с пылью и трухой, я в такт ее перевалке, коротко стукаю по изнанке настила. Удары получаются какие надо — туповатые и глухие, потому что доски снизу — трухлявые и губчатые.

Совпадая с грузными ее шагами, звуки эти, какие надо, настолько ошарашивают ее, что уже почти на выходе с моста она останавливается — удары тотчас прекращаются, — и я вдруг слышу смех. И всхлипы. Одурела, что ли? А она вдруг снимает свои скособоченные широкие полботинки — я их разглядел, когда они протаскивались мимо меня по мосту, — потом совлекает белые носочки, — ненормальная все-таки... нет, нормальная! — решила, что *так* звучали ее собственные шаги. Желает проверить. У нее, оказывается, есть надежда. Думает — от страха померещилось.

Ладно, пусть радуется, глухих ударов больше нет, и она босиком проходит до конца моста, причем идет с удовольствием — это даже видно, все ведь тихо. У кромки настила останавливается — Боже, Боже, недоразумение выяснено,

можно теперь подумать о собственных ногах! А что если идти босиком дальше? С одной стороны, тихие шаги босых стоп не мешают вслушиваться в свой страх, с другой — легче ногам. Но держать в одной руке кошелку, в другой — обувь как-то глупо.

Кажется, она решает обуться. Точно. Подошла к перилам, поставила полботинки на мост, согнулась и, держась рукой за перила, начинает вздывать ногу. Ручки кошелки прижаты подбородком к груди, неподатливая нога, отряхнутая носочком, собирается угадать в подставленный ботинок, а я со страшной силой ударяю палкой. Но не в трухлявый испод, а по сухому стоячему бревну...

Вот это да! С криком «Не надо!» — кидается она вперед, босиком, неизвестно как подхватив свои манатки, хотя один чобот остается на мосту. «Ну не надо!» — кричит она. Кричит, но как-то странно — что есть мочи, но тихо. Чтобы преследователь услышал, а остальные — нет: ей неловко занимать остальной мир собою, она стесняется мешать остальному миру шевелить жабрами, как будто на этой насыпи есть остальной мир. Мыши есть в лопухах и пауки. Воробьи сидят по кустам, где повыше, и спят. Но мыши-воробьи-пауки не сбегутся, не сползутся, не потревожатся, а люди, те утопили на дне в толстых наносах сна, и до ближних собак еще далеко, а дальним тихих воплей не слышно: они сейчас обнюхивают ущербный месяц, который, оказывается, есть в небе — раньше фонари мешали его разглядеть. А он, оказывается, есть и, будучи ущербным по сути, делает ночь опаснее, расставив во всех кулисах многие темные тени.

А она, крича, бежит, скуля, бежит, безмолвно вопит, а я уже от смеха и не вижу ничего, могу лишь представить, что было дальше. И для вас теперь представляю.

Было, я думаю, вот что.

Рванувшись босиком, она шагов сколько-то провихлялась, но землю в те времена уже начали потихоньку засирать, и на пыльной обочине, куда сами собой своротили с каменного булыжника ее рыхлые ступни, уже попадались или гвоздочки, или ржавый ножовочный обломок, или кусок колючей проволоки. Она на что-то там напоролась, а может, ушиблась обо что-то, потому что по-птичьи вскрикнула, как вскрикивают в подобных случаях люди, остановилась, прижала ногу ко второй и воззрилась в сторону оставленного на мосту своего чобота.

Поскуливая, а возможно, всхлипывая, но медленно-медленно она обула тот, который унесла, потом постояла и сделала шаг к мосту. И остановилась. А я тихо сижу. И постояла. И еще шажок. А я тихо сижу и палкой стучать не буду. Замерла. И еще шажок. И плачет тихо. Это я слышу, потому что сам сижу тихо. Нет, ослышался. Шепчет что-то. Взывает. Шепчет-взывает вот что: «не надо не надо прекратите это...» А я тихонько сижу. А она еще шажок. Я палкой решил не стучать. Цоп — она свой туфель и дернула назад, а я тихо сижу. Мне уже надоело смеяться на конце бревна и домой захотелось.

Тут она, наверно, дообулась — от меня видно плохо. Зато хорошо слышно: то замолчит, то забормочет, а потом — хись-хись-хись — это она уходит.

Пуškai уходит. Пуškai отойдет подальше. Мне надо выбраться на дорогу и продолжить события.

Подмостки этих событий — уже за мостом и представляют собой вот что: булыжный тракт, поблескивая битыми стекляшками и слюдой булыжников, идет по насыпи в горку и прямо, покуда лощина не кончается (это около полуверсты); затем дорога сравнивается с общепринятым уровнем земли и по-прежнему продолжает идти прямо. Сразу же за насыпью возникает слева хотя всего лишь четырехэтажное, но громадное здание школы. Громадное потому, что ночью оно — темный силуэт, а днем рядом со школой начинаются травяные улицы с сообщающими ей громадности трущобными жилищами и сараями. Дорога идет мимо школы, а дальше, не меняя направления, — вдоль одной из сторон прямоугольника, образуемого кварталом травяных улиц.

Представьте, что страница перед вами и есть этот квартал. Дорога идет снизу вверх по правому ее краю, школа расположена торцом к дороге вдоль нижней страничной границы, а жилища наши — ее — ближе к низу левого края, там, где нижняя скрепка в тетрадке, а мое — ближе к верху этого левого края, где

в тетрадке скрепка верхняя. Пока что путь наш не достиг даже школы, то есть правого нижнего угла страницы, и — на пути и в повествовании — мы несколько забежали вперед.

Она уже довольно далеко ушла от моста, вернее, довольно далеко отбрела, потому что из-за поврежденной ноги теперь еще и хромает; а идти враскачку, хромая — дело вовсе пустое. (При этом не понять, хромает она на ногу, которую подволакивала, или на другую.) Идет она не оглядываясь. Светит луна. Я выбираюсь из-под моста, прокрадываюсь вдоль перил и жду, когда она доберется до первого фонаря, казавшегося далеким промасленным пятном, когда — помни-те? — я обогнул угол.

Едва она добреда до фонаря, я издаю горлом звук, похожий на гулкий пустой глоток. Громкий утробно-горловой неопределенный жуткий звук. Глотательный. У-утп. Необъяснимый. И опять она содрогается, опять поворачивается, а я выхожу из укрытия — пусть видит — и, пригнувшись, для нее пригнувшись, медленно и нелепо дергаясь, перебегаю дорогу и скрываюсь в бурьяне обочины. Пауза. Она глядит не шевелясь. Пауза. Всматривается. Тогда я, пригнувшись и шутовски дергаясь, опять перебегаю дорогу и прячусь в бурьяне противоположной обочины. Пауза. Она глядит не шевелясь. Я опять перебегаю и — в бурьян, а в бурьяне произвожу громкое глотательное движение, гулкое под луной и жуткое. У-утп.

Итак, она видит (раньше слышала, теперь наконец видит) своего преследователя, вернее, преследователей — вот они перебегают дорогу. Но что делать? Встать на колени? Умолять о пощаде? Кого? Преследователи пока что не конкретны, да и не близко они. Вставать на колени на булыжник? В темном месте — глупо, не увидят, а под фонарем, хотя и хорошо увидят, страшно и странно. Ночью на обочине стоять под фонарем на коленях? Может быть, сесть? Ей очень хочется сесть. А вообще-то она устала, и мне кажется, ей хочется лечь. Лечь и умереть. Не умирать же стоя — упадешь и разобьешься.

И тут я вижу то, о чем не стану потом никому рассказывать. Потому что, с одной стороны, рассказать о таком трудно, да и неинтересно, а значит, не смешно. С другой же стороны, в моих тогдашних рептильных мозгах, инстинктивно ожидавших Декалога, но не слыжавших о нем, возможно, что-то и забрезжило, а возможно — нет.

Она, во всяком случае, стоит под фонарем, видит многочисленных преследователей, короткими косыми перебежками пересекающих дорогу и залегающих по обочинам, и с ней случается то, на что я никак не рассчитывал и что, надо сказать, в ту ночь не постиг, так что Господь дал мне еще раз увидеть *это*.

... Спустя много лет жил я в Ленинграде, в коммунальной квартире. Жил в деленной комнате и не один. Был там большой рыжий кот. Не сибирский, но огромный и незабываемый. Сказать, что я люблю кошек, мало. Стоит мне только завидеть обстоятельных этих персонажей — я добрею и не отрываю глаз.

Кот крал у соседей. Не для пропитания, а чтобы напакостить. Потом куда-нибудь прятался. Потом бывал скандал. Потом расстроенная владелица кота отыскивала его, допустим, в дровах, сложенных штабелями в нескончаемом коридоре, и колотила шлепанцем, потому что о громадного кота можно было отбить руку. Кот под не очень беспощадным шлепанцем прижимал уши, вжимался в пол, в общем, страдал, но по тому, как шлепанец отпрыгивал, было видно, что воровскую натуру хлопаньем, напоминающим аплодисменты, не переделать.

Владелица кота куда-то уехала, а он, обычно спавший по ночам на расстеленной у нее в ногах местной ленинградской газете, и встававший с хозяйкой в шесть утра, и выходивший затем в потемочный вонючий коридор на свои опилки или к утренней площадке, от скуки стал по ночам выть, как будто незамедлительно должен был выйти. Одуревший от снотворного, я вставал выпускать кота на опилки (а значит, предстояло в бессознательном состоянии загонять его обратно, чтобы не пошел по кастрюлям), но, встав, кота не обнаруживал, потому что тот прятался под низкую кровать хозяйки, откуда его было не вытащить даже кошечкой. Он, оказывается, развлекался. Я ложился, и все повторялось. Начинаясь это в три часа ночи, когда меня, измученного многим — а чем, когда-нибудь в другой раз, — брала наконец четвертая таблетка барбитурата.

Так продолжалось несколько ночей. Кот выл, я вставал, кот прятался и т. д. Наконец я придумал заложить чемоданами подкроватную щель. Когда по своему плану он подал среди ночи голос, я встал и увидел тщетные его попытки вползти под кровать — меж сомкнутых чемоданов зазора не было.

Тогда, чтобы вразумить кота и наказать, я использовал самое страшное, что привелось ему в жизни узнать — включил заранее приготовленный пылесос и медленно повел воющую трубу в сторону обожаемого мной во внесотворном мире, а теперь совершенно незащитного зверька. Он принял угрожающую позу, раздул хвост и медленно стал отступать, куда теснила его труба — в угол. И он и я знали, что это конец. Он пытался, но труба надвигалась соответственно церемониальному шагу его достойного отступления. Вот он уже в углу, вот труба завывает совсем близко, вот он в угол вжался, вот привстал на задние лапы и, растеряв как-то сразу обычное свое достоинство, вовсе втиснулся спиной в угол, для чего ему пришлось на задние лапы сесть. Труба подползала со свистящим звуком, и мышцы его вдруг ослабли, он сделался не напряженный, поняв, что вжиматься больше некуда, что это — расстрел, смерть, стена, и вдруг начал дергаться, как бы сильно икать или как бы содрогаться рвотой, которая не может вырваться наружу. Он не зажмурился, а закрыл глаза и дергался, и, может быть, рыжее сердце его, рыжее его сердечко раздулось в своих артериях и жилках и лезло толчками в горло, но высочить сквозь горло никак не могло, и содрогало моих простодушных соночлежником, сидя привставшим с полуподнятой для чего-то бесполезной и вовсе уже не гордой лапой... или, если хотите, лапкой...

Я выключил пылесос и доспал снотворное.

Так я увидел *это* второй раз. У кота. И никогда не забуду. Дай Бог, чтобы мой хороший кот в своем кошачьем раю не держал на меня обиды и все-все позабыл...

Под фонарем я увидел *такое* впервые. То ли содрогание подступающей тошноты, то ли удесятикратненную икоту, то ли толчки сердца в жилочках и прожилочках.

Она стояла под фонарем, задрав лицо, и что-то содрогало и дергало ею, что-то рвущееся изнутри. На белом лице чернелся кривоватый рот, еще была кошелка в опущенных руках, была обвислая кофта, содержавшая над выпирающим животом плоскую грудь. Роста она была довольно высокого, юбка свисала много ниже колен, и водяночные ноги, как доползшая до кастрюльных краев квашня, наплывали за края чоботов. Держа в руке носочки и кошелку, она дергалась сильней и сильней, а я прекратил перебежки. Вероятно, надоело.

Дальше все было вот как: она не умерла, ведь кот тоже не умер; она пошла дальше, а я пошел за ней. Просто пошел в отдалении. Она останавливалась, и я останавливался. Озиралась она редко. Почему она останавливалась, я теперь знаю. Голени ее наливались тяжелым серым оловом. Это обычно доходит до нестерпимого предела, и шагнуть становится невозможно, и обязательно надо на какое-то время остановиться, чтобы отпустило. Что это такое, я толком не знаю, может быть, грозная перемежающаяся хромота, может, мышечный спазм, но сейчас и мне случается так останавливаться. Наверно, и она остановилась из-за горячего этого олова, когда не ступить ни шагу.

Так дошли мы до угла, где торцом к дороге громоздилась школа, заслонившая луну. Ей предстояло обойти школу или слева, но тогда пришлось бы идти в опасной тьме школьной тени, или по разбойному тесному ходу между лунной — правой стороной школы и трущобными придонными сараями травяной улицы, чего она, и без того полуживая, не могла себе позволить, хотя это был кратчайший путь домой.

Я говорил уже, что жила она (если квартал — страница) — слева, на уровне нижней тетрадной скрепки, что дорога шла вдоль правой стороны страницы, а я жил — где скрепка верхняя. Дорога, идя справа от квартала и пересекая обжитые места, была вся в фонарях, и она двинулась через эти тихо спавшие пределы, то есть пошла против часовой стрелки в обход по периметру квартала (страницы), а значит, пройдет лишний километр, хотя до дому ей оставалось всего ничего, если через мрачноватую щель между школой и сараями. Пойдя же

в обход, она обязательно проплетется мимо моего дома (моей верхней к своей — нижней скрепке).

Я же свернул налево, быстро прошел по крошечному заулку и минуты через три сидел у своего обиталища, за кустами, на теплой сыпучей завалинке, и нигде даже собаки не лаяли и ветви не шевелились, а занавески и подавно.

Какое-то время пришлось дожидаться. Наконец — хись-хись-хись — и затем-нелась неясная высокая фигура с маленькой головой. Она то останавливалась, то, что-то бормоча, брела. Достигнув моего дома и заметив снаружи забора лавочку, она села. У нее мелко ходили руки. Лица, находясь сзади и чуть сбоку, я не разглядел, но дерготня, как говаривал Тургенев, в щеке, надо полагать, тоже происходила вволю. Она села и что-то зашептала-зашептала, а я на завалинке замер.

...Что же это... — шептала она, — что-что что-что-что... как же кто же... кто же а?... и капельки кончились... рецепт-п-пт... что же как же... где ты Георгий?... Жоржик где ты... таблеточки то-то-тоже... ну где ты — Господи что с тобой... я же не знаю что с тобой... я ведь одна ведь... хись-хис-хись... одна ведь Жорж... как же так можно?... столько ужаса... всю жизнь... неужто ты тоже так... т-т-такой кошмар... Георгий мой... вальсировал... хись-хись-хись... двадцать капель Жоржинька... и пройдет... где же ты где же... потому что тебя нет...

На следующий день кое-кому предстояло надо всем этим поржать. Я встал как водится в час дня и сразу углядел, что мимо окошка прошла она, глядя словно бы вперед, но и словно бы по сторонам. Было жарко, я вышел и сел на лавочку у калитки. Она появилась опять, неся от колонки воду, и в глаза бросился обмотанный полупрозрачным, молочного цвета батистовым платочком большой палец ее ноги, торчавший из клеенчатой огромной сандалетины.

Как бы случайно, она как бы остановилась, как бы передохнуть возле сидящего меня.

— Ска-ка-жите! — вдруг спросила она, глядя, как ей казалось, отважно, но в землю: — Ска-ка-жите, не вы ли вчера ночью кра-а-ались за мной? Если вы, т-т-то зачем? Я вообще-то не ро-ро-робкого десятка, но мне придется поговорить с вашей ма-мамой... — и отважно и отчаянно глянула, в случае чего готовая даже отскочить от своего ведра.

— Я? Вы что? Я вечером репродуктор слушаю. Вчера, например, письма трудящихся передавали... Товарищу Сталину... Потом оперу «Кармен» композитора Бизе... — и я нагло поглядел в ее дергавшееся расквашенное лицо. — Бизе, я говорю... Жоржа...

— Ах вот оно что! — торопливо заговорила она и побелела. — Я то-тоже обычно... п-п-письма... товарищей трудящихся... и м-м-музыку... очень приятно побеседовать... Любите ли вы Брамса? — вдруг, как бы спохватившись, отчаянно, но беспомощно сказала она. — Любите ли вы Брамса? Я — люблю... — говорит она, забегая далеко-далеко в нашу с вами будущую жизнь, в которой ее самой уже не будет. И эта, тогда еще очень будущая жизнь стала теперь моей прошедшей, давно прошедшей жизнью, и жизнь поехала дальше, но почему-то и она, и тогдашнее бормотание ее в жизни моей теперь есть опять.

Если хотите знать, что я сейчас обо всем этом думаю, прочтите еще раз в начале затянувшейся этой на всю жизнь истории нескладное и дерзновенное моление мое.

Только вот не знаю я, за кого молить Внемлющего мне — я ведь не знаю, как ее зовут, и тогда не знал, а спросить теперь уже совершенно не у кого.

1979

Вы у меня второй

— Скажешь ты или нет?

— Да...

— Дак не прижимайся! С койки скинешь!

— Мирый-мирый, мradший рейтенант...

— Отметелю, Ольга!

— Да...

— Чего да, глушня чертова? Ну дак со сколькерыми ложилась-то? С восьмью ложилась?..

— Куда вы говорите?..

— Сбоку и туда! Открой ты ухо здоровое! Со сколькерыми, спрашивают, ложилась уже?

— Вы у меня второй, Васирий... Крянусь вам детьми!..

— Во врет! А первый кто — ходя твой?

— Мой муж быр не китаец, а бурято-монгор... Ну я же вам говорира...

— Говорира-говорира... Нарком твой, значит,— первый? А я второй?

— Ну поверьте же... Ну зачем так?..

— Во заревела! Подумаешь, на первый-второй рассчитались! Да не реви ты — глаза замглятся! У тебя ж деньрождение... А руки-то гладкие! Стираешь-стираешь, а они гладкие-мягкие! Чего ж они мягкие, ручки-то?..

— Васирий, мирый вы мой, ну зачем вы?..

Стирала она на людей, хотя могла заниматься более легкими и уважаемыми на травяных улицах занятиями. Приклеивать, скажем, ацетоновым клеем булавки к целлулоидным бегемотикам, плести шикарные пояски из киноплёнки или гнуть закладки на надомном загибатель. Это сочли бы нормальным, и она бы даже прослыла интеллигентной женщиной.

Но она выбрала занятие обстирывать. Очень странное, надо сказать, занятие, ибо даже Ревекка Марковна заметила: «Если она берет стирать...» Последствия Ревекка Марковна прорекать не стала, но неотвратимость их стала всем ясна.

И потом — кому и зачем стирать? Все это делают сами. Белье же от времени чужим показывать неудобно! Однако нашлись люди с деньгами, пожелавшие широко пожить, и начали давать стирку.

Да и брала Ольга Семеновна недорого; причем за работой приходила, потом приносила, синила, гладила, вымачивала в жавели и щелоке, хорошо отстирывала кровь — упаси Боже, Олечка, не чужую! — следы от разных летних ягод, пятна от подсолнечного масла, а отстирать тогдашнее подсолнечное масло было большим делом, недаром же мальчик напрасно пытался к обмениваемым на жужжалки и мячики бутылкам приложить подсолнечную — остановивший на травяной улице тачку старьевщик эту посуду не брал, ибо отмыть бутылку от подсолнечного масла было невозможно. Сейчас — возможно: вода, вероятно, едкая стала.

Но тогда не было ни сил, ни способов удалить со стенок особой фигурной бутылки толстую липкую пленку. Насыпаешь песок, взбалтываешь его с водой, трясеешь полдня, и песок стучается о стенки, как больное сердце. Увы! Когда жижа в бутылке устоится, на мутных стенках видны разве что прозрачные царапины.

Еще задвигал мальчик в бутылочное горло растрепанный конец веревки, потом вталкивал остальную ее длину и поворачивал бутылку вокруг скрутившихся внутри веревочных кишок — результатом, и единственным, бывала порча веревки, измаслившейся и непригодной теперь для очистки бутылок податливых — от синьки, скажем, или чернил, правда, не фиолетовых — эти тоже были неотмываемы.

Однако мальчик не оставлял попыток, но всё, чего, кроме прозрачных царапин, добивался, это удаления словно бы накеросиненной, ставшей желтой и полупрозрачной этикетки. Посопротивлявшись, она совлекалась ссученными волокнами наподобие окатышей грязи, недомытой в бане и сдвигаемой в предбаннике со своего места на коже.

Ольга же Семеновна, как сказано, отстирывала пятна любые, а в единственной ее большой и светлой комнате, где стирка и производилась, всегда было ярко и чисто. И, хотя комнату уставляла богатая гостиничная обстановка, стирка никакого лишнего беспорядка в опрятное жилье не вносила. Цинковый бак, правда, где под крышкой отмачивались подштанники и нательные вещи, стоял все же не в комнате, а в черном углу кухни.

Зато в комнате стояло солнце, а мыльная пена своим чистым перламутром



и само белье, тяжело белевшее на серой гофрированной доске, радостного свету добавляли. Вода никуда не подтекала, что, вероятно, и было главной причиной ощущения опрятности и аккуратности — ведь, если стирают, тут и брызги всюду, и пол измочился, и мыло, улетев из рук, облепляется сухим сором, оставив на полу тусклый полупузырь, сохнувший хуже, чем просто вода. И пол вроде взбуч от проливаемой муты.

Нет же! Пол был крашеный, ровный, в окно светило солнце, белье белело, пена шипя лопалась и ужималась, руки Ольги Семеновны, дочиста отстиранные, делались размокшими и неправдоподобно белыми, а ультрамарин синьки в здоровенной бутылки совершал свое дело и всю эту белизну понуждал сиять.

Такою казалась комната и мальчику с девочкой, очень часто приходившим в гости. Иногда почти каждый день. Дома были не против этих посещений — Ольгу Семеновну знали хорошо. Она веселая, молодая, красивая, но — что делать! — глупая. Берет стирать, хотя могла бы, раз война, пороть парашюты или пришивать пуговицы к бумажкам. Правда, у нее завелся этот деревенский, Василий Иванович — тормози лаптей! Она, дура, пустила его в дом, так теперь и живет с ним. Нет! Зачем говорить! Она не гулящая, но у него же осталась Нюра с ребенком, а эта глухая Оля, она честная, но не надо было пускать военного — теперь он решил, что он у себя дома... Так дети, чем ходить черт его маму ведаст куда, пусть ходят к ней.

— Ну, чем кормила вас эта Оля?

— Жареной картошкой.

— Что, на сале?

— Нет, на лярде.

— Разве он ей не привез подсолнечного масла?

— Ну на лярде же вкусно!

— Она стирает, а вы сидите?

Они действительно сидят, но она не все время стирает. Она иногда задумчиво на них глядит, однако не унывает, и в ней вовсе нет тоски, а подозрительность, отрицание и спасительное недоверие ей вообще не свойственны.

Еще она вместо «лэ» приятно произносит «рэ» и не очень хорошо слышит. Вернее, одним ухом совсем, а другим — не очень хорошо. Ее самое забавляет и собственная тугоухость и невыговариваемое «лэ».

— Мои девочки рюбири, когда я про это анекдот рассказываю. Вы ешьте и тоже срушайте. Вот быри у одной барыни три дочки: Рира, Рора и Рара (Лиля, Лора и Лара). Все они вместо «рэ» говорири «рэ», и поэтому никто не браг их замуж. Вот приехар к ним в серо новый черовек, увидар в окне Риру (Лилию) и решир посвататься. А мама верера им морчать, чтоб не усыршар, как они вместо «рэ» говорят «рэ».

Вот он пришер и сидит, а они тоже сидят. Он курит и морчит, потому что смутирся, а они морчат, знаете почему. А у него пепер упар на ковер. Тут Рира, к которой он сватарся, и сказара:

— Каварер-каварер, поровик прогорер!

А средняя как пихнет ее:

— Рира-Рира, чего тебе мама говорира, чтоб ты сидера и морчара, будто деро не твое!

А младшая обрадоварась, что не она виновата, и говорит:

— Срава Богу, проморчара, не сказара ничего!

И весь секрет раскрыри! Хороший анекдот, правда? Мои девочки очень смеярись, когда я рассказываю...

Девочки ее спят между тем в интернате для детей бывших ответработников в городе Улан-Батор Хото, в стране Монголии, марки которой красивые — треугольные и ромбом.

Девочки ее сейчас в другой какой-то, не в этой, где она сама, комнате, хотя должны быть в этой, а лежат в другой, и очень далеко. Так далеко и недоступно, что лучше не думать — жуть берет. И когда она с ними увидится — непонятно. На третье заявление даже ответа не дали...

Девочки ее сейчас лежат в другой комнате и спят. В комнате той, наверно,

три кровати, и они на этих кроватях спят. Одна девочка — некрасивая, другая — красивая, но с монгольскими чертами, а третья слабенькая такая и больная, и она, наверно, скоро умрет.

Они там, она здесь. Почему?

Потому что, когда она была девушка, то из Полесья (а там все не похоже на московских или украинских, веселые все и открытые, и работы никакой не боятся — хоть редьку сажать, хоть деготь сидеть, хоть на людей стирать), вот из этого-то Полесья поехала она по призыву поселяться возле Амура на рыбалке у реки, и по дороге, на митинге, встретила с большим человеком. Ну, он вскоре семью бросил, они поженились, и девочки пошли. А потом нарком заболел, и надо было срочно ехать лечиться в Москву, а детей оставили его родственникам. Болел он долго, в правительственной больнице, а ей дали эту комнату и обстановку: кровать никелированную, — тут вот только шарика не хватает, — трельяж, тумбочки, комод, одеяла, этажерку — все, как в гостинице, чтоб она пока временно жила. И стал ее муж умирать. А пока умирал, в Монголии против него что-то началось, и попал он тогда в Москве под следствие, но месяц никак не мог очнуться, а его родственники в Монголии как раз отправились кочевать и девочек в Улан-Баторе Хото в приют поместили. Но тут муж умер, и всё следствие закрыли. А девочки теперь как иностранные подданные остались — ведь очень скоро война началась. А там старая семья не хочет, кажется, детей отдавать. А если отдадут, то кто привезет, ехать же два месяца на поезде? А если разрешат, и она поедет сама, то два — туда, два — обратно. С детьми же. И война идет, и вот вся мебель не ее, а казенная, а тут еще с Василием Ивановичем познакомились.

— Тетя Оля, а самую большую дочку Нарина зовут?

— Да.

— Видишь, я говорила, а ты говорил «солнце».

— Я «Нарина» говорил, а это значит «солнце»...

— Тетя Оля, а Василий Иванович ведь младший лейтенант?

— Только пока. Скоро его повысят.

— Видишь, а ты говорила, что лейтенант...

— Тихо, она же услышит!.. Сказано тебе: про него не спрашивать...

Эти мальчик и девочка — брат и сестра. Сестра — подросток, а мальчик — мальчик. Ольга Семеновна их подкармливает, но приходят они не только за этим — мол, сходим и поедим шоколаду или колбасы американской. Они приходят, вероятно, и потому, что встречают здесь заботу и любовь, хотя собственная мама в этом им тоже не отказывает, но в гостях же всегда лучше.

Девочку привлекают, кажется, и тайны здешней взрослой жизни; девочка через года полтора станет совсем девушкой, и даже переписывается уже с фронтом, и даже получила письмо от отделенного Гарика Дука, правда, вскоре Гарик писать перестал. Наверно, погиб, но это трудно представимо.

Иногда Ольга Семеновна в стороне от братишки что-то объясняет девочке. Девочка краснеет, но слушает внимательно, и сама, опустив глаза, что-то бормочет. Она очень злая и нравная эта девочка, и с матерью не станет говорить, о чем секретничает с Ольгой Семеновной, чтобы брат не услышал.

Еще она с интересом разглядывает всякое женское белье, приносимое в стирку, и смеется с Ольгой Семеновной над старинными панталонами старухи Балиной, в которых огромная специальная прореха между штанин. Такой раньше был фасон!

Так они и ходят, так и заходят. И, возможно, это инстинкт самосохранения, а возможно, инстинкт жизни, ради которого дочиста съедают картошку с тушонкой и девочка и мальчик, ради которого девочка изучает всякие застёжки и тесемки взрослых женщин, ради которого спят в приюте и проснутся, чтобы грызть на час против нашего недоваренное по монгольскому правилу мясо, девочки, ради которого, выпив с Василием по рюмке водки «Тархун», как бы забывает о своих далеких детях Ольга Семеновна, и ради которого сам младший лейтенант Василий Иванов сын Суворов, бывший оголец из города Кеми, приноравливается к травяной улице.

— Ольга!

— Да...

— Ольга! Как я люблю глубину твоих ласковых глаз! — красиво шепчет Вася красивые слова песни в полуздоровое ухо Ольги Семеновны, а это можно сделать, только когда лежишь у стенки.

— Мирый!

— Как я хочу к им прижаться сейчас! Гү-ба-ми!

— Пожаруста, мирый рейтенант мой...

— Не лейтенант пока, Ольгуня. Но ништяк! Будем лейтенантами! Слышь, Ольга, ты честно за наркомом была?

— Вы же знаете...

— Забожись.

— Я же паспорт даже...

— Хрен там в твоём паспорте прочитаешь! Он же нерусский! Ла-а-адно, поверим. Ну ты, видно, мужиков поперекидывала через ногу, пока до наркома достигла! Со сколькерыми ложилась-то? С восемью ложилась?

— Васирий! Я же вам сторько раз...

— А целовалася со сколькерыми? Апя-я-ять плачешь! Сама врет и сама плачет...

А если они выпьют по две рюмки зеленого «Тархуна», то Вася к стенке не ложится, чтобы с руки было налить по новой. Тут, имея над подушкой глухое ухо Ольги Семеновны, он, бывает и позабавляется.

— Эх, Ольга! — шепчет он задушевно. — Ну, Ольга! Ну буфера у тебя и здоровые!

А она, уловив в глазах его что-то ласковое, полуугадав отдельные слова, отвечает:

— Вот и неправда — средние у меня граза и горубые!

И счастливо смеется.

Вообще-то она часто и весело смеется. А плачет редко. Правда, ей делается грустно, когда Вася уезжает по своим интендантским делам, на прощанье сурово декламируя: «Верю в тебя, дорогую подругу мою!» или «Жди, когда наведут грусть желтые дожди!», однако грусть ее — просто грусть — не тоска, но об этом уже сказано, и вообще она очень хорошая женщина.

Сойдась с такой хорошей женщиной и узнав, что ее мужик был наркомом и штефкал в Кремле с Калининым, и она там с ими была, Вася сперва растерялся и долго не попадал в тон. В тон он так и не попал (и не попадет!), зато к своему хозяйничанью в ее жизни привык, но очень гоношился.

Это понятно. Юркий дурной и наивный молодой мужичок из пригорода Кеми, он в армии закомандовал, попал в Москву, стал мотаться по каким-то базам, на кого-то кричать, чего-то добывать, за что его забывали похвалить, чего-то не добывать, за что на него топали ногами здоровенные мужики из дивизии; так что оставалось отыгрываться или на шофере Лукоянове, или на безымянном солдате, которого Вася просто называл челдоном, и уж, конечно, на Ольге Семеновне, привязавшейся к дурацким его глазам, хотя был он слободским похабником, грубым и паскудным, каким и должен быть кемский оболдуй.

Единственный, к кому младший лейтенант по-свойски шился, был мальчик. У Васи просто в одном месте еще играла молодость. А все потому, что сам он не только не доиграл в детстве, но и не мог доиграть в детстве в кемской своей слободе, как бы удачно оно, детство, там не складывалось. А оно там вообще никак не складывалось, будучи зря потраченным временем, когда бьют тебя по золотушным ушам и больше ничего.

Никто же в Кеми не мог сложить из газеты мячик, никто не знал разных карточных фокусов, и стандартный репертуар городского мальчишки был для младшего лейтенанта потрясением, так что он экстерном проживал — теперь с явной пользой — детство во второй раз, тем более, что мальчик, репертуар которого был очень нестандартным, старался заслужить благосклонность военного, а знал он немало всякого, да и школьные науки располагали кунсткамерным набором диковин: портрет, скажем, мальчик о Васину расческу Васиной суконкой, и расческа притягивает мелкие бумажки, а Вася, разинув рот, глядит. Рот разевается шире, когда по столу, возбуждаемая магнитом, елзит или,

вздымаясь на собственной нитке вверх, тянется к тому же магниту, как пес на привязи, иголка, а Вася ажник взвизгивает...

А на улице, между прочим, май-месяц и солнечное утро, и мальчик с девочкой пришли, не ожидая застать Василия Ивановича, а он стоит возле трельяжа и чистит вымытые уши. Он в галифе, босиком и в одной майке. Девочка обычно старается не сталкиваться с Васей, тем более, когда он босиком и в майке, тем более, что с ней он всегда разговаривает мало, а один раз — или она слышала, или ей показалось, как младший лейтенант сказал другому военному: «Вы, товарищ капитан, маленько погодите, она хотя и сисястая, но еще пацанка!» — так что девочка скрывается на кухню к тете Оле, а мальчик остается, хотя младший лейтенант пока что дочищает уши.

Делает Вася это, скручивая уголки вафельного полотенца в тугие цилиндрики и вращая эти цилиндрики в ушных дырках. Когда он цилиндрики вытаскивает, они полураскручиваются, и ушная нечистота выглядит на белом, как коричневый солидол. Мальчика гигиенические Васины приемы не поражают, ибо на травяных улицах население очищает уши точно так же.

— У меня наган немецкий скоро будет. С отравленными патронами! — говорит Вася и морщится, потому что резко завел полотенечную закрутку, больно ткнув ею в ушное устройство. — И маузер выдадут в деревянной кобуре. Я уж из маузера три раза стрелял!

— Мы тоже из кой-чего стреляем! — говорит мальчик. — Из патронов, из стрелялок...

— Дак ведь звуку нету! Не бахает!

— А это видали? — и мальчик достает из кармана соединенные дратвой ключ и гвоздь. На ключе дратва привязана к кольцу, а гвоздь подвязан под шляпку.

— Как же оно бахнет? — и дурацкие Васины глаза наполняются обдумыванием, а мальчик достает спички в синем бумажном кубике, дело, между прочим, тогда не дефицитное — дефицитными были чиркалки, и спички зажигать было не обо что; правда, мальчик умел зажигать об оконное стекло, но о школьный подоконник научиться не мог никак, хотя почти все могли. Не удавалось остаться одному в классе и потренироваться, а больше нигде подоконников из мраморной крошки не было.

Так вот — достает мальчик спички, достает затем в потертой на сгибах голубой бумажке бритовку «Стандарт» от самобройки (морфология по слову «броешься»), разворачивает ее и на снятую обертку начинает срезать серу со спичек, стараясь не прихватить древесину. Младший лейтенант, имея в руках полотенце с полураскрученными гнедыми уголками, очень внимательно следит за его действиями.

Срезанную с четырех спичек серу, мальчик ссыпает в полый стержень ключа и туда же вставляет гвоздь. Можно заметить, что острие гвоздя старательно закруглено и зашлифовано, но не идеально — вероятно, доскональная шлифовка, как и бутылочное усилие, мальчику тоже не удастся.

Вставляет он, значит, в дырочку плотно вошедший гвоздь, берется за середину дратвы, на концах которой в виде удлиненной конструкции повисли ключ с гвоздем, говорит младшему лейтенанту «отойдите», и тот сразу же отходит подальше, а мальчик, слегка размахнувшись, ударяет шляпкой гвоздя о торец открытой из кухни двери. Раздается громкий хлопок пистонного типа, ключ с гвоздем, разъединившись, качаются по концам дратвы, из отверстия же ключа истекает дымок.

Младший лейтенант изумлен, а из кухни никто не прибегает — Ольга как раз колет щепу для плиты, а сестра мальчика давно знает все виды его огневой подготовки.

— Дашь мне? — с интонациями кусошника говорит младший лейтенант, и мальчик протягивает ему свой бечевочный снаряд.

— Спички мои, не бойсь! — и Вася суетливо, и не так умело, как мальчик, сковыривает головки со многих спичек.

— Разорвет, — говорит мальчик.

— У нас не разорвет! Мы горохом кормленные! — отвечает Василий Иванович, обскребая спички и при этом напевая:

Я раз пошла купац-ца,
Бандит за мз-ной следит.
Я стала раздевац-ца,
А он ма-не говорит:
Какие у вас ляшки-и-и...

— Знаешь эту песню-то? — успевает спросить он, желая, вероятно, хоть чем-то компенсировать свою образовавшуюся второстепенность.

Мальчик эту песню знает давно. Вообще он знает все песни, которые горланит или хрипло выпевает Вася, а Васею исполняются песни либо блатные, либо такие, которые Достоевский называл лакейскими.

Тут Вася замахивается и нагло — хрен с им! — бьет в лакированную створку отработниковского шкафа, а мальчик отскакивает.

— Ты-дын! Во зафигачило! — орет Василий, а увидев, что гвоздя на дратве нету, и ключ разворочен, приходит в полный восторг. — Во разворотило! — но, поняв, что сломал не свое, говорит в сторону. — Я те другой ключ достану, и из нагана поцелишься, сколько хошь. А патроны лучше не держать — взорвутся. У нас у взводного взорвались, дак у него сердце испугалось. Это хуже нет, когда сердце пугается. Я вот — берегусь. На фронте многие от испуга сердца в госпитали кладутся.

— Домой пойдешь? — спрашивает из кухни голос девочки.

— Слышь, сейчас время нету, жена ща штефкать притаранит, — при мальчике с девочкой он называет Ольгу женой. — А на воскресенье я тушенки привезу. Приходи, в пристенок сыграем!

— Да у вас грабки вон какие! — пользуясь ситуацией материально пострадавшего, фамильярничает мальчик.

— Это точно, грабки у меня ой-ёй-ёй! Приходи! Сеструху приводи...

— Я в воскресенье майских жуков ловить буду! — уклончиво говорит мальчик.

— В-во! — кричит Василий. — И я! Ну, половим — девкам в сиськи посодим!

Мальчик, подобрав неповрежденный гвоздь, уходит, а Василий, взбудораженный спичечной пальбой, а также идеей подсаживания девкам карябающихся жуков, начинает есть, начинает хватать Ольгу Семеновну, хотя с ночи вроде бы мог уgomониться, и пока еще вроде утро.

— Хорошо питаешь, Ольгуня! Шкварки у тебя ем! Как у хохлов! А вы же, как хохлы, — жили с ими и стали, как хохлы! Ну, Ольга, ну товаристая ты, ну я тебе жучка заложу... Оль, а Оль? Ну, Оль?

— Светро, Вася...

— Ща маскировку! В энскую часть еду, ой не вернусь!

...Жди меня! — строго внушает он ей уже в дверях. — А мы с командиром прискочим в воскресенье-то...

— Васирий! — бормочет она свое. — Ну, Васирий, правда же вы у меня второй...

С травяной улицы слышится гудок приехавшего за младшим лейтенантом грузовичка.

А он и правда у нее второй. Как ни считай. Потому что нарком был — первый, а до наркома она только целовалась за смолокурней с Семкой, но Семке мешал длинный загнутый нос, и они так и не смогли толком узнать, что такое — целоваться. А он и в самом деле второй... Как считать, конечно, как считать... А тот, который, когда муж болел, приезжал интересоваться, как она устроилась, и намекал, что по мужу есть подозрения, и сказал, что остается ночевать, и накинуся, а она мычала, и стискивала ноги, и м-м-могло быть хуже, но он почему-то слез, отступился, только всю обслонявил... Так что Василий и вправду второй... Правда, когда она приносит белье Балиным, и Сони Балиной нету дома, а Боря Балин, Сонин муж, дома, тут что-то как бы возникает, потому что Боря называет ее «Олечка», и она всегда про себя отмечает, что Борис Аркадьевич — интересный брjunет. На нем красивые бурки и полувойенный френч, а на френче нашивка за скрытое ранение руки. Еще она чувствует, что при нем ей спокойно.

Спокойней, чем с монгольским мужем, спокойней, чем с Василием, не говоря уж о том, слюнявом. Ей с ним так же спокойно, как возле Семки на смолокурне, и она вдруг начинает стесняться, что принесла белье и что, вообще, стирает белье, и она говорит, жаль вот Сони нету, и быстренько уходит.

Нет, как ни считай, а Василий — второй...

И наступает воскресенье. И приезжает Василий Иванович Суворов. И приезжает он лейтенантом! Присвоили ему очередное. Стал он лейтенант. Он больше не младший! И слово-то какое вредное — «младший»!

А приезжает он с капитаном. Лейтенант с капитаном приезжают. На виллисе. А с ними еще — старший сержант Лукоянов и солдат-сибиряк, чтоб не сказать «челдон».

Ольга управляет на трех керосинках и примусе. Низкая коптит, и пускай! Зато пирог будет с гречневой кашей под названием «кныш». Тушенка есть. Шоколаду навалом. Папиросы «Таран», выпущенные в честь летчика Талалихина, первым совершившего таран, и водка «Тархун» зеленого цвета. Хлеб есть, стуженка есть, картошка. Колбаса и наша есть, и консервная американская. И омлет можно сделать из яичного порошка, и бульон прекрасный кипит, бидон которого Вася взял с пенициллинового завода как отходы.

Пока туда-сюда, Вася ни с того ни с сего — мол, службу он знает! — принимается чистить оружие — первый свой пистолет. Но отличник сборки и разборки трехлинейной винтовки Мосина образца 1891 года, он запутывается в незнакомых железках и, свалив их на газету «Британский союзник», убирает тяжелую кучу в комод.

Гуляем-торопимся. Дурацкие Васины глаза совсем охренели. Капитан через два часа поедет дальше, и Вася Суворов, жуя и выпивая, рассказывает ему, что вот, мол, у хозяйки нашей, у Ольгухи, муж, мол, монгол был, товарищ капитан, монгольский нарком речных путей, поняли? А у монгол и у ходей, товарищ капитан, у них по дружбе полагается насрать, извиняюсь, другу на огороде, и повадился речных путей срать на огород наркому по коневодству, верно, Ольгуха?!

Смеху жуть! Ольга немного краснеет и смеется тоже, и, уйдя к патефону, ставит пластинку, а Вася пока успевает сообщить капитану, что тут к моей одна пацанка приходит, товарищ капитан, дак через годик можно будет, если захочете...

Начинаются танцы, и Вася, танцуя с Ольгой, говорит теперь ей:

— Ты, Ольгуня, если капитан потрогает, не обижайся. Разрешаю. Ему в энскую часть — в действующую уезжать. А тебе что? Все равно с во семью-то...

А Ольга положила ему голову на плечо, и у Васиных губ сейчас ее недействующее ухо.

Тёма-ная ночь,
Маскировкой закрыто окно,
А в ка-вартире военных полно
От сержантов и выше...

горланит Вася знаменитый «ответ» на знаменитую песню, намеренно перевирая строчку «от майоров и выше», дабы комсоставский текст одомашнить.

Уж и гуляет он, и поет, и несет такую околесицу, что забывает помочь вытащить капитанов чемодан, а просто провожает начальство до дверей, бесшабашно вопя лакейскую переделку другой известной песни.

И лежит у меня
Поперек живота
Незнакомая чья-то жена...

Остальные ведут себя тихо. Челдон, молодой парнишка, замороженный трельяжем, то и дело подходит к сверкающим створкам, шевелит их и всякий раз изумленно обнаруживает, что можно видеть себя сразу со всех сторон. По этому

случаю ему идеально удастся создать позади на гимнастерке встречную складку, точно сориентировав ее по центральному шву галифе.

Лукоянов же соскабливает крепким, но треснувшим в одном месте ногтем водоотталкивающее вещество с коробки от яичного порошка и на спичке проверяет — воск ли это, потому что на глаз получается, что это воск без обмана, к тому же глубокая бороздка от ногтя на серой картонной поверхности по виду точь-в-точь такая же, какая бывает на свечке.

Но вот пир кончается. Вот уже всё поели-попили, всё допили-допили. Окурков на столе больше, чем объедков, хотя кажется, объедков тоже полно. Кажется даже, что одни объедки и есть, а их как раз и немного — корок нету, всё съели; большая сковородка, черная и неприкасаемая, имеет на своем дне стеариновые пятна и полосы, не прихваченные вытиравшим ее хлебом. Консервные банки тоже являют нутро с клочками белого жира, меж которых видны синеватые разводы по олову. Три пустые бутылки — прежде, пока в них был «Тархун», зеленые-зеленые, — теперь прозрачны и бесцветны, но стекло их все же как бы зеленеет, особенно недоброкачественные линзы дна.

Все это делается резко видно, когда Вася распоряжается включить электричество. И, хотя лимит уже исчерпан, и может быть большая неприятность от соседей, МОГЭС'а, или милиции, Вася велит Лукоянову свет включить, и тот делает это с помощью небывало уважаемых в народе шила и гвоздя, воткнув гвоздь и шило, острое стальное, в провода на подходе к ограничителю.

И стало резко, ярко, но не хорошо. Все вдруг оказались бледными, а комната, лишившись потемочных теней, непривычная уже к электрическому свету, утратила величину и объем.

И свет выключили.

А Вася мельтешится и суетится. Он ведь сейчас ляжет на койку с Ольгой, а оставшиеся с ночевой однополчане — на пол, куда сложено все пригодное для постелей. Ситуация будоражит его, и он даже не подозревает, что немного стесняется.

— Отделение ложись, за муде свои держись! — выкрикивает Вася прибаутки, а когда керосиновая лампа, будучи сперва прикручена, задувается и по жилью ползет несильный керосиновый смрад, и потемки становятся тьмой, Вася еще мотается по комнате, переступает подчиненных, ударяется об стол, и на что-то падает пустая бутылка.

— Ща, ребя, маскировку отогнем, Ольга вот токо расстегнется!

Вот он отгибает маскировку — лист черной, мятой и ломаной от скручивания и раскручивания толстой бумаги, с двумя рейками по верху и по низу, — от этого в комнате светлеет потолок и слегка обозначаются серые рельефы.

Наконец он забирается к Ольге, которая из-за глухоты что-то неслышно-неслышно и, на всякий случай, непонятно и умильно шепчет, чтобы не обнаружить ненужное посторонним ласковое слово; а Вася и на койку ложится с прибауткой:

— Челдон в Челябину, а Русь на бабу!

И нескончаемо вертится в постели, прислушиваясь, уснули однополчане или нет, а те вроде и всхрапнули по разу, и слюнями поперхнулись, и на бок перевернулись, а он все никак не уймется.

— Лукоянов! — вдруг орет Вася, хотя наконец вроде бы затих, а Лукоянов уже даже и носом свистнул.

— А? — выдергивается Лукоянов.

— На! Проверка слуха!

— А вот — два! — дерзит пожилой Лукоянов и с места засыпает.

Но Вася есть Вася и в накопившейся тишине он снова гавкает:

— Челдон!

— Чо?

— Через плечо!

Молчание. Челдон сильно хочет спать.

— Челдон!

Челдон спать хочет ужасно, но пересиливает себя, чтобы подслушать командирскую любовь.

— Челдон!

— Ну?

— Баранки гну!

Тут мезозойская нервная система челдона, таежным инстинктом поняв, что толку не будет, сдается сну, хотя приказ есть приказ и челдон держится, за что велел держаться отделению лейтенант. Так что вскоре, вместо упущенной командирской, челдону снится любовь собственная, да с такой встречной складочкой посередке, что, как поедешь, так доедешь, только сперва догнать никак не получается.

Василию между тем надоедает кричать и дергаться, он притискивается к Ольге и шепчет ей в более-менее здоровое ухо, хотя впопыхах улегся не к стенке, куда переместится потом, но говорить получается можно, потому что Ольга от посторонних постелила головами наоборот, и, значит, возле его губ — ухо женщины, нежное и всегда внимлюющее любви.

— Ольга! — шепчет он. — Как я люблю глубину твоих ласковых глаз!

— Правда, Васирий?

— Я о-чень люблю глубину твоих ласковых глаз! — настаивает Вася и в коечной тесноте принимается как попало шарить ладонью по лежащей рядом с ним женщине. Делает он это недолго, потому что, торопясь, начинает втискивать спутанные казенными кальсонинами колени в узкое пространство раздвинувшейся для него простынной поверхности.

— Вася... Вася... Вася... — этого челдон, догоняющий в углу под шинелью стыдное свое сновидение уж точно не слышит.

Утром Лукоянов с челдоном исчезают по делам, а Вася, с похмелья проснувшись попозже, слышит голоса в кухне:

— Вы, Олечка, постарайтесь! У вас же все в руках горит! Соне нет времени, поэтому пришлось принести самому. А почему не заглянуть к молодой дамочке? Тут три рубашки и, я извиняюсь, мое белье. Пожалуйста, Олечка, на сегодня, а то завтра я рано уезжаю, чтобы привезти, Олечка, сырье для работы. Разве у вас нет нашего пояска из киноплетки? Я вам устрою, и девочкам вашим тоже... Ну, так постараетесь?

— Постараюсь, Борис Аркадьевич. Я над притой высушу, а то дождь. Накрахмарить жестко, Борис Аркадьевич?..

— Конечно! Что не мягко, Олечка, должно быть жестко!..

— Хорошо, Борис Аркадьевич, уже замочира...

— Так! — мрачно говорит Вася. Потом встает, натягивает галифе и подходит к трельяжу. А в трельяже полуодетого народу, как в военкомате на комиссии. Из центрального зеркала уставился на него он сам, а из боковых створок, хитро отрегулированных с вечера челдоном, глядит он сам еще пять раз. И у всех шестерых дико болит голова, не считая тех, кто повернулись в далеких пространствах затылками.

— Так! — говорит Вася и отходит к окошку. На улице пасмурно, в траве мокнет бутылка из-под подсолнечного масла, кажущаяся совершенно прозрачной оттого, что под дождиком блестит, и, если к вечеру не прояснится, майских жуков следует ждать дня только через три.

— Так-так-так! — говорит Вася.

— Так-так-так! — трещит подъезжающий мотоциклет.

Это его далекий перестук спутался, оказывается, со стукотней в похмельном Васином затылке.

Мотоциклет сопровождает черную эмку. Из эмки выходят военные люди, смотрят сперва в записные книжки, потом на номер дома, и один из них в сопровождении другого, волокущего два чемодана, исчезает за углом, направляясь, вероятно, к Ольгиному крыльцу, потому что больше некуда.

Вася насаживает на голову пилотку, оставаясь необутый и в майке — больше ничего успеть невозможно.

В кухне стучат в дверь. Вскрикивает Ольга, и слышится громкий мужской голос.

— Ну, здравствуйте! Здравствуйте, милая Ольга Семеновна! Я буквально на секунду... Здоровы девочки, здоровы, вот младшая чахнет что-то, но молодцом, молодцом! Я вам всё потом расскажу. А пока вот привез часть вещей и ваших, и покойного Молдока Хулановича. И ордена его тут. Я еще привез, но захватил пока не всё — сейчас ни секунды нету. Командование вызвало. Если б не по дороге, и сегодня бы не заехали. Здоровы, здоровы девочки. Старшие — совсем молодцы, а младшая — молодцом! Вот же карточка, чуть не забыл! Всё расскажу, а сейчас извините... Да я у вас и остановлюсь дня на два, если позволите. Как вы устроились-то, можно взглянуть?..

— Разрешите доложить, товарищ генерал-лейтенант! Лейтенант Суворов...

— Батюшки! У вас, оказывается, армия уже квартирует. Сам Суворов на постое. Не знал, извините! Вольно, Суворов! Пуля — дура, штык — молодец!

— Ничего-ничего! Да я рада буду! Вы переезжайте! Хоть недерю, хоть пормесьяца живите...

— Вольно, лейтенант! До свиданья и, значит, до встречи!

— А Нарина? А Линочка? А маренькая?.. — провожая гостя, торопится Ольга за закрывшейся дверью.

А Вася опять подходит к трельяжу.

— Так, значит!

Вася, Вася, Вася, Вася и Вася в трельяже с ним абсолютно согласны.

— Васенька, смотрите! Вот они, мои маренькие! Сейчас-сейчас разогрею вам поесть! Рейтенант вы мой мирый!..

— Застрелить падлу! — говорит Вася всем пятерым себе самому, а все, кто в трельяже, одобряют. — Конечно, застрелить!

Он бросается к комоду, но разобранный с вечера для чистки и смазки первый лейтенантский пистолет, так и лежит разобранный. Вася яростно сгребает части, но спохватывается, поняв, что до застрелить придется еще потрудиться.

Он подходит к окну, где уже улетели в генштаб эмка с сопровождающим, и видит плетущихся в гости мальчика с сестренкой.

— Так! — говорит Вася.

— Так! — говорит Вася, пока Ольга Семеновна, громко ликуя, показывает на кухне фотоснимок девочке, а мальчик входит в комнату и тихо сообщает:

— Сегодня жуков не будет...

— Жуков, значит... — тихо вторит Вася, а потом вдруг орет: — Прахаря-то у какой связистки купил, жук навозный!

Мальчик даже съживается. Сапоги у него как бы слегка на каблуках, правда, мать говорила, что это такие мужские. Других все равно не достать.

...И правда, как у связистки, откуда же этот знает? Ведь никого не было, когда мальчик подглядывал за связистом и связисткой, которые тянули на учениях катушку и забрели в вишневый сад к Богдановым, и затерялись, а он подглядывал... И правда — в мешанине подошв под кустом он увидел торчащие на него и замиравшие каблучки...

— У связисток скупае, брунеты! У Красной Армии! — орет Вася. — Питаться ходите! Сеструха-то впереди в два горба горбатится, а всё конфетки исть хотите...

Ольга Семеновна этого не слышит, потому что как раз повернута к двери нездоровым ухом. Но девочка, всегда улавливающая комнатные голоса, быстро вбегает, хватает брата за руку, и вот — нескладные и спешащие — они проходят, не оглядываясь, мимо окна. Девочка быстро идет впереди и вполоборота что-то говорит мальчику, а он то и дело как бы останавливается, то ли собираясь нагнуться за мокрой бутылкой, то ли намереваясь вернуться, но не поспевает за ней, и — Боже мой! — какие они обношенные, какие растерянные! Поглядите на них, запомните их, ведь они уходят. Из рассказа уходят, и никогда уже, никогда больше не вернутся...

— Так! — впятером отвечают Васе, упятерив свою и чужую обиду, не по форме одетые безумцы из трельяжа, хотя кое-кто в стеклянных отдалениях, словно специально, повернулись затылками... И вдруг:

— Да дай ты ей! Да она же! Да ее же! Каждый же!..

И Васек вылетает в кухню, озираясь, что бы схватить. Ольга Семеновна отшатывается. В руках у нее фотокарточка. В-во, Васек, чем ее, исподниками ее, падлу, из бака... мокрыми ее... и по фотокарточке!.. Тяжелые мокрые кальсоны и — раз! и — второй! За спину спрятала... Успела, падла... А то бы, если по ребру... Хрясь бы! Глянцевая бы карточка враз бы... Ы-ых! Дак по морде ее... кальсонами... Раз еще! и второй еще!.. Ты-дын... Брунеты, бля, генералы, бля... ну правда, второй же... ты-дын!.. ну поверьте же... от майоров, бля, и выше... ты-дын!.. ты-дын!.. ты-дын!..

Все-таки Ревекка Марковна была права, когда сказала: «Если она берет стирать на людей...». И, хотя вряд ли что-то провидела, но первопричину ошибки, как всегда, определила точно.

1980

87



Единственный ежемесячный журнал зарубежной фантастики в СНГ

**Только первые публикации на русском языке.
Только лучшие произведения зарубежных авторов,
отмеченные литературными премиями.**

Журнал, издаваемый «Московскими Новостями», выходит с конца 1991 года. В розницу практически не поступает.

Подписной тираж — 72 тысячи экземпляров.

В первом полугодии 1994 года в «Если» будут опубликованы новые романы Гарри Гаррисона, Марион Бредли, повести Клиффорда Саймака, Роберта Шекли и Мартина Коуни, рассказы Филипа Дика, Майкла Муркока, Роджера Желязны, Генри Каттнера и других известных писателей-фантастов.

Индекс в каталоге «ИЗВЕСТИЙ» — 73118.

Подписная цена на полгода по каталогу 1200 руб., на три месяца — 600 руб.

Сic! Возможна льготная комплексная подписка сразу на три издания: журнал «Если», газета «Московские Новости», газета «Нью-Йорк Таймс» на русском языке (новации в области науки, техники, культуры, портреты «звезд», жизнь за рубежом, наша действительность глазами американских экспертов). Комплексная подписка обойдется читателю на 30% дешевле, чем общая стоимость всех изданий. Индекс в каталоге «ИЗВЕСТИЙ».

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

...Торжествующий свет бытия

* * *

Троянских гекзаметров ход,
чей воздух пульсирует на три,
то на два рыдания вперед,
как публики кашель в театре,

сей ход, сей напор языка,
в обвод прокурорской латыни,
с архангельского мужика
оброк собирает поныне.

Отчаянья сладостен плач,
когда на уме у Гекубы
как можно естественней впрячь
в цезуру железную губы.

Царица, что мне до тебя?
Но властность ли скорби, мотив ли,
не комкая слов, не дробя,
силлабикой стали в Путивле.

Гекзаметра ритм узнаю
в балете стрекозьем и в ливне,
точащем в саду о скамью
индийские пики и бивни:

штрих капли, удар и разброс,
свист каждой, и множества рёгот,
и лепет жеманный стрекоз
не сделаться метром не могут.

Дыханья больной перехват
в корнях языка и гортани
с достоинством жреческим чтят
и греки, и я, и славяне.

* * *

Ты начертил пейзаж лесов и вод,
Ты набросал портрет цветка и зверя,
словами свитка, сладкого, как мед,
сердца питая, боль и счастье мера.

А я — кто я меж сумраком и тьмой?
Я льюсь, как кровь, шумлю, как вдох и выдох...
Гортань, зрачок и жилы мне промой,
пространство мыслям дай и чувствам выход,

чтоб мне покрыть десятком нищих слов
мой день, поняв, что день — Твое в нем пламя,
поняв, где я, где мир Твой, и каков
Твой я — в сравнение с речкой и цветами.

* * *

Слова к словам не примыкают,
не привыкают, не хотят,
одни других тайком толкают,
друг друга топят, как котят.

Во что излиться мысли звучной,
когда не ведаешь, каков
той ферме у шоссе сподручней
из двух неслитных языков?

Не потому ты на чужбине,
что где-то плачут о тебе,
а потому, что речь отныне
твоя не плавится в толпе.

Ни новый голос твой, ни прежний
не отзывается на шум,
бессмысленный, враждебный, нежный,
слов, прозвучавших наобум,—

слов легких, кашлей папиросных,
невнятных шорохов в тени,
аэропланов — в общем, косной
пустой вселенской болтовни.

Речь не струится, если реки
уже не вдаль Окой текут,
уткнувшись в берега навеки,
а всяко — как Коннектикут.

К дождю ли этот вихрь со склона?
Каких в нем дух цветов заглох?
А в небе танец махаона —
из тех же ли он здесь эпох?

Ах, махаон... Мигнет ли он-то,
что хоть равно беззвучны мы,
читая вязь ручьев Вермонта
и рябь уральскую Пышмы?

Июль 1991, Норфилд

* * *

Этот звук, этот луч, этот дух
проникают толчком соразмерным
не в зрачки лишь, и ноздри, и слух,
но и в кровь, неподвластную нервам.

Впечатлений, терзающих нерв,
сердце всасывает избыток
и глотает природы ущерб,
как медовый поэзии свиток.

И хватает изжеванных слов,
чтоб, как дважды живущий Тирезий,
постигал ты и шорох, и рев
одичавших когда-то поэзий.

И сочится услада аорт
сквозь глухие словарные своды,
и становишься счастлив и горд
быть всего только частью природы.

* * *

Задувая ночные огарки,
окунаюсь беспamięтно я
в золотой, исподоблачный, жаркий,
в торжествующий свет бытия.

В эту чашу, с холмами по краю,
с небесами — на купол как раз,
где не я лишь себя растворяю,
растворяется каждый из нас.

Растворяется то, что в нас видят.
Рост и кожа, и чужесть лица
ускользают, как луч; только выдох,
кровь и зрение — не до конца.

То, чем мил ты другим и чем гадок,
то, что — ты, выпадает оно
в исторически чистый осадок
у природы на вечное дно,

в ту же чашу, где жизнь — это орден,
где сочувственным множеством глаз
мы в глаза умирающим смотрим —
умирающий смотрит на нас.

И дрожащими дугами сварки
под зенит ослепляемый день
полоснет по зрачкам — на огарки
оглянувшись. Дождечь бы, да лень...



БОРИС СЛУЦКИЙ

Запеваает строчка одна...

Публикация и вступительное слово

ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА

То ли в конце 50-х, то ли в начале 60-х Борис Слуцкий писал:

На все веселье поэзии нашей,
На звон, на гром, на сложность, на блеск
Нужен простой, как ячная каша,
Нужен один, чтобы звону без.
И я занимаю место.

Он занимал это место, потому что был чутким и умным наблюдателем нашей эпохи, нашей истории, ее крупных и мелких подробностей. Писарев некогда писал: «Слова и иллюзии гибнут, факты остаются». Слуцкий в своих строчках запечатлел и иллюзии, и слова, и факты эпохи. Веря и надеясь, что еще пригодится своему народу. Иногда даже не осознавая, что он непреднамеренно, неожиданно для самого себя создает стихотворный эпос жизни советского человека, советского народа за полвека. Еще недавно такое утверждение звучало бездоказательно — но вот вышел том стихов Слуцкого «Я историю излагаю...», где этот эпос представлен, и каждый может раскрыть книгу и убедиться в истинности моих слов.

Уже семь лет, как его нет с нами. Сказать ли о нем его же словами: «Стихла эта огромная нота»? Не получается. Эта нота разрастается и звучит все сильнее, громче. Скорее уже повторить слова Фадеева, сказанные о Булгакове: «...как это, к сожалению, часто бывает, люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил».

* * *

Противоречья и головы
были сняты вместе.
Тихо, смирно, голо
стало на этом месте.

Не борьба (по Гегелю) —
специальные части
здесь развитие двигали,
учреждали счастье.

и

* * *

— Сезанн, отворись! — художник шепчет.
— Сезанн, Сезанн, отворись, отворись! —
Безмолвно слушает этот щебет
Сезанн,
в чертогах своих затворясь.

— Сезон, продлись! — тоскует мороженщица.
— Продлись, не кончайся, продлись, сезон.—
Но лезет за облачное порожище
солнце, верткое, как сазан.

— Сазан, поймайся, — удильщик требует, —
поймайся, сазан, сезон-то твой.
А впрочем, он отныне не гребует
плотвой.

Сезанн ли, сезон, сазан ли даже
и все сопряженные с ними сны
надолго выводятся из продажи —
до удачи или до весны.

* * *

Цель жизни явно не достигнута.
Смысл жизни явно не постигнут,
а линия прямая выгнута,
а на висках седины стынут.

Я, как и все, хотел хорошего.
Пытался, пробовал и тщился,
варьянтов множество отброшено.
Последний все же получился.

Единственное утешение,
что все это уже случалось
со многими и есть решение
сносить все это, не отчаиваясь.

Последний вариант, отчаянный,
от всех душевных воспалений,
от обещаний и от чаяний
дымящийся. Словом — последний.

92

Шел в комнату, попал в другую

К циклу, к сонму, к лику
причислен,
младший между старших богов,
с ними вымышлен,
с ними осмыслен,
с ними делит друзей и врагов.

Со своею скромностью, робостью,
со своей безответной душой
стал деталью он,
стал подробностью,
стал мазком в картине большой.

Их безбожники — отрицают
также и его заодно,
а художники — отрезают
и ему на лик — полотно.

И когда они жрут — он сытый,
пьяный он, когда они пьют,
а когда их бьют, он битый
и больной, если сильно бьют.

Их полковники — маршируют
и в его, как в ихнюю, честь,
а поклонники, если пируют,
могут тост и о нем произнести.

То, что это случилось случайно,
то, что мог попасть не туда,
от него — огромная тайна,
для него — большая беда.

* * *

У свободы были цитадели,
Точней — окопы неполного профиля,
Где мы отсиживались, сидели,
Ели, пили, пока не пропили.
У свободы были крепости,
но не очень большой крепости.
У свободы были башни,
Но — излишне домашни.
А поскольку не заводили детей
Свободы носители,
Вымерли носители идей,
А то, что слышали они и видели,
Только в самых больших читальнях,
Куда особые пропуска,
На полках самых ветхих, дальних
Простоит ближайшие века.

* * *

На границе яви и сна,
сам не знаю, из сна или яви
запевает строчка одна,
как весна с ее соловьями.

Забивают ее соловьи,
звуки мира всего остального
продолжают рулады свои,
начинают снова и снова.

Затекает, сбросив плащ
ночи, и без дневного доспека
смех, переходящий в плач,
плач, неотличимый от смеха.

И я вскакиваю — пора!
И я сбрасываю одеяло.
В этот день вся работа — с утра,
в чем она бы ни состояла.

И, плеснув холодной воды,
я листы бумаги колышу,
начинаю свои труды
и записываю, что слышу.

Такая книжечка

Изобретатель слова «заумь»
(а сам он ударял «заумь»)
в молитвенном восторге замер.

Смех, неприличный, словно звук,
который в обществе не принят,
и мне (не выпустив из рук)

Подвижный, шустрый устарелый,
породы вымершей птенец,
но звонкий, словно бубенец.

протягивает томик тощий,
кладет (прижав рукой) на стол:
— Какую книжечку нашел!

Какую книжечку нашел
он, после длительной прополки,
на этой грядке, этой полке!

Да, для низверженных с Парнаса,
который все-таки гора,
не худший вариант с утра

С Парнаса, словно с крыши снег,
когда-то сброшенный поспешно,
издал свой неприличный смех.

до вечера по букинистам
бродить, гулять и по пути
такую книжечку найти!

* * *

Так чем же служат поэты
в большом механизме планеты?
Не винтиками, не шестернями,
доходу — всего ничего,
а — реже — сладкими снами
и скрежетом — чаще всего.

* * *

Перед своим же портретом,
словно зима перед летом,

И мне стало худо вчуже,
а ей было много хуже,

старуха, которую видел
девчонкой еще озорной.
И в этом — весь времени выдел,
когда-то полученный мной.

старухе, которую помнил
в сиянии русых кудрей.
И я содрогнулся. Я понял.
И я отвернулся скорей.

* * *

Мягкие знаки вставлял в коммунизм,
в социализм вставлял,
вставлял их даже в капитализм,
а что из себя представлял?

Рабфаковец серый, мужик простой!
Что на него нашло?
Целый народ ушел в простой.
Полмира в прогул ушло.

Он пал, и долго не умирал,
и книги читал в саду.
Если в баснях есть мораль,
от этой я не жду.

Просто всяя Руси престол
занял Иван-дурак
и весь народ ушел в простой,
навек забыв про страх.

* * *

Я обошелся без газет,
я обойдусь и без часов,
Но никакого ходу нет
без чудных птичьих голосов.

Они натянутой струной,
звонящей дождевой струей
над всей родною стороной
звучат вечернею порой.

Какое это торжество.
Как ладен мировой уют.
Кто лучше слышит, для того
они отчетливей поют.

А кто делами увлечен,
свернет правей или левой,
идя за тоненьким лучом,
что источает соловей,

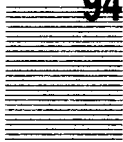
что посылает соловей,
как серенькое солнышко,
и громыхает роще всей
свои признанья на ушко.

От этой песенки простой
истории стихает гул,
идет вселенная в простой,
в прогул уходит и в загул.

Заслушивается вся земля
и небеса, их высота,
когда заводят труляля,
когда стихает татата.

А этот достоверный факт
не посчитайте чепухой,
но бил глухой ногою в такт,
да, бил ногою, в такт, глухой.

В быках, беспамятных скотах,
мычаньем отдавался ритм.
Земля ведь не на трех китах —
на трех мелодиях стоит.



ГАЙТО ГАЗДАНОВ

Полет

РОМАН

Целый огромный мир, в котором до сих пор проходила ее жизнь, сместился, и я исчез. Лиза вспомнила теперь о нем, но от него остались только самые элементарные представления: холод, тоска, пустота и то, что как будто бы все звуки потонули в нем, не получая отклика: этот мир был почти безмолвен и безжизнен, и никакое могучее дыхание не оживляло его. В нем так же, казалось бы, звучала музыка, лились реки, скрипел снег, плескалось море, но все это было как на давно примелькавшейся картине, в немом размахе чьего-то беззвучного и угасающего вдохновения. Она иногда начинала думать — в те, далекие времена, — что это объяснялось, помимо всего отсутствием неисполнимых желаний материального и географического порядка: она была действительно совершенно свободна, могла делать, что хотела, ехать куда хотела, одеваться как хотела, — для этого рядом был Сергей Сергеевич, с неизменной охотой удовлетворявший ее желания. Ей ничего не хотелось тогда; конечно, заход солнца над Женевским озером был красивее, чем рассвет в Париже, конечно, на итальянских озерах было лучше, чем в Лондоне, но это были несущественные подробности, которые не могли изменить главное. А главного не было и не могло быть.

Теперь она все видела по-иному, так, точно у нее были другие глаза, сохранившие прежние размеры, прежний цвет, прежнюю точность перспективы, — но в тех же пейзажах, на которые она смотрела теперь, все расцвело и изменилось: над головой развернулось гигантское и далекое небо, заблестела вода, черно-белые скалы, которыми кончался правый берег Cap-Ferrat, точно впервые возникли над морем в их двухцветной хаотической красоте. И над этим всем, в буйном и почти утомительном соединении разных красок из многоцветной тишины все время звучала далекая музыка, лишенная мелодической стройности, — ветер в деревьях, всхлипывание воды в бухте, крик цикад, гул волн, бьющих в узкие и длинные проходы между скалами, — но живая, ни на секунду не прекращающаяся и невыразимо прекрасная. Ее зрение стало острее и внимательнее, она впитывала в себя все, что видела, и все замечала — и шаркающую походку старого итальянца, который шел к своему огороду, и мускульное усилие человека, который крепил парус под легким ветром на довольно большом расстоянии от берега, и небрежно гибкий прыжок обезьяны, жившей на длинной цепи, в одном из ближайших садов, и непостижимо быстрый полет ласточки, взмывавшей непосредственно от поверхности земли к колокольне местной церкви, и стремительное движение уплывавшей из-под нее рыбы, и медленное раскачивание подводных водорослей, и плавный размах смуглого тела Сережи в воде, когда он, с разбегу отделившись от дамбы, бросался в море. Ей казалось, что ее состояние было похоже на чувства человека, который был тяжело болен, не мог двигаться, долго лежал и не надеялся, что когда-нибудь встанет, но потом поднялся и ощущал, как вновь наливается его тело, пальцы обретают волшебную, давно утраченную гибкость, и все начинает жить и неудержимо двигаться вокруг него. Та же разница была и в других ее ощущениях — от первого, нежного

95

прикосновения Сережи у нее начинала чуть-чуть кружиться голова, и глаза ее сразу мутнели, эта вторая и единственно настоящая жизнь началась с того вечера, когда она впервые поцеловала Сережу.

Несмотря на то, что она обычно всегда поступала в своей жизни расчетливо — в том смысле, что старалась учитывать все последствия того или иного своего поступка и заранее принимала меры, которые должны были устранить могущие возникнуть препятствия или соображения, — на этот раз она почти не задумывалась над тем, что будет дальше, хотя в данном случае это было более необходимо, чем когда бы то ни было. Ей было слишком хорошо, — и внутренний, безошибочный в каждую данную минуту ее инстинкт, которому было чуждо понятие о временной перспективе, удерживал ее от размышлений по этому поводу. Она чувствовала, однако, что чем дальше, тем невозможнее для нее станет разлука с Сережей. Во всяком случае, не думая о будущем, она знала чувством, что если с ее стороны в дальнейшем потребуются какие угодно жертвы, она не остановится пред ними.

И вот, несмотря на это неожиданное и бесспорное обогащение Лизы — в смысле большого количества чувств и ощущений, которые до сих пор были известны только из книг, — нельзя было не заметить, что, в чисто духовном своем облике, она несомненно потускнела. Книги, любимые ее книги, которые она изредка пыталась читать — ее терпения теперь хватало на полчаса, не больше, — стали казаться ей скучными. Она еще отдаленно ценила их замечательность, ей еще казались убедительными некоторые логические построения, но они потеряли ту утешительную силу, которой обладали раньше. Главное, становилось ясно, что ей до этого нет, в сущности, никакого дела. — Искусство, Лизочка, изобретено для неудовлетворенных, — говорил ей давно Сергей Сергеевич, и тогда она бурно возражала ему и утверждала, что его заставляет так думать только внутренняя пошлость. Теперь она не могла бы с ним не согласиться. Когда они однажды поехали — вместе с Егоркиным — на очередную выставку картин в Ницце, Лиза не запомнила ни одной из них; остались только цветные пятна, потому что все время рядом с ней был Сережа, который держал ее под руку и его присутствие занимало всецело все ее внимание. Даже наружность ее изменилась. Ей и раньше случалось идти по улице и замечать, как люди оборачиваются, чтобы посмотреть на нее; но теперь это не только стало повторяться гораздо чаще, но среди тех, кто оборачивался, было много простых людей — рабочих, рыбаков; они раньше на нее не обращали внимания, потому что было слишком явно, что это была дама, которая не имела и не может иметь к ним никакого отношения. Теперь она как-то приблизилась к ним — может быть, потому что слишком несомненно было видно по ее лицу и глазам, по всему ее чуть-чуть огрубевшему и отяжелевшему облику, что главную роль в ее теперешней жизни играло то эротическое начало, в значении которого ни один мужчина не мог ошибиться. Она понимала это, — но понимание ее, как и все, что не относилось непосредственно к ее личной жизни в данное время, было чем-то отдаленным, посторонним и несущественным. Она была счастлива тем, что в ее возрасте она еще не ощущала никакой физической разницы между той, какой была много лет назад, когда держала на руках маленького Сережу, и той, которой была теперь; и она не думала и не вспоминала, что этим тоже обязана Сергею Сергеевичу, который заставлял ее заниматься спортом, и говорил: — Потом меня же благодарить будешь. Но в этом он ошибся, — по крайней мере, для данного времени; никакой благодарности по отношению к нему Лиза не чувствовала, это было меньше, что можно было сказать. Ее радовало, что она была почти так же сильна, как Сережа, и он неизменно этому удивлялся, — тем более, что, в силу счастливого устройства ее тела, мускулы были невидны. Сережа удивился однажды, когда Лиза как-то задержалась в дороге, — он вышел ей навстречу и узнал, что у нее лопнула шина, и она меняла колесо. — Как, сама? — Вот глупый, конечно, сама, — сказала она. — А как же ты гайки отвинчивала? — Вот так, Сереженька, — она сделала вращательное движение правой рукой. — И у тебя хватило сил на это? — она засмеялась и потом предложила ему состязание, которое было основано именно на мускульном напряжении руки и из которого он вышел победителем, но с таким трудом, что все лицо его густо покрылось

капельками пота.— И то, я немного устала,— сказала она,— а если я буду свежая, то тебе не сдобровать. И это ей было приятно — в состоянии с Сережей чувствовать его гибкую сопротивляемость; в том же упражнении с Сергеем Сергеевичем ее ждало разочарование,— там не было ни сопротивления, ни гибкости, была только застывшая, неживая рука, которую она не могла сдвинуть с места,— и кончила тем, что укусила, после чего Сергей Сергеевич спокойно сказал: — Это не входило в программу, Лиза.

Лиза до сих пор не подозревала в себе возможности того непрерывного физического томления, которое теперь почти не покидало ее. Сережа не мог не поддаться ему; и за несколько дней он похудел и лицо его вытянулось, несмотря на то, что ел очень много и спал несколько часов непробудным сном.

Он очень возмужал за первую же неделю, у него стало резче лицо, точнее обрисовывался разрез чуть-чуть потемневших глаз, все-таки еще очень светлых на загоревшем лице. После того дня, когда Лиза сказала ему: Обещай мне не думать об этом, Сережа,— он послушно подчинился ей; для него вообще не было большего наслаждения, чем исполнять ее желания, какие бы они ни были. Но он думал обо всем усиленно и напряженно и до этого запрещения и теперь не мог помешать тому, что время от времени, в солнечном блеске, утром на берегу моря или в мягкой и точно прозрачной темноте южного вечера,— перед ним появлялось лицо матери, все то же милое, с большими темными глазами, над которыми не было ресниц, с чистым лбом без морщин, с легким запахом духов, который возникал, как только она наклонялась над ним. Собственно, нельзя было сказать, что Сережа думал, это было бы неверно: не было мыслей, как логично построенного рассуждения; было несколько зрительных сопоставлений, которые иногда бывали мучительнее, чем любая мысль. Ему до сих пор никогда не удавалось связать все, что он думал, видел и чувствовал, в ту последовательную и постепенно развивающуюся систему, какой обычно была представлена человеческая жизнь в книгах, которые он читал. Он не думал о том, что она всегда бывает условна и искусственна, ему только казалось, что он просто сам не способен к такому творческому воссозданию. Он очень много знал и читал для своего возраста и до самого последнего времени думал, что теоретически в мире нет вещей, которые он не мог бы понять; и огорчился однажды, когда отец ему сказал, говоря о какой-то житейской проблеме, что Сережа не может ее постигнуть. Он сказал это, ничего не объясняя сначала; тогда Сережа спросил, считает ли Сергей Сергеевич его совершенным олухом. Сергей Сергеевич потрепал его по щеке с неожиданной ласковостью и ответил, что, наоборот, он им очень доволен, что лучшего наследника он себе не хотел бы; но наследник, по его словам, слишком молод, чтобы понимать некоторые вещи.

— Не потому, Сережа, что ты глупее какой-нибудь накрашенной пожилой дамы, которая, вообще говоря, дура-дурой; однако она это может понять, а ты — нет, хотя она не читала и десятой доли тех умных книг, которые...

— В чем же дело?

— В душевном опыте, Сережа, понимаешь? Трудно объяснить и не нужно. Потом. Вот тебе придется столкнуться с чем-нибудь, о чем ты читал тысячу раз,— и тогда ты увидишь, что читать — одно, а чувствовать и понять — другое. Что такое каждая этическая проблема? Попытка схематизации коллективного душевного опыта,— это главное, потом идет утилитаризм, целесообразность и т. д.

А Лиза говорила, что об этом не стоит думать — не вообще не стоит думать, а ему, Сереже, не следует на этом останавливаться, для него это неважно. Лиза всегда была для Сережи воплощением всех добродетелей, и это его представление о ней не только не потерпело никакого изменения теперь, но стало еще более отчетливым. Конечно, нехорошо и ужасно, что она сестра его матери; вот бы только одно это небольшое изменение — и все было бы даже с этической точки зрения замечательно. Эта сторона вопроса, однако, была тяжела для Сережи не потому, чтобы он лично испытывал из-за этого какие-либо неудобства, стеснения или неловкость,— нет, только потому, что он предвидел ужас в глазах матери, когда она узнает. Он совершенно не мог себе представить реакцию отца, но знал, что и отец, конечно, отнесется к этому

отрицательно. О Сергее Сергеевиче можно было подумать именно так: отнесется отрицательно; по отношению к Ольге Александровне эти слова звучали дико: она могла бы ужаснуться,— это, пожалуй, было вернее всего. Но при мысли о том, что в результате этого может пострадать Лиза, кровь прилиwała к его лицу; все, что угодно, но только не страдания Лизы — такой замечательной, такой чистой и нежной.

Все, что думал Сережа, он думал до разговора с Лизой — и тогда это было мучительно и неразрешимо. После разговора ему сразу стало легко на душе,— он, действительно, перестал ставить себе вопросы о том, в какой степени все это возможно или невозможно,— точно между ним и всеми этими мучительными недоразумениями возник непрозрачный экран, и остались только Лиза и любовь — и больше ничего во всем огромном мире, существующем рядом с ним.

98
Похороны Пьера, мужа Лолы Энз, были исключительно удачны и необычно для летнего времени многолюдны. Все многочисленные друзья и знакомые Лолы, большинство которых полагало, что ее брак будто был мезальянсом, и не любило Пьера при жизни, теперь как будто бы вдруг поняло, что это был замечательный человек. И брак Лолы, всегда осуждавшийся при жизни, получил, таким образом, общественную сочувственную санкцию, в которой были даже одобрительные ноты. Лоле пришлось выслушать множество соболезнований, чаще всего ей говорили: я не имел — или я не имела — счастья близко знать вашего мужа; но в те два раза, когда я его видел, он произвел на меня самое лучшее впечатление — и поверьте, я всецело разделяю... Лола кивала головой и отвечала: мой дорогой друг, я никогда не сомневалась в ваших чувствах. На похоронах были люди самых разных возрастов, преобладали, однако, старики, которых влекло туда двойное и противоречивое чувство: с одной стороны, неприятная мысль, что собственная смерть тоже не за горами и все, к несчастью, приближается; с другой, побеждающая эти грустные соображения и явственно ощутимая радость, что умер вот этот самый Пьер, а они остались живы; они вообще приходили на все похороны, чтобы получить совершенно неотразимое доказательство своего собственного, хотя и временного, бессмертия. Один из друзей Лолы, ее старший современник, который был бесконечно стар, но бодрился до последней степени и даже носил корсет, доставлявший ему постоянные мучения и тихо похрустывавший при каждом движении, автор книги, получившей некоторую известность пятьдесят шесть лет тому назад, в январе месяца того незабываемого года, академик и чрезвычайно почтенный человек со скромным седым париком на дрожащей голове, в начале церемонии сочувственно беседовал с Лолой и говорил, что все проходит; под конец он снова подошел к ней и на этот раз прибавил, что, как это ни грустно,— слезы стояли в его глазах и он вообще устал и расчувствовался,— но вот, нельзя не констатировать, что многих из их с Лолой современников уже нет в живых; вот и этот бедный Пьер... Лола с неподвижно-грустным лицом внимательно его слушала, хотя он говорил совершенный абсурд, так как Пьер ни в какой степени не мог считаться их современником: во времена расцвета их славы его еще не было на свете; кроме того, разговор об этих давно прошедших временах был вообще неприятен Лоле, так как напоминал ей об ее возрасте. Она обычно отвечала на такие вещи одной неизменной фразой: — да, я едва помню это, я ведь была совсем ребенком,— и собеседнику ее оставалось только вежливо улыбнуться в ответ и вспомнить про себя, что у ребенка был в те времена уже пятнадцатый любовник, тративший на нее свои деньги и готовый драться из-за нее на дуэли по обычаю той безвозвратной и исключительно героической эпохи.

Множество автомобилей темного цвета следовало за похоронной процессией, и гармонию нарушала только одна светло-серая открытая машина, которой правил очень молодой человек в летнем костюме и без шляпы, с неподдельно огорченным лицом; зато рядом с ним сидела идеально-траурная пожилая дама, очень подходившая к общему, несколько старинному и торжественно-покойному тону. Появление молодого человека и огорченное его лицо объяснялись тем, что

его тетка, опоздав попасть в официальный кортеж, и, по жестокой своей скупости, пожалевшая денег на наемный автомобиль, поймала его в ту минуту, когда он проезжал мимо угла той улицы, где она жила, и заставила везти себя на похороны: ему не оставалось ничего другого, и среди всех присутствующих он был единственным человеком, горе которого было совершенно искренно,— *Lola Ainée ma tante?* ¹— сказал он,— *mais c'est une vieille toupie...*— *C'est une interprète remarquable de Racine et de Corneille* ²,— сказала тетка с негодованием,— *et il faut avoir une grandeur d'âme, que est inconnue maintenant pour être à la hauteur de ces rôles.*— *Pour la grandeur d'âme, ma tante* ³,— безутешно бормотал он,— *je vous l'accorde, mais celle des spectateurs est encore plus remarquable.*— *Tu n'es qu'un imbecile,*— холодно сказала тетка,— *suis donc triste enterrement et tais-toi* ⁴. На перекрестках шествие иногда задерживалось, молодой человек каждый раз едва не въезжал в едущий перед ним почтенный «ролс-ройс» и вместо того, чтобы выругаться, был вынужден проглатывать слова и, следуя совету тетки, прилично молчать.

Лола была очень довольна похоронами и искреннее рада, что все вышло так трогательно и хорошо. Та толпа, которая сопровождала гроб ее мужа, была составлена из поклонников ее таланта, это была все та же, только более приличная и сдержанная *foule* qu'il'a toujours adorée ⁵. Лола была настолько глупа, что никогда никакие сомнения по этому поводу не приходили ей в голову, и вместе с тем было очевидно, что людьми, пришедшими на похороны, руководили чаще всего самые разнообразные причины, нередко имевшие особенные и личные основания вне какого бы то ни было отношения к сочувствию Лоле в глубоком горе, которого она не испытывала. Здесь было несколько журналистов, которые, сразу разыскав друг друга, шли группой все вместе, и один из них, специалист по некрологам, рассказывал товарищам последние анекдоты, и они кусали себе губы, чтобы не смеяться; были люди — и их было очень много,— которым вообще было нечего делать и которые воспользовались возможностью побывать на похоронах; были такие, которые считали, что нельзя не быть на похоронах Пьера, как нельзя не быть на премьере в Опере и на скачках в Лоншан, и их было громадное большинство, и в глубине души наименее глупым из них были безразличны и премьера, и скачки, и похороны; были такие, которые пришли устроить свои собственные дела, пользуясь тем, что потом их никак нельзя будет обвинить в навязчивости — и такой удачный подход: дорогой друг, я никак не думал, что мы встретимся с вами в таких печальных обстоятельствах, какая ужасная смерть! Простите, но, между прочим, один вопрос: те акции, о которых вы так любезно... Был очень бойкий и очень хорошо, по-траурному, одетый сорокалетний мужчина с сияющим лицом, выражение которого совершенно не вязалось с похоронами,— он один из первых подошел к Лоле и долго с ней разговаривал, усиленно здороваясь со всеми, и вообще действовал таким образом, что присутствие его никак не могло пройти незамеченным; говорил всем, что его жена, к сожалению, не могла прийти, так как нездорова; потом он скрылся с неожиданной быстротой и в самом конце процессии сел в последний автомобиль, в котором его ждала необыкновенно пышная блондинка лет двадцати двух, которая тихо сказала ему — *«Alors on est libre, c'est fini les condoléances?»* ⁶ — и автомобиль сначала отстал, потом свернул направо и исчез.

Нельзя было сказать, чтобы Лола не готовилась к этим похоронам; она примеряла много платьев, затем, оставшись одна в комнате, ходила особенной похоронной походкой и усиленно упражнялась, стараясь придать своему лицу нужное выражение, — торжественная церемония не застала ее врасплох; после

¹ Лола Энз, тетя... (*франц.*)

² Эта старая вертушка... — Она прекрасный интерпретатор Расина и Корнеля... (*франц.*)

³ И нужно обладать величием души, которого теперь уже не сыскать, чтобы быть на высоте этих ролей. — Насчет величия души, тетя... (*франц.*)

⁴ Я с вами согласен, но у зрителей оно должно быть еще более значительным. — Ты всего лишь невежа... Побудешь на этих грустных похоронах и можешь отваливать (*франц.*).

⁵ Толпа, которая ее всегда обожала (*франц.*).

⁶ «Наконец освободился, с соболезнованиями покончено?» (*франц.*)

похорон много говорилось и писалось о царственном достоинстве знаменитой артистки и о благородстве ее печали. Вместе с тем в жизни Лолы не было, кажется, события, которое бы доставило ей столько удовольствия, сколько похороны ее мужа.

Все сразу изменилось в ее доме. Прислуга, привыкшая за последнее время подчиняться Пьеру, а не ей, стала вновь такой, как была раньше, до замужества Лолы, и потеряла то неуловимое пренебрежение в ответах и интонациях, которое так раздражало Лолу. «Бюгати» была срочно продана и вместо нее появился «делаж», как две капли воды похожий на прежний, — с теми же мягкими и упругими подушками, с теми же чудесными рессорами, и, едучи в нем, Лола не ощущала того, что преследовало ее, когда она изредка ездила в низком «бюгати», — именно, что кто-то тянет ее за ноги вниз, и мотор всхлипывает и ревет после поворота, когда дергающаяся в неумелых руках Пьера машина скачками набирает скорость. По ночам опять стало тихо, исчезли многочисленные и случайные подруги Пьера, и в глубокой этой тишине Лола, просыпаясь, слышала иногда, как шумит ветер в деревьях сада, в который выходило окно ее спальни. Этот звук напоминал ей давно прошедшие, давно забытые, казалось, вещи: ее детство в деревне, дождливый летний вечер, звучное хлюпанье коровьих копыт по мокрой земле и удивительный и любимый запах навоза, с которым не могли сравниться никакие другие запахи. Она видела себя такой, какой она была, пятнадцатилетней деревенской красавицей, с упругими мускулами ног, на которых были сабо, с большими черными глазами, с белым и крепким телом, не знавшим в те времена ни одной операции. Она засыпала, улыбаясь этим воспоминаниям.

Она была теперь совершенно свободна; целыми днями просиживала в кресле и, когда ей хотелось спать, она опускала голову на грудь и засыпала, так как не было никого, перед кем ей нужно было притворяться. Она раскладывала пасьянсы, гадала на картах и даже позволила себе, в течение первой недели своей обретенной свободы, отступить от жесткой диеты, — ела жареную курицу, мясной бульон, потом пообедала однажды вечером совершенно одна у Прюнье, который находился неподалеку от ее дома, и через несколько дней все-таки заболела, так что потом пришлось поголодать и принимать лекарства; но все это она переносила с легкостью, которая ее самое удивляла, и объяснялось, конечно, инерцией того же прилива счастья, начавшегося в тот вечер, когда ей позвонили по телефону, сообщая о смертельной ране ее мужа.

Но как только прошло это первое, счастливое состояние, прежняя энергия опять пробудилась в Лоле. Она знала по длительному своему опыту, что не должна оставаться в тени, что как можно чаще ее имя должно появляться в газетах, — все равно, по какому поводу. Она заказала несколько интервью, из последовательного чтения которых можно было заключить, что Лола не собирается, после пережитого потрясения, уехать отдохнуть на юг, в свою виллу возле Ниццы; что она остается в Париже, где усиленно работает над главной ролью в пьесе, которую не хочет еще называть; что она отклонила предложение крупнейшей американской фирмы, предлагавшей ей контракт в Голливуд; что она в ближайшем будущем уезжает в турне по средней Европе; что она уезжает в турне по Южной Америке; что она уезжает в турне по Северной Америке; что намечены ее выступления в Голландии; что, вопреки распространившимся слухам, она отказалась от проекта поездки в Румынию и Грецию. Никаких слухов о ней никто не распространял, но это опровержение несуществующих слухов было обычным ее приемом, и все эти интервью и сообщения не имели решительно никаких оснований, кроме судорожного желания самой Лолы не изгладиться вдруг не то, чтобы из памяти современников, — это был свершившийся и непоправимый факт, так как большинства ее современников уже давно не было в живых, и те, которые были, с ужасом ждали смерти и только об этом и думали, — а из памяти теперешнего общества, которое следовало за ней на расстоянии полувека. Затем, когда все эти возможности были исчерпаны, Лола начала свои личные выступления в печати, к которой, еще со времен первого своего покровителя, она питала почти такую же слабость, как к театру. Она, конечно, ничего не писала сама, она была для этого недостаточно грамотна, —

у нее был постоянный сотрудник, которому она теперь вынуждена была платить деньги, что ее очень огорчало: еще несколько лет тому назад, не так давно, в сущности, она никогда не расплачивалась за услуги деньгами. Теперь ей пришлось примириться с тем, что времена изменились. Ее теперешний литературный псевдоним был молодой человек, делавший газетную карьеру и писавший небольшие статьи об искусстве; но так как статьи об искусстве давали незначительный доход, на который было невозможно прожить, то он специализировался на статьях депутатов, общественных деятелей, певцов и актеров; это была очень неприятная работа, особенно потому, что большинство людей, обращавшихся к нему, имело совершенно абсурдные представления о стиле и предъявляло требования, которые было бы невозможно выполнить, не рискуя вызвать насмешки читателей. Из всех своих клиентов он очень ценил только одного — старого сенатора, который ему говорил — *Écoutez, mon petit*¹, — и заказывал статью на какую-нибудь тему, причем не только не требовал, чтобы она была написана так, а не иначе, но даже и не читал ее до сдачи в печать: прочитывал начало уже в газете или журнале, причем и тут у него никогда не хватало сил дочитать до конца. Он смотрел на мутные буквы, разбирая несколько первых фраз, и потом неизменно говорил: — Прелестно, мой юный друг, прелестно, — и платил лучше всех других; и то что печаталось за его подписью, его совершенно не интересовало. В кругу людей, читавших его статьи, он считался проницательным и смелым политиком, неустанно следившим за всеми изменениями текущей действительности. Вначале выполнять такую работу было неприятно, потом сотрудник Лолы настолько к этому привык, что совершенно не удивился, когда узнал, что унылый и лысый мужчина с измятым и усталым лицом, которого он часто встречал в редакции одной из крупных газет, и был, оказывается, той самой Mathilde Marigny, которая давала многочисленные советы читательницам по самым разнообразным вопросам, начиная с ухода за лицом и телом и кончая любовными невзгодами и недоумениями: «Я думаю, что мой муж изменяет мне, — должна ли я оставить его и уйти с моим ребенком к человеку, который доказал мне свою любовь неоднократно?..»

Лола встретила его с деловым видом, сказала, что им нужно поговорить, и вдвоем они стали обсуждать планы ее газетных выступлений. Дело было в том, что Лола наконец решила осуществить свою давнишнюю мечту — написать мемуары. Сотрудник ее — его фамилия была Дюпон — неуверенно кашлянул: этот род работы был особенно неприятен. — Я очень польщен вашим доверием, мадам, — сказал он, — но...

— Условлено, условлено, — быстро сказала Лола. — С вашим талантом...

— Дело в том, что боюсь... в конце концов у меня так мало времени...

— Но, мой милый друг, это так не трудно. Я все расскажу все, все, все, понимаете?

— Мне кажется...

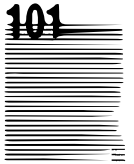
— Уверяю вас, что это будет работа, которая, кроме удовольствия, вам ничего не доставит.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Ну вот. А с издания книги вы получите процентное отчисление от издателя.

Но от этого Дюпон отказался самым категорическим образом. Он настаивал на том, что хочет иметь дело только с Лолой; и как это ни было ей неприятно, она вынуждена была согласиться. О содержании книги мемуаров Лолы разговор должен был произойти позже, через несколько дней. В ближайшее же время следовало подготовить для печати, во-первых, нечто вроде пространнейшего письма в редакцию, в котором Лола выражала свою благодарность всем, кто пришел на похороны ее мужа; во-вторых, статью «Почему я пишу свои мемуары». Через два дня текст обеих статей был представлен Лоле; она сделала в них некоторые поправки, но в общем осталась довольна. Первая статья, отредактированная в сдержанно скорбных выражениях, заключала в себе наиболее

¹ Слушай, моя крошка... (*франц.*)



приятную для Лолы фразу о том, что люди привыкли считать, будто знаменитости как-то не так живут и страдают, как простые смертные — *Helas! nous ne sommes, nous autres, que de simples mortels, doués peut-être d'un pouvior qui...*¹ и так далее; одним словом, все было хорошо и трогательно — все вплоть до благодарности газете, которая это поместила, за «великодушный жест»... Особенно приятно было то, что в том же номере появилась последняя по времени статья знаменитой писательницы о Лоле, — но это выяснилось лишь позже и было результатом случайности. Наконец, «Почему я пишу свои мемуары» — была статья, написанная с некоторым косвенным вдохновением Дюпоном, который в тот день был, по-видимому, в ударе. «Мы представляем из себя хронологически непостижимое соединение двух эпох столь, казалось бы, различных; и этому неповторимому соединению суждено быть раскрытым только в том случае, если мы решимся снять с себя наши театральные одежды и предстать перед вами, дорогие читатели, такими, каковы мы в действительности. И вы убедитесь тогда, что многочисленные и воображаемые драмы некоторых исторических женщин, которые вы привыкли себе представлять воплощенными в нашей интерпретации, — что они не прошли, быть может, бесследно; и в одном повороте головы я ловлю себя на том, что это — жест Сафо и в резко вытянутой руке — поза Селимены»...

Работа над мемуарами очень интересовала Лолу — она сводилась, правда, с ее стороны, только к подробному рассказу, и Дюпон лишь говорил время от времени: да, понимаю, конечно.... и делал заметки в своем блокноте. Жизнь Лолы была представлена как ровное в своей неизменной гениальности существование, лишенное каких бы то ни было скользких мест. На этом настоял Дюпон, исключивший из рассказов Лолы все сколько-нибудь рискованные пассажи; и хотя получилось несколько странное положение, при котором выяснилось, что до брака с Пьером Лола знала лишь платоническую любовь к некоторым замечательным людям, основанную на взаимной страсти к искусству, и хотя должно было показаться неправдоподобно, что она до старости, в сущности, оставалась девственной, — настолько, что сама Лола заметила это и сказала это Дюпону, — он все же настоял именно на такой редакции мемуаров. — Все поймут, что и у вас должны были быть увлечения, — сказал он, — но оценят вашу скромность. — Нет, нельзя же так преувеличивать, — заметила Лола. — Все поймут, что это невозможно, — спокойно возразил Дюпон, — но зачем же на этом настаивать? Ведь мы не пишем, что окна существуют для того, чтобы пропускать свет, отворяться и затворяться; мы не теряем времени, чтобы объяснить это читателю, мы надеемся, что он это знает сам. Здесь то же самое, мадам. — Зато Дюпон много раз описал заходы и восходы солнца в Оверни, где молодая девушка, глядя с террасы дома, в котором она родилась, мечтала о Париже и о счастье. Семья Лолы сразу разбогатела в мемуарах, и родители ее из обыкновенных крестьян превратились в помещиков. В воображении Дюпона возникло — и переселилось в мемуары Лолы — множество никогда не существовавших и чаще всего трогательных людей: старый учитель французской литературы, говоривший ей: — Дитя мое, берегите ваш удивительный дар; мэр ближайшего города, плакавший в день любительского спектакля при ее появлении на сцене; тетка, которую Лола помнила морщинистой пожилой женщиной с грубыми руками и которая ее учила, как надо себя вести в Париже с хозяевами, превратилась в светскую красавицу, удалившуюся на покой в свои овернские владения оплакивать смерть своего горячо любимого мужа. Дойдя до Парижа, повествование приняло совершенно патетический тон. Здесь во многом взгляды Дюпона и Лолы совпадали, они оба считали, что Париж — лучший город в мире, и им обоим казалось, что оттого только, что какое-либо событие происходит в Париже, оно тем самым приобретает особенное значение, которого не имело бы, если бы случилось в другом месте. Речь шла преимущественно о театральных премьерах, об успехах Лолы, о том, как тот или иной человек, чаще всего, государственный деятель или президент, приходил с громадным букетом цветов

¹ Боже! Мы такие, мы иные, мы не простые смертные, нам может быть дана некая власть, которая... (*франц.*)

и благодарил Лолу за ее выступление. Особенно много писалось об умерших людях, которые не могли опровергнуть ничего решительно. Но несмотря на праздничные описания этой театральной жизни, Дюпон не мог не заметить, что все получалось несколько монотонно, и запас торжественных слов, из которых чаще всего повторялось слово «триумф», давно уже истощился. Тогда он прибегнул к новому приему — вовлечение во все это простых людей; и вот появились маляры и плотники, которые отказывались брать с Лолы деньги за отделку ее квартиры, консьержки, прачки, трубочисты и извозчики, которые тоже бесплатно возили ее.

Книга Лолы должна была произвести впечатление одновременно — интереснейшего мемуарного материала, и вместе с тем стилистического шедевра. Сама Лола была очень довольна ею. Дюпон работал по много часов в день. Выходило, однако, хотя в общем хорошо, но не замечательно, и он не мог понять причины этой частичной неудачи.

Она заключалась в том, что он не любил и презирал Лолу — и сам был убежден в полной ее бездарности. В этом для него не могло быть сомнения. Он знал уже давно — в его литературной работе ему нередко приходилось сталкиваться с этим, — что множество очень знаменитых и почтенных людей ни в какой степени не заслуживали ни своей репутации, ни своей славы. В большинстве случаев было даже непонятно, каким образом могло возникнуть и продолжаться в течение десятилетий то недоразумение, в силу которого, например, Лола считалась замечательной артисткой, такой-то — прекрасным ученым, такой-то — великим писателем. В очень ограниченном круге, среди профессионалов, оценки были правильны и беспощадны, но они никогда или почти никогда не доходили до широкой публики, которая слепо верила всему, что писалось. Дюпон не сомневался, что мемуарам Лолы, которые он придумал сам, будут так же верить, как всему остальному, и его иногда, когда ему удавалось отрешиться от своих непосредственных забот, очень огорчало — так как он был еще молод, — это удивительное отсутствие понимания у читателей и слушателей. Вместе с тем ведь очевидно, что Лола была очень дурной актрисой, даже не понимавшей того, что она играла. Правда, никто не плакал от волнения на ее спектаклях, но все признавали ее громадный талант. Откуда? Почему? Он этого не мог понять.

Он описывал ее в условно торжественных тонах, чувствуя, однако, что жить так, как жила в его мемуарах Лола, не могла бы ни одна женщина, это было невозможно. Но этого никто не заметит, никто, — и сама Лола, совершенно забываясь, говорила Дюпону: — Я удивляюсь, дорогой друг, как вы хорошо поняли всю мою жизнь, — и он вежливо улыбался в ответ, хотя ему хотелось сказать, что он описывает нечто похожее на раскрашенный картон и что поэтому ее любезные фразы заранее лишены какого бы ни было смысла.

Но Лола мало-помалу проникалась мыслью о том, что ее жизнь действительно была такова, какой ее писал Дюпон. Она знала, конечно, что фактическая часть книги содержала в себе много неточностей, — в частности, особенно туманной ей казалась первая глава, посвященная ее детству, — да и в остальном все было совсем не так, как в книге. Но здесь впервые она очутилась как бы перед своим собственным психологическим портретом. Она никогда не задумывалась над тем, что она из себя представляет, чем ее жизнь отличается от жизни других людей, — что такое смерть, что такое желание, что такое страсть, — все эти вещи, которые всегда волновали людей, ей не приходили в голову. То внутреннее «я», о котором она иногда читала и которое нередко фигурировало в пьесах ее репертуара, у нее просто не существовало. Она начинала резко реагировать на что-либо только тогда, когда оно приносило ей ощутительный вред: она могла считать, что такой-то антрепренер плохой человек, так как не сразу заплатил ей деньги; что такая-то актриса дурная и развратная женщина, так как благодаря интригам получила роль, которую должна была играть она, Лола; но, как в политике и в общественной жизни, так и во всем остальном, то, что ее непосредственно не касалось, не вызывало в ней никакого отклика, — хотя бы это были самые замечательные или самые возмутительные события. У нее точно также совершенно не было того, что в прерывистых формах проявлялось у других людей и что они называли принципами, убеждениями, взглядами, вкусом,

всеми этими словами, которые оказывались идеально бесполезными в применении к Лоле. Дюпон убедился в этом, подолгу слушая ее рассказы, и каждый раз, выходя от Лолы, он не мог отделаться от трудно определимого, но чрезвычайно неприятного чувства, над которым ему не хотелось даже задумываться. Но, работая над мемуарами Лолы, он должен был поневоле возвращаться к этому и в один прекрасный день он понял, как ему показалось, все до конца. Он не мог в тот вечер работать и ушел из дому, продолжая думать о том, что такого страшного примера душевной нищеты ему никогда еще не приходилось видеть. Он думал об этом почти с ужасом, — такая долгая жизнь без единой мысли, без какого бы то ни было сомнения, без секунды понимания! Лола казалась ему холодным и глупым животным, достаточно выдрессированным, но не приобретшим от этого ничего человеческого. Все, что она говорила, состояло из шаблонных и неправильных выражений, которые она когда-то прочла в газетном фельтоне или вспомнила из чьего-то разговора.

И вместе с тем в своих мемуарах она должна была казаться другой, и Дюпон с некоторым увлечением описывал эту, никогда не существовавшую женщину, — и картонная ее прелесть доставляла ему известное удовольствие, она приобрела черты конфетной красавицы, появлявшейся то в поле, то в лесу, то в парижских салонах, то на сцене — со своим раз навсегда раскрашенным и, в сущности, мертвым лицом; только это была веселая покойница, — в отличие от настоящей Лолы, у которой вместо души была холодная дыра. Несколько раз Дюпон, несмотря на то, что ему уже много лет пришлось быть профессиональным фальсификатором и писать самые разнообразные вещи, начиная от политических речей противоположного содержания и кончая статьями об археологии, балете, театре, живописи, музыке, и подписываться самыми разнообразными и преимущественно знаменитыми именами; несмотря на то, что это именно он, Дюпон, написал две толстых политических книги и полторы тысячи передовых, не считая множества устных выступлений, одним словом, вынес на себе всю политическую карьеру одного богатейшего человека, который был не более грамотен и умен, чем Лола, и никогда не мог написать более или менее толковой фразы, а о социальных доктринах не имел даже отдаленного представления, но издавал газету и занимался общественной деятельностью, довольно бурной, до тех пор, пока не умер в один прекрасный день от разрыва сердца, — несмотря на этот свой опыт, Дюпон несколько раз хотел отказаться от продолжения мемуаров Лолы. Он отказался бы, но его дела не позволяли это сделать — он, как всегда, сидел без денег. Со злобой думал он иногда о том, что в смысле интеллектуальной ценности, он один стоит двух десятков знаменитостей — он это твердо знал — и, тем не менее, они существовали благополучно и наслаждались результатами его работ: «Ваша последняя статья, дорогой мэтр, несмотря на то, что мы привыкли, казалось бы, к неисчерпаемой щедрости вашего гения...» — гением и автором статьи был Дюпон, которому едва подавали два пальца, — и он, которому они были обязаны всем, был вынужден чуть ли не украдкой выходить из дому, чтобы избежать неприятного разговора с консьержкой, так как за квартиру было не уплачено уже пятый месяц. Сидя в кафе и глядя на окружающих с ожесточенной рассеянностью, он мечтал о том, что когда-нибудь напишет книгу и в ней отомстит всем этим людям, которые теперь эксплуатировали его, и расскажет все, что он знает, и тогда читатели убедятся в хрупкости и неверности всех лестных эпитетов и так называемой мировой известности. Из всех его многочисленных клиентов он по-настоящему хорошо относился только к своему сенатору, который, действительно, был милым стариком. Остальных он презирал, иногда в их статьях он позволял себе колкости и выпады против них, то есть против самого себя, но это замечали только его товарищи по работе, такие же интеллигентные пролетарии, как он сам, — и для них не существовало ни знаменитостей, ни неподкупных людей, ни всего того, что вызывало восторженные отклики в так называемом общественном мнении, которое эти обездоленные и озлобленные люди считали проявлением коллективного идиотизма.

Лола настояла на том, чтобы вне всякой хронологической последовательности Дюпон немедленно включил в мемуары ее роман с Пьером. Он должен

был начать с того, как во время своих выступлений она неизменно видела его бледное лицо с горящими, устремленными на нее глазами, — он был очень беден, покупал на последние деньги билеты в самых задних рядах, но не пропускал ни одного спектакля с ее участием, и вот она не могла не обратить внимание на эти горящие глаза. — Помилуйте, — сказал Дюпон, — если он сидел в последних рядах, то как же вы могли рассмотреть в полутемном зале его лицо? Это надо изменить.

— Хорошо, — сказала Лола, — можно посадить его ближе. «Он был беден, но на последние деньги»...

— Нет, это невозможно, — сказал Дюпон, теряя терпение, — сколько же у него было в таком случае последних денег для того, чтобы каждый день сидеть в первых рядах? Стало быть, он не мог быть беден.

— Но он был действительно беден, — простодушно сказала Лола.

— Да, конечно, я понимаю. Но тогда нужно сделать это иначе.

— Хорошо, — согласилась Лола, — тогда мы просто напишем, что я заметила его горящие глаза и что он каждый день бывал в театре, а о том что он был беден, напишем потом.

Дюпон едва сдерживал себя, — он все-таки никогда не сталкивался с таким упорным непониманием элементарных вещей; даже покойный государственный деятель, известный своей легендарной глупостью, был более сообразителен. Он вздохнул и стал пространно объяснять Лоле, почему так написать нельзя. Но Лола вдруг обиделась и стала твердить, что это просто его каприз и что, в конце концов, он может делать, как хочет. Дюпон понимал, что она давно, может быть уже несколько недель, мечтала об этой части мемуаров, об этом убогом великолепии «бледного лица и горящих глаз» и что ей было до слез жаль расстаться с этим. Но в этом он ошибался.

Через час оживленного и непрерывающегося разговора они сошлись на том, тоже, в сущности, маловероятном положении, что Пьеру досталось небольшое наследство, — гроши, каких-нибудь десять, двенадцать тысяч франков, — и что он, в тот период, когда Лола заметила его горящие глаза, тратил их на то, чтобы не пропустить ни одного ее выступления, — и Лола осталась очень довольна Дюпоном и сказала ему несколько комплиментов об его уме и знании женской души.

Лола, однако, все чаще и чаще вспоминала о Пьере, — и тот факт, что она торопилась включить его в свои мемуары, отнюдь не был случайным. Если бы она умела анализировать свои чувства и хоть сколько-нибудь разбираться в них, она бы заметила, что память ее тщательно избегала всех неприятных сторон ее жизни с Пьером. Вместе с тем неприятным было почти все, а приятным очень немногое, и именно об этом немногом она и вспоминала. Неожиданно для себя самой, однажды ночью, вспомнив о нем, она прослезилась. Через некоторое время даже Дюпон заметил в ней какую-то несомненную перемену в выражении глаз и лица и причины ее он никак не мог понять; но не очень задумывался над этим, потому что это его не интересовало; но только с облегчением констатировал, что с Лолой легче стало сговариваться. Она сама этого изменения в себе не знала и в этом вдруг стала похожа на других женщин, которые упорно не хотят признавать, что возникшее в них чувство заставляет их видеть все другими глазами, чем до сих пор, — им кажется, что в этом есть нечто унижительное, нечто уменьшающее их замечательность и, сколь это ни было бы очевидно, они продолжают это отрицать.

Лоле ничего отрицать не приходилось, с ней никто по этому поводу не говорил; но было тем не менее несомненно, что в силу какой-то нелепой и невероятной случайности, в ней теперь с совершенной, казалось бы, неправдоподобностью возникла любовь к Пьеру, которой не было при жизни. Она родилась из бессознательной и глубокой благодарности к этому человеку за то, что он умер и таким образом вернул ей свободу и отдых, которых она была лишена так долго. И так как теперь он ничем уже не мог ее стеснить и, перестав быть живым человеком, сделался украшением ее трогательного романа в мемуарах, она впервые, как ей казалось, поняла, что это был действительно настоящий роман. — Если бы вы знали, как я любила этого человека! — сказала она Дюпону

и была при этом искренна; в ту минуту она говорила с убеждением.— У него были некоторые мелкие недостатки, конечно, но у кого их нет? — Дюпон в сотый раз с раздражением заметил, что девять десятых фраз, которые произносила Лола, были общими местами,— но он так любил меня!

И вот теперь, в первый раз за очень много лет, Лола начала переживать этот посмертный и чудовищный по своей неестественности роман.— *Le pauvre petit!*¹ — неизменно говорила она, когда речь заходила о Пьере. Мало-помалу в ее воспоминаниях и в ее рассказах Пьер совершенно изменился, перестал пить, перестал развратничать, стал вежлив, нежен и мил; и загробная его привлекательность все увеличивалась.— Я думаю иногда,— говорила Лола,— что я, как некоторые редкие люди, которые любят раз в жизни. Да, конечно, у меня бывали увлечения,— но у кого их не было? Но любила я только Пьера — и вот я все не могу привыкнуть к мысли, что его нет в живых. *Pauvre petit!*

Несмотря на крайнюю свою скупость, которая стала проявляться в ней, однако, только в самые последние годы, точно это был такой же признак старости, как седые волосы или атеросклероз,— до этого она была расточительна и небрежна в деньгах, чем и объяснялось то, что она была сравнительно небогата,— она заказала роскошный памятник Пьеру с надписью: «Моему дорогому супругу от простого и верного сердца Лолы Энз».

И вот так же, как меняется лицо и выражение глаз человека, когда для окружающих становится ясно, что он должен умереть, с такой же несомненностью в Лоле произошло глубокое и последнее перерождение, особенно поразительное для ее возраста. Дюпон, приходивший к ней каждый день, с удивлением заметил, что от прежнего его раздражения не осталось и следов, и свой очередной визит к ней он перестал рассматривать, как неприятнейшую обязанность. Однажды, когда она наливала ему кофе,— он писал в это время в блокноте — и сама размешала ему сахар в чашке, у него вдруг мелькнула мысль, которая в прежнее время показалась бы дикой, что эта женщина, в сущности, могла бы быть его матерью. Было впечатление, что в мертвом ее облике вдруг стали проступать человеческие черты. Во всяком случае, все, кому приходилось с ней встречаться в это время, не то, чтобы заметили происшедшую с ней перемену,— для этого они были слишком ненаблюдательны и, как громадное большинство людей, вообще думали слишком мало и редко,— но почувствовали ее; и, когда они потом говорили друг другу, что каждый из них нашел Лолу очаровательной,— в этом было нечто более искреннее и соответствующее их подлинным впечатлениям, чем всегда.

С Лолой произошло то, что произошло бы с другим, очень старым человеком, который в последней части своей жизни, во время долгих старческих досугов, обдумал и вспомнил всю свою жизнь и пришел к некоторым выводам, единственно возможным: что нужно, прежде всего, прощать людям их невольные дурные поступки, не нужно никого ненавидеть, нужно знать, что все непрочное и неверно, кроме этого тихого и приятного примирения, этой нетребовательной любви и нежности к ближним, независимо даже от того, заслуживают ли они их или не заслуживают. Лола теперь вела себя именно так, как если бы она поняла все эти вещи, но разница заключалась в том, что она об этом не думала; и, как всю свою жизнь она действовала и говорила, не размышляя, а подчиняясь какой-то внутренней необходимости и не зная, в сущности, почему она действует так, а не иначе и, в общем, правильно для достижения выяснявшейся лишь потом цели, так и теперь никакие мысли не предшествовали этому изменению в ее манере жить и в обращении с людьми.

Это был ее последний и поздний расцвет, и человек, который захотел бы иметь о Лоле сколько-нибудь правильное суждение и изучил бы всю ее жизнь, но не знал бы о нескольких последних месяцах ее существования, получил бы неправильное и одностороннее представление о ней. И для того, чтобы это произошло, нужно было, оказывается, чтобы прошло много лет ее бесконечно длинной жизни, чтобы ни один год не оставил в ее существовании никакого следа и чтобы, наконец, самое страшное и непостижимое явление смерти прошло

¹ Бедный малыш (франц.).

рядом с ней и, избавив ее от присутствия ненавистного и, в сущности, случайного человека, вдруг освободило бы одновременно с этим то, что в ней было неизменно-человеческого и о чем нельзя было узнать, если бы не было этой смерти. Это было похоже на то, как в очень старом и глухом здании, в лесу, на берегу моря, ночью вдруг отворили бы годами запертое окно — и в мертвую тишину вдруг проникли бы многочисленные, до сих пор невидимые и неслышанные вещи: синее звездное небо, вечный бег океанской волны, крик неизвестной птицы, шум листьев на ветру, стремительный полет нетопыря.

И это не могло не повлечь за собой совершенной и резкой перемены всего ее уклада жизни и невольного и безболезненного отказа от всех прежних ее взглядов. Она продолжала еще принимать многих людей и выезжать, но и выезды, и приемы становились все реже и реже. Он читала по-прежнему отчеты о спектаклях, премьерах, концертах, но те отзывы, которые еще несколько месяцев тому назад вызвали бы в ней возмущение, оставляли ее теперь почти равнодушной — так же, как упоминание ее собственного имени, которого раньше она ждала с нетерпением. Когда ее спросили как-то о судьбе мюзик-холла, она ответила, что это еще не решено, и тогда же поняла вдруг, что она никогда мюзик-холла не откроет, потому что ненужность его была теперь для нее совершенно очевидна, хотя она ни разу не думала об этом.

Но работу над мемуарами она продолжала по-прежнему; и Дюпон, поддавшись ее теперешним настроениям, стал писать несколько иначе, чем писал до сих пор, и Лола, та самая деревянная Лола, на которую он до сих пор ни в коем случае не мог рассчитывать как на сотрудницу или помощницу, диктовала ему целые страницы; окончательная их отделка была, конечно, необходима, но в общем эти последние главы были написаны ею. Дюпона поразила в них ее неожиданная наивность; и он неоднократно задумывался над странной теперешней судьбой этой женщины. При каждом упоминании о Пьере ее глаза наполнялись слезами; и сила этого совершенного превращения презрения и ненависти к нему в сожаление и любовь была настолько велика, что если бы кто-нибудь сказал Лоле, что она боялась и не любила этого человека, она никогда не поверила бы этому. Как всегда и для всякого человека, в тех случаях, когда он имеет дело с воспоминаниями и когда он сам находится во власти внезапного перерождения, вызванного проявлением какого-либо могучего чувства, для Лолы было совершенно ясно, вопреки фактам, очевидности и всему, что ничем нельзя опровергнуть, — что не было ни недоразумений, ни ненависти, а была любовь и внезапная, беспощадная смерть.

Но одновременно со всеми этими изменениями здоровье Лолы, — состояние которого до этого времени было в общем нормальным, и ее недомогания были совершенно естественны для ее возраста, — стало не тем, каким было до сих пор. Никаких катастрофических изменений, в сущности, не произошло; все было, казалось бы, по-прежнему, но она начинала быстрее уставать, и то, что обычно ее не утомляло, теперь вызывало мгновенную слабость. Во время ежедневных прогулок в Булонском лесу она проходила вдвое меньшее расстояние, чем раньше; и однажды шофер, обеспокоенный ее ненормально долгим отсутствием, отправился ее разыскивать и нашел недалеко, на скамейке: она спала, уронив голову на грудь, выпустив из рук свою сумку, и лицо ее было настолько неподвижно, что его охватил невольный страх, не умерла ли она. Он постоял несколько секунд, не шевелясь, внимательно глядя на нее: грудь ее ровно поднималась и опускалась. Тогда он кашлянул, но Лола продолжала спать. Он, наконец, решил разбудить ее, громко обратившись к ней несколько раз, и она открыла глаза и сказала с улыбкой:

— Мы, кажется, заснули?

Потом со вздохом медленно поднялась и пошла к своему автомобилю.

Прошло еще немного времени и стало совершенно ясным, что даже при самом сильном желании Лола уже не могла бы выступать на сцене. Она не думала об этом, потому что незаметно для себя самой и бессознательно, как все, что с ней происходило, сцена отошла в далекое прошлое, и она перестала вспоминать о ней. Было очевидно и выходило само собой, что надо вообще покинуть свою ненужную теперь громадную квартиру и жить скромнее, чем

прежде. Оставалось только уладить все финансовые дела и подвести итоги тому, сколько денег было прожито и сколько, в конце концов, оставалось. У нее могло быть значительное состояние, но в прежние времена она слишком широко тратила деньги и прекратила эти траты только в самые последние годы. Она выяснила после длительного подсчета, что оставалось у нее до удивительного мало — меньше двухсот тысяч франков. У нее был последний ресурс, которым она уже очень давно решила воспользоваться только в случае крайней необходимости и происхождение которого не совсем обычно.

Это было больше тридцати лет тому назад, во время ее короткого романа с одним из знаменитых в те времена лондонских банкиров, уже немолодым человеком, очень в нее влюбленным. Он предлагал ей тогда все — свое имя, свою жизнь, свое состояние, все что она захотела бы. Она, смеясь, отвечала ему, что ее имя лучше, чем чье бы то ни было, что его жизнь ей не нужна, и что те деньги, которые он ей мог бы предложить, ее тоже не соблазняют, — она достаточно богата.

— Хорошо, — сказал он, — но вы подумали, что с вами будет потом, когда ваше имя забудут и вам останется только старость и бедность?

— Я умру молодой, — сказала она, — и не все ли мне равно, что будет после моей смерти?

Но его готовность сделать для нее все, тронула ее; она стала его любовницей, не любя его, только чтобы доставить ему удовольствие. Через две недели, уезжая, он сказал ей, что знает — она не любит его и с этим он бессилен бороться. — Но вы лучше, чем вы думаете, — прибавил он, — и я не хочу, чтобы вы считали меня неблагодарным.

И он объяснил ей, что когда она захочет, в лондонском банке, адрес которого он ей дал, в любой день, по личному ее требованию ей выдадут сумму денег, которую он оставит для нее, на ее имя. — Вы неисправимый банкир, — сказала она, — все в вашем представлении сводится к чекам и банкам. Мне не нужны ваши деньги.

И он уехал. Он умер лет через пять после этого от рака, и Лола никогда больше не видела его. Но она знала, что свое обещание он сдержал, — ей из банка было своевременно прислано уведомление, что деньги, положенные на ее имя таким-то, находятся в ее распоряжении. С тех пор прошло очень много лет, теперь она вспомнила об этом и для того, чтобы раз навсегда избавиться от денежных забот, она решила поехать в Лондон и получить то, на что имела право — за один случайный поступок, совершенный ею больше четверти века тому назад.

Была уже середина сентября, желтые листья лежали на тротуарах парижских бульваров, по утрам стоял иногда холодок. Все лето Сергей Сергеевич — за исключением первых полутора недель — провел в разъездах: был в Швеции, Норвегии, Финляндии, несколько раз в Англии, — поезда, автомобили, бюро, бюро, автомобили, поезда. Времени поехать на юг, как он сначала предполагал, у него не оказалось. В Париже все лето почти безвыездно прожил Слетов, который немного пополнел, совершенно оправился от своих сентиментальных потрясений и завел несколько знакомств; но ни одно из них, однако, не играло пока что решительной роли. Он жил один в квартире Сергея Сергеевича, успел привыкнуть к спокойному и комфортабельному существованию и опять, как в прежние времена, через разные промежутки времени начинал мечтать о постоянных вещах: службе, квартире, жене, детях, о небольшом и уютном миреке, центром, которого был бы именно он, Федор Борисович Слетов. Шестнадцатого числа вечером, когда он сидел в кабинете Сергея Сергеевича и читал, в доме вдруг началось непривычное движение, отворилось и затворилось несколько дверей — и в кабинет вошел Сергей Сергеевич, который сделал вид, что удивился, увидев Слетова.

— Ты что же, Федя, все без любви? — спросил он, улыбаясь своей всегдашней улыбкой и пожимая руку Слетову. — Тебе не кажется, что в этом опустевшем мире...

— Удивительный ты человек, Сережа,— сказал Слетов,— и явно ненормальный, не знаю, известно тебе об этом или нет.

— Я признаться, сам это подозревал, но, наверное, по другим причинам, чем ты. А в чем по-твоему, моя ненормальность?

— Да, вот, ты можешь явиться с другого конца света после долгой разлуки и я знаю заранее, безошибочно, что первые твои слова будут насмешкой. Понимаешь? Не приветствием, не выражением радости, а именно насмешкой. Ну, вот другой человек скажет: дорогой мой, здравствуйте, как поживаете, я так рад вас видеть и т. д. А ты скажешь: здравствуйте, почему у вас такой идиотский вид? Не буквально, конечно, но приблизительно.

— Ну, хорошо, мы обсудим это потом. А вообще, что нового?

— Фактически, собственно ничего. Но ты знаешь, мне кажется, что я начал впервые понимать некоторые вещи.

— Память, память — быстро сказал Сергей Сергеевич.

— Что память?

— Тебя обманывает. Ты забыл, что ты их раньше тоже понимал.

— Нет, не понимал.

— Понимал, понимал. Каждому состоянию души соответствует известное мировоззрение, которое. Понимаешь? Другому — другое, а тебе кажется что это впервые, потому что память со всем этим связана и есть только один из факторов, а не самостоятельная величина — ты не думал об этом? Это элементарно. Но неужели, так-таки ни одной встречи?

— Нет, встречи, конечно были,— сказал Слетов, виновато улыбаясь,— но так сказать без последствий, знаешь, только беглые, случайные впечатления.

— Я лично не теряю надежды. В общем ты счастливый человек.

— Почему?

— Потому что тебе, например, не нужно разбирать корреспонденцию, а я этим сейчас займусь.

Но он не успел выполнить своего намерения, потому что как только Слетов вышел из кабинета, раздался телефонный звонок. Сергей Сергеевич взял трубку и услышал знакомый голос:

— Алло! Сережа?

— Это ты, моя милая,— сказал Сергей Сергеевич,— откуда ты звонишь?

— Из гостиницы, я сейчас буду.

— Хорошо, жду.

Через десять минут вошла Ольга Александровна. Лицо ее очень загорело, в темных глазах стояла застывшая нежность.

— Рад тебя видеть,— сказал Сергей Сергеевич. Веселые его глаза были возле ее лица, он несколько раз поцеловал Ольгу Александровну в щеки и в лоб.— Вот мы и вернулись, слава Богу. И такая же красавица, и такая же непонятная женщина. С вещами все благополучно?

— Сережа,— сказала Ольга Александровна,— я приехала для очень серьезного разговора.

В ее голосе была такая непривычная интонация, что Сергей Сергеевич не мог этого не заметить.

— Что-нибудь действительно серьезное?

— Да, Сережа, ты должен мне дать развод.

— Я надеюсь, Леля, ты не сомневаешься в моем хорошем отношении. Расскажи мне, пожалуйста, в чем дело.

Ольга Александровна объяснила Сергею Сергеевичу, что до сих пор ее жизнь состояла из ошибок — прямо классицизм какой-то — сказал Сергей Сергеевич,— но что вот, теперь наступил перелом; она не та женщина, которой была

— Ты знаешь, Леля,— теперь это дело прошлое — та, другая, была очень милая женщина.

Но Ольга Александровна продолжала. Она говорила о том, что теперь ей предстоит новая жизнь требующая от нее полного, абсолютного участия. Жить на два дома она больше не может. Она должна выйти замуж. Сергей Сергеевич останется ее другом, как всегда, в этом не будет никаких изменений.

— Ты все это действительно обдумала?

— О, много раз,— и все решено, Сережа.

— Мне очень жаль. Хорошо, пусть будет по-твоему. Но ты действительно подумала обо всем?

— Да, да.

— Можно один вопрос?

— Конечно.

— На какие деньги ты будешь жить? Твой будущий муж достаточно обеспеченный человек?

Темные глаза Ольги Александровны смотрели на Сергея Сергеевича с упреком; но помимо упрека, в них было еще другое, трудно объяснимое выражение. Она молчала, Сергей Сергеевич тоже ничего не говорил. Наконец она сказала:

— Нет, Сережа, что угодно, а в этом я не могла ошибиться.

— Ах, Леля, ты сама говоришь, что вся твоя жизнь состояла из ошибок.

— Да, но не таких.

— Я заранее допускаю,— сказал Сергей Сергеевич,— что твой будущий муж замечательный человек. Не так ли?

— Да.

— Прекрасно. Но другие — мы сейчас вдвоем, Леля, мы можем говорить откровенно,— были тоже замечательные. Однако у них всех была одна поразительная особенность, которой ты не знала.

— Опять эта ироническая философия, Сережа. Проснись же, наконец, пойми что мы не шутим. Когда ты будешь умирать, ты тоже будешь насмешливо рассуждать?

— Не знаю, Леля, не думаю. Но особенность эта стоит того, чтобы о ней упомянуть.

— Ну?

— Она заключается в том, что все эти люди любили главным образом и искреннее всего не тебя, как это казалось на первый взгляд, а меня.

— Что такое?

— Ну да, меня. Т. е. не меня лично, если хочешь, а меня, как человека, у которого ты берешь деньги, которые ты им даешь. Понимаешь? И исключений не было. Я не хотел тебя разочаровывать. Выходить замуж, однако, ты собираешься в первый раз за все время. Хорошо, выходи, но скажи твоему жениху, что денег у тебя нет.

Ольга Александровна сидела, совершенно подавленная, и не знала — верить или не верить словам Сергея Сергеевича. Но огорчало ее не то, что в дальнейшем она будет лишена средств к существованию, а что Сергей Сергеевич мог даже заговорить об этом.

— Это ничего не изменит,— наконец сказала она.

— С твоей стороны, конечно. Но как реагирует на это Аркадий Александрович?

— Мы сейчас это увидим,— сказала Ольга Александровна.— Могу тебе заранее сказать, что он реагирует так же, как я. Бери эту слуховую штучку.

Она подвинула к себе телефон и вызвала Аркадия Александровича. Он тотчас же ответил.

— Аркаша,— сказала Ольга Александровна взволнованным голосом,— я только что была у Сергея Сергеевича. Он согласен дать развод, но отказывается мне в деньгах, у меня не будет ни копейки. Что мы будем делать?

После очень короткого молчания голос Аркадия Александровича ответил:

— Не знаю, Леля. Знаю только одно: мне кажется, что планов наших это не должно изменить.

Ольга Александровна пристально смотрела на Сергея Сергеевича.

— Надо будет переменить гостиницу сначала,— продолжал Аркадий Александрович,— но это все детали. Может быть, даже несомненно, нам придется туго. Меня лично ничто не пугает, если ты будешь со мной.

— Спасибо, Аркаша, я не сомневалась в этом, я скоро приеду, мы поговорим.

Она повесила трубку и по-прежнему молча смотрела на Сергея Сергеевича.

— Он, по-видимому умнее, чем я думал,— сказал Сергей Сергеевич.

— Ты никогда этого не понимал, ты не способен поверить в чью бы то ни было любовь. Но теперь ты видишь это. А денег твоих мне не нужно.

— Слушай, Леля,— сказал Сергей Сергеевич,— ты понимаешь, я надеюсь, что я не собирался тебя лишать денег. Я только сомневался, чтобы вся эта история стоила твоего ухода.

— Если бы ты мог это постигнуть!

— Хорошо, Леля. Выслушай меня.

И Сергей Сергеевич начал говорить ей, что по его мнению, не надо бросать дом из-за очередного романа. Он говорил, что Ольга Александровна давний и близкий друг, что без нее все опустеет, что она может продолжать жить, как она хочет, но должна остаться здесь.

— Подумай, Леля,— сказал он,— ведь все остальное случайно. Я тебя давно и крепко люблю — разве, если бы я тебя не любил, ты бы могла жить так, как жила всю жизнь, не считаясь совершенно ни с моими интересами, ни с интересами Сережи, который понимает многие вещи — а их не должно было бы существовать, Леля.

Сергей Сергеевич знал, что это было больное место Ольги Александровны. Она сидела, опустив голову, и молчала.

— Несмотря на все это,— продолжал Сергей Сергеевич,— разве ты не знаешь, что тебя здесь окружают очень хорошие чувства, такие, Леля, которые не портятся от времени, подобно другим, случайным. Ну, хорошо, я не в счет, а Сережа?

— Мне это очень тяжело,— сказала Ольга Александровна — слезы стояли в ее глазах,— но что же делать? Теперь начнется другая жизнь, эта кончена.

— Вот меня ты упрекаешь в бесчувствии,— сказал Сергей Сергеевич,— тебя я не хочу упрекать ни в чем. Ступай, живи, как хочешь, если ты считаешь, что так нужно. Мы все будем об этом жалеть. Но убеждать тебя я считаю, не надо, раз ты можешь уйти, стало быть твои теперешние чувства сильнее тех, на которые мы так напрасно, оказывается, надеялись. Иди, я тебя не держу. Но помни всегда,— сказал он, подняв глаза на Ольгу Александровну,— что где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось,— ты можешь рассчитывать во всем на нас с Сережей. Я бы очень хотел сказать, что мы тоже можем рассчитывать на тебя, но я думаю, что это была бы ошибка.

Ольга Александровна плакала, сидя в кресле.

— Конечно, никакого решительно изменения материального порядка произойти не может,— сказал Сергей Сергеевич,— ты будешь жить так же, как прежде. Все, что принадлежит мне, принадлежит тебе.

Ольга Александровна вернулась в гостиницу с заплаканными глазами. Аркадий Александрович поцеловал ей руку — он был тоже взволнован. Но он сразу же стал утешать ее. В ту минуту, когда она позвонила ему по телефону, он меньше всего мог ожидать удара, который случился — но в первый раз в жизни он оказался на высоте положения. Он действительно не представлял себе теперь существования без Ольги Александровны и, отвечая ей, был совершенно искренен. Было, конечно, в этом еще одно объяснение его неожиданного благородства — он не успел понять, как следует, в чем дело, его, в некоторых случаях медлительный, мозг воспринял это, как небольшой толчок и не успел в ту минуту учесть всей важности вопроса. Но во всяком случае, в данный момент он поступил совершенно правильно — в силу соединения различных и недоступных анализу причин, как почти всегда, когда трудно определить, почему, собственно, человек отвечает не так, а иначе и почему очень часто нельзя заранее себе представить, какова будет его реакция на тот или иной факт — прилив минутного чувства, случайное и мучительное ощущение, боязнь неизвестности, темный инстинкт — могут определить и обусловить совершенно неожиданный и нехарактерный для этого человека ответ. Но за то короткое время, которое прошло от телефонного звонка до приезда Ольги Александровны, Аркадий Александрович, расхаживая по комнате, успел о многом подумать. Сначала у него было впечат-

ление, что произошла непоправимая катастрофа, потом, когда он немного успокоился, положение стало ему казаться менее трагичным. Во-первых, было все-таки невероятно, чтобы Сергей Сергеевич лишил Ольгу Александровну всяких средств к существованию; что-нибудь он, наверное, будет давать и на это что-нибудь можно будет прожить. Но даже в том случае, если бы он действительно отказался от какой бы то ни было поддержки Ольги Александровны, оставался еще один выход — обращение к Людмиле. Аркадий Александрович очень хорошо знал, что нормальным путем добиться от Людмилы хотя бы ста франков будет невозможно. Выговорить себе какую-либо сумму за развод — слишком поздно, надо было это делать раньше; но тогда, на юге, он не мог этого предвидеть. Единственный способ, который оставался, это угроза непосредственного обращения к ее теперешнему жениху — угроза, которую он приведет в исполнение, если Людмила откажет ему. Аркадий Александрович даже успел подумать, что потребовать одновременно крупную сумму было бы не рационально — во-первых, потому, что будущему мужу Людмилы такая просьба со стороны не может не показаться странной, во-вторых, потому, что после вноса этой суммы, угроза отпадает. Нужно было, наоборот, чтобы Людмила выплачивала ему ежемесячно то, на что, как он полагал, он имеет право; в случае неуплаты — письмо ее мужу и вытекающие из этого последствия. Аркадий Александрович знал, что все это далеко не так просто, что Людмила окажет ему отчаянное сопротивление, но окончательный, решающий аргумент был все же на его стороне. Конечно, Ольгу Александровну в это не следовало посвящать — да и сам Аркадий Александрович не мог думать об этом выходе из положения без невольного отвращения. Но он не представлял себе, как можно разрешить все иначе: свои возможности на основании длительного опыта он считал ничтожными и имел на это все основания. Когда он увидел слезы на глазах Ольги Александровны, он подумал, что Сергей Сергеевич был категоричен и это все-таки его взволновало.

— Что делать, Леля, проживем как-нибудь, — сказал он своим высоким и звучавшим несколько патетически голосом. — Будем работать...

— Нет, нет, — ответила Ольга Александровна, — я не об этом. Это все улажено.

Аркадий Александрович ощутил бурную радость, которую, однако, ничем не проявил.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Сергей Сергеевич мне сказал, что никаких изменений не будет, все по-прежнему. Но он так жестоко со мной говорил, так безжалостно, как только он способен сделать, не щадя ничего, Аркаша, ничего! И вот ведь, говорил хорошие слова и даже не улыбался и знаешь, — как острый нож!

И Ольга Александровна рассказала Аркадию Александровичу весь свой разговор. Аркадий Александрович внимательно слушал и потом сказал:

— Но ведь тут одна неправильность, Леля, вопиющая неправильность. Можно подумать, что я у тебя хочу что-то отнять. Нет, — только к твоей прежней жизни прибавляется еще одна и вовсе не требующая отказа от другой. Она вообще ничего не требует, она согласна удовлетвориться тем, что есть, — тем более, что вот это, существующее теперь, так неповторимо и прекрасно! Ты хочешь жить там — живи там, не хочешь выходить замуж — не выходи. Разве это может что-либо изменить? Разве это может изменить мою любовь?

— Ах, Аркаша, ты не знаешь, до чего ты хороший человек!

— Нет, нет, я только тебя люблю, вот в чем дело.

— Вот никогда в жизни я не видела такого понимания, такого соединения, понимаешь, души и ума, как у тебя. Боже мой, столько лет прожить на свете и не встретить тебя!

— Зачем жалеть об этом? Это случилось — самое главное.

Аркадий Александрович в этот вечер был особенно ласков и нежен с Ольгой Александровной. Та короткая тревога, которую он испытал за время ее отсутствия — которая оказалась бесполезной, — перешла теперь с удвоенной силой в новый прилив благодарной любви. Через полчаса он совершенно забыл о своем

плане шантажирования Людмилы, и если бы кто-нибудь высказал мысль, что он на это способен, он искренне считал бы этого человека дураком и мерзавцем.

В один из следующих дней он позвонил по телефону Людмиле и через некоторое время они встретились в большом кафе на Елисейских полях.

И Людмила и Аркадий Александрович были удивлены переменой, которая произошла в каждом из них и которую другой тотчас же заметил. Людмила обратила внимание на загорелое лицо Аркадия Александровича, на более быструю его походку; он очень похудел и приобрел то, что по сравнению с прежним его видом можно было назвать почти стройностью; он был уверен в себе, на нем был отличный костюм и в глазах не было того уклончивого выражения, которое Людмила знала много лет. Аркадия Александровича в свою очередь поразила в Людмиле явная расслабленность голоса, непривычная задушевность интонаций, предназначавшихся не ему, но продолжающихся по инерции и, в свою очередь, отсутствие настороженности в глазах.

— Рад тебя видеть, моя дорогая,— сказал Аркадий Александрович тем идеально независимым голосом, о котором раньше мог только мечтать, и поцеловал ей руку. Людмила заговорила по-английски, тотчас извинилась, сказав, что отвыкла от русской речи — знаешь, до того, что нередко вынуждена искать слова,— и испытала давнее ощущение разочарования; для абсолютного ее удовлетворения нужно было бы, чтобы Аркадий Александрович был беден, плохо одет и унижен. К сожалению, это было не так. Это была нарушенная подробность ее давней мечты — но в полноте своего счастья она готова была простить Аркадию Александровичу даже это нарушение. Разговор, после того, как были исчерпаны деловые вопросы, очень незначительные, велся на самые общие темы и Аркадий Александрович, и Людмила одновременно констатировали, что им, в сущности, не о чем говорить и оба подумали о нелепости того, что эти совершенно чуждые друг другу люди прожили вместе много лет. И Аркадий Александрович, и Людмила были, в конце концов, неглупыми и довольно образованными людьми с богатым душевным опытом и должны были, казалось бы, найти темы для разговора; но сущность заключалась в том, что каждый из них в данный период времени был поглощен одной стороной своей личной жизни, и результатом этого являлось несомненное обеднение всех их эмоциональных и душевных возможностей, не касающихся непосредственно того, что оба считали самым главным. Людмила вскользь сказала несколько фраз, цель которых была дать понять Аркадию Александровичу, что ее будущий муж очень богатый человек — говорилось о бешеных ценах, о том, что это черт знает что — и всюду фигурировало местоимение «мы»,— вплоть до «мы думали», «мы полагаем», «мы заплатили» — и Аркадий Александрович не знал, чем это объяснить; то ли тем, что Людмила пользовалась всяким предлогом, чтобы подчеркнуть существование «достойного человека», то ли тем, что она действительно была к нему равнодушна и потеряла поэтому чувство *ridicule*¹ и ту умность разговора, которые ее обычно не покидали. Аркадий Александрович в свою очередь действовал с теми же тайно-оскорбительными целями, что и Людмила, но прибегал для этого к противоположным приемам,— ни разу не сказал «мы», не говорил ни о ценах, ни об автомобилях, но дал понять, что все обстоит очень роскошно, путем косвенного и случайного упоминания о второстепенных вещах — такого упоминания, вывод из которого даже не напрашивался сам собой, хотя и становился при первом размышлении очевидным. Таким образом, он вышел победителем из этого скрытого поединка и получил от этого несомненное удовольствие.

Вяснилось, что Людмила покидает свою квартиру через несколько недель. Аркадий Александрович обещал заехать на днях, чтобы захватить свои книги и несколько вещей. Потом Аркадий Александрович заплатил, они вышли вместе, он направился к такси.— Подвезти тебя? — Нет,— сказала Людмила,— нам в разные стороны. Они попрощались, Аркадий Александрович поцеловал своей бывшей жене ее холодную, как всегда, руку и подумал, что, может быть, они никогда больше не увидятся. И когда он ехал в автомобиле, один аккорд радио,

¹ Смешного... (франц.)

игравшего в каком-то магазине, мимо которого он проезжал, вдруг поразил его тем, что показался необыкновенно знакомым. И тогда он сразу вспомнил последний вечер, проведенный вместе с Людмилой, года три тому назад, после долгого и мучительного разговора; она вошла тогда в гостиную и села за рояль. Аркадий Александрович стоял у двери. Она начала играть первое, что ей пришло в голову; то был шопеновский этюд — и Аркадий Александрович ясно видел сейчас перед собой ее белокурую голову и синие глаза перед черной зеркальной поверхностью рояля — и слышал этот мотив, который, казалось бы, он давно забыл. И тогдашнее его чувство отчетливо вспомнилось ему — сожаление, что жизнь уйдет, как умолкнет сейчас эта мелодия в черном зеркале и никогда, никогда... — остальное не поддавалось определению, как музыка, как чувство, как сон, с этой почти неподвижной и чужой женщиной за роялем — и что всякое искусство, и особенно музыка, не оставляет нам даже самого отдаленного, самого призрачного утешения. Он представил себе всю свою напрасную и неправильную жизнь; и впервые за последние месяцы тот тленный и преходящий мир, о котором он писал до сих пор, вновь промелькнул перед ним и скрылся в мгновенном полете, вместе с последним отрывком шопеновского этюда.

Было послеполуденное время сверкающего сентябрьского дня, Сережа и Лиза собирались ехать в Монте-Карло — Сережа был уже одет и ждал на террасе Лизу, которая должна была выйти с минуты на минуту, — как вдруг раздался телефонный звонок. Сережа подошел к аппарату. — С вами говорят из Парижа, — сказала телефонистка. Потом очень знакомый голос сказал:

— Алло! Сережа или Лиза?

— Здравствуй, папа, это я, — сказал Сережа.

— Я бы тебя не узнал по голосу, у тебя какой-то подозрительный бас. Все благополучно у вас?

— Да, — несколько замаявшись, ответил Сережа. — Вот идет Лиза.

Лиза действительно подходила к Сереже.

— Хорошо, передай ей трубку. Лиза? Mon amour¹, надо чтобы вы ехали в Париж.

— Мы в принципе так и предполагали.

— Собственно, еще несколько дней у вас есть, Сереже нужно быть в Лондоне в последнюю неделю сентября. Но вообще — помимо удовольствия, которое... Кстати, есть семейная новость.

— Не одна, — хотела сказать Лиза, которая всегда в разговорах с Сергеем Сергеевичем впадала в его иронический тон. Но она спросила:

— Какая именно?

— Твоя старшая сестра выходит замуж за Аркадия Александровича Кузнецова.

— Ты с ума сошел!

— Не я, Лиза, не я. Но в связи с этим возникает ряд интересных соображений, которые...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего специального, но кто знает, как сложатся события?

Лиза поняла, о чем думал Сергей Сергеевич и эта мысль ее ужаснула. Она сказала:

— Ты думаешь... у тебя впечатление, что это ее окончательное решение?

— Боюсь, что.

— Какую глупость она делает!

— Не могу не согласиться с твоим мнением. Что у тебя?

— Все прекрасно, я провела очаровательное лето.

— Рад за тебя, я бы хотел сказать то же самое о себе, но это было бы неправда. Кстати, объясни, пожалуйста, Сереже, что его мать выходит замуж, рано или поздно. Хорошо, когда же вас ждать?

— Через некоторое время, без особого предупреждения.

¹ — Любовь моя (франц.)

— Прекрасно, всего хорошего.

— Прощай, Сережа.

Сережа, стоявший рядом, спросил, когда Лиза повесила трубку:

— Кто делает глупость, Лиза?

— Все, мой мальчик, — со вздохом сказала Лиза, — все. Но без некоторых глупостей не стоило бы жить, ты не думаешь?

Лиза не знала, сказать или не сказать Сереже, что Ольга Александровна выходит замуж. Собственно, никаких особенных причин скрывать это не было; но Лизе нужно было сделать большое усилие над собой, чтобы начать этот разговор, — потому что за всеми этими вещами тотчас же возникало другое, о чем никогда не говорилось, но что не могло не чувствоваться. Но она все-таки, преодолев свое внутреннее нежелание поднимать все эти вопросы, сказала ему об этом вечером. Сережа был удивлен и огорчен. — Я не понимаю мамы, — сказал он. — Конечно, это ее личное дело. Но мы все ее так любим, она такая очаровательная, и папа всю жизнь исполняет все ее желания. Зачем же этот брак?

— Уж не по расчету, конечно. Сереженька.

— Милая такая мама — и вдруг замуж за чужого человека! Нелепо, Лиза.

— Я тоже думаю, что нелепо.

— Я ей сегодня же напишу письмо, — сказал Сережа. — Она, наверное, обо мне тоже думает. Я ей напишу, что все равно, я ее так же буду любить, как раньше, она моя мать, и это самое главное. Она такая очаровательная, Лиза, правда?

Лизе было не по себе, у нее было нечто вроде тревожного предчувствия, причина которого была ясна: предстояло уехать отсюда, столкнуться вплотную во всеми, в сущности, почти непреодолимыми препятствиями, которые ее ожидали в Париже, оказаться сильнее всего этого и устроить так, чтобы и в дальнейшем они остались вдвоем с Сережей.

— Теперь так, Сережа, — сказала она наконец. — Мы приедем в Париж, потом ты отправишься в Лондон. Я останусь там на месяц, приблизительно, затем тоже приеду в Англию, и мы опять будем с тобой вдвоем. Понимаешь?

— Понимаю, Лиза — а почему целый месяц?

— Так будет лучше, Сереженька. Дальше: ты понимаешь, что об этом никто не должен знать?

— Хорошо, Лиза. И так всю жизнь?

— Может быть, всю жизнь, Сережа. Ты считаешь, что это не стоит?..

— О, si, ¹ десять жизней, если нужно.

— Ну, вот. А по правде сказать, мне не хочется ни в Париж, ни в Англию. Я бы хотела остаться с тобой здесь, мой мальчик.

— Это, к сожалению, нельзя устроить, я думаю.

— Совершенно невозможно. Хорошо, что хоть другое возможно. А теперь закроем глаза, забудем, что существует Париж и Лондон и будем жить, как раньше, эти несколько дней. Это наши последние дни на юге, — сказала она с невольной грустью в голосе.

— В этом году, конечно, что будет дальше, мы не знаем.

Они приехали в Париж утром, двадцать пятого сентября; Лиза не хотела, чтобы Сережа оставался больше, чем несколько дней, вместе с ней и Сергеем Сергеевичем в Париже. Так как Сергей Сергеевич не был предупрежден, то никто их не встречал и они доехали до дому на такси. В квартире они нашли только Слетова, который им сказал, что Сергей Сергеевич вернется поздно вечером, его вызвали в провинцию. В Париже Сережа тотчас же ощутил невыносимую разницу между той атмосферой, которая была на юге, и ледяной неуютностью, которая царила здесь. Он никогда не думал, что его дом покажется ему таким чужим и неприветливым. За весь день он только один раз поцеловал Лизу, войдя к ней в комнату. И он и Лиза, — несмотря на свой возраст и опыт, — преувеличивали опасность скомпрометировать себя и потому держались по отношению друг к другу с неестественной отдаленностью, так что даже Слетов спросил Сережу:

¹ Да... (франц.)

— Ты что, поссорился с теткой, что ли?

— Да, немного,— сказал Сережа, покраснев.

Вечером позвонил Сергей Сергеевич, сообщивший, что он задержался и вернется завтра утром. Тогда Лиза позвала Сережу к себе.

— Сережа,— сказала она почти задыхающимся голосом,— он никогда не видел ее в таком состоянии,— я сейчас уйду, а ты уйди через полчаса. Вот тебе ключ. Приезжай на rue Voileau, сорок четвертый номер, второй этаж налево. Я буду тебя ждать. Иди.

— А там что? — растерянно спросил Сережа.

— Увидишь,— быстро сказала она.— Иди, иди.

Когда Сережа приехал туда, он нашел Лизу, которая с той стороны, у двери ждала его. Она была в том же любимом халате с вышитыми птицами: Сережа подумал об этом и удивился, каким образом халат, который должен был еще находиться в чемодане, очутился здесь.— Второй, Сереженька,— улыбаясь сказала Лиза.

— Это моя квартира,— объяснила она,— наша, если хочешь. Ты не знал, что у меня есть квартира?

— Нет,— удивленно сказал он,— зачем она тебе?

— Каждому хочется иметь свой собственный дом,— уклончиво сказала она. Если бы на месте Сережи был другой человек, она бы так не поступила; но Сережа слепо верил всему, что говорила Лиза, и находил замечательным все, что она делала. И все-таки его не следовало посвящать в это, но Лиза не могла поступить иначе, ее желание остаться с Сережей наедине было сильнее всех других соображений. Поздно вечером они вышли вдвоем; в прохладном воздухе Лиза ощутила печаль, которой не было на юге. Она отправила Сережу домой, а сама вернулась только через час,— он уже спал крепким сном в это время. Все было тихо в доме — только в комнате Слетова был свет; Слетов читал мемуары Казановы и пожимал плечами — он очень неодобрительно относился к этому человеку и ему казалось непонятным, как можно потратить всю жизнь на то, чтобы чуть ли не ежедневно менять любовниц: Слетов искренне этого не понимал.

На следующее утро Сережа, поговорив с отцом четверть часа о незначительных вещах и таким тоном, точно он расстался с ним только на днях — так всегда получалось с Сергеем Сергеевичем, неизвестно почему — узнал у него номер телефона Ольги Александровны и позвонил ей. Прерывающимся от радости голосом она попросила его тотчас же приехать, встретила его долгими объятиями и поцелуями, так, как будто ему удалось спастись от смертельной опасности и он чудом остался жив.— Мой маленький, мой маленький, такой большой, такой хороший, Сереженька! Ты не забыл маму?

В ее словах и интонациях было столько любви и нежности, что у Сережи появились слезы на глаза. Он подумал тогда же, что эту женщину, что бы ни случилось, он будет любить всегда самой лучшей любовью и вдруг тот факт, что она выходит замуж, показался ему совершенно неважным и случайным. Точно угадывая его мысль, Ольга Александровна спросила:

— Ты не перестанешь любить свою старую маму за то, что она себя не так ведет, как нужно?

— Нет, мамочка,— целуя ее теплую руку, сказал Сережа,— нет, никогда не перестану любить, ты у меня одна, другой мамы нет.

— Мы с тобой будем часто видеться, будем вместе гулять и разговаривать, ты мне будешь все рассказывать,— правда, Сереженька? Ты уезжаешь в Лондон? Буду к тебе ездить, ты у меня тоже только один, но зато такой хороший. Ты уж большой, ты скоро начнешь по-настоящему жить и мы с тобой будем говорить обо всем.

— Вот, мамочка, знаешь,— сказал Сережа, сидя на ручке ее кресла и обнимая ее щею рукой,— я очень много понял за последнее время.

— Что же ты понял, Сереженька?

— Очень важные вещи, очень важные. И знаешь, как странно — вот мы с тобой сейчас поговорим об этом. Ты никуда не торопиться?

— Нет, нет, говори.

— Вот, есть вещи, о которых мы, казалось бы, никогда не думаем, никогда мы их не обсуждали; а когда приходится, казалось бы, впервые с ними сталкиваться, выясняется, что мы имеем о них уже совершенно готовое представление.

— Ну, например?

— Вот, например, отношение к матери. Вот, я тебя очень люблю — и твердо знаю, что что бы ни случилось, все равно буду любить. Никакого другого человека, а именно тебя. Это с одной стороны, конечно, чувство, но ему соответствует и теоретическое убеждение, непоколебимое, что это хорошо и так нужно.

— У, какие мы умные! — сказала Ольга Александровна. — Ну, так и быть, я тебе тоже сделаю признание. Ты знаешь, что я выхожу замуж?

— Да.

— Ну, так вот, мне совершенно безразлично, что об этом подумают. Если кто-нибудь огорчится, очень жаль — но что мне делать? И вот единственное, что меня волновало, это, как ты отнесешься. Смешно, правда? Ты еще ребенок, мальчик, ты, Сереженька, сосунок, и вот, когда ты не обращаешь на себя внимания и не важничаешь с другими и сам с собой, то и мордочка у тебя, как у сосунка. И вот, поди же, мне важно, чтобы именно этот сосунок меня не перестал любить.

— Этого ты можешь не бояться, мамочка.

— Я теперь не боюсь, я знаю, — сказала Ольга Александровна. — А я тебе соврала только что; мне надо уходить, но уж очень жалко расставаться с тобой. Мы пойдем вместе, ты меня проводишь, хорошо?

— Хорошо. Я завтра уезжаю, ты знаешь? Еду в Лондон.

— В котором часу?

— Утром, кажется.

— Тогда я с тобой попрощаюсь, я только через недельку приеду к тебе. До свидания, мой мальчик, — сказала она, поцеловав его несколько раз. Потом она перекрестила его тремя быстрыми крестами, повторяя, — храни тебя Христос, Сереженька, учись, будь умницей.

— Ты со мной, как с ребенком, — сказал Сережа.

— Да нет, миленький, а неловко тебя на улице целовать и крестить.

Когда они расстались, у обоих было хорошо на сердце: Сережа был рад тому, что его мать несколько не изменила его всегдашнему представлению о ней; у Ольги Александровны после разговора с Сережей отпала единственная, неприятная мысль, которая появлялась у нее в последнее время и которая была о том, что ее новый брак может повлиять на отношение к ней Сережи.

В канун отъезда Сережи и Сергея Сергеевича в Лондон, обед прошел бы в молчании, если бы не разговоры Сергея Сергеевича, который рассказывал о своих летних поездках, о том, что он видел за это время множество милейших людей, как всегда, все эти милейшие люди выходили совершенными идиотами, вопреки явно абсурдной их оценки Сергеем Сергеевичем. Сергей Сергеевич с особенным удовольствием описывал одного из своих бухгалтеров, работавшего в Норвегии, и который был, по его словам, необыкновенным человеком.

— Чем же он необыкновенен? — спросил Слетов.

— А вот, — сказал Сергей Сергеевич. — Ну, представьте себе, был богатейшим человеком в России, ворочал миллионными делами, был отцом семейства и все такое. Жена его покончила с собой, дети тоже все погибли, состояние тоже, сам едва ноги унес. И вот, что он мне говорит: вы, говорит, Сергей Сергеевич, пожалуйста, повлияйте на служащих, чтобы они ко мне относились, как этого требует мой ранг и положение, — и слово такое странное, ранг, видите ли. И вот что этого старика интересует — разве не трогательно? Вот тебе, Федя, один из вариантов теории ценностей.

Слетов пожал плечами; но и Лиза, и Сережа едва ли могли бы повторить рассказ Сергея Сергеевича, настолько оба были вне разговора. У Сережи совершенно не было аппетита, он почти ничего не ел; он думал, не переставая, о том, что завтра он уже не увидит Лизы. Лиза знала, что он об этом думает

и страдала одновременно за него и за себя. Сережа не думал, что это нехорошо, так как тяжело и ему, и Лизе, он был бессознательно эгоистичнее, чем она. Сергей Сергеевич не мог не заметить этой подозрительно одновременной подавленности их. Он был, однако, далек от мысли, что это может быть объяснено чем-нибудь иным, кроме случайного совпадения, или, в конце концов, естественного огорчения. Он тут же подумал, что Сережа всю свою жизнь до сих пор проводил в обществе двух женщин, — матери и тетки, — и что это не могло не отразиться на его характере. Он полагал, однако, что Оксфорд, который он сам в свое время кончил — до того, как начал посещать лекции в Московском университете — должен будет повлиять на Сережу в нужном направлении. Постоянная душевная размягченность его сына, которую он унаследовал от своей матери и с которой до последнего времени Сергей Сергеевич почти не пытался бороться, казалась ему, однако, отрицательным качеством. После обеда, оставшись вдвоем с Лизой, он заговорил об этом, — между прочим, как всегда. Лиза очень резко ответила ему:

- Наверное, горбун считает, что отсутствие горба есть недостаток.
- Если, Лиза.
- Что «если»?
- Если он не только горбун, но при этом еще и дурак.
- Я не понимаю, что дурного в том, что у мальчика доброе сердце? С какой угодно точки зрения, это положительная черта.
- Боксом ты не занималась, Лиза?
- Как ты не понимаешь, что нельзя все сводить к этому идиотскому спорту. Идет речь о душе — сравнение с боксом, о любви — рациональное физическое развитие, о несчастьи, огорчении, неудаче — я уж не знаю, с чем ты это будешь сравнивать — может быть с футболом?
- Боюсь, Лизочка, ты меня не поняла. Дело не в непосредственном.
- Договаривай ты, ради Бога. Непосредственном — чем?
- Сравнении, *vous* ¹. Но вот в чем дело. Ты наносишь одинаковой силы удар одному человеку, потом другому. Один падает в обморок, другой остается стоять, как ни в чем не бывало. Почему?
- Потому что один слабый, другой сильный.
- Нет, совершенно одинаковы.
- Так почему же?
- Потому что первый размягченный, второй тренированный. А первоначально чувствительность одинакова.
- Так ты хочешь тренировать Сережу?
- Именно.
- Зачем?
- Затем, Лизочка, что это мой сын, затем, что я его люблю, затем, что хочу, чтобы на его долю выпало возможно меньше страданий и огорчений, которые неизбежны, если он будет таким, как сейчас. Понятно?
- А какое ты имеешь право это делать? Пусть живет, как хочет. Оставь свою философию для себя, подумай о том, что слава Богу, другим людям она не нужна, они в ней задохнутся.
- Так уж и задохнутся. Но даже если так: слабые задохнутся, сильные выживут.
- Какая примитивная концепция!
- Никак тебе не угодить, Лиза, все тебе не нравится. Что с тобой случилось в последнее время? Ты даже защищаешь размягченность, которая ведь и тебе самой не очень свойственна.
- Это кто тебе сказал?
- Мне так казалось.
- Потому что ты меня не знаешь, мой милый.
- Так безжалостно разбиваешь мои лучшие иллюзии, Лиза. Мы с тобой поговорим, когда ты будешь в хорошем настроении, — если это когда-нибудь

¹ Посмотрим... (*франц.*)

произойдет. Стало быть, я тебя не знаю. On aura tout vu ¹, как говорится. Спокойной ночи, прекрасная незнакомка.

Он поцеловал ей руку и ушел в свой кабинет работать. Он был такой же насмешливый и веселый, как всегда. Но Лизе, смотревшей на него с враждебным вниманием, к которому примешивалось далекое, почти забытое, но все же существующее сожаление, показалось вдруг, что в его глазах на очень короткое время появилось почти страдальческое выражение, которого она до сих пор никогда не замечала, и она подумала, что уход Ольги Александровны все-таки был для него ударом, который, при всей его идеальной «тренировке», он не мог не почувствовать гораздо более, чем это можно было предположить.

Сергей Сергеевич, действительно, был очень огорчен уходом Ольги Александровны, хотя и испытывал совсем не те чувства, которые должен испытывать муж, когда его покидает жена. Он всегда поступал в своей жизни в большем или меньшем соответствии с той этической системой, которую он себе выработал и в которой внешние, декоративные, так сказать, принципы играли главную роль. Она не была основана, как это должно было быть, на его личных чувствах, и он сам не мог бы себе объяснить, почему, собственно, нужно было поступать так, а не иначе; но, что нужно было поступать так, это он твердо знал. В ней было много просто абсурдных и нелепых вещей и он не мог этого не понимать; тем не менее, он считал их необходимыми. Должна была существовать семья; должен был существовать наследник его имени и состояния и продолжатель рода; должна была существовать жена. И вот, одна сторона этой системы вдруг исчезла, что было ее грубейшим нарушением. Конечно, Сергей Сергеевич знал, что уход Ольги Александровны не только исчезновение этой стороны, это еще и пустота, которая должна образоваться в том месте, где были ее нежные глаза, ее ласковая и быстрая речь и все ее многолетнее очарование, которое Сергей Сергеевич очень ценил со стороны. Но моральная сторона ее ухода была ее личным делом, в которое он считал себя не в праве вмешиваться. Он вспомнил, как ему хотелось еще совсем недавно, несколько месяцев тому назад, чтобы Ольга Александровна нашла наконец человека, на котором остановилась бы; его мечта исполнилась — но не так, как он это себе представлял. И вот это несоответствие его представления с действительностью было ему неприятно. Он, кроме того, полагал, что Ольга Александровна должна была бы остаться еще и потому, что этого требовали интересы Сережи; не непосредственные его интересы, так как он уезжал в Англию, а интересы традиционные. Одним словом, он допускал все отступления от личной морали, но был сторонником некоторых почти патриархальных принципов. Как многие люди, лишенные прочных и узких убеждений, он понимал убожество политических доктрин, над которыми смеялся, понимал спорность и нередко бессмысленность тех вопросов, которые в известный момент считались актуальными, — и вместе с тем, несмотря на крайний свой скептицизм, был сторонником так называемых семейных устоев, хрупкость которых ему должна была быть известнее, чем кому бы то ни было. Весь опыт его жизни убеждал его в том, что нет или почти нет вещей, на которые можно было бы положиться, что политические взгляды, государственные принципы, личные достоинства, моральные базы и даже экономические законы — это он знал наверное — суть условности, по-разному понимаемые различными людьми и сами по себе почти лишенные какого-либо содержания. И оттого, что он это знал, происходила его широкая терпимость ко всему, его одобрение многих явно не заслуживающих одобрения вещей, словом, то, что приписывалось его великодушью, щедрости и идеальному характеру и что в самом деле было результатом неуверенности. Он начинал действовать только тогда, когда его к этому вынуждали — и делал это всегда неохотно; но таких случаев в его жизни было несколько; и он никогда не мог вспомнить об этом без отвращения, как, например, о дуэли, к счастью без смертельного выхода, от которой Сергей Сергеевич не считал себя в праве отказаться, хотя и говорил всегда, что считает ее глупостью. Были, наконец, биржевые операции, совершая которые, он знал, что разорит таких-то людей — но здесь он имел дело с цифрами и ему было легче. Но вообще

¹ Все прояснится... (франц.)

действовать он не любил, хотя все в нем было, казалось, создано именно для действия — быстрота понимания и суждения, постоянное хладнокровие, полное подчинение всех способностей — душевных, умственных и мускульных — своей воле, в этом смысле он был похож на прекрасную пружину, качества которой, однако, пропадали даром. Он оказывался на высоте положения во всех трагических обстоятельствах, — так было в Крыму, при отступлении белых армий, так было во время второго покушения на него, на людной улице, когда он один успел заметить быстрое движение человека, выхватившего нож — и задержать его руку; но до тех пор, пока самые жестокие условия не вынуждали его действовать, он насмешливо рассуждал обо всем, восхищался заведомо глупыми людьми и был неизменно благожелателен и пассивен. Таким образом, никто — кроме Лизы, которая, однако, тоже не была в этом уверена — не мог бы подумать, встречаясь часто с Сергеем Сергеевичем, что второй брак Ольги Александровны был для него, в сущности, первым поражением в его жизни — в той ограниченной области, вне которой он допускал все, но которую до сих пор ему удавалось сохранить в неприкосновенности.

120

После отъезда Сережи, которого Сергей Сергеевич проводил в Лондон и даже задержался там на два дня, и Ольги Александровны, в доме осталось трое: Сергей Сергеевич, Лиза и Слетов. Они все встречались за завтраком и за обедом, и у всех троих была очень разная жизнь, так что почти ничего их не связывало. Но в первые же дни после отъезда Сережи, Сергей Сергеевич должен был констатировать, что Лиза стала совершенно не похожа на себя. Не говоря о том, что, когда Сергей Сергеевич подходил к ней, он встречал неизменно враждебный взгляд — и становилось ясно, что в данный момент никакое возобновление их прежних отношений невозможно, — она перестала следить за собой, причесываться, пудриться, мазать губы и сосредоточенно-печальное выражение ее лица оставалось все время неизменным.

— Что с тобой, Лиза?

— Ничего, оставь меня в покое.

Несколько раз она не ночевала дома, но Сергей Сергеевич даже и не думал о возможности визита на rue Voileau — он слишком хорошо знал Лизу, чтобы представить себе, как был бы встречен. Но ее состояние казалось ему почти тревожным.

Как-то за столом возник спор с Сережей. Сергей Сергеевич сказал, что теперь, впервые в своей жизни Сережа живет более или менее самостоятельно, что это очень хорошо и нужно, чтобы он успел сформироваться в новой обстановке и стать мужчиной.

— Я, кстати, поеду через некоторое время в Англию, — сказала Лиза, — надо посмотреть, что он там делает.

— Мне это не кажется абсолютно необходимым. Тем более, что я там бываю довольно часто.

— Ты же знаешь, что у Сережи с тобой гораздо меньше общего, чем с Лелей и со мной.

— К сожалению. Но это недостаток, мы уже как-то говорили с тобой об этом.

— Знаешь, спорить, по-моему, бесполезно. У нас разные взгляды на воспитание.

— Несомненно. В этом вопросе, однако, есть одна подробность: Сережа мой сын и воспитываю его я.

— Поздно ты спохватился.

— Надеюсь, что еще не поздно.

Лиза получала каждые два дня письмо от Сережи по адресу своей квартиры на rue Voileau. Сережа писал, что без нее ему ничто не интересно, что его жизнь проходит в ожидании ее приезда. «Все как во сне, — писал он, — все не настоящее, потому что нет тебя. Я знаю, что надо учиться, но не чувствую никакого желания заниматься и изучать разные бесполезные вещи, которые, может быть, имели бы смысл, если бы мы были с тобой вдвоем. Когда я один, они мне кажутся совершенно ненужными». Лиза отвечала ему, просила подождать еще немного и не скучать, но письма ее были лишены убедительности, так как она сама

испытывала все время смертельную, непрекращающуюся тоску. Ее все раздражало, она плохо и мало спала, плохо и мало ела, не могла ни на чем сосредоточиться, не могла читать; и за очень короткое время она похудела и подурнела, так что Сергей Сергеевич сказал ей:

— Я боюсь, Лизочка, что если такое состояние будет продолжаться, то твоя блистательность рискует несколько потускнеть.

Оставаясь один, он ломал себе голову над тем, что это могло значить. В конце концов, он остановился на мысли о том, что у Лизы на юге был какой-то неудачный роман и что теперь она переживает очередное разочарование, более сильное, чем предыдущие. Это в известной мере было естественно; ей не двадцать лет, жизнь проходит, она не может этого не понимать. Сергей Сергеевич даже намекнул ей как-то о том, что, ввиду брака Ольги Александровны было бы, может быть, желательно...

— Скорее смерть, чем брак с тобой, понимаешь? — в бешенстве сказала Лиза

— Как это, определение романтизма? — задумчиво сказал Сергей Сергеевич, — *Exagération du sentiment personnel?*¹ Да, кажется, так. Ты опоздала родиться почти на полтора столетия, Лиза. Тебе бы с Байроном тогда познакомиться. Поэт, немного хромым, но очень, очень милый и ценивший преувеличения.

— Клоун! — сказала Лиза и ушла, хлопнув дверью. Из-за тотчас же открывшейся двери показалось смеющееся лицо Сергея Сергеевича и его голос сказал:

— Как героиня в мелодраме. Лиза, ты не знаешь до чего ты восхитительна и классична! *C'est de la Comédie Française le jour des abonnés.*²

Но на самом деле состояние Лизы было ему почти так же неприятно, как поведение Ольги Александровны. Происходило то, чего он, в сущности, ожидал всегда, постепенный уход от него близких людей — в дальнейшем ему, по-видимому, предстояло одиночество. Лиза уже не в первый раз говорила о поездке в Англию, быть может, герой ее романа находился там и почему-либо не мог или не хотел приехать?

Он все чаще и чаще уходил один гулять по Парижу, проходя по улицам с непривычной для него бесцельностью. Так как многие его знакомые жили примерно в одном и том же районе, то он неоднократно встречал некоторых из них; в проехавшем очень солидном автомобиле он видел однажды Людмилу, сидевшую рядом с пожилым и приятным человеком, тем самым, из-за которого она разводилась со своим первым мужем; один раз он видел и его — тот медленно шел, засунув руки в карманы и глядя прямо перед собой блеклыми, рассеянными глазами.

Однажды он вышел на свою очередную прогулку в субботу, под вечер. Был конец октября, и удивительно мягкая, необычайная для этого месяца в Париже погода. Он был в Булонском лесу, затем поднялся до площади Этуаль, потом вышел по *avenue Victor-Hugo*, и свернул на *gare de la Pompe*. Движение было не очень большое, было довольно тепло, но в поднимавшемся от времени до времени легком ветре явственно и обманчиво пахло зимой. Он шел и думал, что теперь поздно уже, быть может, что-либо менять в этом нелепом, в сущности, правиле, которое он сам себе навязал и которого неизменно придерживался всю жизнь, правиле *de la bonne mine au mauvais jeu*³. В конце концов, оно принесло скорее вред, чем пользу. Зачем было нужно, — думал он, — так притворяться всю жизнь и так ее и провести, точно на сцене? Но эти мысли были почти лишены горечи, были почти что созерцательны — это объяснялось тем, что стояла все-таки очень хорошая погода, воздух был нежный и вкусный. Дойдя до угла *gare de Pompe* и *gare de Passy*, Сергей Сергеевич подумал, что с удовольствием выпил бы чаю. Он вошел в магазин *Marquise de Sevigné*. Все столы были заняты. Недалеко от входа, спиной к нему сидела очень пожилая дама в трауре. В ее плечах и спине было что-то знакомое. Сергей Сергеевич подошел ближе, дама

¹ Избыточность чувств! (франц.)

² Прямо из Комеди франсез, из абонементов... (франц.)

³ ...Хорошей мины при плохой игре (франц.).

повернула к нему лицо — и он узнал Лолу Энз. Он именно узнал ее — настолько она изменилась. Старческие, ласковые, безразличные ее глаза посмотрели на него, она, улыбаясь, кивнула головой. Сергей Сергеевич вспомнил, что после ее визита к нему с предложением субсидировать мюзик-холл, у нее умер муж, он тогда же послал ей официально сочувственное письмо, но с тех пор ничего о ней не слышал.

— Вы разрешите? — спросил он, подходя к ее столику.

— Да, да, пожалуйста, — ответила она.

Сергей Сергеевич после нескольких слов разговора убедился, что Лолу, с которой он говорил сейчас, от той, которая приходила к нему, отделяло состояние целой жизни. Теперь иначе, как очень старой женщиной ее нельзя было назвать. Когда речь зашла об ее покойном муже, ее глаза мгновенно наполнились слезами, что очень удивило Сергея Сергеевича, который, так же как и все, хорошо знал, что ее супружеская жизнь была тяжела и неудачна. Ни она, ни он не говорили о мюзик-холле, это казалось столь же неестественным, сколь неестественным показался бы разговор о том, например, что Лола собирается поступить в гимназию. И Сергей Сергеевич так же, как и все остальные, не мог не заметить поразительной душевной перемены в Лоле. Она рассказала ему, как и другим, о том, каким замечательным человеком был ее муж и как она его любила, и прибавила, что почти кончила свои мемуары. Об ее сценических проектах Сергей Сергеевич не спрашивал, это было бы очевидной неловкостью. Она сказала ему, в частности, что на днях собирается в Лондон по делам, но что быстро устает и боится утомительности этого путешествия. — Вот вы очень много ездите — сказала она, — какой способ передвижения вы рекомендуете? Сергей Сергеевич ответил, что наименее утомительно, по его мнению, путешествие на аэроплане — меньше, чем через два часа она будет в Лондоне. — C'est une idée¹ — сказала Лола, — я, может быть, воспользуюсь вашим советом.

Сергей Сергеевич вышел на улицу, всецело находясь под впечатлением этой встречи и той удивительной перемены, которая произошла с Лолой. Светило позднее, осеннее солнце. Впереди шли две хорошо одетые дамы, одна из них сказала нараспев по-русски:

— А мне все равно, что они так говорят. Просто сволочи, моя милая, вот в чем дело.

Сергей Сергеевич пошел вниз, по avenue Mozart. Он шел вначале, казалось бы, без цели. Потом он подумал, что следовало бы раз в жизни поговорить с Лизой обо всем без иронии, совсем серьезно и до конца. Надо ей сказать, что вот, она осталась одна у него, что никого, в сущности, кроме нее, он никогда не любил, если не считать кратковременного, в конце концов, увлечения ее старшей сестрой. Надо ей сказать, что он сделает над собой усилие, чтобы стать похожим на того героя ее романа, о котором она мечтала, и что это должно ему в общем удастся. Надо ей сказать, что он будет нежнее и чувствительнее, что он понимает теперь, с недавнего времени, что самое ценное в мире, это все-таки любовь, и это всегда будет так, сколько бы над этим не смеялись.

Он дошел до rue Voileau, остановился на секунду у сорок четвертого номера, поднялся по лестнице на второй этаж, и открыл ключем дверь. В квартире были спущены ставни, было полутемно. Голос Лизы сказал:

— Сережа?

Сергей Сергеевич мгновенно остановился. Лиза назвала его по имени, но он не мог ошибиться в интонации: таким голосом она никогда к нему не обращалась. Невероятная мысль промелькнула в его мозгу, он встряхнул головой. На полу, в передней он заметил маленький кожаный чемодан. — Это я, — сказал он и вошел. Лиза лежала в кровати; волосы ее были распущены, лицо в полутьме казалось еще более смуглым, чем всегда. Она увидела в просвете двери знакомую широкую фигуру. Приподнявшись на локте, сказала задыхающимся шепотом:

— Уходи, уходи сейчас же, ты слышишь? Я умоляю тебя, уходи!

— Я не знаю, надо ли мне уйти, — сказал Сергей Сергеевич. У него болело

¹ Эта идея... (франц.)

сердце, ему было холодно и нехорошо и он успел с удивлением подумать, что эти ощущения он испытывал в первый раз в жизни.

— Уходи, ты губишь меня!

В голосе Лизы слышались слезы.

— Сережа,— повторила она,— милый, уходи!

Сергею Сергеевичу показалось, что во входной двери щелкнул ключ, но он подумал, что это послышалось ему. Медленным голосом он сказал:

— Лиза, ты была моей любовницей много лет...

Лиза рыдала, уткнувшись головой в подушку. Сергей Сергеевич услышал движение в передней, обернулся и увидел Сережу, который стоял со свертком в руках и слышал его последние слова.— Я думал, ты в Англии,— как сквозь сон сказал Сергей Сергеевич. Но Сережи уже не было, он бросил сверток и выбежал из квартиры.

— Боже мой, какой ужас! — сказал Сергей Сергеевич.

Он сел в кресло и долго молчал. Плечи Лизы все время тряслись и вздрагивали. Сергей Сергеевич посмотрел на нее невидящими глазами. Наконец он сказал:

— Лиза, как ты могла это сделать?

В комнате становилось совсем темно, за окном наступали быстрые сумерки. Было тихо, слышалось только учащенное дыхание Лизы. Отчаяние, охватившее ее с той минуты, когда в двери появился Сергей Сергеевич, не прекращалось, она не могла говорить. Наконец она подумала, что единственный шанс спасения, это рассказать все Сергею Сергеевичу, затем найти Сережу и объяснить ему, что все неважно, кроме ее любви к нему, что как бы ни казались непоправимы некоторые вещи... Она рассказала Сергею Сергеевичу — в комнате было уже совсем темно, никто из них не подумал зажечь свет — все, что произошло на юге, во всех подробностях, и прибавила, что вне ее любви к Сереже для нее мир не существует. Она сказала, что знает о всех препятствиях к этому,— об ужасном родстве, о разнице возраста, о том, что это вообще кажется невозможно и чудовищно и, вместе с тем, если этого не будет, то жизнь, конечно, терет всякий смысл.

— Хорошо, Лиза,— сказал из темноты голос Сергея Сергеевича,— но это все о тебе. Я понимаю, что тебе очень тяжело. Надо, однако, подумать о Сереже, прежде всего.

— Для него все так же, как для меня, без меня он не представляет себе существования.

— Я понимаю. Но ему семнадцать лет, ты первая женщина в его жизни. Вспомни твой первый роман, что от него осталось? Нет, мне кажется, пожертвовать Сережей, даже для тебя — нельзя.

И Сергей Сергеевич сказал, что, по его мнению, следует все объяснить Сереже, убедить его в том, что нельзя строить жизнь на невольном преступлении и что надо забыть об этом.

— То есть ты хочешь, чтобы я отказалась от него?

— Я этого требую,— сказал Сергей Сергеевич.— Ты не привыкла к каким бы то ни было требованиям с моей стороны. Но вот, первый раз в жизни, я требую от тебя этого отказа.

— Ты не понимаешь, что ты говоришь.

Но Сергей Сергеевич настаивал. Он говорил о том, что всякий настоящий человек, и особенно человек, который любит, должен найти в себе силы для личной жертвы, отказаться от себя, чтобы не губить того, чье существование кажется ему самым ценным.

— Ты так говоришь, ты можешь так говорить только потому, что не понимаешь, что такое любовь. Любовь, это значит, что ты не можешь жить без этого человека, не хочешь жить, хочешь умереть, ты понимаешь?

— Понимаю. Надо отказаться.

— Тебе легко об этом говорить!

— Нет, Лиза, не легко. Я тебя давно люблю и, ты видишь, я отказываюсь от тебя. Я даю тебе полную свободу — все, что угодно, кто угодно — но только не Сережа.

Лиза подумала, что наступила наконец минута, которой она всегда так боялась — когда эта рассуждающая машина пришла в действие. Она почувствовала, что никакие просьбы на Сергея Сергеевича не действуют. Но она сказала:

— Нет, этого ты запретить мне не можешь. Это моя жизнь, я имею право ей распоряжаться.

— Да, но не жизнью Сережи.

— Это одно целое.

И вдруг Сергей Сергеевич сказал с неподдельным изумлением и гневом в голосе:

— То есть как? Неужели ты действительно неспособна от этого отказаться? Какая же тогда цена твоей любви?

— Не говори о любви, ты ее не знаешь.

— Я слышал это много лет, от тебя и от твоей сестры. Я ее не знаю — наверное, потому, что любить в твоём представлении значит приносить все в жертву чувственности. Ничто не существует, — ни любовь настоящая, ни забота о том, кого ты любишь, ни его интересы, ни твои обязательства, ни стыд — ничего! И даже возможность отрешиться на какое-то время от этого физического томления, чтобы понять какую-то необходимую частицу справедливости. Да, в этом смысле я любви не знаю, действительно. Я не бросил бы на произвол судьбы дом, жену и сына — только потому, что мне приятно проводить время с любовницей. Но настоящую любовь знаю я — а ты ее не знаешь. Леля лучше тебя, она бы меня поняла. Она чувственная и легкомысленная, но у нее прекрасное сердце и она десять раз принесла бы себя в жертву, если бы это было нужно. А ты неспособна даже это сделать.

— Я не могу все это слышать! — закричала Лиза. — Ты не имеешь права говорить это мне, ты вообще не имеешь права говорить что бы то ни было. Я тебя давно ненавижу, — сказала она с силой, — потому что ты машина, автомат, потому что ты неспособен понять ни одного человеческого чувства. Разве ты не видишь, как все пустеет вокруг тебя? Леля ушла, я ушла, Сережа ушел. Ты требуешь от меня этой жертвы, это значит моей жизни! Да, для тебя такая жертва легка, конечно.

— Все, что ты говоришь, несправедливо, Лиза, — ответил из темноты его медленный голос. — Разве ты знаешь, что такое страдание, жертвы, несчастье? Ты не имеешь об этом отдаленного представления и ты считаешь не заслуживающими ни внимания, ни сожаления всех, кто не похож на тебя, ты никогда не сделала ни одного усилия, чтобы их понять — вроде этого несчастного Егоркина, который, однако, при всей его наивности и том, что он *ridicule*¹, представляет из себя большую человеческую ценность, чем ты. Я тебя очень хорошо знаю.

— Это ты мне говоришь такие вещи?

— Смотри, Лиза, что для тебя важнее всего? Алчность и эгоизм. Что тебе, если несчастный и доверчивый мальчик исковеркает всю свою жизнь из-за тебя? Об этом ты не думаешь. Зато ты приятно проведешь время — до тех пор, пока не встретишь кого-нибудь, кто тебе понравится больше Сережи — и вот тогда-то ты от него откажешься с необыкновенной легкостью, эту жертву ты, конечно, принесешь.

Он замолчал. Лиза ничего не отвечала ему, собираясь с мыслями. — И вдруг он сказал — и в голосе его послышалась невольная и неожиданная улыбка.

— И я все-таки люблю тебя.

— Я знаю, — сказала Лиза с презрением, — ты машина, но идеально сделанная машина, совсем, как человек.

— Другая грубая ошибка, Лиза. Пойми же, что я совсем не машина. Меня ты и Леля всегда считаете машиной, потому что вы не понимаете, что меня заставляет так жить. Ты не думала об этом? Мне жаль людей, ты понимаешь? Мне всегда было жаль Лелю — зачем я заставлял бы ее страдать, преследуя ее за бесконечные романы? Я позволял ей жить, как она хочет — и тем более бескорыстно, что знал, что никакой благодарности за это не будет, она продолжает

¹ Смешон (*франц.*).

считать меня бездушным человеком. Мне жаль было тебя — и ты должна это знать. Мне всех жаль, Лиза, потому я не возражаю людям, не мешаю думать, что они хотят и жить, как им нравится, хотя действуют они почти всегда неправильно. И вот, еще одно доказательство, что я не машина — это то, что этой жалости есть предел. Мы с тобой дошли до него сегодня.

Лиза услышала, что он встал с кресла.

— Я ухожу,— сказал он.— Надо разыскать Сережу. Между ним и тобой все кончено. Я постараюсь, чтобы ты больше его не увидела.

— Я убью тебя,— сказала Лиза совершенно спокойно.

— Нет, потому что тогда Сережа все равно для тебя потерян. Кроме того, ты знаешь, меня это не пугает, я смерти не боюсь. И если ты думаешь, что я очень дорожу своей жизнью...

Он повернул выключатель. Лиза, сквозь зажмуренные от резкого света веки, видела его высокую и широкую фигуру и неподвижное лицо с непривычным, рассеянным и печальным выражением. Он взял шляпу и перчатки, и не прибавив ни слова, не попрощавшись с Лизой, вышел из комнаты. Через секунду щелкнула выходная дверь. Не закрывая подурневшего от слез лица руками, Лиза громко плакала.

Сережа выбежал из дому в совершенном иступлении, почти не понимая, что он делает, вернее, понимал каждый свой поступок через некоторое время после того, как он его совершил. Улица была пустынна. Он быстро пошел по ней вниз, дошел, не заметив этого, до avenue de Vefailles и увидел скамейку, сел на нее. Слезы душили его и мешали ему думать. Фраза его отца все звучала в ушах: «Лиза, ты была много лет моей любовницей». Что это значит? Конечно, это была правда, так как отец знал о существовании ее квартиры. Но как это могло произойти? Как Лиза могла не сказать ему об этом? — Боже мой, что же теперь делать? — сказал он вслух. Значит, теперь об этом знает Сергей Сергеевич. Дома у Сережи больше нет. Лиза тоже навсегда потеряна для него. Лиза, такая замечательная Лиза! Так вот, что это было на самом деле! Значит все — детство, ее смуглые руки, все это родное, теплое и замечательное, все шестнадцать лет его жизни и такое их удивительное, ослепительное завершение — все это был чудовищный и жестокий обман. Зачем же он так торопился? Он не мог выдержать больше в Лондоне, и сегодня утром, никого не предупредив, уехал в Париж. к Лизе — оказывается для того, чтобы после жарких ее объятий, выйти на четверть часа из дому, купить чего-нибудь к чаю, вернуться и услышать эту беспощадную, не оставляющую никаких сомнений фразу, сказанную всегдашним, спокойным голосом отца. Значит, все кончено!

И тогда он вспомнил о матери. Только она оставалась у него,— но ей он не мог рассказать об этом. Он еще раз подумал обо всем этом. Все рухнуло. Отца нет, Лизы нет, ее любовь невозможна. Что делать теперь — и зачем?

Мимо него прошла семья мастерового — отец, мать и маленький мальчик лет шести. Потом прошли, тесно обнявшись, влюбленные. Он, не видя, бессознательно, провожал их глазами. Становилось холодно. Он плотнее запахнул пиджак и почувствовал что-то твердое в боковом кармане и вспомнил, что это был его паспорт. Тогда он поднялся и поехал на вокзал.

Ночью он был в Лондоне, в прохладной и пустынной квартире отца. Он вошел в его кабинет, открыл несколько ящиков и в последнем внизу, справа, нашел углом лежащий револьвер. Все было тихо. Он сел за стол и написал на листке, вырванном из блока:

«Дорогая мамочка, прости меня за огорчение, которое я тебе причиняю. Я тебя люблю больше всего на свете. Жить больше я не могу. Я жалею, что не вижу тебя сейчас. Прости меня за все. Твой Сережа».

Он взял револьвер и приложил к виску. Его слегка тошнило, ему было очень страшно. Он подумал, что будет нехорошо, если найдут его труп с изуродованной головой и приложил револьвер к груди, к тому месту, под которым глухо и отчаянно билось сердце. Потом он закрыл глаза и выстрелил.

Была тихая прохладная ночь, высоко в темном небе стояли звезды, чуть хлопала темная Темза в своих каменных берегах.

Совершенно так же, как было невозможно представить себе виллу Сергея Сергеевича на юге без Нила, так же нельзя было представить себе его лондонский дом без Джонсона, которому было около шестидесяти лет и который поступил на службу к Сергею Сергеевичу очень давно, в тот год, когда Сергей Сергеевич впервые после русской революции приехал в Англию. Так же, как Нил, он знал всю семью Сергея Сергеевича и помнил Сережу совсем маленьким мальчиком. Он был очень честным и порядочным человеком, чрезвычайно ценившим свое место, относившимся к своим обязанностям с исключительной пунктуальностью, но обладавшим одним недостатком: несмотря на свой почтенный возраст, он чрезвычайно крепко спал — обстоятельство, которое он всегда яростно отрицал и которое неизменно служило поводом для шуток Сергея Сергеевича, тем более благодарным, что Джонсон, вопреки очевидности, был действительно искренно убежден, что спит очень чутко. Но на этот раз никакое отрицание не было возможно: в эту ночь он не слышал выстрела.

Он встал очень рано, по давней привычке; зимой и осенью в это время было еще темно. В тот день он поднялся раньше обычного. Когда он вышел из своей комнаты, с удивлением увидел, что за неплотно затворенной дверью кабинета Сергея Сергеевича горит свет и в ту же секунду до его слуха донесся отдаленный хрип. Он быстро пошел туда — и распахнув дверь, увидел на полу тело Сережи рядом с упавшим револьвером, пятна крови на ковре и розовую пену на губах юноши. Он тотчас же подошел к телефону и вызвал домашнего врача. Затем он заметил на столе лист бумаги, на котором было что-то написано по-русски — и спрятал его в карман. Он поднял затем с некоторым трудом отяжелевшее тело Сережи и положил его на диван. То, что произошло, настолько поразило его, что он забыл обо всем и после того, как в первую минуту позвонил доктору, его охватило бессильное отчаяние. Со слезами на глазах он молча смотрел на задышавшегося Сережу, который продолжал тяжело хрипеть и пузырьки кровавой пены по-прежнему вздувались и лопались на его губах. Только потом, после приезда доктора, он вспомнил, что Сергей Сергеевич звонил ему накануне вечером, спрашивая не вернулся ли Сережа и велел немедленно дать ему знать, как только Сережа будет там. Доктор быстро, с помощью Джонсона, раздел Сережу, приложил трубку к груди с запекшейся вокруг раны кровью и сказал, что надо немедленно его перевезти в клинику. — Доктор, он останется жив? — спросил Джонсон. Доктор пожал плечами, вздохнул и ответил, что он на это надеется: сердце не задето.

Только после того, как Сережу увезли, — было уже около восьми часов утра — Джонсон, придя в себя, вспомнил, что до сих пор не позвонил Сергею Сергеевичу и бросился опять к телефону. Его долго не соединяли; потом, наконец, когда услышал голос Сергея Сергеевича, он был настолько взволнован, что в первые секунды ничего не мог объяснить. Затем все-таки рассказал, путаясь, все, что произошло. — Он жив? — спросил из Парижа незнакомый голос, который Джонсон никогда не признал бы за голос Сергея Сергеевича, если бы не был абсолютно уверен, что говорит именно с ним.

— Да, и доктор говорит, что он надеется... Он говорит, что сердце не задето.

— Я буду в Лондоне с первым аэропланом, — сказал Сергей Сергеевич. — Вышлите сейчас же машину в Кройдон.

Сергей Сергеевич, уйдя от Лизы накануне вечером, звонил Ольге Александровне, спрашивая ее, не видела ли она Сережу, потом позвонил в Лондон: Сережи нигде не было. Ночью он лег, не раздеваясь, на диван, проспал крепким сном три часа и поднялся незадолго до звонка Джонсона. С аэродрома ему ответили, что отлет аэроплана будет в половине десятого утра.

В это же время в кабинет вошла Лиза, она была одета по-дорожному: пришла к Сергею Сергеевичу, потому что у него лежал ее паспорт — с твердой решимостью немедленно ехать в Англию. Но когда она увидела Сергея Сергеевича, те слова, которые она собиралась произнести, вдруг остановились в ее

горле. Несмотря на то, что он был так же чисто выбрит и так же аккуратно одет, как всегда, лицо его было настолько изменившимся, что на секунду ей показалось, будто она видит другого человека.

— Что с тобой, Сережа? — сказала она с такой дрогнувшей интонацией в голосе, которая еще за минуту до этого была бы совершенно немыслима.

— Он застрелился, — сказал Сергей Сергеевич, не отвечая.

— Что? — не понимая, спросила Лиза; ей было дурно, все было мутно в глазах, в сером свете октябрьского утра кабинет Сергея Сергеевича таял и качался. — Что?

— Сердце не задето, есть надежда, что он останется жив, — сказал Сергей Сергеевич.

Тающие предметы мгновенно затвердели. Лиза начала учащенно дышать.

— Надо ехать туда, я поеду, теперь ты не скажешь, что мне нельзя ехать.

— Главное, чтобы он остался жив, — сказал Сергей Сергеевич, — пусть будет все, даже ты, Лиза, — пусть только он останется жив.

В дверь постучали, вошел Слетов. Сергей Сергеевич сказал ему, что Сережа стрелялся. Слетов перекрестился. — Я еду с тобой, — сказал он, — ты готов?

— Нет, — сказал Сергей Сергеевич, — я не хочу по телефону рассказывать Ольге Александровне, что случилось. Поезжай к ней, скажи, что Сережа заболел, и отвези ее на аэродром. Аэроплан в половине десятого, место я ей задержал.

Через секунду Слетов не было в комнате. — Едем, Лиза, — сказал Сергей Сергеевич. — Да, вот твой паспорт.

127

На дороге в Бурже длинная машина Сергея Сергеевича — он сказал перед этим шоферу — *allez en toute vitesse!*¹ — обогнала сначала такси, в котором, закутавшись в новую меховую шубу, ехала Людмила, затем довольно быстро катившийся «делаж» Лолы Энэ. Когда Сергей Сергеевич и Лиза приехали на аэродром, до полета еще оставалось двадцать минут. Через некоторое время они видели, как по узкой железной лестнице тяжело поднялась Лола Энэ. Дул резкий и холодный ветер. Несколькими минутами позже по ступенькам этой же лестницы быстро прошла Людмила и скрылась в глубине машины. Сергей Сергеевич все время смотрел на часы: Ольги Александровны и Слетова не было. Оставалось несколько минут; пропеллер был уже пущен в ход и мотор ревел, разогреваясь. В последнюю минуту к аэроплану подбежал жизнерадостный полный человек, запыхавшийся от быстрых движений, со съехавшей на бок шляпой. Ни к кому не обращаясь, но дружески улыбнувшись Сергею Сергеевичу и Лизе так, точно он был с ними давно знаком, он сказал задыхающимся и веселым голосом — *Ah, j'ai de la chance!*² — и вошел в аэроплан. Ольги Александровны не было.

— Что делать, Лиза, едем, она придет следующим, — сказал Сергей Сергеевич. Они вошли внутрь, аэроплан быстро покатился и плавно поднялся в воздух. В эту минуту на аэродром вбежала Ольга Александровна со Слетовым — они успели увидеть поднимающийся и улетающий аппарат.

Ряд случайных и совершенно разнообразных причин, бесконечно далеких друг от друга, соединил в этом осеннем полете аэроплана Париж—Лондон столь же разных людей, которым, однако, предстояла одинаковая и одновременная судьба. Не было решительно ничего общего между Лолой Энэ, ехавшей в Лондон получать деньги, оставленные ей давно умершим человеком, и Лизой, которая летела к Сереже, самому дорогому и близкому ей человеку, без которого она не представляла себе своей жизни; между Людмилой, добившейся после долгих и мучительных мытарств и странствий того, что она тщетно искала всю жизнь, и Сергеем Сергеевичем, который в первый и последний раз за всю жизнь был занят всецело одной мыслью: Сережа должен быть спасен во что бы то ни стало. Совершенно так же никто из этих людей не имел представления об их случайном спутнике, том толстом и веселом человеке, который сказал, поднимаясь в аэро-

¹ Поезжайте, как можно быстрее... (*франц.*)

² У меня есть шанс (*франц.*).

план: — Ah, j'ai de la chance! ¹ Далеко внизу чернела земля, аэроплан чуть дрожал и покачивался, и высокое и холодное воздушное пространство безгранично скользило вокруг него.

Лола Энэ по обыкновению — теперь это почти никогда не происходило иначе, если только она не шла, а сидела — дремала, изредка просыпаясь и ощущая, как обычно, дурной вкус во рту. Время от времени ее чуть-чуть тошнило, но дремота оказывалась сильнее этой легкой тошноты. Она, просыпаясь на минуту, начинала думать о том, как она вернется в Париж, получив деньги, войдет в новую, только что снятую, небольшую квартиру на тихой улице ее любимого Auteuil — и ей больше не нужно будет ехать никуда, разве что летом, на автомобиле, останавливаясь подолгу в каждом городке, отправиться по гладкой дороге, идущей от Парижа к Ницце, и там прожить несколько недель, на берегу теплого, летнего моря. Все ее поездки и турне, все эти Румынии, Голландии, Южные Америки, Греции и постоянная, напряженная работа в театре и постоянная боязнь, что вдруг споткнется нога или звучно и болезненно хрустнет ревматическое плечо или в середине акта вдруг поплывут перед глазами огненные круги, и пол начнет медленно уходить из-под ног — как это с ней неоднократно случалось в последнее время — все это отошло теперь в прошлое и скрылось с мгновенной и удивительной быстротой — и впереди предстояла только эта блаженная дремота, эта почти приятная усталость вплоть до того дня, когда однажды поднимется и опустится в последний раз грудь, освобождая последний запас воздуха — и больше уже не будет ничего. Но она не могла знать, что этот день уже сейчас, сию минуту с чудовищной быстротой клубился и летел ей навстречу. Она продолжала дремать.

Лиза думала, как ей казалось, только о Сереже. После того, как Сергей Сергеевич сказал «сердце не задето», она ощутила почти что уверенность в том, что он останется жив. Но помимо ее желания, сквозь эту одну неослабевающую мысль, приходили другие мысли и слова, связанные, однако, с нею, и в сущности, составлявшие ее продолжение: сцена в ее квартире, появление Сергея Сергеевича и ощущение смертельной тоски и безвыходности после ухода Сережи. Как это ни казалось нелогично, теперь у нее почти не было сомнений, что ее жизнь с Сережей начнется сначала, хотя тот факт, который этому мешал и о котором узнал Сережа, продолжал быть ему известным и никакой выстрел не мог сделать его несуществующим. Но Лиза не думала об этом и с бессознательной уверенностью полагала, что раз Сережа останется жив, то все будет по-прежнему. Она подумала, однако, что Сергей Сергеевич, в первый раз за всю жизнь, оказался доступен человеческому чувству. Но она не чувствовала по отношению к нему никакой благодарности, так как ее очень задела его слова — «пусти все, даже ты»; этого «даже ты» она не могла ему простить. «Даже ты» — и это после стольких лет близости, в течение которых он не сказал ей ни одного резкого слова. Да, конечно, это следовало предполагать: после того, что он ей говорил в ее комнате, после ухода Сережи — и значит это не было вызвано гневом, значит, он всегда так думал. Но она не чувствовала теперь и ненависти к нему, она почти прощала его. Она видела, что несчастье с Сережей нанесло ему такой удар, который способен перевернуть все его скептические и насмешливые теории — раз навсегда и, быть может, понять силу ее любви к Сереже. Она несколько раз взглянула на него, продолжая думать о Сереже, и беспрерывно представляя себе его голову на белой подушке, любимые, потускневшие глаза, и грудь, забинтованную марлей. Сергей Сергеевич неподвижно сидел на своем месте и ни разу не повернул голову в ее сторону.

Он ощущал необыкновенную усталость, его состояние было похоже на то, как если бы ему все время хотелось спать. Всякий раз, когда его мысль возвращалась к Лизе, которая была причиной этой ужасной катастрофы с Сережей, он испытывал необыкновенное к ней отвращение: она носила в себе ту слепую и эгоистичную страсть, безжалостную по отношению к тем, кто являлся ее жертвами, которая была у нее в крови и по сравнению с которой все поступки и измены ее сестры казались совершенными пустяками. Если Сережа выживет,—

¹ У меня есть шанс (франц.).

в чем он почти не сомневался — потом он объяснит ему все это и Лиза уедет — почти так же далеко, как чуть не уехал Сережа. Он испытывал почти что благодарное чувство, когда думал об Ольге Александровне; она не была виновата в том, что передала Сереже всю свою восторженную доверчивость, которая погубила его, так как в ту минуту, когда он впервые почувствовал тяготение к Лизе — Сергей Сергеевич не сомневался, что это Лиза вызвала его — именно эта детская незащищенность помешала ему остановиться: разве он мог знать, что Лиза вовлекает его в чудовищный по своей жестокости мир, где ему не место, и медленную отраву которого Сергей Сергеевич, даже Сергей Сергеевич, иногда чувствовал особенно явственно, хотя он был защищен от нее в тысячу раз лучше, чем кто-либо другой.

И Лола, и Людмила сидели впереди Сергея Сергеевича и Лизы; каждая из них вначале полета обернулась и поклонилась Сергею Сергеевичу, который ответил им своей неизменной улыбкой, потерявшей, однако, свою убедительность, так как глаза его не улыбались. На секунду он подумал о них, и его память тотчас послушно и мгновенно восстановила все: и разговор с Лолой у Marquise de Sevigné, когда он советовал ей ехать в Лондон на аэроплане, и письмо Людмилы, и то, как он видел ее в автомобиле рядом с ее седым спутником. Он вспомнил все это и перестал думать о них.

Людмила рассталась с Макфаленом только неделю тому назад и успела по нем соскучиться. Перед самым отъездом она получила телеграмму от него: «дорогая, я жду вас» — эта телеграмма лежала в ее сумке, вместе с разводом, который она наконец получила и всеми бумагами, необходимыми для брака. В Кройдоне, — она знала это — ее уже ждал автомобиль Макфалена, ей казалось, что аэроплан двигается недостаточно быстро.

В этом небольшом пространстве внутри аэроплана, летевшего над Ламаншем, был сосредоточен в эти последние минуты целый мир разнообразных и неповторимых вещей, несколько долгих жизней, множество правильно и неправильно понятых чувств, сожалений, надежд и ожиданий, — это была целая сложная система человеческих отношений, на тщетное изложение которой потребовались бы, быть может, годы упорного труда. Их соединение вместе, именно здесь и именно теперь, было, в свою очередь, результатом миллиона случайностей, неисчислимое богатство которых недоступно человеческому воображению, так как для того, чтобы знать точную причину, приведшую каждого из этих пассажиров в аэроплан, нужно было бы знать все, что предшествовало этому полету, и восстановить, таким образом, в эволюции последовательных обстоятельств, почти всю историю мира. И расчет, который привел каждого из этих людей сюда, исходил, может быть, из давным давно совершенной — в неизвестных для нас условиях — ошибки, если слово ошибка здесь вообще имеет какой-нибудь смысл. Но точно так же, как мы видим небо полукруглым сводом в силу оптического недостатка нашего зрения, так же всякую человеческую жизнь и всякое изложение событий мы стремимся рассматривать, как некую законченную схему, и это тем более удивительно, что самый поверхностный анализ убеждает нас в явной бесплодности этих усилий. И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается глубочайшая сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены таким образом на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира; могут быть прекрасны сами по себе, — как медленный бег солнца над океаном, как волны ржи под ветром, как прыжок оленя со скалы, в красном, вечернем закате, — но они так же случайны и, в сущности, почти всегда неубедительны, как все остальное. Но мы склонны им верить и мы особенно ценим их, потому что во всяком творческом или созерцательном усилии есть утешительный момент призрачного и короткого удаления от той единственной и неопровержимой реальности, которую мы знаем и которая называется смертью. И ее постоянное присутствие всюду и во всем делает заранее бесполезными, мне кажется, попытки представить ежeminутно меняющуюся материю жизни, как нечто, имеющее определенный смысл; и тщетность этих попыток равна, быть

может, только их соблазнительности. Но если допустить, что самым важным событием в истории одной или нескольких жизней является последний по времени и только раз за всю жизнь происходящий факт, то полет аэроплана, в котором находились Сергей Сергеевич, Лиза, Лола Энз, Людмила и жизнерадостный человек в съехавшей шляпе, был именно этим событием, потому что, когда аэроплан находился над серединой пролива, люди, ехавшие внизу, на пароходе, видели, как он стремительно падал вниз, объятый черно-красным вертикальным вихрем дыма и огня.

130

Слетов привез Ольгу Александровну в Бурже после того, как ждал ее чуть ли не целый час в холле ее гостиницы, и они успели увидеть только улетающий аэроплан. Она провела еще один мучительный час на аэродроме, в ожидании следующего аппарата и так настойчиво требовала сказать правду, что Слетов в конце концов должен был ей рассказать, в чем дело. После этого она совсем потеряла голову. С подурневшим от неостанавливающихся слез лицом, она села наконец в аэроплан и уехала одна; Слетов не мог ее сопровождать, у него не было визы; у Ольги Александровны, как у всех членов семьи Сергея Сергеевича, был английский паспорт. Когда она сошла с аэроплана, в Кройдоне было необычное возбуждение. Слово «катастрофа» долетело до ее слуха, но она не поняла его. Джонсон, отправившийся в Кройдон вместе с шофером, чтобы встретить Сергея Сергеевича, первым увидел ее. — Отвезите меня к нему, — сказала она, даже не поздоровавшись и таким голосом, что Джонсон не мог не только спросить ее о чем бы то ни было, но даже ответить что-либо. В клинике она не могла дождаться минуты, когда ее пустят к Сереже; наконец в сопровождении врача, она вошла в его комнату и наклонилась над ним. Он открыл глаза.

— Мапочка! — сказал он, — слава Богу, я тебя увидел, теперь я могу умереть.

Ольга Александровна с отчаянием посмотрела на доктора. Тот улыбнулся и сказал, что всякая опасность миновала.

Она спустилась на колени перед его кроватью быстрым движением и поцеловала его руку. Он сделал усилие и улыбнулся.

— Вот... — сказал он с трудом, — когда я приходил в себя, я только на это надеялся... только твое лицо, мамочка, только твои глаза... Больше у меня ничего не оставалось... И чтобы ты сказала «мой беленький».

Изменившимся и немного смешным от слез голосом Ольга Александровна говорила:

— Мой мальчик, мой Сереженька, мой беленький, все будет хорошо, ты увидишь.

Был холодный и ветреный день, было около двух часов пополудни — и в кабинете Сергея Сергеевича в Париже Федор Борисович Слетов, которому только что позвонили по телефону, сидел, опустив голову на письменный стол Сергея Сергеевича и плакал навзрыд, как ребенок.

Мы выражаем признательность американскому слависту Ласло Диенешу, благодаря которому роман Г. Газданова «Полет» появился в нашем журнале.

ЛАСЛО ДИЕНЕШ — автор книг «Русская литература в изгнании: Жизнь и творчество Гайто Газданова», выпущенной в 1982 году в Мюнхене издательством Отто Загнера, и «Библиография произведений Гайто Газданова», изданной в том же году в Париже Институтом славянских исследований, а также ряда статей о творчестве Г. Газданова.

Предлагаемая вниманию читателей «ДН» статья — переработанный для нашего журнала вариант предисловия к гаагскому изданию «Полета».

ЛАСЛО ДИЕНЕШ
(США)

«Рождению мира предшествует любовь...»

ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ «ПОЛЕТ»

1

«Каждому состоянию души соответствует известное мировоззрение...»

«Полет»

...Какое незаурядное сочетание: острый ум, хорошее образование, тонкое знание «движений души», глубокое понимание человеческой судьбы («la condition humaine»), большой жизненный опыт, накопленный еще в начале жизненного пути, когда впечатления особенно свежи и сильны, прекрасный дар слова и повествования,— все что нужно, и даже больше, для того, чтобы стать настоящим писателем!..

131

«Полет» — одно из самых утонченных произведений Газданова-психолога. Это «камерная драма», или, может быть, правильнее было бы даже сказать — «камерная музыка». Вполне вероятно, что это самая удачная его попытка создать музыкальное впечатление. Это повествование о жизни узкого круга лиц, в основном, членов одной семьи, о самом сокровенном в их жизни, об их любовных взаимоотношениях. В нем дается тончайший анализ их «психологического существования», самых потаенных чувств и мыслей. Писатель изучает и славит любовь, глубоко исследует ее сентиментальные «путешествия» и «полеты», пристально вглядывается в бесчисленное множество форм, которые она принимает. Через роман проходит несколько рискованная тема любви юноши к его тетке и тема весьма запутанных любовных отношений членов семьи Сережи, юного главного героя романа (его отца, Сергея Сергеевича, и его матери, Ольги Александровны; его отца и тети Лизы; его тетки и его самого; его матери, тетки и их любовников; других второстепенных персонажей). Этот роман может также служить во многих отношениях иллюстрацией стиля и проблематики всего творчества Газданова (особенно довоенного периода), поэтому большинство наших комментариев можно отнести не только к роману «Полет», но и ко всей его прозе.

В «Полете», как и в других произведениях (за исключением, пожалуй, некоторых поздних романов 60-х годов), Газданов предстает последовательным агностиком и психологом-сенсуалистом. Он (так же, как и отец Сережи, один из «выразителей» его мыслей в романе) считает, что истоки всех достижений разума и интеллекта, общественных явлений и исторических событий можно отыскать в инстинктах и эмоциях, врожденных наклонностях и влечениях. Такое видение мира находит свое выражение в особом построении повествования и выборе тем. Эпизодичность повествовательной манеры Газданова, которую много критиковали, но никогда до конца не понимали, отражает его неверие в логическую последовательность событий, складывающихся в человеческую жизнь. В мире Газданова нет начал и окончаний, есть только поток форм жизни, бесконечное течение, и единственное, что интересует писателя, это — «движения души», как он

часто их называет, эволюция чувств. Каждый эпизод в его произведениях построен так, чтобы представить метафизическую сущность его темы: характеров и событий, ситуаций и переживаний. При таком освещении невозможно выстроить вещь по горизонтальной временной оси причинных связей; она должна быть расположена по вертикальной, вневременной, сущностной оси, *sub specie aeternitatis*. Писатель пытается объять всю полноту данного существования («В некоторых, почти сверхъестественных, состояниях души, глубина жизни открывается во всей своей полноте, и каким бы заунывным ни было представшее зрелище, оно становится ее символом», как говорит Бодлер в «*Fusées. Mon Cœur Mis à Nu*»), и именно в этом смысле мы можем говорить о глубине исследования человеческих эмоций, описаний эпизодических персонажей и событий у Газданова. Такого рода повествование не ограничивает изложение событий одним, как это происходит при последовательно развивающемся сюжете, или двумя направлениями — вперед и назад, когда оно начинается *in medias res*, а позволяет ему развиваться последовательно и (или) одновременно во многих направлениях. Именно такое движение, перенесенное в сферу психологии, Газданов называет «движениями души», «эволюцией чувств», и это разнонаправленное движение и составляет «сюжет» его произведений. Чем больше «эпизодов» (каждый из которых состоит из одного или нескольких «движений души») содержит роман, тем богаче он становится. Такое композиционное построение точно отражает авторское видение жизни. Каждая человеческая жизнь, по Газданову, состоит из ряда эпизодов, начало которых затеряно во тьме и цель которых нам неизвестна. Любая попытка выстроить в художественном произведении схему жизни так, как будто в ней есть разумная внутренняя логика или последовательность событий, обречена на неудачу. Таким образом, на этой горизонтальной плоскости не может быть иного единства, кроме единства восприятия, «внутреннего видения» и сентиментального, лирического контекста или подтекста. На вертикальной плоскости, однако, как совершенно четко резюмирует Газданов в одном из ключевых романов «Эвелина и ее друзья», в каждой человеческой жизни существует некий «центральный момент», к которому, по-видимому, было направлено все ему предшествующее, а все происшедшее позже является его следствием:

«Этими долгими зимними вечерами, когда я сидел в своей квартире, в той идеальной душевной пустоте, в которой я находил столько положительного, а Мервиль столько отрицательного, я думал о разных вещах, но думал так, как мне почти не приходилось этого делать раньше. — вне всякого стремления придти к тому или иному, заранее намеченному выводу, который мне лично казался бы желательным. Я убеждался в том, что классическое построение всякой литературной схемы чаще всего бывает произвольным, начинается обычно с условного момента и представляет собой нечто вроде нескольких параллельных движений, приводящих к той или иной развязке, заранее известной и обдуманной. От этого правила бывали отступления, как например, введение пролога в старинных романах, но это было, в сущности, отступлением чисто формальным, то есть переносом действия на некоторое время назад, когда происходили события, не входящие в задачу данного изложения. Вместе с тем, мне теперь казалось, что всякая последовательность эпизодов или фактов в жизни одного человека или нескольких людей имеет чаще всего какой-то определенный и центральный момент, который далеко не всегда бывает расположен в начале действия, — ни во времени, ни в пространстве — и который поэтому не может быть назван отправным пунктом в том смысле, в каком это выражение обычно употребляет-

ся. Определение этого момента тоже заключало в себе значительную степень условности, но главная его особенность состояла в том, что от него, если представить себе систему графического изображения, — линии отходили и назад, и вперед. То, что ему предшествовало, могло быть длительным, и то, что за ним следовало, коротким. Но могло быть и наоборот — предшествующее могло быть коротким, последующее — долгим. И все-таки этот центральный момент был самым главным, каким-то мгновенным соединением тех разрушительных сил, вне действия которых трудно себе представить человеческое существование.

Этот центральный момент, в котором сходятся все силы, играющие сколь-нибудь значительную роль в жизни и который определяет значение прошлого и направление и возможности будущего, эта центральная точка непригодна ни для «горизонтального восприятия», ни для «горизонтальной трактовки». Каждый эпизод романа посвящен одному такому центральному моменту. То, что предшествовало или следует за этим критическим моментом, освещено им и представлено только в той степени, в какой связано с ним. Сюжета в традиционном смысле нет, его не может быть, потому что отсутствуют причинные связи.

2

Герои Газданова во власти мимолетных мыслей и образов, настроений и ощущений, и все это жизненно важно для них. «То, что мы видим, определяется тем, что мы собой представляем», — говорят его персонажи и верят этому. Большинство его автобиографических персонажей — истинные интеллектуалы, которые не могут не думать, и единственный выход, известный им, — это погружение в мир инстинктов, страстей, чувств, по сравнению с которым мир разума кажется бедным и неинтересным. Их беда в том, что они не могут постоянно пребывать в этой жизни. Все герои произведений Газданова мечтают о такой жизни, но очень немногие из них оказываются созданными для нее. Они — странники, они в поисках «реального», своей подлинной сущности и мира, так как он живет в этой сущности и ею. Рассказать об этих поисках, попытаться рассмотреть их изнутри, во всей полноте — наиболее интересная задача для Газданова. Его книги — это описания таких поисков (или «путешествий», как он любит метафорически их называть) в духовно-психологических перипетиях личной жизни. То, что автор не всегда отделяет себя от «искателей», населяющих его романы, может показаться слабостью, отсутствием дистанции и, вследствие этого, контроля над ними, но, с другой стороны, это также может объяснить чрезмерную эмоциональность, поэтическую напряженность его лучших страниц, где муки поиска все-таки выражены Газдановым с присущей ему классической ясностью и сдержанностью (наилучший пример идеального равновесия этих двух принципов — творчество Пушкина).

В лице Газданова мы имеем русского писателя, который прошел через разрушительный опыт мировой и гражданской войны, полное крушение цивилизации, и, что еще более важно — человека, который приобрел тот особый опыт двадцатого века, который можно назвать «арзамасский ужас», т. е. потерю самого себя, своей личности, муки и тревогу, которые овладевают человеком, когда он размышляет над наивысшими проблемами человеческого существования в мире, сведенном им самим до чисто человеческих измерений, и в котором он таким образом — превыше всего. Газданову удастся передать этот экзистенциальный опыт, что делает его подлинно современным писателем XX века (в том смысле, как понимается это слово на Западе). «Полет» — одновременно и пример

такого «ужаса», и попытка его преодоления. С одной стороны — слепой и бессмысленный случай, правящий человеческой жизнью, как это видно из заключительной части романа, или ирония и цинизм Сергея Сергеевича, с другой же стороны — гимн любви, безусловная вера в любовь, исповедуемая почти всеми остальными героями романа.

Для стилистики «Полета» характерна строгая экономия образных средств, тщательный отбор деталей, наводящих на размышление, опора на звук и ритм, тонкое чувство языка. Эмоциональная напряженность смягчается классическим стилем, неукоснительно соблюдаемым, не позволяющим смятению сердца разрушить или исказить строгий строй прозы. Манера изложения ровная, фразы следуют друг за другом свободно и легко, несмотря на то, что автор любит многосоставные, сложные предложения; безупречный непрерывный ритм делает его прозу — в лучших ее образцах — подлинно поэтической. Воздействие на читателей оказывают прежде всего язык и стиль произведений Газданова: выделить «содержание» практически невозможно, так как то, что он говорит, определяется тем, как он это говорит. Форма, в которую он облакает содержание, выражает самое это содержание: они неразделимы. Его прозе присуща умная элегантность, поскольку она никогда не бывает бесцельной, и элегантный ум, поскольку ее (прозу) невозможно смутить. Можно оспаривать или отвергать его позицию, агностицизм, сенсуализм, но нельзя отрицать, что он стремится быть верным себе и становится таким, что его книги верны своей внутренней музыке, и именно это постоянство создает индивидуальное и поэтому уникальное видение мира. Лирическое Я автора-рассказчика — главного героя находится точно в центре, выстраивая его, по большей части автобиографичные, т. е. личностные лирические произведения. Повествование почти всегда ведет лирический герой, оно — ассоциативное и рефлексивное: эпизоды, где повествование ведется от первого лица, произвольно чередуются с эпизодами, излагаемыми объективным, всезнающим рассказчиком, что по сути тоже является скрытым авторским монологом. Писатель зачастую избегает прямых комментариев событий и поступков героев, необходимый эффект достигается точно выбранным ракурсом изображения.

Своеобразие стиля Газданова состоит в его способности вернуть словам их первоначальное значение, а также сочетать чрезвычайную чувствительность к тонкостям языка и эмоций с классически ясным способом их выражения. Он один из тех писателей, которые мечтали, как говорит Бодлер в предисловии к своим «Маленьким поэмам в прозе», «в часы душевного подъема создать чудо поэтической прозы, музыкальной без ритма и без рифмы, настолько гибкой и упругой, чтобы передать лирические движения души, неуловимые переливы мечты, содрогания совести».

Многозначность такой прозы происходит из ее чувственности и пластичности; пронизательность, интуиция, интеллектуальные размышления передаются с помощью чувственных и зрительных измерений существования. Обманчивая простота такого искусства возникает благодаря очевидной легкости, с которой писатель обращается со своим материалом, и кажущемуся отсутствию средств, которыми он создает свои достоверные картины настроения и атмосферы. Его проза непосредственна и неприукрашена, но при этом всегда изысканна и никогда не однообразна и не банальна. Несмотря на свою прямооту, она всегда живая и яркая, отчасти — благодаря ритму, отчасти — необыкновенной пластичности, тому качеству, за которое Газданова единодушно хвалили критики! ¹

¹ О пластичности и чувственности прозы Газданова см., в частности, многочисленные

Столь же необычно в «Полете», как и во всем творчестве Газданова, талант рассказчика, делающий его произведения «захватывающими» и увлекательными, даже в том случае, когда они написаны «ни о чем» (в качестве характерного примера можно привести написанный в 1938 году рассказ «Бомбей», остроумный полемический ответ на критическое замечание Ходасевича о том, что Газданову «нечего сказать»¹) сочетается с его склонностью к созерцательной, интеллектуальной прозе (черта, которая особенно развилась в поздних рассказах, написанных в 60-е годы, таких как «Нищий», «Письма Иванова», и представляет собой попытку создания новой медитативной прозы в классической форме, возможно, в стиле Камю, с которым французские критики сравнивали Газданова). Самой поразительной особенностью стиля Газданова в «Полете», однако, является отрегулированное напряжение (или, другими словами, добытые тяжким трудом гармония и равновесие) между высоким эмоциональным накалом историй жизни и любви, которые он описывает, т. е. жизненно важным «подтекстом», и сдержанностью и простотой свободно льющегося, прозрачного и чистого языка. Это вполне можно считать французским влиянием: как указывал Ремизов, ассимиляция западного влияния, вероятно, была важнейшим вкладом, сделанным вторым поколением русских писателей-эмигрантов (включая и Набокова) в развитие русской прозы².

«Полет» можно назвать «французским» романом и в некоторых других отношениях. Смелая тема, относительно откровенная трактовка любви, как в эмоциональном, так и в физическом плане, то, что действие происходит в основном во Франции,— все это делает роман «не-русским» в традиционном смысле, хотя, за некоторыми исключениями, его главные герои — русские,

рецензии Г. Адамовича в «Последних новостях»: 15-го февраля 1934 г. («Каждое слово светится, пахнет, звенит, и если автор мимоходом расскажет о ночевке в Сибири, на берегу большой реки, то сделает это так, что читатель чувствует какую-то, почти физическую свежесть, будто река и темное лесное приволье где-то тут, поблизости, рядом»); 10-го декабря 1936 г. («Рассказ <«Смерть господина Бернара»> восхитительно написан,— как, впрочем, всегда пишет Газданов, с необычайной изобразительной меткостью, с какой-то вкрадчивой, бесшумной, гипнотизирующей эластичностью ритма»); 7-го октября 1937 г. («...необычайное сочетание... с редким даром писать и описывать, со способностью находить слова, будто светящиеся или пахнущие, то сухие, то влажные, в каком-то бесшумном, эластическом сцеплении друг за другом следующие»); 23-го июня 1938 г. («Немного найдется сейчас русских писателей, не только среди молодых, но и среди старших, которые наделены были бы такой свежестью восприятия, такой способностью чувствовать и отражать в слове краски, запахи и звуки, всю «влажную, живую ткань бытия».) и 10-го ноября 1938 г. («Стиль у Газданова, впрочем, подкупает особой, лишь этому писателю свойственной, почти физической свежестью. В противоположность Сирину, слог которого вызывает в воображении какие-то электрические ассоциации, у Газданова фраза как бы влажна в составе своем. «Солнце пахнет травами»,— писал когда-то Бальмонт. У Газданова слово пахнет дождем, туманом, напоминает ветку, полную росы. Это очаровательное свойство газдановской манеры писать, и притом свойство неподражаемое, никто, по крайней мере, из его сверстников не сумел эту его особенность перенять»). Похожи замечания В. Ф. Ходасевича («Персонажи Газдановских романов, как и рассказов, всегда или почти всегда очень живы; все изображенное всегда необыкновенно образно; изобразительный дар Газданова, как и дар чисто словесный, несомненен... Подлинный, очень изысканный и даже крупный литературный талант Газданова отрицать решительно невозможно... повторяю, таких дарований, какое отпущено Газданову, в молодой нашей литературе,— одно, два,— и обчелся»), «Возрождение», 23-го декабря 1938 г., или Владимира Вейдле («Газданов — писатель очень талантливый... Когда его читаешь, становится очевидным, что девяносто девять сотых советских прозаиков и девять десятых эмигрантских о словесном искусстве вообще понятия не имеют, что слова у них не услышаны, не произнесены, а просыпаны кое-как, точно шрифт из газетного набора»), «Русские записки» № 14, 1939 г.

¹ По поводу обвинения, что Газданову нечего сказать, но говорит он это блестяще, см. рецензию Г. Адамовича «Русские записки. Часть литературная» — «Последние новости», 23 июня 1938 г. или ответ В. Ходасевича на рассказ «Бомбей», озаглавленный «Книги и люди. Русские записки, апрель-июнь» — «Возрождение» за 22 июля 1938 г.

² А. М. Ремизов. Ответ на анкету: «Какое произведение русской литературы последнего пятилетия Вы считаете наиболее значительным и интересным?» («Новая газета» за 1 апреля 1931 г.)

эмигранты из России, причем, вполне состоятельные, преуспевающие люди. Газданова иногда критиковали за то, что он рисует идиллическую картину жизни русской эмиграции, делая своих героев богатыми и беззаботными. В «Полете» это имеет особый смысл: поскольку тема романа — любовь, чем меньше другие стороны жизни вторгаются в повествование, тем лучше писатель может сконцентрировать на ней свое внимание. Совершенно ясно, что Сергей Сергеевич, его жена и невестка Лиза не могли бы вести ту жизнь, которой они живут (в соответствии со своими характерами, свободно и целиком следуя своим инстинктам и желаниям), реализовывать свои стремления (т. е. заводить романы, путешествовать по Европе, иметь несколько домов, включая и квартиру для встреч и т. д.), если бы им мешали материальные трудности. Именно свобода от экономических и социальных проблем позволяет главным героям проявить их подлинную сущность и наклонности.

3

136

«Полет» — типичный для Газданова роман ¹. В нем затронуты многие его излюбленные темы: тема судьбы, случая и смерти; тема непредсказуемости и бессмысленности человеческой жизни, проиллюстрированная самыми неожиданными и невероятными человеческими метаморфозами (в данном случае, это, например, образ Лолы Энз, стареющей актрисы — один из значительных эпизодических образов); тема искусства и литературы (как отчаянной попытки придать нашей жизни какой-то смысл); а также тема любви и эмоциональной жизни как почвы, на которой возникают все логически выстроенные схемы, моральная и социальная идеология, рациональное мышление вообще. «...Читать одно, а чувствовать и понять другое», — говорит Сереже отец, и для Лизы, когда она влюбляется, книги и искусство начинают терять значение. Здесь Газданов — тонкий наблюдатель, подмечающий психологические детали и исследующий нравы общества. Он не боится называть «общественное мнение» «проявлением коллективного идиотизма», не боится шокировать рядового читателя сюжетной линией (в истории Лолы), которая развивает тему смерти как «законной» причины и источника счастья и как отправной точки новой,

¹ Первая публикация «Полета» в «Русских записках» в 1939 г. (№ 18, стр. 3—61, № 19, стр. 17—62, и № 20—21, стр. 3—62) не привлекла к себе большого внимания, возможно, это произошло потому, что началась война и роман не был опубликован полностью. Единственные три известные нам рецензии написаны Георгием Адамовичем, все они называются «Литература в «Русских записках» и все три появились в парижской русской ежедневной газете «Последние новости» (29 июня, 3 августа и 29 сентября 1939 г.). Две из этих рецензий необычно длинны и по-видимому представляют реальную попытку наконец решительно разобраться в сущности творчества Газданова («попытку понять внутренний уклад, внутренний стиль газдановских писаний»), хотя Адамович продолжает терзаться двойственным отношением к произведениям Газданова. Тем не менее, он осыпает Газданова похвалами: «О том, что Газданов очень талантлив, споров быть не может. Отрицать это способен был бы только человек или недобросовестный, или совершенно нечувствительный к свежести и силе языка, к умению изображать людей, вещи и природу, к ритму, играющему в прозе роль не менее важную, чем в стихах, впрочем, безоговорочных «отрицателей» у Газданова кажется и нет... Если бы волею судеб книги Газданова не дошли до будущих читателей целиком, а сделались известными лишь в разрозненных частях; автор «Вечера у Клэр» был бы, вероятно, включен в число самых оригинальных и крупных художников послереволюционного времени». Во второй рецензии Адамович подходит ближе, чем когда-либо до или после этого, к одной из самых существенных черт газдановского искусства: «Газданов и не гонится за психологическими редкостями. Наоборот, он ищет той сложности в общей панораме, которая произвела бы впечатление, что изо дня в день «так было, так будет» — и вместо одного человека мог бы на данном месте оказаться другой, без того, чтобы изменилось что-либо существенное. Главное у него не люди, а то, что их связывает, то, чем заполнена пустота между отдельными фигурами — бытие, стихия, жизнь, не знаю, как это назвать».

лучшей, более богатой духовно жизни. Старая актриса Лола вновь выходит замуж, на этот раз за молодого поклонника, который оказывается негодяем, готовым разрушить ее жизнь. Хотя сама она пуста, примитивна и вульгарна, она страдает от его обращения и мечтает о его смерти. По воле случая ее мечта неожиданно сбывается, и это событие затем становится толчком к ее невероятному преображению.

«Был третий час ночи, Лола начала засыпать, когда раздался телефонный звонок. Испытывая необъяснимое, восторженное предчувствие, она взяла трубку. <...> Ваш муж совершенно случайно, но очень тяжело ранен, его отвезли в госпиталь <...> Благодарю вас.— сказала она с заблестевшими глазами. Она тотчас же оделась и <...> поехала в госпиталь. Когда она вошла туда, Пьер был уже мертв. Она настояла, чтобы ей показали его труп. То, что еще несколько минут назад было Пьером, лежало, скорчившись на боку и подвернув последним предсмертным движением левую руку, с которой не успели снять золотые часы-секундомер; и на заочневшей этой руке синяя и неизменно точная, стрелка продолжала свой вздрагивающий бег по белому циферблату. Лола стояла перед трупом; в эту минуту она была по-настоящему счастлива. Она бегло подумала о том, какая прекрасная реклама будет предшествовать открытию ее мюзик-холла, внезапная смерть мужа... в трагических обстоятельствах, которые полицейское следствие... Она расстегнула с легкой брезгливостью ремешок часов, сняла их и прижала к уху, хотя и без этого было очевидно, что они продолжали идти,— и вышла из комнаты, прикрывая платком свое преобразившееся, радостное лицо. Полицейские <...> сказали ей, что в кабаре <...> произошла перестрелка между сутенерами и шальная пуля попала в ее мужа; рана, к сожалению, оказалась смертельной. Уезжая, Лола думала, что более счастливого предзнаменования для открытия ее театра, чем это неправдоподобное, заманчивое совпадение ее самой прекрасной мечты с самой несомненной действительностью, быть не может. Она вернулась домой, совершенно ошалевшая от счастья, приняла, просто для удовольствия, от необходимости как-нибудь проявить свое счастье, вторую дозу слабительного — первая была принята давно, еще до телефонного звонка и не являлась чем-то необыкновенным: Лола принимала эту порцию каждый вечер,— выпила целый стакан портвейна, легла и заснула крепким сном. каким не спала уже много месяцев». (Выделено мной — Л. Д.)

Все детали в этом отрывке: радостное предчувствие Лолы, оправданное тайным стремлением принять желаемое за действительное, на самом деле легко объяснимое обстоятельствами, поскольку в такое время обычно звонят только в случае крайней необходимости; то, как Лола снимает золотые часы с руки Пьера, делая вид, что хочет проверить, идут ли они, но на самом деле для того, чтобы оставить их себе; мысль, которая мелькает у нее в голове в тот момент, когда она смотрит на труп, о том, какой прекрасной рекламой послужит неожиданная и трагическая смерть мужа для ее нового мюзик-холла; то, как она закрывает лицо, чтобы соблюсти приличия и изобразить боль и страдание, хотя на самом деле пользуется этим ритуальным жестом, только чтобы спрятать свою радость,— все эти подмеченные автором детали достойны писателя толстовского масштаба. Нужно иметь мужество говорить такие нетрадиционные вещи, и, конечно, огромный талант, чтобы представить эти чувства убедительно после нескольких страниц очень сжатых описаний. Можно продолжать приводить примеры тонких наблюдений, сделанных Газдановым, от «улыбки в голосе» («и

в голосе его послышалась невольная и неожиданная улыбка») до наблюдения о том, что одинаковые имена отца и сына могут иметь для Лизы, которая теперь ненавидит одного Сережу и страстно любит другого, совершенно разные эмоциональные оттенки («Но она прекрасно понимала, что Сергей Сергеевич — если предположить, что в нем вдруг вспыхнет ненависть,— будет ей более страшен, чем кто бы то ни было. И какая глупая мысль — назвать сына своим собственным именем! А вместе с тем в этом втором имени — Сережа,— казалось бы точно похожем на первое, звучали те интонации, которые невозможно было даже предположить; казалось невероятным, что в этом же самом слове сначала — только гулкая пустота и ожидание, а потом, во втором, настоящем... Что во втором? ручей, зеленая трава, далекий серебряный колокольчик, легкий ветер над поверхностью мягкого моря — самая лучшая, самая чистая любовь»). В «Полете» есть ряд других тем и мотивов, которые встречаются и в других произведениях Газданова: анализ детской или юношеской психологии (здесь это пробуждение эротического чувства у Сережи) был очевиден уже в «Счастье» и в «Ошибке». Метаморфоза Лолы созвучна событиям многих последующих работ — «Пилигримы», «Эвелина и ее друзья», «Пробуждение» и т. д. Писание мемуаров, тип старой и глупой актрисы или постоянно влюбленного мужчины, открытие мюзик-холла, появление посредственных писателей, а также «негров», пишущих мемуары за знаменитостей,— все эти второстепенные мотивы вновь встретятся в произведениях Газданова, особенно в «Эвелине и ее друзьях».

Возможно, что Газданов перевел «Полет» или, по крайней мере, его первую главу, на французский язык и в конце 30-х годов передал его французскому издательству. В одной из записных книжек сохранился черновик сопроводительного письма, в котором Газданов кратко излагает содержание романа и свой замысел¹. Это единственный известный нам «кратко изложенный сюжет» и рассуждение о художественном замысле, оставленные Газдановым, и уже хотя бы поэтому стоит процитировать этот очень интересный документ.

«Роман, главные персонажи которого появляются в первой главе, переведенной и представленной в издательство, происходит в нескольких параллельных плоскостях. Его герои связаны друг с другом единством времени и действия, и той общей трагической развязкой, которой кончается книга. Центральный конфликт сосредоточен на судьбе Сергея Сергеевича, Лизы и Сережи. Во время пребывания Лизы и Сережи на Ривьере, она, уступая своей страсти, в чудовищности которой она отдает, однако, себе отчет, становится любовницей Сережи, который ровно вдвое младше ее: ей 32, ему 16 лет. С наступлением осени они расстаются: она возвращается в Париж, Сережа уезжает учиться в Англию. Он не может, однако, удержаться от соблазна вернуться на несколько дней в Париж, где Лиза ждет его в той квартире, которую снял для нее Сергей Сергеевич в те времена, когда они были близки. В вечер приезда Сергей Сергеевич, после долгой прогулки по городу решает поговорить с Лизой о самых важных вещах — идет к ней на квартиру. Он застаёт ее одну, в кровати: она в ужасе умоляет его уйти. Он колеблется некоторое время и начинает говорить ей об их прошлом: в это время открывается дверь и входит его сын, который вышел на несколько минут за покупками. Он слышит последние слова отца, бросает пакет, который держал в руках, и уходит. В ту же ночь, в Лондоне, он стреляется, но пуля не задевает

¹ Оригинальный русский текст этого документа хранится в архиве Г. Газданова в Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс. Архив был передан в дар Гарвардскому университету вдовой писателя в 1976 г. Он размещен в Библиотеке Хотон, в коллекции редких книг и рукописей и содержит полную рукопись романа (№ 308). Текст романа печатается с разрешения библиотеки Гарвардского университета.

сердца и жизнь его вне опасности. После его ухода в квартире Лизы происходит трагический диалог между Сергеем Сергеевичем и Лизой: он требует, чтобы она навсегда отказалась от Сережи — во имя той самой любви к нему, о которой она говорит. Он пытается убедить ее, что настоящая любовь заключается в готовности отречения от своих собственных интересов — и впервые за всю жизнь он говорит ей о себе, том, каким он является в действительности, а не том, каким он кажется окружающим — человеком, главное побуждение которого — это жалость к людям. Она, однако, не безгранична — и в своих требованиях к Лизе он остается неумолим. Он покидает ее на том, что не остановится ни перед чем в своем стремлении сделать так, чтобы Лиза никогда больше не увидела Сережи. Утром ему звонят из Лондона и сообщают, что Сережа покушался на самоубийство — и в это время входит Лиза. Он заказывает три места в первом аэроплане — для жены, себя и Лизы. Чтобы известить об этом жену, он посылает за ней своего друга, Слетова, а сам уезжает с Лизой на аэродром.

В этом же аэроплане летит Людмила Кузнецова — в Англию, чтобы там выйти замуж за богатого и пожилого человека, который ее ждет с нетерпением — и Лола Энз, совершающая этот полет, чтобы получить деньги, оставленные на ее имя в одном из лондонских банков одним из ее давно умерших любовников, много лет тому назад. Мать Сережи, предупрежденная слишком поздно, опаздывает на этот аэроплан, что спасает ее от смерти. Книга кончается ее свиданием с сыном, который вне опасности. Первый аэроплан загорается в воздухе и гибнет со всеми пассажирами.

Таковы, в нескольких словах, главные события романа. Но то, для чего я писал «Полет», это внутренняя психологическая последовательность разных жизней, остановленная слепым вмешательством внешней силы, уравнившей в несколько секунд судьбы этих героев, независимо от того, в какой мере каждый из них заслуживал или не заслуживал этой участи (и это) не может, конечно, быть разрешено в этом кратком изложении, вынужденном ограничиться только перечнем событий. Я позволю себе только привести пассаж, в котором заключены более или менее сжато некоторые комментарии автора — и где сохранены, таким образом, общий стиль и тон повествования, характерного для последней главы романа.

Этот отрывок из последней части романа, лишь полвека спустя после создания опубликованный в России журналом «Дружба народов», является действительно одним из лучших мест в творчестве Гайто Газданова, где с особенной ясностью и лаконизмом выражается его философия человеческой судьбы. Позвольте и мне закончить свои заметки словами самого писателя. Вернемся к последним страницам романа и перечитаем их, начиная с вот этих прекрасных строк: «В этом небольшом пространстве, внутри аэроплана, летевшего над Ламанием, был сосредоточен в эти последние минуты целый мир разнообразных и неповторимых вещей, несколько долгих жизней, множество правильно и неправильно понятых чувств, сожалений, надежд и ожиданий...»

АЛЕКСАНДР ОБОЛОНСКИЙ

На краю пропасти

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ (XIX ВЕК)

140

В № 10 «Дружбы народов» за прошлый год была опубликована моя статья «Почему Россия не стала «Западом»?». В ней я изложил свое видение истории как процесса борьбы двух конкурирующих типов сознания — системноцентризма и персонцентризма, которые различаются главным образом по тому, что именно принимается за первооснову общественного устройства — социальное целое или личность. Это и определяет два пути развития цивилизаций — системноцентристский и персонцентристский.

Долгое время системноцентризм был единственным типом массового социального сознания. Но постепенно, по мере созревания внутреннего потенциала, некоторые европейские общества начали переходить на персонцентристскую колену. Процесс этот начался в XVI—XVII веках в Англии, Нидерландах, отчасти Германии. С этих плацдармов персонцентризм пульсирующими толчками, с приливами и откатами, медленно расширяет свое влияние на всю Европу. Собственно, степень его распространения и делает, на мой взгляд, Запад «Западом».

Судьба России с точки зрения этой модели выглядит трагичной, ибо ей так и не удалось перейти в персонцентристский мир, хотя несколько раз, на исторических перекрестках, такие попытки предпринимались. Предыдущая статья была посвящена краху первых трех — в сущности, обреченных — попыток в XVII—

XVIII веках. Сейчас речь пойдет о веке XIX, когда персонцентристский тип сознания постепенно превратился в значимую альтернативную контркультуру, шансы на успех которой стали достаточно реальными. В этом особая горечь наших трагедий. Главную роль в тех событиях сыграла российская интеллигенция.

Поэтому речь пойдет в первую очередь о ее исторической миссии и судьбе.

Проблема эта принадлежит к числу «вечных». О русской интеллигенции сказано и написано очень много. Одни ее безоговорочно боготворили, называя «ломовой лошадей истории» и ее единственной светлой движущей силой. Другие — столь же категорически осуждали, возлагая на нее главную вину за российскую трагедию. При этом одинаковые, по сути, обвинения исходили

с противоположных концов политического спектра — от Ленина до авторов «Вех». Мы постараемся подойти к проблеме без огульных обвинений и восхвалений.

Разумеется, речь пойдет об интеллигенции не в западном, социологическом понимании, в рамках которого она приравнивается к «работникам умственного труда», к «профессионалам», а в русле российской традиции, где интеллигентами называют слой людей, не просто образованных, но способных и готовых в своих мыслях и поступках подняться над личными и групповыми интересами, людей с болезненно обостренным чувством гражданского долга, своей ответственности перед обществом.

РОМАНТИКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕССИМИСТЫ

Передо мной лежит книга с письмами декабриста М. С. Лунина. Хотя писал он своей сестре, но обращался ко всем — к стране и миру, призывая «содействовать духовному возрождению, которое должно предшествовать всякому изменению в политическом порядке, чтобы сделать последний устойчивым и полезным». Я вообще-то не склонен

недооценивать значение политических институтов, но думаю, что по большому счету именно от того, насколько эта идея будет воспринята и реализована нами, живущими в России конца XX века, во многом зависит судьба и наша, и тех поколений, которые придут нам на смену, а, возможно, и обитателей других районов Земли. Во всяком случае, за пренебрежение ею в прошлом мы заплатили и продолжаем платить немислимо дорогую цену. Для Лунина же она была не только уроком, вынесенным из собственного горького опыта, но и философским осмыслением итогов земного бытия первого поколения российских персоноцентристов.

Появление этого поколения на сцене русской общественной жизни можно условно датировать первым десятилетием XIX столетия. Именно тогда стало заметно давать о себе знать то расшатывание традиционалистской системы моральных стереотипов и ценностных ориентаций, которое происходило с различной степенью интенсивности уже в течение довольно значительного времени. Социальный «продукт», возникший в результате этого процесса, часто называют дворянской интеллигенцией.

Вообще говоря, интеллигенцию не следует отождествлять с носителями персоноцентристского сознания. В западных условиях эти обозначения и вообще относятся к существенно различным группам населения, ибо в некоторых странах персоноцентристское сознание является господствующим среди всех социальных слоев. Иными словами, персоноцентрист — совсем не обязательно интеллигент по своему социальному статусу, а интеллигент в принципе может рассуждать и действовать и в рамках системоцентристской шкалы ценностей (мы убедимся в этом позже, на примере следующих поколений русской интеллигенции). Однако в период, о котором мы сейчас говорим, в России оба эти понятия можно отнести практически к одной и той же группе людей. Как раз уость этой группы, противоположность ее мировоззрения взглядам основной массы населения и стала одной из причин трагической динамики русской истории в последующие десятилетия. Каковы же предпосылки появления и расцвета этого уникального цветка, «новой породы людей» — русской интеллигенции — на столь малоплодородных землях российской общественно-политической жизни?

Из факторов объективных первым, наверное, нужно назвать дворянскую свободу. Указ 1762 года о вольности дворянства, несмотря на анекдотические обстоятельства его составления и подписания, повлек за собой последствия, о которых недалекий император Петр III даже не догадывался. В России впервые возникло сословие, законодательно защищенное от произвола. Была заложена база для образования относительно независимой от власти, а следовательно, и политически свободной аристократии, что Токвиль применительно к феодальному обществу считал важнейшим необходимым условием социального прогресса. Два «непоротых» дворянских поколения породили общественную среду, обладавшую развитым чувством собственного достоинства — среду Пушкина и его современников. Вторым объективным фактором было распространение просвещения. С этим долгое время было непросто. Начатые еще при царе Алексее Михайловиче попытки привить русской жизни дух просвещения встречали столь упорное и многообразное сопротивление, что впору было подумать о какой-то «иммунологической несовместимости». Все же барьер был преодолен, и на исходе XVIII века «мысль о пользе наук» более или менее пустила корни в дворянской среде. Но собственно система образования возникла в России в начале царствования Александра I, когда наконец получил воплощение составленный еще при Екатерине проект средних (гимназий) и низших (приходских) школ. И очень быстро система стала давать плоды.

Теперь о факторах субъективных. В качестве важнейшего я бы назвал развившуюся с течением времени *способность к восприятию духа, смысла, квинтэссенции европейской культуры*, а не только ее внешних форм и плодов. Более того: на смену неразборчивому, эклектическому подражанию пришло критическое, аналитическое осмысление западной действительности, и, что особенно важно, желание использовать ее сильные стороны в качестве образцов для изменения отечественной жизни. Последнее обстоятельство было совершенно новым и определяет принципиальную разницу в ценностных установках двух поколений русских «вольнодумцев» — екатерининского и александровского. Вольтерьянцы екатерининского века в массе ориентировались на разные способы ухода от русской действительности, тогда как их сыновья видели смысл своей жизни как раз в обратном — в ее преобразовании, улучшении. «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым

страстно хотелось стать русскими» (В. О. Ключевский. Зесь и далее цитируется его «Курс русской истории»). Посмотрим, что это означало на практике.

Как известно, на Руси издавна повелось, что люди, которым претили общественные порядки, старались так или иначе порвать с ними. В зависимости от обстоятельств, они либо бежали в Европу, либо уезжали туда легально и проводили там большую часть жизни, либо устраивали некое подобие другого мира у себя дома, в своем кругу, либо, на худой конец, уходили во внутреннюю, духовную эмиграцию. Подобный эскапистский тип негативной реакции на окружающую действительность воспроизводился от поколения к поколению. А тут появилось поколение, у которого неудовлетворенность российской жизнью порождала прямо противоположную реакцию — стремление переделать эту жизнь в соответствии с усвоенными идеалами чужеземного происхождения. Желание, доселе не имевшее прецедента в российской действительности.

Воплощением такого пути «из России в Россию через Париж» был П. Я. Чаадаев. А. Лебедев в своей книге о нем даже считает, что он был «первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева». Представляется однако, что путь этот был не исключительным, а типичным для чаадаевского поколения. Размах деятельности тайных обществ в александровскую эпоху служит тому доказательством, ибо в большинстве своем общества состояли из людей, так или иначе прошедших этим путем. Например, Кюхельбекер, наблюдательный и любознательный путешественник, каждая страница путевых заметок которого дышит глубоким интересом, а часто — и восхищением перед духовными богатствами Европы, тем не менее пишет из Дрездена: «Вы себе можете представить, друзья мои, как часто бываю я у М..., можете вообразить, что мы разговариваем только и единственно о России и не можем наговориться о ней: теперешнее состояние нашего отечества, меры, которые правительство принимает для удаления некоторых злоупотреблений, теплая вера в Провидение, сердечное убеждение, что святая Русь достигнет высочайшей степени благоденствия... что небо предопределило россиянам быть великим, благодатным явлением в нравственном мире,— вот что придает жизнь и теплоту нашим беседам...» Друзья и современники Кюхельбекера, как следует из приведенного отрывка, вполне могли представить себе, что два русских, встречаясь за границей, будут говорить о судьбах России как о самом важном для них вопросе. Между тем отцам этих людей, пожалуй, и в голову не пришло бы проводить таким образом время «в Европах». Произошедшее изменение можно сформулировать очень коротко: русские дворяне выросли до роли *граждан* своего отечества.

Этому немало способствовали и внешние обстоятельства. В ходе войны с Наполеоном русская армия, в составе которой находился практически весь цвет тогдашней молодой России, дважды пересекла Европу, получив богатейшую возможность для наблюдений, сравнений, размышлений. При этом одержанная победа и сознание собственной моральной правоты позволяли этим людям, в отличие от их отцов, чувствовать себя в Европе не зеваками, попавшими в столицу из медвежьего угла, а благородными партнерами европейских народов. «С возбужденной мыслью, с сознанием только что испытанных сил, они увидели за границей иные порядки; но все, что они видели и наблюдали, имело для них значение не само по себе, как для их отцов, а только по отношению к России. Все, что они видели, и все, что они вычитывали из иноземных книг, они прилагали к своему отечеству, сравнивали его порядки и предания с заграничными. Таким образом, даже непосредственное знакомство с чужим миром только поддерживало интерес к родному» (В. О. Ключевский). К тому же французское нашествие и связанные с ним события в значительной мере излечили образцованное русское общество от не критической франкомании, столь характерной для него в XVIII веке.

Совершенно новым субъективным фактором было также принципиально иное понимание патриотизма. Он впервые тогда отделился от верноподданнических чувств к Империи, династии, лично к августейшей особе, вообще к власти предержащим, превратившись в сознание своего долга перед народом, перед страной не в политико-имперском, а в человеческом, гражданско-гуманистическом смысле слова. Иными словами, патриотизм перестал быть синонимом верноподданности. А раз так, то квазипатриотические славословия стали уступать место *патриотической скорби*, ибо русская действительность давала для нее неизмеримо больше оснований. Эти чувства боли и обиды за своих соотечественников с особой силой охватывали тех, кто возвращался в Россию со свежими впечатлениями о европейских порядках, т. е. участников Французского похода. Декабрист

И. Д. Якушкин вспоминал много лет спустя в своих записках о крайне тягостных чувствах, охвативших вернувшихся гвардейцев уже в первые часы пребывания на родной земле, когда полиция нещадно была пытавшийся приблизиться к войскам народ, а любимый царь Александр с обнаженной шпагой бросился на мужика, случайно подвернувшегося под копыта его коня.

Примечательным симптомом процесса «раскалывания личности» могут служить получившие тогда распространение отказы от официальной карьеры, причем чаще всего подобный шаг делали как раз люди, обладавшие незаурядными способностями и имевшие прекрасные перспективы продвижения по служебной лестнице. Отказ от службы отнюдь не был бегством от общественной жизни, желанием существовать в довольстве и спокойствии в своем имении либо за границей, как бывало до них, случалось и позднее. Старосветской ленью это поколение дворян уж никак не отличалось. Уходы в отставку были вызваны как раз обратным — стремлением к освобождению от казенных пут для активной деятельности на всеобщее благо.

Лунин так, например, аргументировал свое решение: «Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы... а в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были. Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтобы я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получать чины и звезды, которые французы совершенно верно называют *crachat* (плевок)... Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения: я буду приносить пользу людям тем способом, каковой мне внушают разум и сердце» (Цит. по книге Н. Я. Эйдельмана «Лунин»). Чаадаев называет два мотива своей отставки: желание эпатировать власть, выказав тем самым пренебрежение к ее милостям и «игрушкам», и намерение служить целям своего «истинного честолюбия», что значило для него постоянную напряженную работу мысли в поисках глубинного смысла русской истории и действительности. Чаадаев в своем понимании патриотического долга полностью отрешился от биологического, нерассуждающего, все прощающего чувства по отношению к родине, поставив «любовь к истине» выше «любви к отечеству».

Парадоксальным образом одним из важных факторов, оказавших влияние на формирование сознания русских интеллигентов начала XIX столетия, было *воздействие католицизма*. Как известно, в последнем десятилетии XVIII века в Россию хлынул поток политических эмигрантов из Франции. Значительную долю их составляли представители духовенства — аббаты. Эмигранты-дворяне также принесли с собой немалый клерикальный заряд. Большая часть этих людей пошла ради хлеба насущного в гувернеры и стала воспитывать детей русских дворян. В результате католическая идеология очень быстро получила среди того поколения русского высшего общества, особенно среди молодежи, довольно широкое распространение. Разумеется, эти воспитатели отнюдь не предполагали готовить кадры для дворянской революции. Их умонастроение, как известно, было весьма консервативным. Однако помимо своих намерений, они внедряли в сознание воспитанников традиции независимости церкви от светской власти, протеста и сопротивления несправедливым действиям земных правителей, а также несли с собой общий дух персонцентристского умонастроения, индивидуалистического самосознания. Кроме того, обучение в католическом пансионе близ Фонтанки, из стен которого вышла значительная часть будущих декабристов, давало превосходный умственный тренаж, приучало ленивые, в предыдущих поколениях рано заплывавшие жиром русские мозги к интенсивной работе. А соединение мыслящей, индивидуалистически настроенной личности с русской действительностью вызывало резкий психологический диссонанс и порождало гремучую смесь радикальных идей и намерений. Вот как сработали, казалось бы, охранительные католические принципы на русской почве.

Словом, именно тогда и так, на базе развития личностных начал, появилась в России интеллигенция, на долгие десятилетия ставшая единственным носителем персонцентристских ценностей и сознания. Что же было главным в этих людях? Прежде всего — ориентация на благо своего народа, искреннее намерение улучшить жизнь соотечественников на основе принципа свободы. Правда, относительно способов достижения этой цели они расходились во мнениях, но это вопрос особый. Они также не ограничивались благими рассуждениями и намерениями, а были готовы действовать, посвящать свою жизнь служению избранному общественным идеалам. И, что не так часто бывает в истории, эти стремления носили, как правило, абсолютно *альтруистический*, даже жертвенный характер. В отличие от своих отцов, они не думали ни о расширении своих

привилегий, ни о возможности занять «теплые места» в случае установления «нового порядка». Напротив, ради народного блага они были готовы лишиться всего — положения в свете, крепостных, доходов. Тщеславие тоже не могло служить для них сколько-нибудь серьезным стимулом, так как с самого начала они не рассчитывали дожидаться плодов своих начинаний, призывая друг друга к «долготерпению на десятилетия и столетия», а когда позднее часть из них вышла на площадь, то почти все они сознавали свою обреченность. Добровольно и сознательно они принесли себя в жертву и до конца дней не раскаивались в этом. Когда М. А. Фонвизин за год до смерти покидал Сибирь, где провел на каторге и поселении без малого тридцать лет, он в ноги поклонился И. Д. Якушкину, который некогда принял его в Союз спасения и тем определил всю его последующую судьбу. О нравственном характере движения свидетельствует и то напряженное внимание, которое многие (правда, не все) его участники уделяли вопросам морального совершенствования, добродетели, милосердия.

Отсюда вытекает еще одно обстоятельство, сыгравшее трагическую роль во время следствия по делу декабристов. Эти люди, при всей их нерешительности и колебаниях, были совершенно неспособны к моральным компромиссам, ко лжи «во спасение» или из тактических соображений. Кюхельбекер писал: «Мне кажется бесчестным даже в светском смысле выдавать себя за защитника какого бы то ни было учения и быть врагом одного». В соответствии с основным на этой максиме кодексом они полагали ниже своего достоинства лгать и изворачиваться на следствии. Людям нашего века, умудренным и развращенным знанием новой и новейшей полицейско-энкаведешно-кагэбэшной истории, такая позиция покажется непростительной глупостью или даже предательством. Но декабристы считали унизительным и бесчестным скрывать свои взгляды и поступки. Следствие же, разумеется, действовало на основе собственного «морального кодекса». Эксплуатируя этические принципы декабристов в своих интересах, оно умело выжимало из них все новые имена и факты. Лишь единицы из подсудимых разгадали эту игру и избрали линию поведения, хотя и нарушавшую их рыцарские принципы, но более соответствовавшую обстоятельствам, в которых они оказались.

Кроме того, для понимания нравственного облика этого слоя людей необходимо учитывать и такой чисто социологический фактор как принадлежность их к высшим уровням тогдашней социальной пирамиды России. Во многом поднявшись над своими отцами и братьями, декабристы, однако, чувствовали себя частью той самой среды, под которую «подводили мину». Как известно, декабристов судили и те, на кого они рассчитывали в случае успеха своего предприятия. Это тоже повлияло на их поведение во время следствия. И, раз уж мы затронули социологический аспект проблемы, отметим необычность тогдашней ситуации, при которой гвардейские офицеры — как правило, консервативная опора любого авторитарного режима, оказались в составе либеральнейшей части общества.

Итак, в начале XIX века в России возник персонифицизм как социально значимое явление. Это движение бросило вызов всей системоцентристской традиции, стало на путь пересмотра ее главных стереотипов. Поэтому персонифицизм в полном смысле слова можно назвать контркультурой.

Что же случилось? Почему итоги этого благороднейшего движения оказались столь печальными? О декабризме написаны горы книг — хороших и плохих, честных и конъюнктурных. Не будем сейчас полемизировать с ними. Скажу лишь несколько слов о моем понимании смысла трагедии Декабря.

Мы помним, что поначалу движение было преимущественно нравственно-просветительским и либеральным по идеологии: тайные общества работали в направлении мирного преобразования страны через просвещение, повышение общественной морали, усовершенствование государственных институтов, постепенное проникновение членов общества на ключевые позиции в государстве. Но затем в нем возобладала революционная, насильственная струя. К тому же обстоятельства подтолкнули горячие головы к выступлению. Последовала импульсивная декабрьская вспышка, впоследствии давшая имя всему движению (видимо, не вполне справедливо), и оно было растоптано. А, как известно, неудачное восстание против деспотической власти окончательно развязывает ей руки и, тем самым, еще больше укрепляет ее.

Меньше всего я хотел бы выступать в роли эдакого резонера, который из своего далекого будущего судит о поступках людей, находившихся в потоке конкретных и потому неповторимых событий и вынужденных принимать решения в условиях острого дефицита

времени и информации. Тем более, людей в высшей степени благородных, мужественных и бескорыстных. Ведь мы, в отличие от них, как бы смотрим историческую «игру» в видеозаписи, уже зная ее результат. (Эх, если бы у нас были такие же возможности по отношению к той драме, которая разворачивается перед нашими глазами сегодня и в которой мы — действующие лица.)

И все же рискну сказать, что за созерцание драмы почти рыцарской красоты, разыгравшейся на петербургских подмостках в течение одного морозного декабрьского дня, страна заплатила непомерно дорогую цену. У Медного всадника сработал инстинкт самосохранения, и он стал остервенело вытаптывать побеги смертельно опасного для него растения — персоноцентризма. Так рухнула для России очередная — четвертая по счету возможность перехода на другую колею движения. Но теперь в стране уже было то, что следовало беречь как зеницу ока — первая молодая жизнеспособная поросль персоноцентризма. А вожди Декабря, понимая ничтожность своих шансов на успех, азартно поставили ее на кон политической игры. И проиграли. И в этом они, увы, виноваты перед страной.

Казалось, что стрелки часов на циферблате истории вновь переместились в XVIII век, что персоноцентризм уничтожен бесследно. В среде нарождавшейся русской интеллигенции возобладало чувство безнадежности. (Не станем напоминать пушкинские строки из неотправленного письма Чаадаеву и многие другие известные образованному читателю вещи.) Даже Кюхельбекер, восторженно-романтический Кюхля, так веривший в лучшие качества человека и всегда идеализировавший русский народ, в конце своей жизни пришел к горьким прозрениям. Последние строчки его «Дневника», который обрывается за девять месяцев до кончины — стихотворение «Участь русских поэтов». Беспросветен весь дух стихотворения, но особенно тяжело читать заключительное четверостишие — строки, которыми заканчивал свою общественную жизнь один из самых прекрасных и добрых по отношению к окружающим людей России:

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

В самом деле, народ России, в лучшем случае, взирал с безразличием на уничтожение своих лучших сыновей — людей, пожертвовавших для блага этого народа всем, что они имели — привилегиями, карьерой, состоянием, даже судьбой своих близких — и усилия которых захлебнулись в удушающем нравственном климате страны.

Но все же видимость полного уничтожения нравственно-интеллектуального движения за обновление, к счастью, была обманчивой. Огоньки, придавленные и рассыпанные железным сапогом деспотического традиционализма, все же не погасли. «Штамм» персоноцентристской культуры оказался стойким и жизнеспособным. Об этом, в частности, свидетельствует судьба принудительно перенесенной «популяцией» декабристов на абсолютно не подготовленную и совершенно враждебную ей по своему культурному складу сибирскую социальную почву. Как мы знаем, декабристы в Сибири не только не потерялись, не зачахли, но, в большинстве своем, продолжали напряженную духовную жизнь и даже внутреннее совершенствование, поскольку печальные обстоятельства обогатили их новым жизненным опытом. Более того, им удалось привить в Сибири некоторые ростки новой культуры, часть из которых выжила и сохранилась, правда, в крайне ослабленных и «одичавших» формах. Но, во всяком случае, если обратиться к лучшим образцам и очагам культурной жизни Сибири, то окажется, что почти все они так или иначе связаны своими истоками с декабристами.

Власти не удалось до конца истребить в обществе персоноцентристский дух. Она даже была не в состоянии предупредить вспышки новых факелов оппозиционной культуры и могла лишь с тупым остервенением топтать их пост-фактум. Парадоксально, что о сохранении персоноцентризма даже в самую глухую пору — в 30-е годы — свидетельствовали собственным существованием и поведением именно те люди, которые сами оценивали ситуацию в весьма мрачных тонах и были, говоря словами Бердяева, полны «здорового социального пессимизма». Я имею в виду, прежде всего, Лунина и Чаадаева.

Как известно, «звездный час» Лунина наступил в ссылке, когда он стал одно за другим писать и отправлять письма, в которых со спокойным достоинством обсуждал,

иногда соглашаясь, а иногда отвергая широкий круг аспектов политики правительства. Такого рода свободное критическое обсуждение действий власти в те времена в ряде стран уже считалось естественным порядком вещей. Однако в России подобная независимость суждений по вопросам, испокон веку остававшихся монополией власти, святая святых ее исключительных прерогатив, была беспрецедентной, тем более, что исходили они из уст человека, который был высочайше осужден, т. е., по системоцентристским стандартам, подвергнут гражданской смерти. Медному всаднику было от чего прийти в неистовство. Власть свела с Луниным счеты в стиле самых гнусных своих обыкновений — физического уничтожения лишенного всякой защиты заключенного сначала предельным ужесточением режима содержания, а затем — и прямым убийством его в тюрьме. (Обо всем этом прекрасно написано в, лучшей, по-моему, книге талантливейшего, столь безвременно ушедшего Н. Я. Эйдедьмана.)

Традиция подобных расправ одним своим концом уходит, по крайней мере, в XIV век, другим — прорезает наше совсем недавнее прошлое и, боюсь, еще не оборвалась. Но в нашей истории духа лунинское выступление осталось светлой вехой, доказательством жизненной силы русского персоноцентризма, ярким примером того, как истинно мужественный и убежденный человек даже в самых беспроектных обстоятельствах может бросить вызов абсолютной власти, тем самым заставляя ее почувствовать свое моральное бессилие и утверждая собственное нравственное превосходство.

Пожалуй, Лунин и Чаадаев первыми в России поняли, что истоки гнетущей пустоты и жестокости русской общественной жизни следует искать не в деспотизме правителей, не в злой воле отдельных личностей, а во всем историческом пути России, прошедшем где-то в стороне от магистральных дорог развития человечества.

И все же при Николае I, несмотря ни на что, продолжалось медленное размыwanie системоцентристских стереотипов. И когда на сцену русской истории вышло следующее поколение, стало ясно, что персоноцентризм не погиб. «Люди 40-х годов» приняли идейно-этическую эстафету из рук первого поколения русских интеллигентов. Приняли и двинулись дальше. Казалось бы, шансы на благополучный поворот в нашей исторической драме вновь возросли. Но духовное одиночество русской интеллигенции заложило фундамент новой трагедии.

Для России подлинным несчастьем стало то, что интеллигенция оказалась единственной в стране группой, постоянно работавшей в направлении моральной и социальной модернизации общества. Несколько ее поколений, по сути, в одиночку бились над этой гигантской задачей. В других странах это бремя распределялось между различными группами и слоями, что связывало их дополнительными узами общности, сознанием единства исторической судьбы и ответственности. В результате процесс трансформации ценностной шкалы общества проходил в этих странах менее драматично и, в конечном счете, значительно более успешно. Скажем, в Англии роль наиболее активного носителя гражданского самосознания, главного (но не единственного) попечителя об общественном благе на протяжении нескольких веков выполняла властвовавшая аристократическая элита. Однако при этом она пользовалась поддержкой, а, значит, в определенной мере, и находилась под социальным контролем горожан («третьего сословия»), части духовенства, йоменов, не говоря уж о работниках умственного труда, («brain workers») — интеллигентах в англо-саксонском смысле слова, слое, возникшем в Англии на несколько веков раньше, чем в России.

В России же интеллигенции не с кем было разделить свою ношу, и она подняла ее одна. Подняла и двинулась к мерцавшему вдалеке свету, окруженная равнодушием, а то и враждебностью всех прочих подданных Империи. Шло время, сменялись поколения, но ситуация в этом отношении оставалась прежней. Системоцентристский генотип сопротивлялся каким-либо существенным изменениям. Он оказался у русской нации очень устойчивым.

Интеллигенция в одиночку билась над гигантской задачей персоноцентристской переориентации общества. Даже самые неожиданные стечения событий, самые сложные повороты нашей новой истории, словом, все то, чем она, к несчастью, так избыточно богата, не могло заставить интеллигенцию упустить из виду на сколько-нибудь продолжительное время свою главную цель. В мировой истории трудно найти другой такой пример, когда бы целый общественный слой на протяжении нескольких поколений жил бы идеалами социального альтруизма, бескорыстного служения своему народу.

Но эта позиция одинокого героизма российской интеллигенции имела и трагические

последствия. Хотя интеллигенция в своей массе стремилась не отрываться от народа, а, напротив, поднять его до понимания неких общих идеалов, между ними возникла не зарастающая пропасть. И существование этой пропасти представляется, может быть, главной причиной трагического развития нашей истории в XIX и XX веках, т. е. с момента, когда в России появилась интеллигенция.

Разделяет ли интеллигенция ответственность за то, что, вопреки своим намерениям, она оказалась изолированной? Не слишком ли далеко опередила она свой народ? Реалистичным ли было пытаться столь круто изменить его глубинные установки? Не оказалось бы лучше для дела, если бы наша интеллигенция была настроена не столь максималистски, а проявила бы большую склонность к компромиссу, классовому сотрудничеству? Все это непростые вопросы.

Ведь интеллигенция всегда в какой-то степени оппозиционна по отношению к власти и оппозиционна вдвойне в условиях консервативного традиционалистского общества с деспотическим политическим режимом. В этих условиях интеллигент-конформист — понятие абсурдное. Интеллигент, вставший на последовательно охранительную по отношению к деспотическому порядку вещей позицию, постепенно нравственно деградирует и в конце концов гибнет как личность. В рассмотренном нами только что периоде примером такой судьбы является жизнь литератора и издателя Фаддея Булгарина.

Но «монополизация» оппозиционного статуса, закрепление его за какой-то одной общественной группой тоже содержит в себе опасность — возникновение *сектантской психологии* со всеми вытекающими последствиями.

Не следует также сводить явление оппозиционности только к его политической разновидности. Ведь большая часть русской интеллигенции обычно сохраняла значительную долю политической лояльности по отношению к власти, искала возможности для сотрудничества с нею в деле обновления общества. Однако она была целиком оппозиционна в этическом и психологическом планах, в своем самосознании, в системе ценностей. И власть, и народ чувствовали в ней эту опасную чужеродность и поэтому принимали ее помощь лишь в силу необходимости, настороженно, с неохотой и в строго ограниченных областях. Когда же интеллигенты пытались перейти границы отведенной им сферы «квалифицированного обслуживания» культурных и некоторых специальных нужд общества, их резко осаживали. И это постоянное ограничение возможностей интеллигенции рамками роли «ученых приказчиков» сослужило плохую службу не только обкрадывавшему себя таким образом обществу, но и самой интеллигенции.

Ведь если существующие в обществе оппозиционные силы не только не привлекаются к сотрудничеству, но даже толком не выслушиваются, то страдают обе стороны: отказываясь от значительной части своего умственного потенциала, от использования способности своего «социального мозга» к критической рефлексии, к предельно заинтересованному и в то же время нелицеприятному самоанализу, общество тем самым обворовывает, обедняет себя; но и оппозиционная мысль, которую в течение долгого времени, в лучшем случае, просто игнорируют, а в худшем, третируют, выталкивают из круга нормальных социальных связей — в тюрьму, ссылку, за границу — тоже деформируется, изменяется в неблагоприятную сторону. Теряя связь с обществом, она постепенно утрачивает понимание многообразия реальной социальной жизни, начинает придавать самодовлеющее значение созданным ею самой схемам действительности. А схемы эти, поскольку они не совершенствуются в прямой полемике с идейными оппонентами, все больше приобретают одномерный характер и резкую, без полутонов, черно-белую гамму. К тому же условия, в которых приходится существовать такой оппозиции — отсутствие или, во всяком случае, крайний недостаток каналов для легального выражения своих мыслей, всевозможные преследования, барьер отчужденности между ней и остальным обществом — способствуют отбору и воспитанию в среде оппозиции особого типа людей, которые и сами-то не склонны к гибкому реагированию на обстоятельства, к сотрудничеству с другими социальными силами. В результате среди оппозиционеров начинает задавать тон тип нетерпимого, ограниченного сектанта, а сама идеология приобретает черты экстремизма. Что из этого выходит, можно, к сожалению, в очень яркой форме видеть на примере эволюции оппозиционной интеллигентской контркультуры в период царствования Александра II.

РЕШАЮЩАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Как известно, в конце царствования Николая I российское имперское самосознание получило сильнейшую политическую оплеуху — бесславное поражение в Крымской войне. Общество тоже пережило сильный шок: рухнул миф о всемогуществе Империи и непобедимости русского оружия. Оказалось, что автократический колосс, наводивший страх едва ли не на половину тогдашнего мира, на деле совсем не так всемогущ и не в состоянии бороться с передовыми странами даже в той единственной сфере, которая традиционно считалась самой сильной стороной режима и, поглощая огромные средства, выполняла роль символа национального величия — в военном деле.

Но нет худя без добра. Иное поражение приносит обществу больше пользы, чем любая победа, ибо победа консервирует существующий порядок вещей, а поражение ставит его под сомнение, провоцирует его изменение. Таким образом, в обществах, нуждающихся в модернизации, поражение, служа катализатором изменений, выполняет целительную функцию. Так случилось и в России. Поражение вывело страну из состояния дурмана. Общество осознало необходимость перемен, а смерть царя, олицетворявшего стабильность, устойчивость существующего порядка, породила надежду на их осуществимость. Реакцией на изменение общественных ожиданий стал практически мгновенный всплеск социально-критической мысли, бурное развитие неподцензурной литературы, что в условиях жесткого политического режима, видимо, вообще можно рассматривать как необходимую предпосылку для созревания общественного самосознания, обнадеживающее свидетельство его способности и интереса к самоанализу. Сам- и тамиздат середины XIX века подготовил моральный климат для последующих перемен.

На авансцену русской идейной жизни вышла (к сожалению, на очень короткое время) либеральная интеллигенция. С нелегкой руки предреволюционных социал-демократов, а затем большевиков слово «либерал» приобрело в нашем политическом лексиконе пренебрежительно уничижающий, почти оскорбительный смысл, комбинируясь обычно с такими характеристиками как «трусливый», «мягкотелый», «беспринципный», не говоря уж о еще более грубых эпитетах. Однако вся эта брань в конечном счете не столько свидетельствует против либералов, сколько демонстрирует ограниченность, догматический экстремизм их очернителей.

Строго говоря, понятие либерализма включает много разновидностей политического и экономического мышления и поведения. Поэтому уточним, что речь идет о явлении весьма конкретном — русском либерализме, начиная с середины XIX века.

Представляется, что русские либералы рассматриваемого периода были наиболее зрелой и передовой в политическом отношении общественной группой тогдашней России. Для их политического мышления характерны глубина социального анализа русской общественной жизни, острота критики режима и в то же время готовность к диалогу с любым сколько-нибудь склонным к социальной модернизации правительством. Либералы унаследовали персоноцентристскую этику лучших представителей поколения декабристов, но и одновременно усвоили негативный опыт их политического радикализма. При всем том социально-политическая программа либералов носила отнюдь не косметический характер (как пытались представить наши недобросовестные историки), а была направлена на изменение самых основ механизма власти и общественных отношений в России. Именно основ, а не режущих глаз поверхностного наблюдателя политических форм, действительно безобразных, но вторичных.

Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, почитать классическое либеральное зарубежное издание 1850—1860 годов — «Голоса из России», основными авторами и идейными лидерами которого были Борис Чичерин и Константин Кавелин. Кстати, сделать это нетрудно, так как в брежневские времена довольно большим тиражом вышло его факсимильное издание. (Спасибо и за это нашим либералам — шестидесятиникам.)

Вопреки расхожему мнению, социальная критика либералов была фундаментальной и всесторонней, обращенной к глубинным корням аномалий русской жизни. Помимо недвусмысленной позиции в вопросе о свободе печати, она содержит массу глубоких диагностических констатаций. Здесь и уничтожающая критика крепостного права с хозяйственной, правовой и нравственной сторон (в частности, в нравственном плане говорится о его развращающем действии на все сословия, но особенно на дворянство) и понимание того факта, что «только то государство крепко и могущественно, которое основано на

справедливых и свободных отношениях между подданными»; и анализ страшного ущерба, наносимого обществу всемогущим и все продолжающим усиливаться правительством при совершенно отчужденном от государственной власти народе; и, кажется, впервые появившаяся тогда в российских умах мысль о желательности военного поражения страны как о спасительном средстве, единственной возможности остановить дальнейшее гниение; и признание русского бюрократизма наихудшей разновидностью этого рода зла, поскольку он соединяет в себе традиционную русскую привычку к обрядности, немецкую страсть к формалистике в управлении и автократический идеал полицейского государства; и тормозящие естественную миграцию населения «запутаннейшие в мире паспортно-прописочные правила»; и поощряемое тайной полицией политическое доношительство как опаснейший из видов нравственного рабства народа; и насильственные русификация и обращение в православие нерусских подданных Империи; и стремление к казарменному единообразию, желание «на всех надеть один мундир»; привычка водить народ «целый век на помочах»; и полная гражданская апатичность народа; и доходящая до абсурда мания засекречивать все и вся; и гласность как единственное «средство против общего зла»; и, наконец, «подлость как краеугольный камень всего общественного здания России»... Вообще анализу либеральной критики общественной жизни России можно посвятить целую книгу.

В позитивном же плане для либералов характерны вера в творческие возможности личности, установка на раскрепощение и поощрение частной инициативы, ибо только свободные и лично заинтересованные люди могут успешно решить проблемы страны: бюрократической государственной машине это не под силу. Свои политические взгляды либералы строили на базе персонцентристского мировоззрения.

Их обычно клеймили за якобы заигрывание с властью, за умеренность программы. Действительно, к топору они не призывали, а предпочитали апеллировать к здравому смыслу общества, к рассудку (а отчасти — и к инстинкту самосохранения) власти. Но при добросовестном анализе нетрудно обнаружить, что такого рода апелляции были отнюдь не стержнем их убеждений, а, прежде всего — продуманной тактической линией, имевшей целью, не начиная шумной борьбы за политическое лидерство, без бомб и революционных потрясений, перестроить, причем достаточно быстро, основы общественно-политического устройства. В самом деле, подчеркнуто почтительно-благонамеренный тон обращений либералов к «начальству» звучит несколько раздражающим диссонансом по сравнению с существом этих обращений, особенно для наших сегодняшних ушей. Но, повторяю, он был лишь тактико-психологическим приемом, имевшим совершенно конкретную цель — быть услышанным адресатом. Что же касается пресловутой «половинчатости» либералов, то представляется более уместным употреблять слово «умеренность». А умеренность, как известно, является пороком лишь в глазах экстремиста. Действительно, либералам были чужды экстремистские установки. Они отвергали политический радикализм как метод решения социальных проблем. Политическая конфронтация с властью, по мнению тогдашних либералов, способна привести лишь к трагедии. В случае победы власти наступит торжество реакции, идущей «сверху», как случилось после декабря 1825 года. В случае поражения власти общество неизбежно захлестнет волна реакции, идущей «снизу», поскольку радикалы, чтобы победить, должны будут натравить на власть народную массу, на время заглушив в ней стереотип покорности. Поэтому действительно присущая многим либералам так называемая «боязнь народа», над которой так любили издеваться Ленин и его единомышленники, была продиктована отнюдь не беспокойством за собственное благополучие. Она порождалась страхом за судьбу национальной культуры, судьбы тех прогрессивных начал, которые прививались к ней с таким трудом и еще не пустили глубоких корней. А вопросы этого рода русские интеллигенты воспринимали как глубоко личные, ставя их гораздо выше собственного материального благополучия, которым, кстати, всегда легко жертвовали. И, как мы теперь знаем, опасения либералов отнюдь не были напрасными. История, увы, подтвердила их самые худшие опасения.

Резкое размежевание либералов с радикалами произошло в 60-е годы. Именно тогда прозвучали в адрес либералов обвинения в ренегатстве, переходе на охранительные позиции и пр. Действительно, в те годы либеральные выступления стали еще более умеренными по тону, в них все чаще встречались слова одобрения тех или иных действий правительства. Причин тому было несколько. Среди них можно назвать и политику правительства Александра II, в определенной мере отвечавшую минимальным

требованиям либералов, и вспышку шовинизма в связи с Польским восстанием 1863—64 годов, когда среди части либеральных кругов не окрепшая еще система новых ценностей не выдержала атмосферы традиционного казенно-патриотического угара. И, конечно, очень существенным фактором, оказавшим на либералов отрезвляющее действие, стало распространение радикалистской идеологии.

Свое крайнее выражение эта идеология получила в появившейся на гребне пореформенной вспышки насилия в стране прокламации «Молодая Россия». Ее авторы заявили, что не испугаются, если для ниспровержения современного порядка придется пролить крови втрое больше, чем в свое время пролили якобинцы. С близких, в общем, позиций выступил и Чернышевский, бросивший в революционную среду печальный известный клич «к топору зовите Русь», а также четко сформулировавший, что радикализм «расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформы готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами». Иными словами, свобода — не цель преобразований, а лишь одно из возможных средств для достижения нового общественного порядка, сами же свобода и конституционные формы не обладают какой-либо ценностью. По соображениям тактики их можно использовать, а можно и отбросить.

Отсюда лишь полшага до иезуитского «цель оправдывает средства». И эти полшага были сделаны очень быстро. На всю Россию прогремело «нечаевское дело», ставшее как бы зловещим эпиграфом к последующим событиям.

В «теоретическом» же плане еще дальше пошел Бакунин с его обоснованием бесчеловечного разрушительного фанатизма и оправданием «бесследной гибели большинства» во имя торжества революционной идеи. В качестве средства для развертывания революционного процесса Бакунин призывал опираться на живущее в народе подспудное чувство ненависти, ориентироваться на развязывание народного бунта «анархическо-социальной ликвидации», в котором революционная партия должна сыграть роль «коллективного Стеньки Разина». Иными словами, была провозглашена ориентация на эксплуатацию агрессивных инстинктов, мстительности, т. е. низменной стороны человеческой природы. В одном из плехановских набросков по истории революционного движения так сформулирована идеология Бакунина: «Бунтарство Бакунина. Лавров советует действовать на рассудок. Бакунин — на чувство, чувство ненависти народа к его эксплуататорам. Отрицание науки. Превознесение исторических разбойников: Пугачева, Стеньки Разина и т. д. Совет и теперь сблизиться с разбойниками... Не трудно понять, какое из этих двух направлений должно было взять верх в среде молодежи, жадно стремившейся к борьбе с правительством за освобождение народа». (Г. В. Плеханов. Революционное движение семидесятых годов.) Мы слишком хорошо знаем, какое из направлений взяло верх.

В революционном движении радикалов (или, если угодно — «революционных демократов») выступил в новом обличье все тот же традиционный российский системогризм, причем проявился он в самых крайних, уродливых и беспощадных своих формах. В рамках радикальной доктрины значение отдельного индивида практически равнялось нулю. Более того, данная позиция была возведена в принцип и провозглашалась не без некоторой цинической бравады. Это был прямой вызов самому персоноцентристскому духу европейской культуры, отказ от всех достижений русской общественной мысли XIX века. Огромный шаг назад делался радикалами не только по отношению к современной им либеральной идеологии, ибо они стали системогристами не по традиции, не по неведению, а сознательно отринув уже достаточно развитую и хорошо им известную историческую альтернативу. Думается, есть даже основания рассматривать русский радикализм 60—70-х годов как первоначальную форму тоталитаристской идеологии, полстолетия спустя захлестнувшей целые огромные районы мира и среди них одним из первых — Россию.

Но все это случилось много позднее. А тогда радикальное движение лишь набирало силу, причем провалы и правительственные репрессии только усиливали его, делали более опытным и изощренным. Уж слишком большой привлекательностью для полубразованных голов обладала радикальная идеология. Для этого в ней было все: романтика тайны, «плаща и кинжала», ощущение личной причастности к вершению судеб Истории, возможность активного, заметного своими результатами действия, надежда на скорую отдачу, простота доктрины, в которой «зло» отличается от «добра» почти столь же четко как в детских сказках, а путь к «добру» так подкупающе ясен, наконец, иллюзия возможного сохранения традиционных «здоровых» начал народной жизни и даже их

укрепления посредством их очищения от всего «дурного», привнесенного. Эта иллюзия существовала, по большей части, на подсознательном уровне, но порой прорывалась и в формулируемую идеологию, например — через преклонение перед крестьянской общиной как прообразом будущего общества. Иными словами, подразумевалась возможность сохранить традиционный системоцентризм с его общинной моралью, но радикально очистив его от якобы чужеродных ему многовековых наростов морали имперской.

Таким образом, с позиций предлагаемой модели очевидно, что намеченная программа революционных изменений предполагала сохранение общества в рамках все того же социально-этического генотипа и даже возрождение его исторически более ранней формы. Так радикализм оборачивался неплохо замаскированным, но по сути самым крайним консерватизмом. Но тогда все представлялось иначе. И даже бывшие в набат либералы не сознавали подлинной глубины той пропасти, в которую толкал общество радикализм.

Впрочем, к либералам прислушивались тогда (как и в других случаях) очень мало. Их призывы будто не достигали ушей официальной России. На вспышку радикализма власть отреагировала привычным, не раз испытанным способом — усилением полицейского подавления и устрашения. Но мысль о том, что принципиальная победа над радикалами может быть достигнута только посредством устранения тех аномалий и социальных несправедливостей, которые служат для них питательной средой, и крайней, неадекватной реакцией на которые, собственно, и является радикализм, не воспринималась сознанием официальных кругов. Ведь если принять ее всерьез и последовать советам либералов, то следовало отважиться на такие перемены, которые подорвали бы ничем до сих пор не ограниченную возможность распоряжаться страной по своему произвольному усмотрению. А для такой «жертвы» обладатели всех степеней власти явно не созрели.

В правящих кругах, конечно, отнюдь не были склонны преуменьшать серьезность исходившей от радикалов угрозы. Однако обладатели привилегий были готовы скорей погубить общество, нежели лишиться возможности бесконтрольно доить его. Увы, события подтвердили, что в своих нравственных аспектах диагноз, поставленный либералами современному им обществу, несмотря на его суровость, был еще даже чрезмерно оптимистичным. К тому же режим, видимо, на каком-то подсознательном уровне ощущал, что радикалы со всеми их бомбами, зажигательными речами и угрозами до основания разрушить общество с некоторой точки зрения все-таки менее для него опасны, нежели либералы. Ведь против радикалов у власти имелось надежное, никогда не подводившее оружие — сила; против либералов же оно не слишком годилось, и власть должна была искать для борьбы с ними иные, более тонкие средства, т. е. вступать в сферу, где она чувствовала себя менее уверенно. Кроме того, радикалы, несмотря на весь нигилизм их лозунгов, по своим идеалам были гораздо ближе к представителям «старого режима», чем это кажется на первый взгляд, поскольку их целью являлось лишь переворачивание пирамиды власти по принципу «кто был ничем, тот станет всем», а не устранение самой этой пирамиды, т. е. не изменение социально-этической структуры отношений, самого «людодерского» порядка. Иными словами, они стремились к созданию новой модификации все того же общества, функционирующего по тем же основным законам, в рамках того же системоцентристского типа отношений. И власть каким-то «шестым чувством» ощущала в радикалах пусть дальних и агрессивно настроенных, но все же родственников.

Либеральная же программа, несмотря на кажущуюся ее «половинчатость», «соглашательскую» тактику и якобы полную подконтрольность власти, в конечном счете несла неизмеримо более глубокие и существенные изменения. Ее последовательное воплощение в действительность должно было размыть самую основу существующего порядка, в корне изменить принципы взаимоотношений в российском обществе, привить ему персонцентристский «культурный генотип».

Так могло случиться, но не случилось. Режим не проявил достаточной гибкости, а давление на него либеральных кругов общества оказалось слишком слабым. Если в крестьянском вопросе власть нашла в себе достаточно мужества для принятия кардинального решения, то в большинстве других сфер ее действия были вялыми, нерешительными, а порой и просто непоследовательными, как в случае с земской реформой и последовавшими вскоре контрреформами.

В этом контексте приходится оценивать и объективную роль славянофильства. Должен сказать, что эмоционально оно мне весьма близко и очень греет душу, особенно в трудные минуты. Но как только нацепляешь на нос «очки аналитика», становится

очевидным, что в смысле динамики идей славянофильство — не что иное, как обрядившаяся в романтические почвеннические одежды консервативная интеллектуальная реакция на «угрозу» (а с охранительной точки зрения это воспринималось именно как угроза нравственному здоровью общества) распространения на Руси отождествлявшейся с «загнивающим Западом» (любопытно, что это клише уже тогда всю использовалось для шельмования Европы) персоноцентристской модели. Я уж не говорю об агрессивном погромном потенциале воинствующего мессианского крыла славянофильства — панславизме. Как отмечает Г. Померанц, романтическое почвенничество, особенно когда оно сочетается с комплексом собственной неполноценности, несет в себе заряд агрессивности, который обрушивается не только на «врагов внутренних», но и на «врагов внешних», т. е. стимулирует ксенофобию в широком смысле слова — т. е. общее противостояние любым инородческим общностям, тотальную конфронтацию между «мы» и «они». В рассматриваемый период крайним выражением подобной идеологии стал панславизм с его попытками «освятить», в частности, российские притязания на Константинополь (так называемый «Восточный вопрос»), а также обосновать исключительность «русской миссии» в деле объединения славянского мира и руководстве им

Разумеется, почвенничество может быть плодотворным творческим источником для художественно одаренного индивида, поскольку привносит в его мироощущение, и так тонкое и многогранное, дополнительную, порой очень важную грань, но для массового, к сожалению, в целом одномерного, сознания оно становится лишь дополнительными шорами, способствующими закреплению национальной ограниченности

Варфоломей Зайцев, знаменитый публицист 70-х годов, в статье «Наш и их патриотизм», опубликованной в женевской эмигрантской газете «Общее дело» так анализирует официозную подоплеку славянофильского псевдопатриотического славословия противопоставляя ему альтернативу подлинного патриотизма. «Есть два манера любить свой народ и свое отечество. Первый манер любить его так, как каждый из нас любит хорошее жаркое.. Этот способ любви чрезвычайно психически прост и понятен всякому идиоту, почему идиотами и признается единственно нормальным. Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляется вещь до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами... Относясь беспристрастно к своей родине, мы видим в ней вместо сочного жаркого одну из самых обездоленных частей земного шара, населенную одним из самых забитых и отсталых человеческих племен... Официальные патриоты заинтересованы в том, чтобы она такую и оставалась, так как и в этом виде она им представляет вкусное блюдо, снабжая в изобилии севрюжиной, моршшкой и вологодскими рябчиками. Мы же заинтересованы в том, чтобы вывести родину из этого невзрачного положения. Беспристрастный человек может легко рассудить, чей патриотизм бескорыстнее и чьи стремления выгоднее для самой родины» В басенной форме на тот же вопрос отвечал наиболее глубокий и едкий из критиков российского казенного имперского самосознания — М. Е. Салтыков-Щедрин. Помните его сказку о маленьком кроте? Она так и называется — «Добрый патриот».

Но ни обличения, ни сатира не могли разрушить традиционные имперские стереотипы. Более того: начиная с 70-х годов панславистское националистическое мировоззрение стало весьма популярным и среди образованного общества приобрело значительный интеллектуальный и моральный капитал. По-видимому, это можно объяснить тем, что оно выступало как антитеза усиливавшемуся западничеству как либерального, так и радикального, экстремистского толка. Это была защитная реакция системоцентристского сознания, представлявшая апелляцию к заключавшим в себе сильный эмоциональный заряд великоросским националистическим стереотипам.

Итак, на наш взгляд, необходим дифференцированный подход к феномену русской интеллигенции. В 60-е годы сложились два весьма разных ее направления. Одно из них исповедовало новые для общества персоноцентристские ценности. Второе, внешне более радикальное, избрало в качестве идеала новую модификацию все той же системоцентристской традиции.

В сфере политики интеллигенты-персоноцентристы обычно придерживались либеральных взглядов, т. е. с точки зрения принятых в ней стандартов оценки, были «умеренными». Интеллигенты же системоцентристского толка чаще всего склонялись к какой-либо из версий радикализма. Незначительная, но весьма впечатляющая часть интеллигентов-системоцентристов исповедовала славянофильские воззрения. Однако,

в общем, славянофильство в силу присущего ему консервативного утопизма и некритического нарциссизма находило более энергичный отклик среди других слоев общества.

Наиболее ярким примером интеллигентского системоцентристского радикализма может служить партия «Народная воля». Число активных членов организации было ничтожным — оно ни разу не превысило 30 человек, так что в современном смысле слова ее и партией-то назвать нельзя. Однако в течение нескольких лет эта горсточка людей вела единоборство со всемогущим правительством Империи. Общество, затаив дыхание, наблюдало за необыкновенной «царской охотой», в которой владелец «шестой части обитаемой суши» играл роль не охотника, а дичи. Такого рода ситуация оказалась возможной лишь потому, что народovolьцы опирались на весьма действенную поддержку со стороны значительной части тогдашней интеллигенции. Поддержка эта проявлялась и в финансовой форме, и в конспиративных делах, и в том, что Исполнительному Комитету партии, несмотря на постоянные аресты, до последнего момента удавалось рекрутировать в свой состав все новых и новых членов. Важнейшую роль играла моральная поддержка, которую «дезорганизаторы» (так называли себя террористы) получали от радикальных интеллигентов. Именно наличием этого «морального мандата» и объясняется, на мой взгляд, та фантастическая энергия и целеустремленность, с которыми действовали народovolьцы. И плехановские попытки при помощи арифметических выкладок доказать ничтожность сил народovolьцев выглядят не совсем убедительными, поскольку в них не принимается в расчет существование волны того радикалистского умонастроения, лишь гребнем которого были Желябов и его соратники.

В подобной обстановке, как это всегда бывает при поляризации политических сил, существенно ослабли позиции либералов. Мы уже говорили, что соблазны радикальной идеологии были весьма велики, и она обладала значительной притягательной силой, особенно для романтически настроенной нетерпеливой молодежи. С другой стороны, жесткая реакция правительства на деятельность радикалов, общее «поправление» его внутривнутриполитического курса, его нерешительность и даже во многом попятные действия также укрепили позиции радикалов и, соответственно, ослабили либералов. Репрессии же по отношению к революционерам применялись в той степени, которая скорей возбуждает сочувствие к жертвам преследований и воодушевляет на борьбу, нежели уstraшает и подавляет.

Итак, обстоятельства способствовали тому, что системоцентристское крыло интеллигенции постепенно усиливалось, а персонocентристское — слабевало. В 70-е годы в лагере оппозиционной контркультуры, к которому принадлежала практически вся интеллигенция, тон во все большей степени стали задавать радикалы-системоцентристы. К тому же они, в отличие от либералов, по своей природе не были склонны к колебаниям и нерешительности. Радикалы всегда — «люди действия». Они овладели положением, и события покатились по пути к катастрофе.

Народническое движение в своей первоначальной форме представляло смешение обоих обозначенных мировоззрений. Однако когда обнаружилось, что мирная пропаганда не обещает скорого успеха, верх в движении взяли наиболее решительные и нетерпеливые из народников, а самые фанатичные из них стали на путь индивидуального террора. Террор же, как известно, рождает террор ответный. Власть и террористы сцепились в яростной схватке, где каждый удар превращался, главным образом, в акт возмездия, вызывая, в свою очередь, ответный удар. Ни у одной из сторон не хватило мужества разорвать этот порочный круг. Власть, правда, предпринимала некоторые попытки найти какой-то компромисс, но они были слишком нерешительными и запоздалыми. Пожалуй, наиболее серьезной и многообещающей из таких попыток можно считать работу лорис-меликовской комиссии, разработавшей близкую к либеральной программу преобразований. Однако она опоздала. Террористы же и слышать не хотели ни о каком компромиссе. Самой важной задачей революционной партии они считали «приведение в исполнение смертного приговора» императору.

Травля и убийство Александра II стали апофеозом трагедии. Люди, осуществившие эту акцию, безусловно заслуживают, чтобы о них помнили. Все они, без исключения, были в высшей степени самоотверженными и честными, а многие из них — и весьма незаурядными личностями. Однако их ослеплял блеск ложной идеи относительно возможности моментального хирургического исцеления общества. В качестве инструмента для операции они избрали террор — «дезорганизацию». И в том, что руками этих

благородных, всецело принеших свои жизни на алтарь блага России людей свершилось великое историческое зло, состоит один из самых горьких парадоксов русской истории.

Как известно, 1 марта 1881 года, в половине третьего пополудни, в Петербурге, на Екатерининском канале террористы достигли своей цели. Царь был убит. *Но победа партии народовольцев обернулась для России крушением величайшей в ее истории возможности для перехода на новый путь развития.* И хотя подобный шанс был упущен не в первый раз, в данном случае он был наиболее значительным: сложилась поддерживавшая перемены социальная группа, общественный климат в целом становился все более благоприятным, необходимость изменений признавала и сама власть, да, собственно, весьма существенные перемены уже произошли, готовились новые, и не так уж далеко оставалось до рубежа, после которого процесс становится необратимым. И в один момент все рухнуло!

Более того, события 1881 года в значительной мере предопределили неизбежность катастрофы 1917 года, ибо намечавшийся союз власти и носителей изменений был начисто разорван. В результате в государственной политике вновь прочно воцарились консерватизм, ориентация на сознание и ценности наиболее закоснелых слоев населения, отчуждение компетенции и вообще сил прогресса от власти.

Интеллигенция, которая в той исторической ситуации была единственной силой, способной привести общество не к иллюзорному, а к действительному исцелению его болезней, потеряла поле деятельности, открывшееся перед ней в 50-е годы. Действия одного крыла интеллигенции были возведены общественным сознанием в ранг родового признака целой группы, цели и методы немногих были приписаны всем интеллигентам. *Распространение в интеллигентской среде умонастроения, традиционного по сути, но задрапированного в радикалистские одежды, стало причиной национальной трагедии.*

Между 1881 годом и завершением 304-летней истории правления дома Романовых прошло три с половиной десятилетия — два царствования. Однако они не внесли в ситуацию принципиальных изменений. Конечно, появились и новые факторы, происходили крупные политические события, но основной вектор исторического развития уже определился. Динамика развития ситуации подчинялась тем главным тенденциям, которые оформились к концу царствования Александра II и были скреплены кровью, пролитой 1 марта. Среди них очень важное, а, может быть, и ведущее по масштабу порожденных последствий место занимает, на наш взгляд, раскол русской интеллигенции на два лагеря. В течение царствований Александра III и Николая II он продолжал углубляться. И под знаком этого раскола, предвещавшего новые, более страшные испытания, протекли следующие четыре десятилетия нашей истории.

ЗА ПЕРЕПУТЬЕМ: ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ РОМАНОВСКОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ

То обстоятельство, что 1881 год стал роковой рубежной датой нашей истории, «толчковым моментом», на столетие определившим историческую траекторию России, совсем не означает, что последующие события являются лишь простой реализацией определившейся тенденции. Ведь то, что становится очевидным (или якобы очевидным) спустя многие десятилетия, совсем не было очевидно самим участникам событий. К тому же люди далеко не всегда готовы ограничиться ролью пассивных пассажиров на конвейере истории. Они живут и действуют в своей единственной жизни. И от того, как повела себя некая совокупность индивидов или даже отдельный человек в ситуации, исход которой с макроисторической точки зрения пусть даже фатально предreshен, все-таки зависит немало.

Даже в самых, казалось бы, однозначно сложившихся обстоятельствах наш жизненный выбор, наши социально значимые поступки имеют определенные общественные последствия. Пусть наши действия не в силах изменить траекторию набравшего инерцию маховика истории. Тем не менее от нас и именно от нас зависит, какой будет конкретная форма, индивидуальная физиономия того или иного исторического процесса. А как раз это непосредственно и определяет судьбы и отдельных людей, и целых поколений. Пусть мы не в состоянии повлиять на исторические закономерности. Это не может служить нам нравственной индульгенцией, оправданием индифферентности. И чем больше силы, знаний, таланта, умения нам дано, тем больше с нас спросится. Ведь подобные ис-

торические периоды находятся не только за перепутьем, но и *перед* следующим перепутьем, поскольку на протяжении таких периодов исподволь формируется направление следующего «толчка», характер событий и соотношение сил на следующем историческом рубеже.

К тому же, хотя в пределах каждого исторического периода направление движения в целом и определяется одним главным вектором, течение исторического потока далеко не всегда бывает плавным и равномерным. Сплошь и рядом ему приходится преодолевать возникающие препятствия, а на некоторых участках он получает мощные дополнительные импульсы. От современников событий зависят интенсивность этого «вторичного толчка», конкретные формы, в которые он выльется, иногда даже сам факт его возникновения, но не его направление. Вторичный толчок можно усилить, заблокировать или даже погасить в зародыше. Но ему невозможно придать другое направление, другую траекторию. В частности, такими мощными вторичными толчками были для нас революции 1905 и особенно 1917 года. Словом, анализ периодов, находящихся «за» историческими перекрестками, имеет большой смысл.

Исходя из этого, обратимся к царствованию Александра III, избравшего в ответ на «прогрессивный» политический радикализм жесткий консервативно-охранительный политический курс. Но нашей темой по-прежнему будет не событийная сторона истории, не политика, а морально-психологическая основа процесса, динамика двух типов социального сознания.

В истории России либеральные правители, за очень немногими исключениями, были людьми слабыми и нерешительными, тогда как консерваторы-охранители — людьми последовательными, с твердыми убеждениями и уверенными властными ухватками. И Александр вполне соответствовал этой традиции. По многим свидетельствам, государь исходно обладал добрыми душевными качествами и другими достоинствами, которые при более благоприятных обстоятельствах могли бы компенсировать явный недостаток образования и широты взглядов. Но случилось иначе. Он вступил на престол под знаком кровавого события, перевернувшего всю его душу, и был вынужден лишь с большим ожесточением проводить все ту же бесплодную политику ограниченных репрессий. Остальное довершило самодержавие. Власть, не знающая сдержек, развивает все дурные наклонности человека.

Его правительство, за исключением С. Ю. Витте, состояло отнюдь не из ярких личностей и уж никак не могло претендовать на роль мозгового центра нации. Будучи не в состоянии противопоставить оппозиции что-либо в плане интеллектуальном, оно встало на путь апелляции к эмоциям и инстинктам наиболее неразвитой части населения, к самым древним и устойчивым атрибутам национального системоцентристского сознания, стало возбуждать самые глубинные и потому абсолютно надежные массовые стереотипы. Речь идет об эксплуатации традиционной российской ксенофобии, использовании извечного неприятия «чужих» и возложении на них ответственности за собственные подлинные и мнимые беды. Короче говоря, был взят на вооружение извечный бич всей человеческой истории, идущее еще от первобытных времен разделение людей на «своих» — «чистых» и «чужих» — «нечистых». В данных конкретных исторических условиях он воплотился в облике великорусского шовинизма.

Правительство развязало и возглавило настоящий крестовый поход за русификацию страны. По всей Империи его эмиссары, под предлогом «искоренения местного сепаратизма», с носорожьей яростью топтали любые проявления национальной культуры и национального духа нерусских народов. Давление шло не только по национальной, но и по религиозной линии, а разгул шовинизма наблюдался не только по периферии империи. «Истинные патриоты» как в правительственных кругах, так и в простом народе, координируя свои действия без слов, по еле уловимым со стороны намекам, начали травлю главного «внутреннего врага» — евреев.

Правительство рассчитало точно. Борьба с «инородцами» позволила отвлечь массовое сознание от иных проблем. Более того, в стране возникло нечто вроде «национального фронта», объединившего под своими знаменами самые разные слои населения. Шовинизм, неприязнь к вынужденным жить на территории Империи инородцам стали мощным магнитным полем, притягивавшим «истинных патриотов» независимо от их социального статуса, от крестьян до аристократов. Разница состояла лишь в том, что чернь просто-напросто громила еврейские дома и лавки, а власть имущие, лицемерно высказывая сожаление по поводу наиболее вопиющих актов вандализма, использовали

для гонений на евреев аппарат государства и тем самым, по существу, инспирировали новые погромы. (Кстати, подобное националистическое сознание, обращенное вовнутрь страны, до определенного момента прекрасно уживается с жадным преклонением перед плодами чужеземной культуры и охотой за ними, особенно в бытовой области.)

К сожалению, развернувшаяся в России шовинистическая вакханалия не получила отпора и должной оценки не только внутри страны, но и за ее пределами. По-видимому, это, в первую очередь, объясняется тем, что и в самом западном мире в тот период поднималась волна национализма. На европейском континенте национализм стал фигурировать в качестве самодовлеющего фактора культурной и политической жизни народов около 1870 года и, за некоторыми исключениями, во многом продолжал оставаться таковым вплоть до середины XX столетия, когда сорвалась экспонента его губительного влияния на судьбы людей, народов, культуры.

Другим рычагом управления стал для правительства подкуп разных слоев населения. Власть стала создавать привилегии для тех социальных групп, поддержкой которых она считала необходимым заручиться. В первую очередь золотой дождь пролился, конечно, на головы «соли земли русской» — дворянства. Был учрежден Дворянский банк, из которого дворяне-помещики могли получать ссуды на исключительно выгодных условиях. И верность дворянства была куплена. Однако деньги не пошли впрок, поскольку дворяне в своей массе расценили их как «манну небесную», посланную им в награду за холопскую преданность и употребили не на хозяйственные нужды, а попросту растратили. Помните Раневскую из «Вишневого сада»? В итоге, как отмечал Плеханов в 1894 году в работе «Царствование Александра III», «в настоящее время... мы имеем дворянство более «лояльное» и более задолженное, чем когда бы то ни было. Правительство Александра III привело «первое сословие» к экономическому краху и к полнейшей деморализации». То же самое «мужицкий царь» сделал и в отношении крестьянства. Он учредил Крестьянский банк, отменил подушную подать и снизил выкупные платежи. Однако и крестьянам эти меры тоже не принесли особого благополучия.

Способом, несколько более сложным, но, по сути, тем же, была куплена верность предпринимателей и купечества, которые по меткому выражению Плеханова, «только выиграли от распродажи с молотка дворянской «верности», т. е. основная часть дворянских денег в конечном счете попала в их руки». Но главным средством подкупа купечества стала политика мощного таможенного протекционизма, что отнюдь не стимулировало развитие здоровой экономики, а, в сочетании с шовинистической политикой правительства, способствовало недобросовестности в делах, стремлению поскорей сорвать максимальный куш, а там — «хоть трава не расти», подавлению конкурентов внеэкономическими методами.

Переходя к вопросу об этике разных сословий, начнем с «первого». О дворянстве и его этике написано много разных и даже взаимоисключающих вещей. С одной стороны, тут и жестокое помещичье самодурство, корыстолюбие, чванство, культурная ограниченность, политическая неразвитость, крайний конформизм по отношению к власти и другие столь же малопривлекательные черты. Но, с другой стороны, этот образ включает и такие качества как великодушие, благородство, бескорыстие, высокую степень интегрированности в мировую культуру, либеральное свободомыслие и даже революционность. И все это правда. Ни одну из перечисленных черт нельзя отвергнуть как недостоверную — в подтверждение каждой есть богатый фактический материал. Только характеристики эти относятся к разным кругам дворянства и разным историческим периодам. Ведь дворянство, особенно со второй половины XVIII века, не было ни однородным, ни застывшим.

Именно дворянство на заре XIX века положило начало новой для России персонистской породе людей и в течение ряда десятилетий было их главным поставщиком и питательной средой. Но в основной своей массе оно и к концу столетия оставалось системоцентричным. Обратимся к авторитету Б. Н. Чичерина, для которого дворянская среда была родной стихией и который, в силу своей многолетней деятельности на разных общественных должностях, превосходно знал его как на провинциальном, так и на столичном уровнях. Поэтому тем большее доверие вызывает его резкая критика в адрес собратов по сословию: «Конституционные устремления московского дворянства были чисто напускные. Это было минутное раздражение за освобождение крестьян; скоро оно рассеялось, не оставив по себе и следа. Сознание права не находило почвы в России. Века холопства не дали развиваться этому началу, и проповедь, которая

в немецкой среде нашла бы самую горячую поддержку, у нас звучала в пустоте» (Б. Н. Чичерин. Земство и Московская Дума). Особенно отчетливо проявилось дворянское холопство в связи с охранительными мероприятиями правительства Александра III, когда оно не только перечеркнуло основные принципы Земской реформы предыдущего царствования, но и шагнуло еще дальше в ограничении дворянского самоуправления. Лишение гражданских прав правительство решило возместить прямой материальной компенсацией, о сути которой мы уже говорили. И в этой унижительной ситуации представители дворянского сословия не только не заняли сколько-нибудь достойной позиции, но, напротив, стали соперничать друг с другом в раболепстве. На высочайшее имя посыпались выдержанные в самых холуйских тонах верноподданнические адреса. Послушаем Чичерина: «Таким образом, справедливому негодованию за умаление прав затыкали рот медными грошами, добытыми безнравственным путем... К умалению прав присоединилось и нравственное унижение. О чести благородного сословия давно уже перестали говорить. Самое понятие о ней утратилось... Губернские предводители, наперерыв друг перед другом, старались подслужиться, и дворяне, ожидавшие золотых гор от нового банка, следовали за ними с увлечением. Раболепными адресами наполнялись столбцы газет. В лирических излияниях выражалось, как дворянство возликовало от грошовых подачек и увидело перед собою зарю новой жизни. Я не мог читать их без омерзения». Но самым ужасным было, с точки зрения Чичерина, то, что дворяне обратились к власти на языке и в выражениях, более свойственных не концу XIX, а XVII веку.

За два столетия в массовом дворянском генотипе так и не закрепились стереотипы гражданского поведения. А без этого никакие реформы нельзя считать необратимыми, ибо изменившаяся в какой-то момент верхушечная политическая конъюнктура может все повернуть вспять. Так и случилось после 1881 года.

Дворянство в своей массе не выдержало предложенного ему историей испытания на гражданственность. И, к сожалению, именно из этой массы, а отнюдь не из лучших представителей сословия, формировалась правившая страной элита. Олигархия, имевшая возможность манипулировать десятками миллионов человеческих судеб, за немногими исключениями, складывалась из числа худших людей сословия.

«Второе сословие» — духовенство — в силу ряда исторических причин, требующих специального обсуждения, увы, тоже в целом не смогло ни надежно выполнить миссию привития пастве системы твердых моральных принципов, ни способствовать формированию личностных начал и традиций духовной независимости от светских властей — роль, которую западная церковь выполнила достаточно успешно. Материально зависимое, духовно несвободное, в массе косное и плохо образованное «православное чиновничество» к концу века сохранило заметное влияние лишь на крестьянство, которое, впрочем, тоже воспринимало его не столько как духовных наставников, сколько как особый вид «начальства» со своими специфическими требованиями. Впрочем, в последующие, предреволюционные десятилетия оно в значительной мере утратило и эту свою последнюю социальную базу. В моральном сознании крестьянства разрушалась единственная нравственная опора. Постепенно накапливавшиеся деструктивные изменения с ужасающей силой и жестокостью обнаружили себя во время революции, когда полностью рассыпался миф о якобы глубокой религиозности русского народа и его искренней приверженности православию.

Разумеется, я далек от тотального осуждения всего сословия. Но толстовские отцы Сергии были единицами, поднявшимися над своими собратьями вопреки господствовавшим этическим нормам и психологическим установкам. Священническая корпорация не только не способствовала выдвижению из своей среды такого типа личностей, но, напротив, всячески старалась «подравнять» все, что начинало выделяться из общего уровня священнической массы. С точки зрения корпоративных интересов данное стремление легко объяснимо, поскольку выдающиеся духовные пастыри часто становятся неуправляемыми, а проповедник порой превращается в обладающего колоссальным влиянием социального лидера, окруженного армией целиком преданных ему последователей.

Тактика уничтожения в зародыше любых отклонений, ориентация на серый конформизм работали на постоянное снижение уровня духовенства, по существу, на его вырождение. Ведь не случайно же наиболее независимые и способные люди из духовного звания и их дети всеми возможными способами стремились вырваться за пределы сословия. Тенденция эта особенно усилилась именно в последние царствования. Обычно

такие люди пополняли ряды разночинной интеллигенции. Многие из них сделали заметный вклад в развитие русского общества, в том числе — в распространение в нем персонцентристских ценностей. Но при этом они переставали быть представителями породившего их сословия.

Историческая судьба российского «третьего сословия» тоже оказалась иной, чем на Западе. Да и само оно было иным. Мы знаем, в каких условиях складывалась капиталистическая этика европейских буржуа. Уже поднялось над горизонтом солнце культурного Ренессанса. Уже насчитывали столетия и продолжали развиваться традиции городских и цеховых вольностей, определенной независимости, защищенности торгово-промышленного люда от произвола властей. Да и сами основания власти все чаще становились предметом ожесточенной полемики, ареной борьбы страстей, порой кровавой, раскалывавшей целые народы. А на рубеже XV—XVI веков перед европейцами забрезжила возможность свободного выбора вероисповедания, и духовные наставники оказались перед лицом необходимости силой слова, убеждения завоевывать умы и сердца паствы. Словом, все подвергалось сомнению и переосмыслению. Но даже в столь благоприятных обстоятельствах процесс кристаллизации персонцентристского сознания как массового явления занял века.

А ведь в России ничего подобного не было. Мы помним, как закладывались Петром I основы отечественного предпринимательства: в условиях усиливающегося деспотизма и несвободы, с использованием в качестве главного рычага управления не стимулов, а антистимулов — палки, острога, финансовых кар, при поощрении доносительства как метода конкурентной борьбы. Статус рабочей силы на русских квазикапиталистических предприятиях мало отличался от рабского положения.

Поэтому и российское подобие буржуазии как бы получило в нагрузку от среды качества, прямо противоположные духу и смыслу западной капиталистической этики. И в российских условиях это, в общем, оправдывало себя. Ведь «правила игры» были установлены таким образом, что нормальному капиталистическому предпринимателю было трудно успешно функционировать в условиях российской квазирыночной экономики, если только он в какой-то форме не пользовался покровительством властей. Вместо принципов Западной трудовой этики здесь господствовали порядки, зафиксированные в исключительно емкой и точной формуле народной мудрости: «От трудов праведных не наживешь палат каменных».

Впрочем, либеральные мероприятия предыдущего царствования оказали воздействие и на это сословие. В условиях оживления хозяйственной активности и некоторого уменьшения зависимости предпринимателей от произвола правительственных чиновников, практический здравый смысл, сама специфика хозяйственной деятельности начали мало-помалу размывать прежние стереотипы. И в конце концов это принесло плоды. Появились купцы, усвоившие либеральные ценности. Как побочный продукт этого процесса появились купцы-меценаты, покровители наук и искусств, а как его извращенный выброс — купцы, финансировавшие революционную деятельность радикалов. Но сколько-нибудь заметной эта прослойка стала уже в следующее, последнее романовское царствование.

Теперь о типе сознания, свойственном чиновничеству. Эта довольно многочисленная социальная группа, в отличие от до сих пор рассмотренных — межсословное образование, т. е. выделяется не по сословному признаку, а по роду профессиональной деятельности. Необходимость ее специального рассмотрения обусловлена даже не столько ее численностью, которая, впрочем, на рубеже XIX—XX веков достигла около 500 тысяч человек, т. е. в два раза превысила численность дворянства. Важнее то огромное влияние, которым обладало и обладает чиновничество во всяком государстве Нового времени, и уж, тем более, в столь бюрократизированной империи как Российская.

Пожалуй, не было в России другой такой социальной группы, которая постоянно, при любом правителе, подвергалась бы столь же резкой критике, как чиновничество. Более того, сказать о российских чиновниках что-нибудь хорошее считалось признаком дурного тона. В литературе господствовал гротескный образ чиновника — персонажи Сухово-Кобылина и Салтыкова-Щедрина. Для публицистов всех направлений они тоже служили обычной мишенью. Чиновников поносили и ненавидели низшие слои, видевшие в них своих главных притеснителей, искажающих волю народолюбивого «доброго царя». Их не упускала случая демонстративно покритиковать высшая власть, что позволяло ей таким образом частично снимать с себя ответственность за непопулярные меры и демо-

нстрировать тем самым свою солидарность с обществом. На них громогласно жаловалось купечество, само же развращавшее их взятками и подношениями. Словом, пороки российского чиновничества вошли в поговорку. И в целом подобное отношение, очевидно, справедливо. Однако оно, на наш взгляд, смазывает и огрубляет реальное положение вещей и динамику изменений этого слоя.

Между тем чиновничество тоже не пребывало в застывшем состоянии. В течение XIX века оно совершило определенный «дрейф», в своих основных фазах сходный с путем, пройденным за тот же период высшей государственной властью. Если в царствование Александра I в среде столичного чиновничества мелькали некоторые проблески предперсоноцентристского сознания (некоторые из чиновников даже состояли в тайных обществах), то при Николае ничего подобного не было. Липкий туман системоцентризма, окутавший официальную Россию, казался непроницаемым. Причем наиболее верноподданной, больше всех пресмыкавшейся перед властью группой было именно чиновничество. Но, как и в других областях, поражение в Крымской войне послужило толчком к обновлению. Бюрократия, как и все вокруг, начала меняться. Новые времена и идеи вызвали к управлению государством и новых людей.

П. А. Зайончковский в исследовании о российском чиновничестве прошлого века («Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке») констатирует: «В связи с подготовкой как крестьянской, так и других реформ выдвигаются такие талантливые представители либеральной бюрократии, как братья Н. А. и Д. А. Милютины, А. В. Головин, С. И. Зарудный, Н. И. Стояновский, В. А. Татаринов и др.» Процесс либерализации бюрократии затронул не только столицы. Он перекинулся и в провинцию: «Среди губернской администрации появляются честные, образованные и либерального образа мыслей губернаторы...» Соответственно, в подобных условиях чиновничество начало меняться, причем изменения затронули не только высший уровень бюрократической иерархии. Пришедшие к руководству ведомствами и учреждениями либеральные руководители нуждались в опоре и потому, вопреки сопротивлению инертной чиновничьей массы, стали подбирать ближайших сотрудников из числа единомышленников. А те, естественно, стремились распространить эту волну обновления еще дальше, на следующий этаж иерархии. (Правда, процесс тормозился острой нехваткой подходящих людей.)

Но «розовый период» продолжался слишком недолго. Изменения не успели пустить глубоких корней. В этой сфере произошло то же, что и в сфере высшей политической власти, и в общественном климате страны в целом. Рука Желябова и здесь сыграла роковую роль, походя столкнув российскую бюрократию, только-только начавшую выбираться из системоцентристского болота, обратно в него. Собственно, попятные движения начались еще при Александре II. Но их можно рассматривать как неизбежную борьбу старого с новым, борьбу с неясным исходом. После же 1 марта исход этой борьбы определился. Стрелка вектора твердо показала назад. Здесь, как и в других сферах, началась реставрация системоцентризма.

До сих пор мы преимущественно говорили об этике меньшей в арифметическом отношении части народа. Однако это отнюдь не означает какой-либо «недооценки роли народных масс в истории». Напротив, одним из основных исходных моментов моей концепции является посылка о единстве этического генотипа и других культурных стереотипов у социальной верхушки и основной массы народа. Как известно, подавляющая часть населения страны приходилась на крестьянство. Отсутствие же в крестьянской среде сколько-нибудь развитых представлений о самоценности человеческой индивидуальности, ее абсолютный системоцентризм самоочевидным образом вытекают из многовекового общинного уклада. И в рассматриваемый период в ней по-прежнему господствовала общинная этика с отдельными вкраплениями этики имперской.

В то время о крестьянах в России писали много и обычно с симпатией. Это не удивительно. Ведь среди «пишущей» части общества господствовала народническая идеология. Но в числе всех добродетелей и достоинств, которыми наделяли крестьян наши писатели, нельзя найти сколько-нибудь заметных элементов индивидуалистического сознания. Общеизвестный факт их отсутствия даже использовался авторами социалистического направления в качестве аргумента, якобы доказывающего наличие у русских крестьян «стихийных социалистических идеалов» и предопределяющего, в этой связи, легкость построения в России социалистического общества.

Но постепенно набравший силу процесс имущественной дифференциации

крестьянства медленно подмывал устои общинной этики. Значительно дальше зашел к рассматриваемому моменту другой деструктивный процесс в крестьянской этической системе — *разрушение авторитетов*. Вряд ли можно выделить один конкретный исторический момент и первопричину его возникновения. Может, это началось еще при Петре, когда впервые на российской почве стала насаждаться имперская этика и потускнел образ «царя-батюшки»; может, решающую роль сыграла отмена крепостного права и утрата помещиками своего властного авторитета «хозяина-барина»; а, может, помещики потеряли авторитет в глазах своих крестьян еще раньше, когда изменили традиционному домашнему укладу и «офранцузились»... Но, так или иначе, процесс этот, подобно метастазам, распространился на все сферы крестьянского сознания. Поразил он и ту область, которую принято считать краеугольным камнем этики простонародья — область религиозной идеологии, о чем выше уже говорилось. К 90-м годам разрушения, произведенные этим процессом в системе этических ценностей крестьянства, были уже весьма значительными. И самым тревожным было то, что *на месте разрушенных норм не появлялось никаких других*.

Крестьянин лишился, по существу, единственного стержня, делавшего его морально полноценным и даже с определенной точки зрения, гармоничным человеком, и превращался в существо, не обладающее никакими представлениями о смысле жизни (т. е. никак не соотносящее себя с каким-либо духовным абсолютом) и подчиняющееся в своем поведении минутным импульсам.

В рассматриваемый период более или менее заметной социальной группой начинаются становиться фабричные рабочие — пролетариат. Эта новая общественная сила (впоследствии ее лгливо назовут «гегемоном революции», чтобы заниматься политическими манипуляциями от ее имени) и по своему происхождению, и по положению в социальной структуре, и по характеру труда изначально была насквозь системоцентричной. Это определило весь облик его революционной деятельности.

Обратимся еще раз к Плеханову, посвятившему пролетарской психологии специальную работу: «Освободительная борьба пролетариата есть массовое движение. Поэтому и психология этого движения есть психология массы... Пролетарий есть прежде всего «общественное животное», чтобы употребить здесь, слегка изменяя его смысл, известное выражение Аристотеля. Это бросается в глаза всем сколько-нибудь наблюдательным людям. Вернер Зомбарт, далеко не с любовью описывающий душу современного пролетария, говорит, что этот последний *чувствует* себя такой величиной, которая ничего не значит, будучи взята сама по себе, и приобретает значение, лишь будучи сложена со многими другими... факт тот, что «интеллигент» более всего склонен уповать на «личность», а сознательный рабочий — на массу. Отсюда две тактики». (Плеханов Г. В. К психологии рабочего движения.)

Трудно представить более однозначное и определенное описание сути системоцентристского мировоззрения. А поскольку Георгий Валентинович хорошо знал материю, о которой писал, можно считать его свидетельство дополнительным, и весьма авторитетным подтверждением пролетарского системоцентризма.

И, увы, приходится констатировать, что в той же шеренге сил социального системоцентризма действовала и радикальная интеллигенция. В период, о котором идет сейчас речь, существовали две главные разновидности радикального интеллигентского умонастроения — анархисты с их идеологией тотального бунта против всех общественных институтов, разрушения государства и закона, опоры на деклассированные, криминальные элементы, и «государственники» народовольцы. Те из них, кто вообще занимался теоретизированием, как известно, отводили государству в будущем обществе немалую роль. Наиболее четко и определенно эта идеология выражена в работе российского якобинца Петра Ткачева «Революция и государство». После 1 марта влияние народовольцев на общество упало, но все же как некая политическая сила и определенное умонастроение идейные наследники Желябова и первоапрельской программы просуществовали все царствование Александра III.

Большая часть русских интеллигентов того периода, хотя и не разделяла целиком идеологию какого-либо из двух названных течений, все же в той или иной мере находилась в пределах действия их «силовых полей». В условиях невозможности легальной оппозиционной политической деятельности романтика непосредственной радикальной борьбы с правительством оставалась главным идеалом русского интеллигента, особенно в молодости — единственном периоде жизни, когда он жил безоглядно и бескомпромис-

сно, «по совести». «Молодежь в ряде сменяющих друг друга поколений была охвачена резко антиправительственным настроением, выразившемся в непрерывных студенческих беспорядках и движении к народу, в отказе от привилегий и традиций... Среднее образованное общество сочувствовало молодежи, а не правительству. Как бы ни относиться к этому явлению... но факт общеизвестен: русское общество второй половины XIX века было настроено сплошь оппозиционно. У него не было своей прочной идеологии, которую оно могло бы противопоставить утопической идеологии своей молодежи... И можно сказать, что для целого ряда поколений русской интеллигенции самые яркие воспоминания юности связываются непременно с мотивами этого рода: обыск, арест, ссылка... Молодые мечты о переустройстве общества и... каземат» (Короленко В. Г. «И. А. Гончаров и «молодое поколение»). Таким образом, силы, имевшие колоссальную потенцию и желание бескорыстно служить родине, силы разума и социального альтруизма были направлены на ложный, гибельный и для них самих, и для общества, путь политического радикализма.

Даже теперь, в полной мере зная, сколь глубока и страшна оказалась бездна, в которую подтолкнул Россию революционный максимализм радикальных интеллигентов, мучительно трудно произносить в их адрес слова осуждения, ибо в основе их тягчайшего по своим последствиям заблуждения лежали чистые и самоотверженные устремления лучшей части общества. И все же во имя нашего будущего, во имя того, чтобы подобная трагедия больше не повторилась, чтобы не быть снова отброшенными на столетие назад, мы обязаны произнести над могилой интеллигентского радикализма обвинительный вердикт. И отягчающим обстоятельством должно послужить то, что не вся интеллигенция пошла по этому пути, что некоторая ее часть уже нащупала в то время другую дорогу.

В рассматриваемый период времени интеллигентский персонцентризм достиг той стадии развития, на которой происходит «специализация», разветвление идеологии. Она разделилась, по меньшей мере, на три ветви — художественную, научную и идеологию «незаметного служения»...

Самой заметной для современного ей общества и самой известной для нас — потомков — является, конечно, художественная ветвь персонцентризма. Такова уж специфика этого рода деятельности, выдвигающая ее к рампе, в центр общественного внимания. О русской художественной культуре того времени написаны горы книг. Мы же лишь скажем несколько слов только о тех ее аспектах, которые особенно существенны для нашей концепции. Прежде всего, в русской художественной культуре 80—90-х годов наиболее ярко отразился происходивший тогда процесс *деполитизации интеллигенции*. Начало 80-х стало в этом отношении заметным рубежом. Разочаровавшись в безуспешных попытках сплеча решить социально-политические проблемы страны, а отчасти — и осознав принципиальную бесплодность подобных скоропалительных действий, умеренный интеллигент отыскал для себя новые сферы приложения сил и интересов. Взамен политических вопросов, он обратился либо к внутреннему миру отдельного человека, либо к области чистой эстетики (по выражению Короленко, «ушел в культурные скиты»). В результате лидерами общественного мнения вместо социальных философов и политиков стали поэты, художники, скульпторы... Отказ от радикалистских идеалов со всей определенностью прозвучал в стихах Надсона:

Нет, я больше не верую в ваш идеал,
И вперед я гляжу равнодушно:
Если б мир ваших грез наконец и настал,—
Мне б в нем было мучительно душно.

Они были написаны в 1883 году. Правда, сам Надсон не удержался на этой позиции, а метался из стороны в сторону до самого конца своей короткой и горькой жизни. Но то уже другая история. Отказ от политики отнюдь не означал, что интеллигент-персонцентрист стал безразличен к общественным проблемам. Напротив — он начал переживать их еще болезненней. И потому еще более тягостным стало «то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью» (В. Г. Короленко).

Это чувство проявилось в углубленном внимании к проблемам отдельной личности, одновременно породив и великую грусть за человека, столь отчетливо проступающую у писателей того времени — Успенского, Гаршина, позднего Салтыкова-Щедрина, раннего Короленко... Но как ни тяжко бывает на душе от литературы того времени, она все же не отмечена печатью безнадёжности.

А не безнадежна она потому, что беспросветность изображаемой жизни отчасти уравнивалась способностью смеяться над ней. Этим великим целительным средством в высшей степени владели и Чехов, и Салтыков-Щедрин. За свою способность смеяться над нашей жизнью писатели расплачивались непомерно дорогой ценой. Видно, умение превращать страшное в смешное, как и всякое подлинное чудо, нелегко дается его творцу. «Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? — спрашивал Короленко. — Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность — употребляя терминологию химиков, — неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..» Но тот же Короленко в статье на смерть Щедрина говорит о том, что, превращая своей кровью слезы в смех, русские писатели делали великое и благородное дело. «К счастью для среднего русского человека, в самые мрачные минуты нашей недавней истории мы слышали этот смех... Он брал испуганного среднего человека за руку, гладил его по головке, обещал, что никогда генералу Отчаянному не удастся пожарной кишкой залить солнце, и хотя на сердце у него тоже кошки скребли, хотя сам он прислушивался с болью, как свинья гложет правду в темном хлеву, хотя самого его свинья уже хватала за ляжки, — он все-таки ободрял и утешал... И средний человек смеялся. Да, нужно было иметь великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки». И благодаря этому подвигу писателя «средний русский человек» получал силу и иммунитет, чтобы противостоять ужасу жизни, усугубляемому «хлевым ликованием» официальной литературы, которой и тогда было предостаточно. И потому не угасали в интеллигенции надежда и вера в возможность лучшего будущего — чувства, без которых невозможно работать для его прихода.

Художественная ветвь персонцентризма включала в себя не только литераторов. Все в те же «годы безвременья» новые веяния пришли и в живопись. После передвижников 70-х годов с их ярко выраженной, порой даже нарочитой социальной заостренностью, в фокусе внимания образованной публики оказываются живописцы, чье творчество обращено к внутреннему миру человека, к вечным проблемам бытия, к вопросу о месте человека в мире. Иными словами, главным предметом рефлексии художника стало не общество, а индивид с его извечными, не зависящими ни от характера социального окружения, ни от времени моральными и философскими проблемами. Словом, в живописи, как и в литературе, акцент сместился в сторону Человека как личности.

Второй разновидностью интеллигентского персонцентризма стала его научная ветвь. Либерально-индивидуалистическую идеологию начали исповедовать и распространять, присущими своей профессии средствами, ученые. Ведущую роль здесь, конечно, играли гуманитарии, такие, как историки В. О. Ключевский и Н. И. Кареев, юристы М. М. Ковалевский и Б. Н. Чичерин, социолог Н. К. Михайловский... Под их идейным воздействием то же дело делали и многие не столь выдающиеся ученые, которых, в отличие от перечисленных, вряд ли можно отнести к категории общественных мыслителей. Но процесс не ограничивался гуманитарной сферой. Свою лепту вносили в различных формах и представители естественных наук. Во всяком случае, и в научных кругах персонцентристский микроклимат становился в 80—90-е годы все более заметным.

Наконец третьей разновидностью описываемого явления стало то, что мы условно назвали «идеологией незаметного служения». В количественном отношении эта часть интеллигентов-персонцентристов была наиболее значительной. В нее входили учителя, земские врачи, библиотекари, агрономы, лесоустроители, мелиораторы и люди множества других так называемых «массовых интеллигентных профессий». Спокойно, без громких фраз и эффектных жестов, они отдавали свои способности, знания, жизни кропотливой повседневной работе на общее благо. Сея «разумное, доброе, вечное», они помогали своему народу освободиться пусть пока не от системоцентризма, но хотя бы от его неизбежных спутников и опор — нищеты, невежества и скотства.

Конечно, далеко не все они были на уровне этой своей социальной роли. Встречались среди них и проходимцы, и невежды, и просто безразличные ко всему службисты. Но таких было немного, ибо сама специфика поприща просеивала людей по их моральным качествам. И дело даже, главным образом, не в материальной стороне, хотя почти непренной предпосылкой выбора данного рода деятельности было изначальное личное бескорыстие. Просто, в отличие от художников и ученых, люди, вставшие на путь незаметного служения, не могли рассчитывать на какое-либо общественное признание

своей жертвы и заслуг. Вполне понимая при этом самоценность собственной индивидуальности, обладая развитым личностным самосознанием, они в то же время несли в себе такую нравственную силу, что могли добровольно, не ожидая в будущем никаких наград, положить свою единственную, неповторимую жизнь на алтарь благородного дела. Поэтому наверное, будет справедливо признать их наиболее самоотверженной частью движения персонцентристской интеллигенции.

Эти безымянные герои «поры безвременья» смогли и успели сделать многое. И, думается, в первую очередь, именно они сумели бы в конце концов вытащить Россию из системоцентристской трясины... Сумели бы... Но для этого судьба должна была отпустить им хотя бы немного больше времени и исторического счастья... А этого, как мы видели, отпущено не было.

Суммируя сказанное, можно, по-видимому, выделить четыре главных отличительных черты персонцентристской идеологии: общая ориентация на высшую ценность человеческой индивидуальности; конструктивный подход к действительности, стремление не разрушать существующий мир, а терпеливо, постепенно созидать новые отношения и, главное, нового человека; господство просветительских, культуртрегерских установок; наконец, неприязненно пренебрежительное отношение к политике, нежелание заниматься ею. Последнее, кстати, сыграло в дальнейшем роковую роль. С одной стороны, оно позволило интеллигентам-персонцентристах сохранять нравственную чистоту и необходимость для глубокого осмысливания действительности дистанцию к политической кухне. Но, с другой, добровольно отказавшись от выхода на политическое ристалище, они уступили очень важную арену борьбы за реализацию своих идеалов. Арена эта, на которой, в конечном счете, все и решилось, осталась в распоряжении крайних полярных сил — радикалов и ретроградов. Блока же умеренных политиков долгое время вообще не существовало, а когда он, под давлением обстоятельств, все же появился, то фигуры, вошедшие в него, оказались явно не пригодными для решения исторически возникших перед ними задач. И поэтому, если видеть общественное благо в ликвидации «людодерского» системоцентризма и замене его персонцентристскими, индивидуалистическими ценностями, то деполитизация либеральной интеллигенции принесла стране большое несчастье. Ибо пока либералы занимались наукой, творили прекрасное, пытались просвещать народ, радикалы продолжали свою подземную работу по подготовке к перевороту пирамиды власти. Единственная же сила, потенциально способная реально помешать их окончательному торжеству, выдвинув подлинно конструктивную альтернативу их программе и, тем самым, идейно похоронив их, самоустранилась из этой сферы деятельности.

В целом общество подходило к рубежу двадцатого столетия с предчувствием грядущих катастрофических катаклизмов. Оно распространилось на самые разные слои, самые разные уровни общественной пирамиды. Естественно, отношение к подобной перспективе было различным и даже полярным. Но и обремененные властью сановники, и утратившее чувство стабильности жизненного уклада крестьянство, и нарождавшийся городской пролетариат, и либеральные интеллигенты, и радикалы-революционеры — все жили в ожидании надвигающейся бури.

После рокового толчка 1881 года страна в целом неудержимо сползала назад. А поскольку во всех остальных отношениях время на месте не стояло, и тектонические процессы развития продолжались, то позади, вместо прежнего уютного системоцентристского болота, открылась пропасть. На дно этой пропасти и предстояло покатиться России менее чем через четверть века после конца правления Александра III.

Грехопадение после путча

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
НАРОДНОГО РУХА УКРАИНЫ
ВЯЧЕСЛАВОМ ЧОРНОВИЛОМ
БЕСЕДУЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ЛИНА ТАРХОВА

164

В исторический день, как выяснилось, выехала я в Киев — 23 мая. Это когда Украина ввела на своей границе паспортный контроль. Мои соседи по купе мирно пили «Русскую». Один вез дочку к теще в Бровары на лето из Тюмени. Другой, наоборот, уже возвращался от тещи с ковром, подаренным щедрой родственницей — свернутый в рулон, он, изогнувшись, свешивался из ниши под потолком...

В купе постучали. Молоденький солдатик, смущаясь, вежливо попросил предъявить паспорт.

Сличив, как положено по инструкции, оригиналы с изображениями, он исчез.

— Граница... Придумали! А где хоть эта граница, ее кто-нибудь видел?

— Не расстраивайся, друг. Пусть политики играют в свои игры, а мы выпьем.

И мужчины еще раз выпили, на нервной почве.

Явление пограничников, и точно, показалось сценой из игрового кино. Неужели это и в самом деле случилось? Два года исполнилось независимой Украине, но и мне, украинке, хоть и выросшей в России, трудно это осознать.

Человек, к которому я ехала, имел к этому событию самое непосредственное отношение — Вячеслав Чорновил, «главный националист» Украины, председатель Народного руха.

*Говорить нам было легко. Я хотела понять, Чорновил — быть понятым. Показалось, именно всеобщая неспособность **понять** мучает его больше всего.*

— Что было, что было, когда мы 24 августа провозгласили независимость! Россия сразу же пригрозила территориальными претензиями. Мы вас прижмем! И прислала гасить пожар Руцкого, Собчака, Станкевича... И вот сидят у нас в Верховном Совете напротив русских демократов — кто? Левко Лукьяненко — двадцать семь лет в лагерях за «национальную идею», Чорновил — пятнадцать лет... А москвичи начинают поучать **украинских партократов**, провозгласивших независимость: «Вы что, хотите устроить у себя заповедник коммунизма?» Затем нас представляют, и гости будто бы смущены. Мы объясняем: коммунисты оказались с нами, потому что мы их просто загнали в угол. Потому что независимости хотел народ! Я сидел напротив Собчака и сказал ему: «Вы нас предали заявлениями о территориальных претензиях, вы всадили нож в спину украинской демократии. Пойдите на площадь — а народ прямо бурлил перед Верховным Советом, — и вы услышите, впервые за послед-

ние два года, антирусские лозунги. Мы два года продержались после выборов в Верховный Совет — ни единого не было. А вы сталкиваете лбами русских и украинцев». Ну, Собчак смелый, он вышел. Его освистали.

И вот после подписания хитрого коммунике, которое как-то примиряло страсти, сидим уже в ресторане, и опять мы им: как же вы могли, демократы... И вдруг Собчак говорит: «Я наполовину украинец, но лучше бы это было не так!» Пришлось припомнить ему из Владимира Ильича Ленина. Жуткий, конечно, был человек, палач гениальный, но у него встречаются дельные мысли. Ленин сказал, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части шовинизма даже по сравнению с русскими. «Так вы, — говорю Собчаку, — пример этого ленинского тезиса». Тогда мы их проучили. Такой, знаете, барский демократический империализм...

— **Вот так и ссорятся демократы... Почему интеллигенты всегда найдут повод**

разбежаться, а коммунисты всегда «едины, как никогда»? Вопрос, становящийся вечным. Только какая-то угроза способна их объединить.

— Это программное. У коммунистов, фашистов в идеологии — единство мыслей и действий, а у демократов — плюрализм. Кстати, мы у себя довольно долго держались вместе, шли единым проломом. И тогда-то демократическое меньшинство командовало в Верховном Совете большинством. Мы буквально выбили Декларацию о независимости, несколько хороших законов. Мы наступали, бросались к трибуне, буквально закрывали противникам рот. Использовали не совсем парламентские приемы, но, конечно, без физического воздействия. Мы были воодушевлены победой на выборах — вернуть бы те времена! И многого добились. А потом пошло разобщение.

Грехопадение началось после путча. Украина готовилась к президентским выборам. Я считал — демократам нужен единый кандидат, пусть не я, я готов уйти в сторону. Но единый! Нет, крошечные партии повывдигали своих претендентов. Прямо по поговорке: где два украинца, там три гетмана. И начали одни кандидаты «копать» против других. Я с предвыборной программой выступаю в Донбассе (у меня было рекордное количество выдвижений — двадцать два), а соперники во Львове, где у меня совершенно твердые позиции, обливают меня грязью. Приходится все бросать, и целый вечер я вынужден «отмываться» по львовскому телевидению. Но к тому времени я уже имел некоторую закалку, когда баллотировался во Львове в Верховный Совет. Там я и был избран из десяти кандидатов, а уж соперники выставили против меня все, что могли. Кстати, несмотря на все провокации, во время президентской кампании на Львовщине я получил 76 процентов голосов.

— А по Украине?

— Двадцать пять. Каждый четвертый голос был за меня. А если бы демократы выдвинули общего кандидата?!

— Но Кравчук тогда ловко перехватил инициативу, мы это наблюдали. Что значит прожженный политик!

— Опытный демагог. Он всю жизнь работал в пропаганде и агитации. Если демократия неразвита и люди не искушены в тонкостях политики, именно демагогия может принести успех. Когда перед выборами меня спрашивали, чем моя программа отличается от программы Кравчука, я говорил: «Как ни странно, почти ничем.

Только моей программе лет тридцать, а его — три дня. Или три недели». Умный человек, Кравчук понял, что именно демократические идеи будут восприняты народом, а никак не коммунистические. И еще: он сумел разбить наше единство. И все это вместе взятое сделало его президентом.

Мне очень прискорбно говорить об этом, но трещина прошла и через Рух. Иван Драч, Михайло Горынь, с которыми мы начинали это движение, ушли в «национал-государственники». Идея государственности им затуманила головы, пусть даже государство будет красно-коричневым. Они поставили на Кравчука, который ведет с ними ловкую игру. Я тоже за украинское государство, за что и в лагеря попал, но — за национально-демократическое. Здесь — водораздел. Кстати, четвертый съезд Руха, избравший меня председателем, подтвердил именно эту позицию. Рух — организация демократическая, ни красного, ни коричневого цветов в нашем спектре нет.

— Вашим противникам легче — у них подобных запретов не бывает. И моральных тоже. Ведь стыдно вот так перед выборами подхватить чужую идею. Рефлексия замучает, друзья руки не подадут. Здесь интеллигенция всегда заранее обречена. Потому и принципиально всегда держалась в стороне от власти. Что и давало ей такой моральный авторитет. Власть мирская и духовная несовместимы. То, что простится партократу Кравчуку, всегда будет поставлено в вину демократу, узнику брежневских лагерей Чорновику. Здесь главное — соответствие образу. Номенклатурщику «положено» быть самодовольным, ездить на служебной машине, скупать по дешевке госдачи и прочее. Демократ в представлении публики — аскет, ходит пешком, мечтает о счастье мира — и никогда о собственном. И выпадения из образа люди не прощают. Может быть, действительно, для сохранения незамутненности образа он должен быть всегда в оппозиции?

— А мы и есть оппозиция. После провозглашения независимости главной ошибкой демократов была эйфория. Нет ни демократов, ни партократов — будем вместе строить новую Украину! Это то, чему я не поддался, и поздравляя Кравчука, заявил, что мы переходим в конструктивную оппозицию. На меня шипели коммунисты и мрачно смотрели братья-демократы. Какая может быть оппозиция? А сейчас всем уже стало ясно, что реформы на Украине никто начинать и не собирается... Да и кто

их будет проводить? Те коммунисты, которых Кравчук рассадил руководителями на местах, сверху донизу? Необходимо менять всю политическую систему — ликвидировать советы, провести новые выборы, принять новую Конституцию. Иначе крах. Когда все это стало очевидным, я заявил, что мы переходим в жесткую оппозицию.

— **А понятие оппозиции уже усвоено украинским обществом?**

— Моя роль была — приучить людей к слову «оппозиция». Это норма цивилизованной жизни. Иначе загнивание, застой. Ух, как они воевали со мной! Кравчук на Форуме украинцев, а туда съехались представители диаспоры со всего мира, назвал меня злейшим врагом украинского народа. И вдруг из зала чуть ли не свист в ответ. А один украинец из Чикаго подошел потом к нашему президенту: «Вы знаете, что сделал Буш, когда вернулся домой из Киева?» (А тот наговорил здесь глупостей против независимости.) «Буш уволил помощника, который ему это написал. Выгоните и вы того, кто вам подсказал о злейшем враге».

Меня упрекали — рвется к власти, хочет оттеснить Кравчука. А мы и не скрываем: Рух ставит своей задачей в том числе и борьбу за власть. Зачем же ее старой номенклатуре отдавать? Если думать о «незамутненности образа», как вы говорите, тогда надо сидеть, сложа руки, чтобы их не запачкать. А если думать об Украине, надо засучивать рукава.

— **Неужели два года в кресле председателя облисполкома — а, судя по многочисленным тогдашним публикациям, вы попали в бурлящий котел — не отвратили от этой мысли?**

— Вы знаете, руководящее кресло убивает человека. В полном смысле слова. Эта тяжесть ответственности, необходимость принимать решения, от которых зависят судьбы людей. И жива, не умирает тоталитарная система, в которой я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Это совершенно другое ощущение, чем, допустим, в Рухе, где мы все равны. А во власти все перед тобой заискивают, ты не чувствуешь естественного сопротивления твоему мнению. И все равно мы там много сделали. У нас было море власти. Это была лаборатория для всей Украины, и многое потом повторили в других местах. На второй день после моего избрания я подписал постановление об удвоении земельных наделов. Раздали тогда сто тысяч гектаров. И рынок начал наполняться. Вывели парткомы за пределы предприятий, в то время

это прозвучало подобно взрыву. Ельцин у себя сделал это позже. Разрушили монополию коммунистической печати, ввели символику, которая стала потом государственной. Киев наблюдал за Львовом пристально, но молчал. За нами была массовая поддержка народа. Только когда мы попытались ввести частную собственность на землю, столица встала на дыбы. Тут уж подрывались самые основы.

А сначала мы были украинским Пьемонтом, центром Сопротивления. Коммунисты еще были у власти, а мы начали свои еженедельные митинги. Тогда мы могли вывести на улицы триста тысяч человек и пройти по городу, не сломав ни единой ветки. Нас разгоняли, травили собаками, но люди упорно собирались в назначенный день. Это были потрясающие демонстрации солидарности. С этими-то людьми потом, после выборов, все и делали.

О, какие трудные были два года! За каждый из этих счастливейших лет я заплатил по инфаркту. Один был небольшой — я быстро отлежался, потом ударило посерьезнее. С тех пор я говорю, что инфаркт — болезнь исполнительных органов.

— **Думаю, вы делаете указанным органам большой комплимент. Там не пропускают деловые проблемы через сердце и умеют работать «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Вот еще одна слабость интеллигента у власти.**

— Но никакая жертва не будет чрезмерной для дела, каким мы сейчас заняты.

— **Скажите, а какая человеческая страсть кажется вам самой сильной?**

— Трудно сказать... Я хотел бы, чтобы меня это не коснулось, но очень сильная страсть — честолюбие, жажда власти. Я видел прекрасных людей, не хочу называть имен, это бывшие друзья. Но человека поставили выше того, что он может, и он ломался. А ломать у нас умеют, отработано множество способов.

— **Например, купить...**

— Это один из самых популярных. И главное, так опутают, и не заметишь. Например, нам, депутатам, положена машина. Никто их не давал, и вдруг в конце девяносто первого года продают депутатам «Жигули», как выяснилось, за месяц до резкого повышения цен. Половину выделенных автомобилей приобретают еще и работники аппарата, а как же... А потом газеты публикуют списки: позор, депутаты продались за машины. Я тоже «Жигули» эти несчастные имею. Но так хитро было сделано... В итоге нас подставили. Еще

трик — депутатам стали давать постоянные квартиры, хотя положены только временные. И наши коммунисты, из Донецка, например, страшные империалисты, мечтают восстановить Союз во главе с Москвой, — они почему-то не отказались от постоянного жилья в Киеве. Я не взял, не мог себе позволить, то была хорошая наука. Так досадно было, когда один человек сказал: «Вот пане Чорновил, и вы за якісь шматки...» Да яки шматки! У меня, как у депутата, зарплата 40 тысяч купонов. Это ничто! И льгот у нас нет. Но чувство собственной значительности! Ко мне подходят, просят, заискивают... Я могу проголосовать «за» этого министра или «против», и мне за это лицензию какую-нибудь выгодную... Ощущение власти головокружительное.

Знали бы вы, какое облегчение я испытал, когда оставил пост председателя облсовета! А ушел потому, что был принят закон о представителях президента на местах, это сделало мою должность чисто декоративной. С какой радостью покинул кабинет, принадлежавший раньше первому секретарю обкома, и перешел в облезлую комнату Руха в Киеве! Это было как освобождение. Потому что видел, как прирастали к креслу хорошие люди, наши демократы.

Хотя, надо заметить, положение, действительно, обязывает. Когда избрали председателем облсовета, решил — никаких «Волг», только пешком, мне от дома и идти-то двадцать минут. И в первый день шел на работу два часа. Тебя поздравляют, расспрашивают. Да и здесь, в Киеве, как зайду на базар за редиской, обязательно митинг... А тогда понял — если хочу что-то успевать на работе, придется ездить на машине.

— **Оборотная сторона популярности?.. Я все думаю — мы сами виноваты в том, что разочаровываемся в демократах. Опьяненные смелостью, новизной их мыслей, поступков — а ведь это было! — мы посчитали, что эти люди особые, что демократия — категория также и моральная. И мысленно наделили наших лидеров лучшими свойствами интеллигенции. А они, оказалось, и взятку могут взять, как все. Но — сами виноваты, ибо — не сотвори себе кумира.**

Хотя, конечно, обидно расставаться с такой иллюзией. Как и с другими иллюзиями, которые успел полюбить. Например, что живешь в самой счастливой, самой справедливой и дружной семье народов. Вот четыре строчки:

Родина моя — не только Русь,
Родина моя — Кавказ, Молдавия...
Родина моя — широкий Днепр...
Родина моя — Алма-Ата...

Для меня это просто очень плохие стихи. А у Левко Лукьяненко, который приводит их в своей книге «Исповедь в камере смертников», это вызвало гневный комментарий: «Воистину, загребущестъ не имеет границ!»

Но признайтесь, было что-то хорошее в чувстве необъятности страны. Это не тоска по империи, нет. В конце концов славянский характер сформирован огромными просторами. Хотя бы это генетическое чувство.

— Ничего положительного в этой фиктивной, подневольной безграничности я не вижу. Я никогда не чувствовал себя дома в Советском Союзе, я ощущал себя гражданином колонии.

— **Трудно спорить, что Украина была колонией. Еще Вернадский писал, что XVII и XVIII века были временем «поглощения и переваривания Россией Украины». И что в XIX столетии она перестала существовать как самостоятельная организация.**

— Все так. И потому чувство семьи единой, которое нам пытались привить, было донельзя фальшивым. Как у Маяковского: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока». Были буржуи — американцы, французы, а мы вот — советские. И это классовое чувство загоняли в какое-то сверхэтническое чувство.

— **Есть люди, которые говорят: я никогда не задумывался, какой я национальности, и счастлив этим, мы все так дружно жили...**

— У этих людей удалось провести замесу их русскости, грузинскости понятием советской общности в результате планомерного уничтожения всего национального. Говорят, история — это дисциплина памяти. У этих несчастных отняли историю, отняли дисциплину у их памяти. Их обокрали — под видом того, что обогащают.

— **Если верно, что каждая нация — грань Божьего замысла, то обокрали и Бога.**

— А в советском народе, пожалуйста, без этих «граней». И угнетали, истребляли, преследовали культуру, язык. А ведь язык — судьба нации. Вот какая это была судьба: на Донбассе, где живет много русских, начальник мог сказать подчиненному, если бы тот вдруг заговорил по-украински: «Я этого свинячьего языка не понимаю». Или: «Я этого бандеровского языка

не понимаю». Позакрывали украинские школы. Село еще держалось, а в городе думали: закончит ребенок украинскую школу, придет куда-нибудь в Киев или Днепр-петровский в «русский» вуз, и вот он лишен будущего.

— Мне рассказывали, украинские власти любили прокатиться с зарубежными гостями под Канев, к могилам Шевченко. Возложить цветы, продемонстрировав уважение к национальному гению, и заодно заночевать в комфортабельном «охотничьем домике». Но того, кто попадался у могилы Тараса Григорьевича с цветами от себя лично, могли и с работы выгнать за национализм. И национальная политика у нас была двойная — на экспорт и для внутреннего употребления.

— Были, были у нас такие времена. Кстати, слова «национализм», «националист» для многих и сегодня остаются ругательствами. А для меня эти слова несут самое положительное содержание. Если, конечно, это не крайние проявления национализма.

— Геть кацапів?

— Ну, таких лозунгов пока нет, это уже бытовая крайность. Хотя крайне правые иногда играют словами типа «Украина для украинцев» и так далее. Но напряженности между русскими и украинцами нет, нам ее пытаются внести извне — ваши коммунисты, фашисты. Я читал интервью Жириновского немецкому журналисту. Уму непостижимо, что за бред. Польша — наполовину зона влияния России, наполовину — Германии, Германия должна задуматься — Россия слишком близко, и вообще все республики пора вернуть в СССР. И этот человек собрал у вас восемь миллионов голосов! Страшно.

А иногда и руководство России что-нибудь такое скажет! Вот одна только фраза Ельцина: «Россия будет защищать русскоязычное население». Что это такое — русскоязычное население? Я уже говорил, у нас насильственно внедряли русский язык, и многие украинцы говорят на русском. Их, что ли, российский президент собирается взять под защиту? Воображаю, что было бы, если бы, например, Мейджор заявил, что намерен защищать англоязычное население Уэльса. Кельты говорят на английском, но это их боль, они возрождают свой язык. Воинственные жители Уэльса схватились бы, пожалуй, за оружие.

За границей России живет много русских — вот их пусть и защищает российский президент, если необходимо.

— Кто это сказал: если бы философы

договорились о значении слов, то почти все дискуссии прекратились бы. Политикам еще нужнее договариваться о значении слов... А вот еще к вопросу о договоренностях. Из ваших выступлений в печати я знаю, что вы против СНГ. Почему?

— Это ненужная надстройка с имперским духом. Нам нужны, и очень нужны прямые двухсторонние связи с Россией и некоторыми другими республиками, и это все. Зачем нам общий руководящий орган, совместный с мусульманскими государствами? Прибалтийские республики не вступили в СНГ, и я уже видел в Гонконге карту: вместо СССР — СНГ, вместе с Украиной. Прибалтика отдельно, а мы с Россией и другими республиками выкрашены одной краской. Это мне было, как нож в сердце. Я хочу дружить с Россией, но не хочу быть частью России. Триста лет мы были ее окраиной.

— Вячеслав Максимович, а как вы отнеслись к заявлению президента Калмыкии Илюмжинова о том, что его республика отказывается от права на самоопределение? Можно предположить, в Калмыкии во главу угла будут поставлены права не нации, а личности.

— У меня совершенно не укладывается в голове, как можно отказаться от права нации на самоопределение. Права личности? Но они могут быть реализованы только в социуме. Европейские государства, как правило, однонациональны. Основой является коренная нация — с равными правами всех, в том числе с правом быть не похожим на других. Украинцы нигде больше земли не имеют. Если они где-то и живут, рассеянные по свету, там они в гостях, а эта земля — их родной дом.

Европейские государства, там, где они однонациональны, живут спокойно. Но там, где конгломерат народов, возникает напряженность. Возьмите Бельгию, которую населяют фламандцы и валлоны, между ними сильнейшие трения.

— Говорят, оттого, что они никак не могут договориться, кто главнее, в двуязычном официально Брюсселе до смешного — на Северном вокзале информация передается сначала по-фламандски, потом по-французски (язык валлонов), на Южном вокзале наоборот. На анекдот похоже, но можно представить, сколько за этим взаимной напряженности. Вообще, национальное чувство, мне кажется, самое иррациональное, непостижимое.

— И самое естественное. Человека нельзя безболезненно вырвать из его среды. Существует что-то, назовите это голосом крови, или кодом, с помощью которого родные люди понимают друг друга с полуслова. Нация — от слова *natio* — племя, народ, мы все произошли от общего прародителя. И потому способны из миллиона шумов уловить те, что включены в код нашей национальной памяти. Только внутри нации возможно для народа свободно проявить заложенные в нем творческие силы. Какой-то писатель сказал: каждая нация хочет быть не только сытой, но и вечной. Очень точно. Человек рожден не только жевать, но и чувствовать себя частью некой духовной общности.

— Этого не может дать культура?

— Вне нации нет культуры. Национальное задает самые тонкие струны души. Не случайно, думаю, век XIX, век бедный, был столетием интернациональным. Именно тогда зародились идеи интернационализма. Несытые народы искали поддержки друг у друга. Но в XX веке, начав богатеть, насытившись, народы задумались о более высоком, духовном, хотя культура, разумеется, существовала и раньше, всегда.

— А каким по вашей классификации будет следующий век?

— Не знаю. Но я видел карты будущего разделения Европы. Там много различных предложений зафиксировано — разделяться Испания, Англия, Бельгия.

— Сколько прольется крови...

— Ни капли! В условиях демократии это может пройти без кровопролития. Какой пример подают Чехия и Словакия! Без единой, можно сказать, пощечины расстались, не то что без выстрелов. Даже в жутком тоталитарном Союзе при его развале не пролилась ни одна капля крови, когда из него уходили Россия, Украина, Белоруссия. И это при коммунистическом мракобесии, когда еще пять лет назад нельзя было о том и подумать. Нас же сажали на пять—семь—пятнадцать лет за стихи, за строчку в статье. Мы не могли открыто написать о своей мечте — независимой Украине. И вот мирно разошлись. И знаете, я не чувствую тоски по утерянным связям с грузинскими, армянскими, таджикскими писателями. Среди них есть очень талантливые, но не так много у нас с ними общего. Украина должна интегрироваться в Европу.

— Давний украинский спор: Европа или Россия? Как давний русский спор: Европа или Азия? Вы ощущаете себя западным человеком?

— Да, мне хорошо с поляками, я быстро нахожу общий язык с французами. Украина потому так и называется, что была «краем», мостом, контактной зоной между Западом и Востоком. Но Запад успел оказать на нее сильное влияние. Здесь, в отличие от России, было сильно уважение к личности, уважение к праву. Богдана Хмельницкого то и погубило, что он был западный человек, верил в силу договора, а не в силу силы и привел Украину к союзу с Россией, которая совершенно по-восточному нарушила все пункты соглашения, предложенного Переяславской Радой... Но при всей неизбежности сужения связей с моими коллегами из республик политически необходимо общение с русскими демократами, нам нужно держаться вместе. Хотя иные из них такие шовинисты... Но у нас общая задача — возрождение своих наций. Нас угнетал не русский народ, его пытались сделать орудием угнетения, и это трагедия для русских.

Нас почти превратили в сельскую нацию, интеллигенции осталось немного. Она русифицировалась, переходила в центр, в этот общий котел. Если не переходила физически — то «переносили». Григория Сковороду объявили было основоположником русской философии. Нет своего философа, ничего, мы в империи поищем.

На счастье, наша нация оказалась удивительно жизнестойкой. В Якутии, в ссылке, я, если вижу, что в селе чисто подметен дворик, заборчик покрашен, чернобрицы цветут, здороваюсь по-украински: «Добрый день, як вам тут живеться?» И ни разу не ошибся.

Костомаров (отец у него был русский, мать украинка, он прозу писал по-украински, а научные статьи по-русски) дал в статье «Две русские национальности» психологический анализ украинского и русского характеров. В моих соотечественниках он подчеркнул индивидуализм. Община на Украине не прижилась, искусственно навязанная, распалась. Украинец привык отвечать за себя, надеяться на себя. У нас сын женится — и должен жить отдельно. Есть песня: «Постав хату з лободы, а в чужую не веди». Хоть из лебеды дом строй! И с этими особенностями менталитета нужно считаться.

— Вы руководите самым популярным на Украине движением. Но национальная идея сегодня в бывшем Союзе переживает кризис. Когда нечего есть, не до высокого, как вы сами говорите. К тому же повсюду снижается доверие к разруши-

телям старой жизни, жить-то стало хуже. Я хожу по Киеву, говорю с родными — впечатление всеобщей усталости. И одна мысль: дотянуть бы до вечера, до субботы...

— Да, апатия жуткая. Мы переживаем страшный кризисный период. Но это только еще раз доказывает, что необходимо немедленно начинать реформы. Наконец что-то делать! И национальная идея здесь ни при чем. Кстати, национальные установки очень сильны на селе, где живет много благополучнее, вот вам доказательство. Даже там, где еще недавно были абсолютно индифферентны — в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Полтавской областях, например. Все, что говорится об Украинской народной республике, о казачьих временах, о подавлении Украины Россией, все воспринимается там на «ура». Мы в Рухе мечтаем, что на селе, да и в городе, появится класс собственников, мы рассчитываем, это и будет наша основная социальная база.

Но должен сказать, есть общественные проблемы, которые живо интересуют всех и сегодня. Рух проводит в разных регионах слушания о преступлениях коммунистической партии. Не суд — он предполагает подсудимых, приговор — а именно слушания. В этом году в сентябре вся Украина будет отмечать шестидесятилетие голода 1933 года, когда на хлебной Украине вымерло, по разным подсчетам, от семи до десяти миллионов человек.

Весь мир молчал, специально или умышленно. В моем родном селе на кладбище есть заросший уголок, где истлели сотни, наверное, моих односельчан. Рассказывают, сюда привозили не только мертвых, но и полуживых. Возчик тоже ведь был еле живой, ему приходилось экономить силы, чтобы не ездить лишний раз. Это жертвы коммунизма — голод был искусственным. Я еще помню женщину с сумасшедшими глазами, она рассказывала, как варила одного своего ребенка, чтобы накормить остальных. Какую муку всю жизнь носила в себе несчастная мать! Как смотрела в глаза детям, ради которых убила другое свое дитя, когда те выросли?..

Память о том голодоморе живет в народе. Нет, люди не очерствели, они устали. И пусть идея национального возрождения их воодушевляет сегодня меньше, чем вчера, главное — она жива.

— А вы не боитесь новой, западной, психологии, когда интерес устремлен исключительно внутрь себя? Мы воспитаны

по-другому, так, что события в Сомали казались важнее отсутствия хлеба в магазине. Над этим можно иронизировать, но есть здесь и что-то хорошее. Человек принадлежит своей нации — но и всему миру.

— Над таким воспитанием не иронизировать надо — это был могучий инструмент отвлечения человека от его проблем. Еще, кажется, Чернышевский писал: русского мужика, чтобы он не замечал турка (врага в то время лютого) внутреннего, звали с печи и настраивали против турка внешнего. Как в песне Галича: «У них первый был вопрос «Свободу Африке», а потом уж про меня в части «Разное». Это было искусственно созданное чувство всемирной ответственности.

— Это коммунисты лихо использовали не свое изобретение. Все начиналось именно по Чернышевскому, раньше. Беспощадно для интеллигенции написал об этом Михаил Гершензон: «Деспотизм, как и не могло быть иначе, вызвал в образованной части общества преувеличенный интерес к вопросам общественности... Общественность заполонила сознание; разрыв между деятельностью сознания и личной чувственно-волевой жизнью стал общей нормой, больше того — он был признан мерилом святости, единственным путем к спасению души. Этот распад личности оказался роковым для интеллигенции...»

Любовь к «дальнему», по Бердяеву, всегда была у русской интеллигенции сильнее, чем любовь к «ближнему». В медицине есть термин «отвлекающие боли». Выписывают мазь, которая жжет, это отвлекает от основной, грозной боли. Наше увлечение «общественностью» было в известной степени той мазью. И все-таки — не жалко замыкаться?

— Я очень мало вижу положительного в нашей бывшей озабоченности в первую очередь судьбами Африки. Настоящий интернационализм возможен только через утверждение собственного достоинства, сначала своего. И мы открыты. Мы идем в Европу. И пусть Россия, Белоруссия вместе с нами, нет, не вместе, а одновременно интегрируются в Европу. Все должно быть естественно. Народ сам делает свой выбор. Вот приоткрыли границы, и люди устремились на Запад. В Россию — только поторговать. Это, должно быть, досадно, но это так!

— А я уже ощущаю наш новый сепаратизм. Например, информации об Украине в наших газетах стало мало. Видимо, прин-

цип такой: отделились, и пусть вам будет хуже. Но хуже и нам. Миллионы людей связаны в наших государствах родственными, дружественными, любовными узами. И всем им хуже. Тетушка моя из Александрии очень долго не писала. Наконец пришло письмо: извините, дорогие, за долгое молчание, не могла достать международных конвертов, а в простых, сказали, письмо уже не дойдет.

Как-то даже не по себе стало: получить письмо с родной Украины в международном конверте. Как и предъявлять паспорт на границе. Это увеличивает расстояния между людьми, и без того «растянутые» безбожно выросшими ценами на железнодорожные билеты, например. Зачем даже во имя благих целей делать жизнь еще сложнее, чем она есть?

— Украина — государство, и с этим придется считаться. Государство должно иметь границы, пусть для России прозрачные. Но с этим нельзя не считаться, Украина — независимое государство, одно из самых крупных в Европе. Нам бы еще научиться так работать и жить, как на Западе.

А что касается информации в газетах — ее, действительно, очень мало. А уж тексты! Вот беру наугад «Известия»: «На переговорах в Киеве российская делегация одержала победу». Мы что, враги, чтобы один обязательно одолел другого?

— Меня тоже эта фраза царапает. Я должна радоваться победе российской делегации, но ведь она за счет любимой моей тетки, сестер, брата...

— А «Новости» из Останкина — вообще позор. Как перетолковывают события у нас! Всегда против Украины, с проимперскими тенденциями. Но они это тонко делают, они кусают Украину тонко.

— Я, наверное, не всегда это замечаю...

— У вас так не болит.

— Вы столько пережили за свои пятьдесят пять лет. Какое время было самым трудным?

— Думаете, нынешнее? Сегодня очень сложный период. Но даже если наше движение не будет развиваться так, как хотелось бы, я знаю — независимая Украина существует. И это главное.

Трудно, конечно, и то, что наш Верховный Совет, избранный еще при диктатуре коммунистов, представляет собой скопление и достойных, даже — выдающихся, но и жалких, иногда страшных фигур. Вот сейчас развивается один сюжет. Чтобы

как-то мне навредить, коммунисты запустили утку: Чорновил требует помилования Чикатило, поскольку тот является членом Руха. Может, помните, был такой маньяк-убийца. Когда мне показали записку об этом в одной газетке, я даже не сразу вспомнил, кто это. Естественно, никакой просьбы о помиловании не писал, никакой он не член Руха. В Ростовской области, как и вообще в России, наших отделений нет. Написано было как бы со ссылкой на мое интервью шведскому журналисту, с которым я никогда не встречался, представлявшему информационное агентство, какого в Швеции не существует. Мы получили о том справку в посольстве. Все по Геббельсу: чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасной.

Однако сегодня такая фальшивка вызывает омерзение, но не страх. Я подал в суд за клевету, прокуратура разберется. Я спокоен.

А страшно было в восьмидесятом году. Сначала арест и ссылка Сахарова. Это, видимо, было сигналом, и начались аресты. У меня четыре судимости, три из них связаны с неволей, но тогда, в восьмидесятом, началась планомерная кампания по компрометации национального движения. Так я оказался в ссылке в Якутии. Вот это были самые тяжелые месяцы жизни. Слава Богу, хватило воли, я сто двадцать дней голодал, меня кормили насильно, чуть не умер.

Что до лагерей, особенно политических, то их я вспоминаю сейчас даже с каким-то трепетом. Там была внутренняя свобода и интеллектуальное общение. Был собран сгусток умов со всего Союза. И все люди очень разные, от верных ленинцев, которые потом почти все пошли сотрудничать с КГБ, и кончая национал-фашистами. Но демократическое направление доминировало. Сколько мы дискутировали! Была возможность подумать, даже кое-что редкое почитать.

— Всегда слушаю такие воспоминания о лагерях, об афганской войне с ужасом. Что у нас должна быть за жизнь, если дискутировать с умными людьми, читать редкие книги, даже просто думать о жизни было лучше всего за колючей проволокой!

— Тогда не было нормальной жизни. И на свободе мы были узниками. А экстремальная обстановка лагеря очень мобилизует. И оглядываясь в прошлое, вижу — это не были потерянные годы. Было много и приобретено. В декабре 1976 года, напри-

мер, в День прав человека, я начал борьбу за статус политзаключенного, которого у нас не было. Вожди не желали признавать, что у системы есть враги.

Я заявил, что отныне не подчиняюсь никаким общелагерным правилам, посрывал арестантские нашивки, перестал ходить на принудработы, стричься. Меня год не выпускали из карцеров. В тюрьме легче, там обычный режим. А в карцере каждый второй день абсолютно голодный, спать только раздетым на деревянном настиле. К концу года от меня оставался один костяк, весь покрылся красными пятнами. Но, как на фронте не болеют, не умер. Люди, которые соглашались на сотрудничество, очень быстро ломались, заболели.

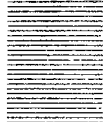
Я выжил, но многие наши ребята там и умерли. Василь Стус погиб, когда я уже

освободился, но первый приступ у него был при мне. Он лежал в луже крови, без пульса... Страшные воспоминания. Мы отнесли его на вахту, не зная, жив ли наш Василь.

— **Сегодня бывшие узники социалистических лагерей превратились в лидеров общественной жизни, что естественно. И разошлись.**

— Да, по разным партиям. Некоторые стали антагонистами. У нас в Верховном Совете десять бывших политзаключенных, почти все в разных партиях, кроме, конечно, левых партий, это невозможно.

В лагере мы все сидели бы в одном бараке. А в парламенте часто голосуем друг против друга. Но может быть, это не страшно. В конце концов, интеллигенция объединяется в самый трудный момент. Значит, нынешний еще не таков.



В. И. ВЕРНАДСКИЙ

Дневник 1940 года

1 января ¹.

Вчера работал, главным образом, над корректурами «Биогеохимических Очерков». С Фесенковым ² — о метеоритах.

Не было бензина в Академии; нельзя было достать и конвейерную машину. В городе всюду хвосты, нехватка всего. Население нервничает. Говорят, что в Москве еще лучше. В общем, это серьезное явление. Мне кажется, основной причиной — недостаток людей. В партию, которая держит диктатуру, пробивается всякий отброс — они жалуются, что трудно найти людей. В действительности, выбор определяется — как никогда <раньше> — «благонадежностью», а затем, как всегда в таких случаях, создаются «котерии» ³, которые поддерживают друг друга. Как я как-то сказал Кржижановскому: «И откуда вы выбираете гоголевско-щедринских типов!»

Когда в 1934 году ⁴ мы переехали из Ленинграда в Ломоносовский Институт, <его директор> Ферсман занимал главное место по значению и размерам своего Института. Его помощник — фактически заместитель, кажется, Станчинский — грубый, недостаточно образованный, по-видимому, поляк. Юридически он был заместитель по хозяйственной части, а фактически — при постоянном отсутствии (и заболевании) Александра Евгеньевича — он вел все дело. Александр Евгеньевич с ним очень считался и, думаю, его боялся. Но Станчинский льстил Александру Евгеньевичу — очень ловко вел дело. Осенью 1935 года, мне кажется, произошло <между ними> первое открытое столкновение, неожиданное для Александра Евгеньевича.

¹ В этот день Владимир Иванович писал Л. С. Бергу: «В последние годы нахожусь в периоде научного творчества. В мои годы (подхожу к 77) это, кажется, не часто. Но как будто стихийно я подвожу итоги. Сейчас выйдет ряд моих статей и книг. Приходится бороться за свободу мысли. Доходил до верхов». (Письмо хранится в Архиве Российской АН.)

² Фесенков Василий Григорьевич (1889—1972) — астроном, академик, член Комитета по метеоритам.

³ От франц. *coterie* — кружки, сплоченные группы лиц, преследующих корыстные цели.

⁴ Описка; В. И. Вернадский с семьей переехал из Ленинграда в Москву в 1935 году.

4 января.

1-го и, особенно, 2-го Января распространилась в Москве тревога в связи с большой неудачей в Финляндии. По-видимому, это связано с большой неудачей на севере — которая ясна была для читающих иностранные газеты с конца Декабря. Английское радио, которое многие слышали, <передавало> накануне 1-го Января: до 100 000 (?) пострадавших. Все-таки кажется невероятным.

С другой стороны, смена лиц в армии и в Ленинградском <военном> округе. (Говорят,

С м.: В. И. Вернадский. Дневники 1938—1939 гг. — «Дружба народов» №№ 2, 3, 1991 год; №№ 11—12, 1992 год.

Дневник печатается с сокращениями. Для удобства восприятия текста авторские сокращения и купюры публикатора не показываются; смысловые вставки заключены в угловые скобки.

сменен Жданов — мелкая бездарная фигура, особенно после Кирова.) Отъезд в Ленинград, одни говорят — Сталина и Ворошилова, другие говорят — Молотова и Буденного. Идут толки и из коммунистических кругов.

Наплыв раненых в Ленинград и в города между Москвой и Ленинградом. Масса рассказов о близких, о плохой организации снабжения командированных. Отсылка машин на фронт. Говорят (шоферы) и о Турецком (фронте). Большое недовольство. Очевидно, <допущена> крупная ошибка: плохая разведка. Зарвались. Раздражает ложь в официальных заявлениях. Вследствие этого — свободное распространение слухов.

Во всех городах недостаток продуктов. Москва <снабжается> лучше других — но и здесь очереди. Одинокие даже не могут хорошо питаться. <Приходится> простаивать долго (в очередях). Нет самого необходимого: сыра, хлеба (кроме Москвы).

8 января.

Я думаю, что происходит большое скрытое брожение мысли в связи с резким противоречием <между> реальностью и официальным изложением положения. Ножицы между этими двумя реальностями, всегда в государственной жизни существующие, здесь резко разошлись и диссонанс чувствуется. Сведения о реальности — верные — проникают двумя, вернее, тремя путями: 1) из радио от отдельных лиц; 2) из коммунистических кругов — опять больше, чем последние годы; 3) из писем обывателей и участников <событий> — и даже <из кругов> партийной идейной молодежи.

Такие <молодые люди>, оказывается, есть — <и их> больше, чем я думал. Ее <молодежи> роль может быть большой. Хорошо говорил Дима ¹, он **говорит** <то>, что **нужно**; но что он в действительности **думает** — никто не знает.

¹ Дальний родственник Вернадского, студент.

9 января.

Вчера сидел дома (> 24°R). Работал хорошо. Много читал и думал. Кончил корректуру «Биогеохимических Очерков» и отослал в издательство.

10 января.

Здоровье эти дни лучше. Морозы больше 30°. У нас в квартире еще тепло. Я, несомненно, очень чувствую атмосферные условия. Совсем запущенная область науки в ее приложении к человеку. Много попыток — мало результатов.

Финляндия сейчас в центре переживаний. Резкое противоречие между сообщениями правительства и реальностью. Всюду <это> пробивается. Полный развал — даже в Москве — торгового аппарата. Ничего нет в магазинах. Хвосты все увеличиваются и ропот растет.

Вчера был у Насоновой ¹. Арестовали ее зятя, <работавшего> в Комиссариате Иностранных Дел, — Львова; я его не знал. Мне кажется, фамилия его — псевдоним. Он с женой, дочерью и сыном приехал с год (или больше?) <тому назад> из Парижа. <У него были> большие связи с французской коммунистической партией. Говорят, умный, идейный и очень образованный человек. Служил в Народном Комиссариате Иностранных Дел. Недавно <там была> чистка — 150 человек удалено, не знаю — сразу или постепенно. Из Литвиновских ² <сотрудников> никого не осталось. При обыске — захвачена рукопись Николая Викторовича, английский перевод. В связи с этим я и был у Екатерины Алексеевны. Арестовали, кроме Львова, и дочь Насоновых, его жену, и внука — молодого юношу. Дочь тоже служила в Народном Комиссариате Иностранных Дел.

¹ Вдова академика Николая Викторовича Насонова. См. запись 13 февраля 1939 г. («Дружба народов» №№ 11—12, 1992, стр. 17).

² Л и т в и н о в Максим Максимович (1876—1951) — партийный и государственный деятель, дипломат, в 1930—1939 гг. возглавлял Наркомат иностранных дел СССР.

12 января.

Один день мы остались без хлеба. Полный хаос, и видишь, что легко может быть паника со всеми ее последствиями. По-видимому, по всей стране не хватает и хлеба, и пищевых продуктов. Недовольство растет — и *«оно»* может быть грозным. Первый раз за эти года *«так»* переживаю. А наряду *«с этим»*, как в *насмешку*, идет пропаганда о «счастливой» у нас жизни. А люди — тысячи и сотни тысяч — стоят в очередях буквально за куском хлеба. Причина ясна: плохой выбор людей — невежды и преступный элемент проникают в партию.

Рассматривая *«сложившееся»* положение, видишь 10—15-миллионную армию заключенных и спецссыльных. Последние производят дешевый — рабский *«труд»*, превосходящий в среднем *«труд»* рабочих.

Эта черта нашего строя исторически должна быть учтена и исторически *«она связана с»* господством преступника Ягоды и сумасшедшего (?) Ежова.

Из Финляндии все идут очень тяжелые вести. Я думаю, в конце концов *«наши»* справятся. Но *«обнаружилось»* полное незнание *«сил и возможностей противника»* (разведка никуда не годилась). Напоминает старую войну царского правительства — обмундирование и снабжение плохое. Английские газеты указывают, что наши аэропланы хуже английских, которые, согласно постановлению Лиги Наций, посланы Финляндии. При разгроме Некрасова ¹ и других крупных конструкторов этого можно было ждать. Тут *«остается»* надежда *«на»* талантливость народа.

175

¹ Некрасов Александр Иванович (1883—1957) — механик и математик, академик. В 1930—1938 гг. работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). О разгроме (ЦАГИ) см. запись 16 января 1938 г. («Дружба народов», 1991, № 2, стр. 227—228).

27 марта.

Летом 1882 года — экскурсия в Нижний Новгород с В. В. Докучаевым ¹. Прошел пешком от Доскина по Оке до Нижнего. Здесь нашел ископаемых. Определил Амалицкий ², который был тут же. Докучаев со мной готчас же прошел разрез, и результаты были напечатаны в 1885 году в отчете Ферхмина ³. Это — начало моей настоящей работы научной. Раньше этот ископаемый слой был пропущен.

¹ Докучаев Василий Васильевич (1846—1903) — почвовед, геолог, минералог, профессор Петербургского университета, создатель крупнейшей в истории отечественной культуры научной школы, учитель В. И. Вернадского.

² Амалицкий Владимир Прохорович (1860—1917) — геолог и палеонтолог, профессор Варшавского университета, ученик Докучаева.

³ Ферхмин А. Р. (1858—1905) — почвовед, ученик Докучаева.

4 апреля, утро.

«21 апреля 1916 г. Никаких признаков возможного коренного изменения в ближайшем будущем, например, в виде революции, сейчас нет» ¹.

Писал тогда накануне революции, с возможностью которой реально не считался. Я стал считаться *«с ней»* вскоре после того, когда, вернувшись в Петроград, мне кажется, осенью 1916 года и до или даже в начале 1917 года имел разговор с А. И. Гучковым ² — о настроении в армии и о том, что последует, когда она вернется назад. Кажется, разговор я записал.

Выяснился в общих чертах происшедший исторический процесс — но корни его не видны. Выяснилось и то, что я предвидел — в создании чего отчасти и сам участвовал.

¹ Здесь Вернадский цитирует свою запись из дневника 1916 года.

² Гучков в Александр Иванович (1862—1936) — политический деятель, лидер партии октябристов.

15 апреля.

Вчера кончил доклад «О необходимости выделения и сохранения чистых изотопов тяжелых элементов природного радиоактивного распада». Дал переписать А. И. Софинской.

Кончил 1-й том «Истории СССР». Странное впечатление. Ярко выделяется тенденциозность — но, с другой стороны, несомненно — пересмотр <истории страны> с новой точки зрения многое вскрывает. Впечатление от «классиков марксизма», <на которых авторы ссылаются> на равном месте с научными выводами <из них>, производит странное впечатление наивного цинизма. Маркс и Энгельс местами интересны. Очень неравномерная — но в общем, вероятно, более отвечающая реальности <книга>, чем курсы Ключевского или Платонова, Соловьева ¹. Ярко проводится казенный патриотизм. Интересны оттенки в украинском вопросе. Вне всего прочего, XVII—XVIII века поражают нравственной убожеством царей. Впервые <книга предназначена> массам (75 000 экземпляров). Мог купить только по протекции (через Грекова) ².

¹ Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, академик Петербургской АН; Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, академик; Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, академик Петербургской АН. С В. О. Ключевским и С. Ф. Платоновым Вернадский был знаком лично, находился с ними в переписке.

² Греков Борис Дмитриевич (1882—1953) — историк, академик.

17 апреля.

Вчера открылась конференция по изотопам. Много народу. Мой доклад общего характера. Мне кажется, впервые подчеркнул в публичном заседании то резкое изменение, которое незаметно для нас произошло в понимании атомных весов. Мое предложение возобновить участие советских химиков в международной работе подчеркнул Звягинцев ¹. Мне кажется, этот небольшой доклад я прочел не напрасно — результат долгого обдумывания. Мне кажется, Пинскер уловил его значение в смысле выяснения основных научных представлений.

Все-таки не совсем хорошо себя чувствую. От вечерних заседаний решительно отказался ².

5.IX.1937 г. арестована по ложному доносу мой личный секретарь Елизавета Павловна Супрунова, дочь моей двоюродной сестры Екатерины Александровны Чернояровой-Голенковской, служившей в библиотеке. Обвинение <было> связано с местью прежнего квартиранта. Пытались замешать и меня. Писал об этом в НКВД. Совершенно невинный человек — одна из миллионов ³.

¹ Звягинцев Орест Евгеньевич — химик-технолог и геохимик, профессор, историк химии.

² 26 апреля 1940 г. на объединенном заседании отделений Геолого-географических и Химических наук В. И. Вернадский выступил с программным докладом «О количественном учете химического атомного состава биосферы». Подробное изложение доклада вскоре было опубликовано в «Вестнике АН СССР» (1940, № 6, стр. 61—62).

³ См. примечание 4 к записи 21 апреля 1939 г. («Дружба народов» №№ 11—12, 1992).

24 мая. Москва.

Разбирая документы прошлого и пытаюсь восстановить их хронологию, я натолкнулся на документы, связанные с моим возвращением из Симферополя в 1921 году в Петроград в Академию Наук — вновь на прежнюю работу.

Уехали <из Петрограда в конце 1917 года> я и еще Товарищ Министра Народного Просвещения ¹, заменивший Министра С. С. Салазкина ², арестованного и приговоренного к высылке в Кронштадт, <о чем было дано> объявление в газетах, когда положение было совершенно неясно. Я уехал, переехал к Паше ³, отчасти в связи с этим объявлением в газетах, отчасти в связи с неожиданно для меня вскрывшимся у меня старым туберкулезом, о котором я не подозревал.

То, что я смогу вернуться только в 1921 году — через 3 1/2 года, когда уже для меня была ясна победа большевиков, но когда сами большевики совершенно еще не получили тех государственных форм, которые выявились сейчас и будущее которых теперь так же неясно, как была неясна картина реальности для мыслящих ⁴.

¹ В а с и л е н к о Николай Прокофьевич (1866—1935) — историк, академик АН УССР, в 1917 г. — один из товарищей министра народного просвещения Временного правительства (вместе с В. И. Вернадским и С. В. Паниной), друг Владимира Ивановича.

² С а л а з к и н Сергей Сергеевич (1862—1932) — биохимик, профессор, в 1917 г. — министр народного просвещения во Временном правительстве последнего состава.

³ С т а р и ц к и й Павел Егорович, брат жены Вернадского, проживавший в Полтаве.

⁴ Фраза не окончена.

5 июня. Узкое.

Никогда не думал, что доживу до реальной постановки вопроса об использовании внутриатомной энергии ¹.

¹ 1 июня Владимир Иванович и его жена Наталия Егоровна приехали, как обычно, на отдых в Узкое. Вскоре сюда пришло из Вашингтона письмо от сына. В конверт была вложена вырезка из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 5 мая, в которой сообщалось об открытии энергии, связанной с процессами распада бомбардируемых нейтронами ядер актино-урана, говорилось о возможностях ее практического использования и об исследованиях, отчасти засекреченных, ведущихся в этом направлении в ряде стран Европы и в США.

Известие это крайне взволновало Вернадского, что видно и из краткой записи в дневнике. Месяц спустя, 5 июля, он пишет сыну: «Спасибо за присылку из Вашингтона вырезки из «New York Times» об уране. Это было первое известие об этом открытии, которое дошло до меня и до Москвы вообще. Я немедленно двинул дело. 25.VI образована в Академии «тройка» под моим председательством (Ферсман и Хлопин) с правом кооптации. Ферсман в Мурманске — но я начал работу немедленно, надо использовать лето и осень. Не ожидал я, когда Содди впервые ярко выяснил возможность использования энергии внутриатомной больше 35 лет назад, что доживу до реального не только обсуждения этого огромной будущности явления, но и работы в этой области. Я думаю теперь, что открывающиеся возможности для будущего здесь большие, чем применение в XVIII веке пара и в XIX веке электричества. Множество научных следствий».

19 июня. Узкое.

Вспоминаю 1930 год. — В этом году должен был выйти мой сборник «Живое Вещество» и немецкое издание моей «Биосферы».

Неожиданно с целым рядом изданий (издательства Академии наук) неизвестно кем (ЦК партии или политбюро — начало объявлено не было) был произведен переворот в цензуре. Философы ЦК получили реальную силу. Произведен пересмотр. В Ленинграде был арестован (и потом сослан в Ухтинский лагерь на работы) уполномоченный издательства в Ленинграде физик с заграничным образованием Ромм (кажется, жив и выпущен через немного лет), а в Москве главный редактор проф. Каган. (Который был скоро выпущен и оставлен профессором математики в Москве. Это крупный деятель, идейный, научно-популярного издательства в Одессе до революции, хороший ученый, сейчас имеет репутацию воинствующего филосемита. Друг покойного Я. В. Самойлова.) Форма издательства была резко изменена. Я начал немедленно хлопотать, но натолкнулся на новые правила, и такого рода сборники нигде не подходили. Одно из проявлений административной бездарности. Прошло долгое время и масса потери времени и усилий, пока я добился издания — убедившись, что надо переменить заглавие. Этот сборник, сильно пощипанный цензурой (невежественной анекдотически), должен был выйти в 1936 году и выходит под заглавием «Биогеохимические Очерки» только теперь, в 1940 году.

Не пустили (тогда же) за границу — неожиданно для меня. Причина мне осталась совершенно неясной. По-видимому, (сыграли роль) внешние европейские обстоятельства. Я не понимал, в чем дело. Говорил с Г. М. Кржижановским, Луначарским. Имел совершенно превратное представление о положении партийных сановников, постепенно передо мною вскрывавшееся при переговорах в Москве и Ленинграде. Говорил с Луначарским, Кржижановским, Рязановым ¹, Федоровским, Покровским ², Бухариным. Они были смущены, и только после нескольких разговоров я понял положение.

Мое настойчивое требование было вызвано невозможностью вести работу в здешних библиотеках. Луначарский и Бухарин заявили, что они это мне устроят — на 4 месяца в Петергофе, и можно организовать доставку книг. Попутно при этих переговорах Рязанов показал мне превосходную организацию Института Карла Маркса и Энгельса, произведшую на меня огромное впечатление³.

В Санатории мне решительно отказали в пребывании (в течение) 4 месяцев (я, кажется, не платил за себя) — но через некоторое время заведующая сказала, что я имею право здесь оставаться столько времени. Поместили хорошо. Как я и ожидал, работать в Петербургских библиотеках, несмотря на хорошие старые фонды, оказалось невозможным: новая литература (была представлена) с огромными лакунами — 15—20% нужного. Перевозки (книг были) еще более затруднительны. К концу я мог бы это доказать и пользовался (этим) аргументом для дальнейшего. Петергоф мне очень понравился — но Наташа брала солнечные ванны и заболела⁴. Прогулки к морю мне давали много.

³ Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) — деятель русского революционного движения, исследователь и издатель произведений Маркса и Энгельса, академик, в 1921—1931 гг. директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Жертва большевистского террора.

² Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) — политический деятель, историк, академик; с 1918 по 1932 гг. — зам. наркома просвещения РСФСР, курировал Академию наук.

³ Интересна запись в дневнике 10 июня 1931 года, также связанная с посещением Владимиром Ивановичем в 1930 г. в Москве Института К. Маркса и Ф. Энгельса:

«Сейчас вся страна приведена в движение. Совершается огромное дело. Но никто не может сказать, к чему приведет. Три корня: 1. Социалистическая мысль в коммунистической форме. 2. Диктатура организованной привилегированной касты, фактически наследственно передаваемой. 3. Старые навыки полицейского государства без всякого идеологического удержки».

Старый приказ Московского Государства (дело Государево). Слово и дело. Николаевская жандармерия. Провокационные инквизиторские процессы.

Кто сильнее? И что выйдет из этого? Настоящий творец революции — стремление крестьян к земле и их ненависть к угнетению, вековые — изжиты, кажутся побежденными?

Но идет опыт интереснейший. Применение новейшей техники при насильном рабстве ее создателей, огромная воля действия. Сталин, может быть, крупнее Ленина — во всяком случае, нашлись люди большие и крупные. Им ничего не мог противопоставить режим.

Максимум усилий — minimum результата. Но maximum очень велик. И результат может быть тоже большой — если только выдержит народ. Но народ всегда выдерживает больше, чем ожидает возможным ум. И не только русский народ выдерживает.

Помню разговор с Рязановым, когда я осматривал его Институт в последнюю поездку мою в Москву, в хлопотах о моей загранице. Уходя, он мне говорил: «Даже если 2/3 усилий получат благоприятное разрешение — выйдет огромное дело». Я ответил: «Я думаю, что даже если будет чет и нечет — 1/2 — и то будет большое дело, хотя страшной ценой. Но выдержит ли народ?» Он с уверенностью: «Выдержит, выдержит! Русский мужик выдержит!»

Поразительно отсутствие предвидения при «плановости». Для того, чтобы создать новое важное или таким кажущееся — разрушается существующее.

Может быть, от этого в окружающей жизни не видно ни малейшей устойчивости и улучшения. Все на бивуаке». («Природа», 1990, № 6, стр. 95—96).

⁴ К сожалению, пребывание в Узком летом 1940 г. четы Вернадских на этот раз также не обошлось без неприятностей. 3 июля утром Наталия Егоровна упала, зацепившись за коврик, и сломала шейку бедра. Ее поместили в Кремлевскую больницу, где она пробыла на излечении более 3-х месяцев.

17 июля. Узкое.

15 июля вышли мои «Биогеохимические Очерки». Эта книга имеет свою историю, которая ярко рисует пренебрежение к свободе мысли в нашей стране. Если это не изменится — то это грозит печальными последствиями, так как (тем самым будут попораны) принципы высоких идеалов гуманизма, равенства всех, демократии, признания силы научного звания, (силы) науки, а не религии (причем большевики — ошибочно — не отделяют философии от науки). Эта книга была напечатана и должна была выйти в 1930 году под заглавием «Живое Вещество».

В Президиуме (Академии наук) вчера прошел вопрос об уране. Сделал доклад, не очень удачный — но результат достигнут. Огромное большинство не понимает исторического значения момента. Любопытно, ошибаюсь я или нет? Надо — записку в Правитель-

во. Превратить урановый центр при Геолого-географическом отделении в Комиссию при Президиуме. Ввести в нее физиков и химиков ¹.

¹ 16 июля 1940 г. состоялось заседание Президиума АН СССР, рассмотревшего доклад Вернадского по урановой проблеме. Постановлением Президиума комиссии в составе В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана и С. И. Вольфовича поручалось не позднее 1 августа разработать мероприятия для дальнейшего развития работ в Академии наук по использованию внутриатомной энергии урана, а также по созданию методов разделения изотопов урана и управлению процессами радиоактивного распада. Комиссии, далее, поручалось разработать проект развернутой записки в СНК СССР по вопросу научного и прикладного значения использования внутриатомной энергии урана и мероприятий, связанных с созданием государственного фонда урана, изучением и разведкой урановых месторождений. В своем докладе Владимир Иванович предложил преобразовать «тройку» при Геолого-географическом отделении в особую Комиссию по урану при Президиуме. Это предложение было принято.

На следующем заседании Президиума АН СССР, состоявшемся 30 июля, докладчиком по вопросу «О мероприятиях по дальнейшему изучению и возможному использованию внутриатомной энергии урана» вновь выступил Вернадский. В итоге тщательного обсуждения было принято одно из важнейших в истории отечественной науки постановлений об образовании при Президиуме Комиссии по проблеме урана. По состоянию здоровья статью ее председателем Владимир Иванович отказался. В состав Комиссии вошло 14 виднейших ученых — радиологов, минералогов, физиков, химиков, геологов, энергетиков: председатель — В. Г. Хлопин; заместители председателя — В. И. Вернадский и А. Ф. Иоффе; члены — И. В. Курчатов, С. И. Вавилов, Д. И. Щербаков, А. П. Виноградов, Г. М. Кржижановский, П. Л. Капица, А. Е. Ферсман, П. П. Лазарев, А. Н. Фрумкин, Л. И. Мандельштам, Ю. Б. Харитон.

Разрешению в нашей стране урановой проблемы Владимир Иванович придавал «огромное значение», как писал он в сентябре 1940 г. другу-сибиряку П. Л. Драверту. Исходил он при этом не только из патриотических и престижных соображений. Не менее, если не более важным для него было и другое обстоятельство: практическое использование ядерной энергии в мирном созидательном труде человечества открывало неизвестные ранее возможности строительства новой жизни в планетарном масштабе. «Я думаю, это колоссальный шаг в создании ноосферы», — пишет он Б. Л. Личкову в июле 1940 г. (Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым. 1940—1944. М., 1980, стр. 29).

13 августа.

При возвращении в 1926 году (в Ленинград), все мое положение в Академии изменилось ¹. Я не вернулся в Минералогический Институт, но только в Радиевый Институт и в КЕПС ². А. Е. Ферсман, который был очень мил, меня встречал на дебаркадере, (встречала также) группа друзей и сотрудников. Так как в 1925 году я был исключен из числа академиков ³, то в 1926 году я был выбран вновь на новые кафедры, которые были организованы в связи с двухсотлетием Академии. По кафедре минералогии меня замещал А. Е. Ферсман. Не знаю, как это все было оформлено. Я представляю себе так, что во время юбилея Покровский, которому я писал из Парижа, извещая, что я не отказываюсь вернуться и не нарушаю моего, ему данного обещания, когда он поручился (в том), что я вернусь; но Академия ставит меня в такое положение, что я не могу это сделать, так как она требует (моего) немедленного приезда до сдачи в конце 1925 — начале 1926 года моего отчета Fondation Rosenthal ⁴. Об этом было направлено мое письмо (одновременно) Карпинскому ⁵ (напечатано в протоколах Академии Наук). Я знаю, что М. Н. Покровский публично во время юбилейной сессии сказал С. Ф. Ольденбургу ⁶, что «с Вернадским Вы поступили неправильно — он» и так далее ⁷. Думаю, что Сергей этим сейчас же воспользовался ⁸.

Теперь (VIII.1940) я вижу, что было бы, если бы в 1922 г. я стал бы профессором Парижского Университета, как мне предлагали, или в 1921 году остался бы в Праге ⁹. Я выбрал правильный путь.

¹ В заграничной научной командировке В. И. Вернадский находился с 1922 по 1926 гг. В Ленинград В. И. и Н. Е. Вернадские вернулись в марте 1926 года.

² Комиссия по изучению естественных производительных сил СССР.

³ В 1925 году В. И. Вернадский в связи с необходимостью завершения начатых работ по биогеохимии задержался в Париже. Это привело к просрочке времени заграничной командировки. В результате Вернадский был исключен из числа действительных членов Академии наук и за ним сохранялось только звание академика.

⁴ Фонд Розенталя, названный так по имени основавшего его французского

промышленника, субсидировал исследования ученых, в том числе и тех, которые прибыли из-за рубежа и проживали во Франции временно. При Фонде был создан Ученый комитет, перед которым исследователь обязан был отчитаться по окончании своей работы. Фонд Розенталя финансировал биогеохимические исследования Вернадского. Итоги своих трудов Владимир Иванович подвел в серии статей, опубликованных в 1925—26 гг. во Франции и СССР (в их числе был и отчет Ученому комитету Фонда Розенталя). Самым значительным результатом стала изданная в 1926 году книга «Биосфера», вошедшая в число классических произведений мировой естественнонаучной мысли и впоследствии неоднократно переиздававшаяся.

⁵ Карпинский Александр Петрович (1846—1936) — геолог, академик (с 1896), президент АН СССР.

⁶ Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — историк-востоковед, археолог и этнограф, академик (с 1900), непреходящий секретарь Академии наук (1904—1929), друг В. И. Вернадского.

⁷ Фраза неокончена; но смысл «и так далее» очевиден: «не собирается эмигрировать, оставаться за границей».

⁸ Имеется в виду восстановление Вернадского в качестве действительного члена АН СССР, хлопоты о чем С. Ф. Ольденбург начал загодя, до возвращения Владимира Ивановича в Ленинград.

⁹ Год указан Вернадским не точно. В Праге он останавливался дважды. Первой была короткая остановка в мае 1922 года по пути во Францию, куда он выехал с женой и дочерью; в Праге их встречали сын Георгий Владимирович с супругой. Вторая остановка была сделана по пути из Франции домой и длилась она более трех месяцев (конец 1925 — начало 1926 гг.); здесь Владимир Иванович и Наталия Егоровна присутствовали на свадьбе дочери Нины с Николаем Петровичем Толлем. Так что предложение остаться в Праге могло быть сделано Вернадскому и его семье во время первой или второй остановки там.

180

19 августа.

О НООСФЕРЕ ¹

Правильно Ле Руа — как современное проявление эволюционного земного процесса — берет *penser* ² или *conscience* ³, т. е. проявление центральной нервной системы человека, охватившего всю биосферу и переделывающего ее в ноосферу, как проявления миллиард — два <миллиарда лет> длящегося процесса (E. Le Roy. *L'exigence idéaliste et le fait d'évolution*. Paris, 1927, p. 2—3) ⁴.

Сознание-мысль человека — есть функция биосферы и проявление эволюционного процесса, т. е. планетное явление, неотделимое от ее материального бытия, так как явно связана с атомами.

Человеческий разум не есть венец сознания и выявление <его> планетной силы, каким является <он> в свете эволюционного процесса.

Uebermensch ⁵ в этом смысле не есть фантазия, но есть вероятное явление.

Возможно, также связанное с материальным субстратом (планетарным?) высших проявлений *penser* или *conscience*?

У человека есть стороны развития нервной системы — которые дадут проявление в будущем в аспекте палеонтологического процесса.

Мысль и сознание — то совершенно новое проявление живого вещества, которое сперва без самооценки и самосознания выявилось в социальных группировках человеческих обществ — на наших глазах закончилось захватом всей планеты человеком, сознанием его единства и все усиливающимся и все углубляющимся общением. Расстояние между людьми исчезает, связь между ними является все более непрерывной и глубокой. Единая организация всего человечества и организация для единого действия является идеалом и в той <...> ⁶ обстановке убийств и разрушений, которые мы переживаем в данный момент, когда явно для всех — так мне в первый раз кажется — ясной становится совершенно иная возможность всемирной организации всего человечества для безбедной жизни и для благоустройства биосферы, управления этой перестройкой умом.

Биосфера — рано ли, поздно ли — превратится в ноосферу ⁷.

¹ Эта заметка представляет собой первый по времени эскизный набросок будущей статьи В. И. Вернадского «Несколько слов о ноосфере», завершенной им в 1943 г. и впервые опубликованной в 1944 г. Об этом свидетельствует также и авторское заглавие наброска. «Особенно хочется мне кончить эту статью о ноосфере», — пишет он 3 ноября сыну («Вестник АН СССР», 1990, № 12, стр. 132).

² Мышление, мысль (*франц.*).

³ Сознание (франц.).

⁴ Эдуар Леруа (1870—1954) — французский философ, математик, палеонтолог и антрополог, член Французской академии, профессор Коллеж де Франс (с 1921). Э. Леруа, как и его друг, крупнейший французский философ, католический теолог и натуралист (геолог, палеонтолог, археолог, антрополог), член Французской академии, в 1920—1923 гг. бывший профессором Католического института в Париже Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955), обратили внимание на те представления о биосфере, которые Вернадский развивал в 1923—24 гг. в своих лекциях в Сорбонне. (С П. Тейяром де Шарденом Вернадский был знаком лично и часто виделся с ним в Париже до его отъезда в Китай в 1923 году). В вышедшей в 1927 году книге «Требование идеализма и факт эволюции» Э. Леруа впервые ввел понятие ноосферы (от греч. «ноос» — разум), т. е. сферы разума, как современной геологической стадии эволюции биосферы. Автор при этом отмечал, что в качестве исходной он принял концепцию биосферы Вернадского. Несколько позже к этой точке зрения присоединился и П. Тейяр де Шарден, развивший ее в ряде статей и особенно в своем знаменитом «Феномене человека» (1940) — философской книге-поэме.

Эту своеобразную интеллектуальную эстафету вскоре продолжил Владимир Иванович, в сущности стоявший у ее истоков (с м. : В е р н а д с к и й В. И. Биосфера и ноосфера. М., 1989; в этой книге на большом документальном материале показывается, что к проблемам ноосферы Вернадский подходит, начиная еще со студенческих лет). В 1936 году он пишет Б. Л. Личкову: «Я принимаю идею Леруа о **ноосфере**. Он развил глубже мою биосферу». «Ввожу новое понятие «ноосферы», которое предложено Леруа и которое позволяет ввести исторический процесс человечества как продолжение биогеохимической истории живого вещества» (Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым. 1918—1939. М., 1979, стр. 182, 185). А позднее в статье «Несколько слов о ноосфере» Вернадский писал: «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету» (Вернадский В. И. Проблемы биогеохимии. М., 1980, стр. 218—219).

Когда писались эти строки, внучке Вернадского шел 15-й год (Татьяна Николаевна Толль родилась в 1929 году).

⁵ Сверхчеловек (нем.).

⁶ Слово неразборчиво; по смыслу: «трагической», «ужасной».

⁷ У Вернадского встречается в основном два толкования ноосферы: как уже осуществившегося состояния и как состояния, отнесенного к будущему. Думается, между этими пониманиями нет противоречия. В первом случае ноосфера истолковывается в контексте действительно наступившей новой геологической эпохи, когда разум человека стал ведущим фактором эволюции биосферы, однако в силу ряда причин все еще отягощенными отрицательными качествами, ориентирующими его в сторону зла, — деградации, разрушения биосферы и самоуничтожения человечества («злой разум»). Во втором случае — в пределах той же уже наступившей геологической эпохи — ноосфера понимается как такое социальное будущее человечества, новая эра **в его истории**, когда разум обретет способность переориентировать себя на творение добра — совершенствование биосферы и самого человека, созидание новых, гармоничных форм взаимоотношений между ними («добрый разум»), хотя и в этом случае, отмечал Вернадский, наивно было бы надеяться на полное искоренение зла из жизни людей.

В вышеприведенном наброске Владимир Иванович не предпринимает сроков наступления ноосферы (во втором смысле). Это произойдет, по его словам, «рано ли, поздно ли» — но произойдет.

Заметка датирована 19 августа, а вот запись 25 сентября завершается более оптимистически «XX век — век ноосферы», — утверждает Вернадский.

Оптимизм вообще был свойствен натуре Вернадского, являл собою глубочайшую черту его характера, отношения к жизни и людям, его психологического и философского настроения. Более того, в последние годы жизни Владимира Ивановича, начиная примерно с 1937 года, его социальный оптимизм явственно вступает в фазу резкого, скачкообразного подъема. И это вопреки тяжелейшим испытаниям, выпавшим в это время на долю самого Вернадского, близких ему людей, на долю любимой им родины, да и всего человечества...

Накануне и особенно в начале второй мировой войны Вернадского не оставляет **предчувствие** того, что человечество вступило в эпоху коренных перемен, которые он, помимо «взрыва научного творчества», связывал прежде всего с крахом тоталитарных режимов не только коричневой, но и красной окраски. «Коренные изменения в нашей стране неизбежны...» «Хочется дожить до победы над Германией и увидеть зарю ноосферы...» Эти и подобные им высказывания проходят через дневники и письма Владимира Ивановича до самого конца 1944 года (точнее, до 25 декабря, когда он потерял сознание и, не приходя в себя, скончался 6 января 1945 года).

23 августа.

Возвращаюсь <к записям> после долгого перерыва. Попытаюсь докончить историю «Биогеохимических Очерков» позже.

Вчера у меня был Борис Леонидович Личков. С ним разговор о его работе об истории рек и о явлениях геоморфологии, связанных с ледниковым периодом — с таянием льда. Преданные его ученики нашли средства подготовить — переписать на машинке — три экземпляра «Истории рек». Этот подарок решает дело о его докторской диссертации на доктора географии, может быть, — геологии. С ним <разговор> о том, что интересует меня сейчас: геологическая вечность Земли в ее современной структуре из геологических оболочек.

Был Петр Дмитриевич Дузь с женой — летчицей. Он тоже сдал экзамен на летчика. Привез рукопись — свою докторскую диссертацию по истории авиации в России. Роль Менделеева. Огромный архивный материал. Партийный. Живой, не <...>¹ человек. Сперва — он был парторг Комиссии по истории науки и техники, во главе которой стоял совершенный невежа <...>², эстонец или латыш <...>³ Мне предлагали тогда взять это дело — но я нашел <что это мне> не по силам.

Дузъ был выгнан со службы, зимою с женой и двумя детьми <лишен> академической квартиры. Думаю, что я не ошибся, — это настоящий человек.

Сегодня у меня были Виноградов и Ненадкевич. Я с Ненадкевичем в Радиевом Институте работал над летучими солями урана и тория в связи с тухолитом⁴. И для тория получили летучие хлористые соединения. Ярво вспомнил <при разговоре> — а все забыл.

Читал еще раз последнее издание «Записок Современника» Короленко⁵ — об Евграфе Максимовиче⁶, Елене Никтополеоновне Бирюковой⁷ и т. д.⁸ — мое воспоминание ранней юности.

Здесь <в Узком> приняты законы о дисциплине. Вообще состав медицинских <работников> хороший. Сестра одна опоздала <...>⁹ Доктор В. Л. Прянович и директор <Узкого> Петр Макарович Кара-Мурза <это> скрыли. Какая-то из нянь донесла. Их вызвали в Управление делами <Академии>, а затем <был> суд и присудили к работе при уменьшенном окладе сестру С. Г. Бродскую, доктора и директора.

Здесь это явная нелепица. С другой стороны, по хозяйственной части <Академии> (<где обосновались> партийные) <происходят> организованные кражи или взятки — «невинные доходы».

¹ Слово неразборчиво.

² Три слова неразборчивы.

³ Здесь сделан пропуск для внесения фамилии.

⁴ О тухолите, уране, тории и редких землях см. в «Очерках геохимии» В. И. Вернадского. — Избранные сочинения, Т. I. М., 1954, стр. 247—248.

⁵ Работая в последние годы жизни над «Пережитым и передуманным», В. И. Вернадский неоднократно обращался к «Истории моего современника» своего троюродного брата по отцовской линии Владимира Галактионовича Короленко.

⁶ Короленко Евграф Максимович (1810—1880) — кадровый военный, офицер, философ и публицист, двоюродный дядя В. Г. Короленко и В. И. Вернадского (отец Короленко — Галактион Афанасьевич, Е. М. Короленко и отец Вернадского — Иван Васильевич были двоюродными братьями). В «Истории моего современника» В. Г. Короленко посвящает своему дяде яркие страницы. На формирование мировоззрения, характера, нравственных принципов Владимира Ивановича в его детские и юношеские годы Е. М. Короленко оказал большое влияние. Летом 1886 года Вернадский писал своей будущей жене Наташе Старицкой: «Никогда не забуду я того влияния и того значения, какое имел для меня этот старик в первые годы моей умственной жизни, и мне иногда кажется, что не только за себя, но и за него я должен работать, что не только моя, но и его жизнь останется даром прожитой, если я ничего не сделаю».

⁷ Е. Н. Бирюкова-Короленко (1846—?) — музыкантша, двоюродная сестра В. Г. Короленко и В. И. Вернадского.

⁸ Немало страниц в «Истории моего современника» посвящено общим знакомым и родственникам В. И. Вернадского и В. Г. Короленко, в частности, отцу Владимира Ивановича — И. В. Вернадскому.

⁹ Два слова неразборчивы.

25 августа.

Моя запись 23 марта 1899 года в связи с «беспорядками» в университете, о которых мы узнавали через начальство и прямо:

«Очень тяжела полная инертность профессоров. Отчасти причиной этого является общая забитость здешних профессоров, их страх перед начальством, последствия тех разгромов в профессорской коллегии, какие претерпел Университет, полная невозможность общей деятельности. Здесь нет профессорской коллегии.

Но отчасти причиной этого является недоумение перед совершенно новым фактором, каким является стачка в университетской жизни»¹.

¹ Рассматривая науку и высшее образование в качестве важнейших оснований культуры и прогресса, вполне сочувствуя борьбе студенчества за улучшение условий жизни и учебы, более того — поддерживая эту борьбу, В. И. Вернадский, однако, как и многие другие либеральные профессора Московского университета конца XIX — начала XX веков, возражал против студенческих забастовок, как чрезмерно крайней формы этой борьбы. В 1911 году он и многие его коллеги, исчерпав все иные возможности протеста против начавшегося засилия полицейского режима, сами объявили бессрочную забастовку, подав в отставку из числа профессоров и преподавателей Московского университета.

26 августа. Узкое.

Болен желудком. Сажу в комнате.

Очень интересный разговор с Андреем Борисовичем Чернышёвым¹, инженером — сыном Бориса Феодосиевича и внуком Феодосия Николаевича². Он — главный специалист по газификации углей, применяет идеи Менделеева и Рамзая³. Работает в Энергетическом Институте у Кржижановского. Работа в самом начале. Академия поставила эту задачу «газификации углей» как раз тогда, когда в 1938 году было заседание Совнаркома, не утвердившего план работ Академии наук⁴. Тогда Каганович и Вознесенский (Госплан) резко критиковали программу «работ» Академии.

¹ Чернышёв Андрей Борисович (1904—1953) — инженер-геолог, специалист в области газификации твердых топлив, чл.-корр. АН СССР, академик АН Эст. ССР.

² Чернышёв Феодосий Николаевич (1856—1914) — геолог, минералог, палеонтолог, академик Петербургской АН, друг Вернадского. В 1914 и 1916 гг. его памяти Владимир Иванович посвятил два очерка.

³ Имеется в виду идея подземной газификации углей, высказанная впервые Д. И. Менделеевым в 1888 году. Позже (1912 г.) эту же идею, оформив ее технически, предложил английский химик и физик У. Рамзай.

⁴ 8 мая 1938 г. Совнарком заслушал вопрос о деятельности и плане работы Академии наук. В. М. Молотов, Л. М. Каганович и др. выразили крайнее неудовлетворение работой Академии, упрекая ученых в «теоретизировании», отрыве от практических нужд «социалистического строительства» и т. п. План работы Академии на 1938 год правительство не утвердило. См. записи 11 и 12 мая 1938 г. — «Дружба народов» № 3, 1991, стр. 251—252.

27 августа.

Здесь (в Академии Наук) Каганович произвел (тогда) огромное впечатление (Ферсман, Архангельский¹ и другие). Передача того, что он говорил, на меня произвела впечатление пустоцвета. Но для Академии (это имело) огромное значение — ухудшение Геологической работы и т. п. Только теперь отходим.

Каганович и Вознесенский, которые сводили счеты с Кржижановским, хотели (<...>² иметь коммунистов в академической среде. Этого, конечно, не избежать.

Каганович (в своем выступлении) опирался на работы группы молодых преподавателей — инженеров (Матвеев и другие)³ в Сталино⁴. Они подняли этот вопрос в связи со статьей Ленина в «Правде», где он увлекся идеей Менделеева и предсказывал большой переворот (кажется, статья) была напечатана в «Собрании сочинений»⁵. Наряду со станцией (научной), незамедлительно около Горловки началась исследовательская работа на научно-опытной станции в ползаводском масштабе.

¹ Архангельский Андрей Дмитриевич (1879—1940) — геолог, академик. О заседании Совнаркома 8 мая 1938 г. и, в частности, выступлении на нем Кагановича, В. И. Вернадский узнал, главным образом, со слов А. Е. Ферсмана.

² Слово неразборчиво; по смыслу: «больше», «очень».

³ Работы по газификации углей в Советском Союзе начались в 1930—33 гг. (В. А. Матвеев, И. А. Коробчанский, Д. И. Филиппов и др.).

⁴ До 1924 г. — Юзовка, с 1924 по 1961 гг. — Сталино, с 1961 г. — Донецк, центр Донецкой области Украины, расположен в центральной части Донбасса.

⁵ Имеется в виду статья Ленина «Одна из великих побед техники», опубликованная впервые в «Правде» 21 апреля 1913 г. (с м.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 93—95).

В этой статье Ленин предсказывал большое будущее предложенному в 1912 году Уильямом Рамзаем способу газификации углей, подчеркивая противоположные социальные последствия этого открытия для капитализма («во зло») и социализма («во благо»).

29 августа.

По-видимому, эта группа профессора Матвеева представила дело более простым и свои достижения — большими, чем есть. Они получили ордена и пускали пыль в глаза.

Сейчас как раз «возник» кризис. Гитлер предложил Сталину и Молотову организовать обмен научными достижениями в области науки между Германией и Советским Союзом. Выяснилось, что «наши» достижения не так велики — «что обнаружилось» после «работы» Комиссии от НКВД «во главе» с самим Берия или с «неким» важным чиновником. По-видимому, пока не дошло до трагедии.

Слухи о Н. И. Вавиллове. Раньше через Лабораторию недели две-три назад «узнал» об обыске у него на квартире — а сам он будто на Кавказе. Теперь «дошли слухи» из «Московского» Общества Испытателей Природы, будто квартира «его» в Ленинграде запечатана — а сам он в Западной Украине.

9 сентября. Москва.

Удивительно, как мало впечатления (выражающегося «явно и определенно») от ареста Н. И. Вавилова. Это имя, а еще больше его значимость — неизвестны в широких кругах. Например, В. Э. Грабарь не имел никакого понятия о его значении. В некоторых кругах более знают его брата Сергея.

Борисяк говорил, что до его отъезда в Буковину он имел с ним разговор. Николай Иванович был очень доволен. Говорил, что он делал доклад в ЦК партии о Лысенко. Считает, что его «Лысенко» яровизация провалилась, и это через два месяца выяснится¹.

¹ В ЦК ВКП(б) (в том числе и лично к Сталину) с письмами и записками Н. И. Вавилов обращался неоднократно, надеясь, что «если правдиво информировать ответственных лиц в ЦК, лысенковское наваждение рассыплется само собой» (Поповский Марк. Дело академика Вавилова. М., 1991, стр. 171).

10 сентября.

Видел много лиц приезжающих. Получается впечатление чрезвычайно растущего недовольства властями. Резкое ухудшение высшей бюрократии, отсутствие самых необходимых продуктов, понижение партийного уровня — огромный произвол. Сейчас слышны такие рассуждения публики, которые еще недавно были невозможны — хотя опаска до-носов очень сильна.

В Малом Ярославце на днях покончила самоубийством врач-хирург, отдававшаяся вся своему делу. Ее муж, комсомолец, был сперва сослан, а потом расстрелян. Она оставила записку, в которой говорит, что после гибели мужа — тоска одиночества и отсутствие выхода в лучшее. Кончалась записка обращением к Сталину: «Благодарю тов. Сталина за счастливую жизнь». Когда эту записку прочитали — то запретили всему персоналу прово-жать «покойницу на кладбище», скомкали похороны — но пациенты осыпали цветами гроб и проводили до могилы.

Попытки усилить дисциплину связаны с пониманием «того», что реальность не отвечает тому «счастью», о котором кричат официальные лакеи. Всюду фальшь. Но жизнь берет свое, и я думаю, что совершается и творится большое «дело» — но «делается оно» не по программе.

13 сентября. Москва.

Вчера — заседание подкомиссии по метеоритам. Доклад Кулика.

14 сентября.

Я никак не могу примириться — конкретно — с арестом Н. И. Вавилова. Напоминает все это Одиссея и его спутников в пещере Полифема ¹.

Вчера утром с Криноным — о спиралях и звездных спиральных туманностях.

Сегодня был у Прянишникова. Он сегодня уезжает в Кисловодск. С ним — о Н. И. Вавилоче. Его арестовали около Черновиц и отправили в Москву. В Буковине он был встречен партийными властями очень хорошо. Его выступления были триумфальными. Прянишников говорил с заместителем Смирнова ² — он говорит о «политической подкладке» дела; все будет выяснено и, если он не виноват, — Вавилов будет освобожден. Связывают все с Лысенко.

¹ В своей пещере Полифем пожирал спутников Одиссея. В сознании В. И. Вернадского образ пещерного людоеда достаточно давно утвердился как символ, наиболее точно выражающий отношение большевистского режима к русской культуре. В сентябре 1921 г., вскоре после расстрела нескольких десятков человек по сфабрикованному Петроградским ЧК делу о «контрреволюционном заговоре», Владимир Иванович писал своему другу из Петрограда: «Настроение мое и всех здесь очень тяжелое — вследствие преступных и тяжких проявлений террора здешнего ЧК. Эти убийства не вызывают сейчас страха, но негодование. По-видимому, здесь перемешаны совершенно невинные люди с людьми, боровшимися с большевиками. Среди невинных такие, как Н. И. Лазаревский, М. М. Тихвинский. Смерть последнего мне лично очень тяжела — это был близкий мне человек, который собирался работать со мной (с живым веществом и гелием), организовывал мои лекции по геохимии. В полном расцвете сил, лучший русский специалист по химии нефти, стоял во главе особой лаборатории, бывший главный химик Нобеля. Еще до моего отъезда на Мурман он был у меня и разговаривал о новых — очень крупных достижениях по химии красок. И все это сразу уничтожено. Ни в одной стране это немыслимо. Мне сейчас все это кажется мифом о Полифеме, в пещере которого находятся русские ученые. А смерть Гумилева!..» (Вернадский В. И. Письмо к Н. П. Василенко 10 сентября 1921 г. — Из эпистолярного наследия В. И. Вернадского. Киев, 1991, стр. 16—17).

² Вероятно, речь идет о заместителе известного юриста и государственного деятеля Л. Н. Смирнова, с 1934 г. работавшего в органах прокуратуры.

22 сентября. Воскресенье. Москва.

Лежу больной — сердце ¹. С 14 часов — на ночь — сильные нытьевые боли во всем теле, руках, ногах, между лопатками. Не мог заснуть до 3-х часов ночи. Очень мучился.

Была М. Н. Столярова. Повысилась температура до 37.7 (сегодня утром 37.1) — сперва я думал, гипертония еще присоединилась к сердечной <болезни>. Мария Николаевна думала, что температура может быть и от сердца <...> ².

<Она> говорила, <что> Плетнев жив — никто не верит в его участие в «убийстве» (и само «убийство») Горького ³. Это — одна из <акций> бездарной и ниже среднего уровня верующих стоящей тупой коммунистической верхушки.

¹ Резкое ухудшение состояния Владимира Ивановича наступило 16-го сентября; с этого дня ему был прописан постельный режим.

² Два слова неразборчивы.

³ Талантливый врач-терапевт профессор Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1871—1941), с которым Владимир Иванович был хорошо знаком и высоко ценил его как ученого и практика, в это время действительно был еще жив, но жить ему оставалось считанные месяцы — вскоре после начала войны с Германией он был расстрелян в Орловской тюрьме вместе с большой группой заключенных. В марте 1938 г. Плетнев проходил по делу об «убийстве» Горького и был приговорен к 25 годам тюремного заключения. См. записи 13 января и 1 марта 1938 г. — «Дружба народов» № 2, 1991, стр. 226, 240.

23 сентября. Понедельник.

Все лежу — по-видимому, какое-то упорное сердечное <заболевание>, связанное с повышением температуры. Стационарное положение. Вчера были Александр Павлович <Виноградов>, Ферсман с женой, Паша.

Слухи о больших неладах внутри партии. Бросается в глаза понижение ее делового и умственного уровня. Все дельцы и воры в ней устраиваются. Говорят о двух направлениях — прогерманском и английском. Евреи <образовали> партию против Молотова. Все это передается очень грубо, но зерно истины <в этом> есть.

Александр Евгеньевич рассказывал, что вчера английское радио <...> ¹ Между прочим, передавали об ужасах с евреями <...> ² в Голландии. Тысячи — в мучениях ³.

Нехватки — или, для Москвы, затруднения — с продуктами все знают и упорно объясняется Германией ⁴.

¹ Два слова неразборчивы; по смыслу: «вело передачи», «было слышно».

² Слово неразборчиво; по смыслу: «захваченными», «арестованными».

³ Об этих зверствах немцев советская печать и радио, разумеется, ничего не сообщали. Между тем, еще 28 ноября 1938 года Общее собрание Академии наук СССР приняло обращение к ученым всех стран, в котором выражались решительный протест и возмущение «кошмарными злодеяниями фашизма, направленными к уничтожению беззащитного еврейского населения Германии и Австрии». Это обращение было опубликовано за подписью ряда почетных и действительных членов АН СССР, В. И. Вернадского в том числе.

⁴ Фраза не окончена.

25 сентября.

Жду Пашу и, может быть, Аню <Шаховскую> от Наташи.

Лежу — как профилактика от возможного возвращения сердечных явлений Ноября 1937 года, когда было лишился способности писать, хотя ни на минуту, казалось, не терял сознания.

Оказалось, с тех пор <прошло> **всего 3 года!** Никак не думал!

Сегодня много думал и мало сделал.

Была от Веры Николаевны Фигнер ¹ Лидия Петровна Курдюмова ². Совсем забыл, что связь <установилась> с ней — не через Фигнер, а через Кускову и ее мужа С. Н. Прокоповича ³.

И я перенесся в далекое прошлое, из которого выросло целое поколение, не знающее старой России. Будущее в их руках. Они решат. И она разовьется **на базе** их — их связь с нутром нашей страны несравненно более могуча. Люди, родившиеся в 1920—1940 годах, это — то поколение, которое я ярко сейчас ощущаю. XX век — век ноосферы ⁴.

¹ В. Н. Фигнер (1852—1942) — революционерка-народоволка, писательница. Когда и при каких обстоятельствах произошло личное знакомство Вернадского с Фигнер, пока установить не удалось.

² Знакомая В. И. Вернадского; более подробных сведений о ней найти не удалось.

³ Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — общественная деятельница и публицист, была близка к кадетам; Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — политический деятель, экономист, публицист, член партии кадетов, муж Е. Д. Кусковой. В 1922 году оба были высланы из России за «антисоветскую деятельность».

⁴ См. примечание 7 к записи 19 августа. Ноосфера, по мысли Вернадского, это саморегулирующаяся система, в том числе и прежде всего, как мы теперь сказали бы, система информационная. Решающая роль в ней принадлежит коллективному разуму человечества и его фундаментальной составляющей — науке.

27 сентября.

14.IV.1939 г. — «Суд» военной коллегии Верховного Суда над Дмитрием Ивановичем Шаховским — <осужден> на 10 лет без права переписки ¹. В тот же день <осуждены> академик Надсон, С. А. Котляревский ².

Подал записку и имел разговор, откровенный и по-советски резкий с А. Я. Вышинским о Д. И. Шаховском за несколько недель до суда ³.

С тех пор для всех нас Дмитрий Иванович — исчез.

Говорят, он держал себя на суде «дерзко» ⁴.

¹ См. примечание 2 к записи 21 апреля 1939 г. («Дружба народов» № 11—12, 1992, стр. 23).

² Котляревский Сергей Андреевич (?—1939) — историк и юрист, профессор, один из руководящих деятелей Конституционно-демократической партии. Жертва большевистского террора.

³ Хлопоты в защиту своего друга Владимир Иванович начал вскоре после его ареста. Однако предстоит еще провести значительную работу, чтобы выявить все подробности правозащитной деятельности Вернадского как в отношении Д. И. Шаховского, так и многих других людей.

⁴ Владимира Ивановича все еще не оставляет надежда, что его друг жив, да и на многократные обращения жены (теперь уже вдовы) Дмитрия Ивановича из «органов» поступает, наконец, обнадеживающий (увы, лживый) ответ...

28 сентября.

15.IV.1938 г. — после ряда переговоров с Комитетом <Отделом> Кадров, <в которых принимал участие> и я, а раньше <переговоры шли> через А. П. Виноградова, в конце концов Аня утверждена моим секретарем (референтом). Впечатление от переговоров с заведующим кадрами, молодым, не очень образованным, но неглупым человеком — самое отрицательное. Кажется, его <там> уже нет.

Он чрезвычайно настороженно относился ко мне — <хотя> внешне <вел себя> корректно. Боялся попасться <впросак>. А. Д. Шаховская не произвела на него успокоительного впечатления — слишком много говорила лишнего. И сумма <ее зарплаты> (600 рублей) казалась <ему> большой.

Было объяснение и с Комаровым. Он имел ясное понятие о значении Дмитрия Ивановича — но все напирал на княжеский титул. Я ему указал, что в ее документах его нет, ибо, будучи на Высших Женских Курсах, она его отбросила, и в дипломе об окончании Высших Женских Курсов она не числится княжной. <Что же касается> Дмитрия Ивановича — так называемое княжество у него от предков, не жалованное — носил <титул князя>.

В конце концов все устроилось.

Заведующий кадрами попытался вновь поднять <этот> вопрос перед Комаровым, так как я в какой-то бумаге указал, что Анна Дмитриевна дочь моего близкого друга. Возможно, что он слышал, что я с Анной Дмитриевной на «ты». 20.VI был разговор с Комаровым и все кончилось благополучно.

<К Анне Дмитриевне> очень хорошее отношение у меня в Лаборатории.

Перед Аней у меня были переговоры о Е. Е. Вишневском ¹, утверждения которого <своим секретарем> я не мог добиться. Он не лишен прав, но <был> судим. Его боялись как человека «беспокойного» и за свои права стоящего. Они <мне> заявили, что он не может быть «незаменимым».

Разговор об Ане <как> о дочери друга <был> на той же почве. Я указал, что я не могу иметь секретаря, которого мало знаю, так как он, очевидно, <должен быть> в курсе всей моей работы. Мы должны были согласиться, чтобы <нам> прислали «кандидата» — <который> как экспериментатор <оказался> никчемный, чтобы не сказать больше.

В ночь 26—27.VII <1938 г.> арестован Д. И. Шаховской. Аня приехала к нам в Узкое, чтобы об этом сказать ². Это — последние судороги Ежова, но я думаю теперь, что это был сознательный политический шаг (Головин ³, Котляровский, Авинов ⁴, Фельдман и др.).

¹ К сожалению, о ком идет речь, установить не удалось.

² См. запись 28 июля 1938 года. — «Дружба народов» № 3, 1991, стр. 258.

³ Г о л о в и н Федор Александрович — земский деятель и публицист, один из основателей и член ЦК Конституционно-демократической партии.

⁴ А в и н о в Николай Николаевич — историк, земский деятель, публицист, в 1917 году — председатель Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание.

29 сентября. Москва.

Опубликованное вчера соглашение Германия — Италия — Япония, о возможности которого наша печать в ее куцей и урезанной информации <ничего не сообщала>, произвело огромное впечатление ¹.

На этом фоне особенно <тревожна> проблема Китая и страх того, что мы вмешаемся. Развал тыла и низкий уровень военных «генералов» — штаба. Глухое, все растущее и глубоко проникающее недовольство властью.

¹ Имеется в виду так называемый «Берлинский пакт 1940» — договор о военно-политическом и экономическом союзе, подписанный 27 сентября 1940 г. в Берлине представителями Германии, Италии и Японии. Полный текст пакта «Правда» опубликовала 28 сентября 1940 г.

30 сентября, утро. Понедельник.

Все лежу.

Вчера были Хлопин, Виноградов. Днем — Дузь, Борисяк.

Об академических делах — бестолочи. Дузь (партийный) — о низком уровне аппарата. Первым делом — свое благополучие.

Мысль о внешних делах — опасение. Ясна <наша> слабость благодаря «развалу тыла» и отсутствию <среди военных> командиров выдающихся людей. Могут ли они выделяться?

С Борисяком — о Геологическом Музее и организации Геологического отделения <Академии>.

5 Сентября 1937 года неожиданно арестована Елизавета Павловна Супрунова, мой секретарь ¹. По-видимому, <арест был> связан с мезьей (квартирный <вопрос>) мелких агентов ГПУ. Обыденное явление.

Зиночка энергично начала хлопотать. В одном из мест, куда она обращалась, ей указали, что она <ее мать> посылала много книг (моих) за границу. В связи с этим я подал заявление следователю.

Я взял содержание ее дочери, Зиночки Супруновой, на свой счет — 300 рублей в месяц. То, что получала <ее> мать.

<В том же 1937 году> арестована <была> О. Д. Бонева-Булажель ².

¹ Е. П. Супрунова была дочерью двоюродной сестры Вернадского по материнской линии Е. А. Чернояровой. В 30-е годы она помогала Владимиру Ивановичу в работе, исполняя обязанности секретаря. См. примечание 4 к записи 21 апреля 1939 г., а также записи 4, 8 и 25 января 1938 года («Дружба народов» № 2, 1991; №№ 11—12, 1992, стр. 221—222, 224, 229; № 11—12, 1992, стр. 24).

² Дальняя родственница В. И. Вернадского. См. запись 3 ноября.

Сентябрь ¹.

7 октября 1885 года. — Окончил <Петербургский> университет со степенью кандидата. Кандидатская диссертация: «О физических свойствах изоморфных смесей». Чисто литературная — но полезная.

23 ноября 1885 г. наблюдал в квартире А. Н. Краснова ² (в районе Разъезжей) метеорный поток <в созвездии> Андромеды. Связывают с кометой ³. Огромное на меня <произвело> впечатление.

¹ Числа к следующим записям Вернадским не проставлены.

² Краснов Андрей Николаевич (1862—1914) — ботаник, географ, основатель Батумского ботанического сада, друг Вернадского с детских лет. Памяти А. Н. Краснова и воспоминаниям о нем Владимир Иванович посвятил два очерка (опубликованы в 1916 году).

³ Метеорный поток в созвездии Андромеды был связан с распадом кометы Биэлы.

3 октября, вечер.

Все еще лежу. И, должен сказать, нормально себя еще не чувствую. Реакция крови (роз) была 32 вместо 35 неделю тому назад. Мария Николаевна говорит, что встать мне будет можно, когда у меня будет 15. Через неделю возьмут кровь.

Аня читала и я с ней немного — пустяки — работал.

Кончил <книгу> Гаузе об асимметрии протоплазмы ¹. Хорошая работа. Мысль о пространстве <...> ².

Был Александр Евгеньевич. — О заседании Кольской Комиссии. На Кольском полуострове и Печорском угле <создается> огромный центр в Череповце.

Сейчас <ужесточилась> цензура книг, сняты <с показа> все новые фильмы. Говорят, Сталин выдвигает <в противовес> другим писателям Ванду Василевскую.

Говорят о тюрьмах. Стояние на ногах сутки. Иначе — штык. <Так> в Лефортовской тюрьме.

Неужели Митю мучили? ³

¹ Георгий Францевич Гаузе — биохимик и микробиолог; его изданная в 1940 году книга «Асимметрия протоплазмы» опиралась на идеи Вернадского о правизне и левизне в организации живых организмов.

² Слово неразборчиво; по смыслу: «верна», «глубока».

³ Во время допросов Д. И. Шаховской подвергался пыткам.

15 октября.

Два явления сейчас резко чувствуются — недовольство, все растущее и всюду проявляющееся в такой форме, как давно не проявлялось, — проявлялось лишь в близком кругу, когда была гарантия, что нет в обществе шпиона. 1. Ряд неудачных мер, полный недостаток продуктов, повышение цен — ухудшение жизни. 2. Проникновение партии чуждым ее идеям элементом.

По-видимому, внутри <партии> идет борьба антигерманского течения (евреи) против Молотова. Сейчас НКВД опять резче себя держит в связи с хлопотами <родственников> об арестованных.

7-го Октября, в связи с неожиданным введением платы <за обучение>, были студенческие беспорядки в Московском Университете. Говорят, на лекции по диамату студенты были вызваны в НКВД!

17 октября. Москва.

Вчера полулежал. Мысль работает хорошо. Но все же есть временное изменение в мускулах сердца — серьезное <...> ¹? Взяли кровь. Наташа третьего дня приехала <из Кремлевской больницы> ². Пишу «на весу» — и потому плохо.

Вчера и позавчера были Хлопин, Никитин ³, Виноградов, Паша, Аня.

Глухое, растущее недовольство. Ожидают девальвации. Цены растут. Я думаю, что берегут и увеличивают золотой фонд. Говорят о жестоком увеличении квартирной платы. Много ухудшена работа правительственного аппарата. Ожидают сокращения штатов.

Плата за высшее обучение — очевидно, <мера> проведена необдуманно, как и правительственная деятельность последние месяцы, — урегулирование Комитета по Высшей Школе.

Сокращение штатов и режима коснулись Кремлевской больницы, где, главным образом, <лечатся> партийные больные.

<Лечащиеся там беспартийные> Наташа, Якушкин ⁴ — <составляют> меньшинство. <Больница> поставлена превосходно — но место выбрано с медицинской точки зрения в корне неправильно.

¹ Слово неразборчиво; по смыслу: «заболевание», «ухудшение». От сердечной болезни Владимир Иванович начал оправляться в первых числах ноября.

² См. примечание 4 к записи 19 июня.

³ Н и к и т и н Борис Александрович (1906—1952) — радиохимик, чл.- корр АН СССР, ученик В. Г. Хлопина.

⁴ Возможно, сын или родственник давнего друга Вернадского Вячеслава Евгеньевича Якушкина (1856—1912), внука декабриста И. Д. Якушкина.

18 октября.

Вчера — в Воскресенье — был утром Райнов. С ним <разговор> по существу о его статье в «Ломоносовском сборнике» ¹. Философ, да еще, очевидно, идеалист, перешедший в реалисты, начавший заниматься историей естествознания.

Отзыв <от меня> — в <Московский> Университет. Для докторской он представил «Очерки по истории естествознания в России» ². Один <отзыв> будет Пичеты ³. Надо <также> от натуралиста, знакомого с историей науки. И мой отзыв будет учтен. В статье о Ломоносове он <выступил> как философ — и оценил правильно конкретные работы натуралистов Левицкого, Палласа, Брауна.

В этом же сборнике <помещена> прекрасная статья Елисеева об истории физического кабинета Академии — роль Крафта, Рихмана, Брауна и других ⁴. Елисеев — молодой человек и, кажется, партийный, по его <Райнова> словам.

190
 (Райнов) говорит, что статья о Бошковиче Годыцкого-Цвирко⁵ не может быть принята (к печати) в «Научном Наследстве»⁶, так как они должны были (он секретарь (серии)) подчиниться протесту Луппола⁷ (незадолго до (его) ареста) и Струмилина⁸ — (исторические) исследования должны идти в Комиссии по истории науки, а материалы (публиковаться) в «Научном Наследстве». Может быть, издать перевод латинского трактата (Бошковича) и дать очерк (о нем) как Введение? Списать с Годыцким (Цвирко)?

Он (Райнов) говорит, что, со слов товарищей Дузя, его докторская диссертация — не его. Наверно, со слов разговоров с ним (Райновым). Среда, в которой вращался Дузь, мне представляется совершенно способной на все. Аморальная карьеристическая «ученая молодежь».

Был Александр Павлович. С ним большой разговор о работе Лаборатории. Вопрос о буровой скважине в Москве отложен до Декабрьского заседания Президиума⁹. Скважина продолжается (прошли еще 30 м) — но не хотят говорить, так как Комитет по геологии (Григорьев — Мельников)¹⁰ протестует. Григорьев — банальный горный инженер, знающий, работающий, но не талантливый, начальству послушный. Неглупый и Мельников — (но) карьерист, не стесняющийся средствами.

Вопрос о химическом составе биосферы ставил Александр Павлович против плана Успенского¹¹ о шефстве над «живым музеем» под Москвой. Думаю, (он) прав.

Сегодня у меня (было) заседание бюро Комиссии по минеральным водам — Н. А. Семашко¹², Н. Н. Славин, Александр Павлович. Провел, что хотел.

В связи с выяснением «биологической» родословной моих детей и моей, проверял семьи, из которых (она) слагалась: Старицкие, Зарудные, Константиновичи, Короленко, Куликовские, Гамелины, Красницкие, Канцевичи, Горлякевичи, Рудниковичи, Лазаревы, Арендты, Вернацкие. Странное впечатление. Все — украинцы (есть 2—3 случая, когда мать неизвестна по фамилии и имени) с XVII по XX век.

Другое явление, которое резко бросается (в глаза) в истории рода — это последствия введения «дворянства» в Украину и Комиссия 1764 года¹³: тогда (...) ¹⁴ люди стали скупщиками — крепостных людей. В семье Вернацких это было сделано моим прадедом, священником¹⁵. Отец никогда не мог примириться с тем, что моя бабушка Е. Я. Вернадская¹⁶ купила крепостных крестьян. Просматривая «Родословные» Модзалевского¹⁷, ясно видишь это во всякой семье: из подымавшейся снизу семьи являлся кто-нибудь, скупавший землю с «подданными» — (так было) у Старицких, Зарудных, Константиновичей... Это (был) общий процесс. Казацкая революция смела старый слой в тех областях даже левобережной Украины, откуда вышли эти роды — Полтавской, Черниговской, Харьковской губерний¹⁸.

Заседание бюро Комиссии по минеральным источникам я вел сегодня утром больной (болезненный геморрой и сердце).

Чувствую, что в моем возрасте и болезненном состоянии не надо было мне браться за это дело.

Тревножно. (Германские) войска идут в Румынию и Финляндию.

¹ Райнов Тимофей Иванович (1888—1956) — историк философии и естествознания, науковед, экономист, литературовед, философ-космист. В сборнике «Ломоносов...» (М. Л., 1940) им была опубликована статья (по сути, небольшая книга) «Русское естествознание второй половины XVII в. и Ломоносов»

² Полное название капитального труда Т. И. Райнова: «Наука в России XI—XVIII веков. Очерки по истории донаучных и естественно-научных воззрений на природу». Книга вышла в 1940 году в академическом издательстве.

³ Пичета Владимир Иванович (1878—1947) — историк, академик АН СССР и АН БССР.

⁴ Елисеев Алексей Александрович — историк отечественной физики и электротехники, автор ряда работ о М. В. Ломоносове, один из редакторов его Полного собрания сочинений, в 1930—40-е годы — ученый секретарь Комиссии по истории Академии наук. В сборнике «Ломоносов...» опубликована его статья «Физический кабинет Академии Наук в первой половине XVII в. и Ломоносов».

⁵ Годыцкий-Цвирко Александр Мардарьевич (1884—1951) — ученый-технолог железнодорожного транспорта, историк науки и техники. Его исследование «Научные идеи Руджера Иосифа Бошковича» вышло в 1959 году отдельным изданием.

⁶ «Научное наследство» — неперiodическая серия ранее не публиковавшихся архивных материалов (книг, статей, писем, чертежей, рисунков и т. д.) по истории отечественной и мировой науки и техники. В. И. Вернадский являлся одним из основателей серии. Первый том «Научного наследства» был опубликован в 1948 году, всего же за период с 1948 по 1991 гг. вышло в печати 19 томов.

⁷ Луппол Иван Капитонович (1896—1943) — философ и литературовед, академик. Жертва большевистского террора.

⁸ Струмили́н Станислав Густавович (1877—1974) — экономист и статистик, академик.

⁹ Бурение скважины в Москве в районе Абельмановской заставы началось по инициативе Академии наук и лично Вернадского, придававшего большое научное и практическое значение исследованию химического состава нижних слоев биосферы на территории Москвы и Московской области.

¹⁰ Григорьев Иосиф Федорович (1890—1949) — геолог, академик, работал в Геологическом комитете; Мельников Николай Васильевич (р. 1909) — специалист в области горного дела, академик.

¹¹ О ком идет речь, установить не удалось.

¹² Семашко Николай Александрович (1874—1949) — государственный деятель, врач-гигиенист, ученик Вернадского.

¹³ Вероятно, имеется в виду упразднение царским правительством в 1764 году гетманства и введение в качестве верховного управляющего органа так называемой малороссийской коллегии. Позднее, в 1783 г., царским указом было юридически оформлено полное закрепощение крестьян Левобережной и Слободской Украины, а в 1785 г. казачья старшина была уравнена в правах с русским дворянством.

¹⁴ Слово неразборчиво; по смыслу: «казацкие», «старшинские».

¹⁵ Вернацкий Иван Никифорович (?—1786) — священник, окончил Киевскую духовную академию, прадед Вернадского.

¹⁶ Короленко (по мужу Вернадская) Екатерина Яковлевна (1781—1844) — бабушка Вернадского

¹⁷ Модзалевский Вадим Львович (1882—1920) — украинский историк, автор «Малороссийского родословника» (т. 1—4. Киев, 1908—1914).

¹⁸ В августе и сентябре Владимир Иванович писал сыну: «Я сейчас как бы свожу итоги своей долгой жизни. Пришли мне, пожалуйста, хронологические даты твоей научной жизни — об окончании (когда?) тобой университетского курса, когда был твой диспут, кто были оппоненты». «Память слабеет — годы забываю. Между прочим, я стал их восстанавливать — и прошлое семьи, учитывая вас. По «Малороссийскому Родословнику» Модзалевского... я смог проследить «нашу родословную» в подавляющей части» («Вестник АН СССР», 1990, № 12, стр. 129—130, 133).

22 октября, утро.

Глухое, растущее недовольство и чувство непрочности, с одной стороны, и, <с другой — чувством> огромного сдвига, одного из величайших в истории человечества, который нам суждено пережить.

Вчера М. Н. Столярова опять меня положила на два дня в постель в связи с тахикардией и повышенной температурой — возможно, однако, и от другой причины.

29 октября, вечер.

Сегодня диктовал Ане утром V часть «Проблем <биогеохимии>», которую обдумываю ¹.

Был Кринов — о его работе.

<Ему> хочется выйти из <под> опеки <ученого секретаря Комитета по метеоритам> Кулика и <он> самостоятельно стал переписываться в связи с успехом своих работ над <...> ² метеоритов. Кулик перестал с ним разговаривать. В действительности, Кринов избавится от бюрократической работы, который Кулик наслаждается.

Днем <был> Паша. Вчера — Герасимовский ³.

Большая тревога. Ждут разрыва с Германией. Большой страх. Полный хаос. Глухое, но общее недовольство. Голод всюду. Причина ясна — бездарная организация. Низкий уровень носителей власти. У нее нет людей — а в стране их много.

Говорят, в Финляндию ⁴ возвращаются прежние жители — <их> убивают новые поселенцы.

¹ Пятый выпуск «Проблем биогеохимии» — «О количественном учете химического атомного состава биосферы» — вышел отдельным изданием в 1940 году.

² Три слова неразборчивы; возможно, имеются в виду работы Е. Л. Кринова над спектральным анализом вещества метеоритов.

³ Герасимовский Василий Иванович — геохимик и минералог.

⁴ Имеются в виду территории Финляндии, отошедшие к СССР после «победоносного» окончания советско-финской войны.

30 октября. Москва

Утром работал с Аней над V Выпуском «Проблем биогеохимии».

Сегодня в первый раз — после начала Сентября — выехал кататься. По-видимому, «тахикардит» принял благоприятное направление ¹.

Был В. И. Крыжановский — «разговор» о постановке преподавания в Геолого-почвенном факультете Московского Университета. Он — доцент по минералогии. Кажется, «по» петрографии — профессор Е. Кузнецов ², «по» геологии — Мазарович ³. Оба работающие — но, в лучшем случае, средние. Учиться минералогии в «Московском» Университете в университетском объеме сейчас нельзя.

Был Н. В. Садиков ⁴. Очень рад был его видеть — но, думаю, что «он» едва ли «избрал» правильное направление работы.

Слухи о войне — как будто с Германией. Глухое растущее недовольство. Падение рубля и рост цен.

¹ 3 ноября Вернадский пишет сыну: «Мама ходит на костылях — но оправляется. 15 октября она переехала домой — говорят, редкий случай в ее возрасте хорошего срастания. Я только что оправился и дня три как выезжаю (мне Академия прикрепила персональную машину — иначе я не мог бы, при московских расстояниях, настоящим образом работать). По определению врачей, это было кровоизлияние в мускулах сердца — повторение в другой форме того, что было в 1937 году, когда я временно не владел пальцами правой руки. Пять недель пролежал. На следующей неделе возвращаюсь к нормальной работе. В сущности, это одна из форм эндокардита, врачи этого мне не говорили — неизлечимо, но при осторожности жить можно. Когда доживаешь до 78 — большего требовать нельзя» («Вестник АН СССР» 1990, № 12, стр. 131).

² Кузнецов Ефрем Александрович — геолог, петрограф, профессор Московского университета.

³ Мазарович Александр Николаевич (1886—1950) — геолог, гидролог, профессор Московского университета.

⁴ Вероятно, сын или родственник профессора Владимира Сергеевича Садикова — биолога, биогеохимика, эколога, ученика и друга Вернадского.

3 ноября.

«1935 год» — По возвращении из-за границы ¹ я взял секретарем (для вышесок) дочь моей двоюродной сестры Екатерины Александровны Чернояровой (по первому мужу Голенковской) Елизавету Павловну Супрунову, мать Зиночки, служившей в Библиотеке Внешторга.

Совершенно неожиданно в 1935 году я встретился с «родственницей» Ольгой Дмитриевной Боневой (из Бессарабии), «бывшей» замужем за беспутным и мошенниковатым А. Булажель, сыном моей двоюродной сестры Натальи Александровны. Она «Н.А. Константинович» умерла в 1938 или 1939 году и, вопреки моим предубеждениям, оказалась прекрасным, умным человеком. Она страдала только от беспутного, слабовольного сына — кутилы и игрока, *bon vivant* ² — эгоиста и опустившегося «человека». Ольга Дмитриевна разошлась с ним, воспитывала дочь, поступившую в юридический институт, которая думала сделать карьеру, не останавливаясь ни перед чем. Она не даром перестрадала. Таких много. Это — та толпа, которая поддерживает сейчас Сталина, но при перемене «обстоятельств» будет поддерживать кого угодно — лишь бы выжить. Таких миллионы, и пока власть сильна — они служат «ей» верой и правдой.

Наталья Александровна — из огромной семьи А. П. Константиновича и его жены Софьи Антоновны, урожденной Ильяшенко, — главы семьи. Все они удержались на поверхности. Баловень семьи — Константин Александрович Константинович, к которому, студенту-юристу, я — тоже студент или молодой приват-доцент — относился с осторожностью (белоподкладочник). Встречал «его» в доме матери ³. Он кончил курс, стал помещиком (на башкирских землях), оказался первым директором и инициатором Узкого (где и умер), и оставил после себя самые лучшие воспоминания. Могила его в 1935 г., когда мы были в Узком, еще была. В 1937 г. плита была выброшена. В этом году я убедил директора «Узкого» Петра Макаровича Кара-Мурзу ее поставить на место. Обещал.

Бонева была арестована в 1937 году, и я потерял ее из виду. Ее дочь к нам не заходит.

¹ Предпоследняя заграничная научная командировка В. И. Вернадского в страны Европы в 1935 году состоялась после переезда его в Москву и продолжалась немногим менее 4-х месяцев (август — ноябрь).

² Кутила, весельчак (фр.).

³ Константинович Анна Петровна (1837—1898) — мать В. И. Вернадского.

4 ноября.

Летом 1918 года, примерно в июле, в один и тот же день, для нас обоих с Натальей Егоровной неожиданно приехали (в Киев) ¹ Ниночка из Шишак ² и Георгий из Перми ³, перешедший пешком границу. Помню момент — мы жили в двух комнатах бывшей 1-й гимназии в Киеве на Шевченковском (раньше Бобринском) бульваре в первом этаже. Говорили с Натальей Егоровной: «Что-то наши дети...» От Ниночки не было из хутора никаких известий. Она там жила с Прасковьей Кирилловной ⁴. Вдруг открывается дверь и с рюкзаком на плечах входит Ниночка. А затем раскрывается дверь и Ниночка бросается с криком в объятия к какому-то мужчине — Георгию, который, оставив Нину ⁵ в Перми, приехал к нам.

Георгий уехал в Симферополь, где стал профессором Симферопольского Университета, быстро наполнявшегося бежавшими профессорами.

¹ В Киев В. И. и Н. Е. Вернадские приехали из Полтавы в июне 1918 г. Здесь, в тесном сотрудничестве с украинскими учеными Владимир Иванович приступает к работе по организации Академии наук Украины, первым президентом которой он был избран в октябре того же года.

² Хутор близ Полтавы, где летом 1914 г. Вернадские приобрели дачу.

³ В 1917—18 гг. Г. В. Вернадский преподавал в Пермском университете.

⁴ П. К. Казакова. См. примечание 2 к записи 6 октября 1939 г. («Дружба народов» № 11—12, 1992).

⁵ Ильинская (Вернадская) Нина Владимировна — жена Г. В. Вернадского.

10 ноября. Москва.

Последнее время как-то невольно сталкиваешься с работой НКВД. На каждом шагу встречаешься с ее жертвами, бывшими или настоящими. Чувствуешь, как это проникает все.

11 ноября.

11 Ноября 1920 года взят был Перекоп **красной армией**, о чем мы не сразу узнали. Сегодня «Правда» празднует <это событие> и помещен исторический очерк — явно не исторический ¹. В Симферополь вошли 16-го ноября? — По указанию «Правды», 15 ноября взят был Севастополь, а 16-го <взят был> весь Крым под начальством генерала Кларка ², с которым я вел переговоры по университетским делам и который был главным начальником. Вошли в Симферополь рано утром или поздно ночью прекрасные, дисциплинированные Сибирские — идейные — войска. Кларк, который был позже начальником Военной Академии, был расстрелян во время процесса Рыкова, Бухарина и др. в 1938 году (?) ³. О роли Кларка (в «Правде»), конечно, нет и слова. Уже утром — когда мы проснулись — на всех домах были развешаны печатные приказы жителям, причем порядок в Университете ставился под ответственность ректора Таврического Университета «товарища Вернадского».

¹ 11 ноября 1940 г. в «Правде» был опубликован очерк генерал-майора В. Воробьева и полковника И. Короткова «Разгром Врангеля (К двадцатилетию освобождения Крыма)».

² Очевидно, имеется в виду Август Иванович Корк (1887—1937), командовавший при взятии Крыма 6-й армией; впоследствии командарм 2-го ранга (с 1935), начальник Военной академии им. М. Ф. Фрунзе (1935—1937). Жертва большевистского террора.

³ Вопросительный знак Вернадского. А. И. Корк проходил по известному «делу» об измене крупных советских военачальников и был расстрелян в июне 1937 г. вместе с М. Н. Тухачевским, И. П. Уборевичем и др.

9 декабря. Москва.

В 4 часа утра 13 марта 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила к смертной казни Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Х. Г. Раковского, А. П. Розенгольца, Н. Н. Крестинского, Г. Ф. Гринько, Д. Д. Плетнева ¹, Л. Г. Левина ², всего 21 человек. Из тех, которых не знал («кроме» перечисленных восьми), самый крупный и самый негодяй — Ягода. «Суд» оставил неопределенное впечатление — несмотря на сознание обвиняемых. В частности, по отношению Левина и Плетнева.

Левина мы знали в нашу первую Московскую жизнь — он был другом Я. В. Самойлова (оба из Одессы) — оба еврея. Он даже лечил наших детей, был детский врач. Когда в 1921 году я вернулся в Москву и услышал о карьере Левина — то удивился. Это был мягкий человек, не способный на убийство. Когда пришли его арестовывать — он позвонил Ежову и тот ему сказал, что все выяснится, чтобы он не беспокоился — разговор по телефону, переданный мне людьми, которым безусловно верю. Показания Ежова на суде производили впечатление выдумки из уголовного романа, рассчитанного на соответствующую публику («история» с обоями).

Говорят, Плетнев жив ³. Из коммунистов чаще всего встречался с Н. И. Бухариным, с Раковским в Киеве («он» был одно время во главе власти). С остальными — в официальных заседаниях.

Члены правительства говорили, что правительство вдруг увидело себя в таком положении: что «было бы, если бы» вместо них сидел бы в Кремле Ягода, — и увидели это за несколько дней до его ареста ⁴.

¹ Это неточно. «Самый известный в стране терапевт с сорокалетним безупречным врачебным стажем был приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет с поражением в политических правах на 5 лет по отбытии наказания и конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества» (Топольский В. Д. Доктор Д. Д. Плетнев. — Репрессированная наука. М., 1991, стр. 316). См. также примечание 3 к записи 22 сентября.

² Л е в и н Лев Григорьевич (1870—1938) — врач-терапевт, профессор. В 1896—97 гг. работал в клиниках Берлина и Парижа, с 1897 г. — в России. С 1920 г. — врач-ординатор и заведующий терапевтическим отделением Кремлевской больницы; входил в состав бригады медиков, лечивших В. И. Ленина. На мартовском процессе 1938 года по обвинению в соучастии в «убийстве» М. Горького был приговорен к расстрелу. О нем см. также записи 25 января и 1 марта 1938 г. — «Дружба народов» № 2, 1991, стр. 229, 240.

³ Д. Д. Плетнев был расстрелян 11 сентября 1941 г. в Орловской тюрьме.

⁴ Поразительно напоминает ситуацию, сложившуюся «вверх» вокруг Л. П. Берия в 1953 году после смерти Сталина.

АНДРЕЙ НОВИКОВ

Перспективы русского национализма

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

На сегодняшний день сложилась устойчивая тенденция политических кризисов в национальных государствах, возникших на территории бывшего СССР. Это проявляется прежде всего в форме устранения первого эшелона республиканских руководителей (как правило, из среды либерал-коммунистического или национал-коммунистического истеблишмента), с которыми связано обретение «независимости» республиками в результате распада Советского Союза. Радикал-националистическая генерация политиков, приходящая им на смену, заслуживает самого пристального изучения, так как именно она выступает инициатором политических кризисов и смены власти.

В трех республиках такой кризис уже привел к отставке прежних правительств. Это — Грузия, Азербайджан и Таджикистан. Во всех трех кризис выливался в перевороты, принимал неконституционные формы и сопровождался вооруженными конфликтами. За исключением Грузии, где кризис своей спецификой обязан личностям Гамсахурдия и Шеварднадзе (здесь — «либерал» пришел на смену «радикал-националисту», а не наоборот), мы имеем дело с националистической оппозицией, сформировавшейся за последние два-три года и располагающей не только политическими, но и вооруженными структурами.

Как и первый республиканский эшелон, национал-радикалы ориентированы на развитие национальной государственности, но уже в более жесткой форме. Это проявляется, во-первых, в их отрицательном отношении к СНГ. Во-вторых, в том, что в их концепции национальной государственности появляются этнократические и шовинистические сюжеты, а также образ «врага» в лице внутренней автономии или какого-либо нацменьшинства. В-третьих, в том, что в системе их власти возникают авторитарные тенденции и в том, что они стремятся найти опору в широком массовом национал-популистском движении.

В Азербайджане и Таджикистане политический кризис протекал в форме конфронтации исполнительной и законодательной властей. Оппозиция базировалась в одной из парламентских фракций. В результате отставки президента его полномочия переходили к Председателю парламента. Одновременно с этим активизировалась и внепарламентская оппозиция. (Аналогии с Россией напрашиваются сами собой.)

Другая особенность, которую приносят в систему власти радикал-националисты — кланово-региональный оттенок новых правительств. Как правило, оппозиция политически конституировалась в 1988—89 годах, а ее клановая основа, мафиозные группировки — еще в брежневские времена. В годы перестройки она оформляется в движения типа народных фронтов и до поры до времени, пока власть в республиках принадлежит либерал-коммунистическому истеблишменту, держится в тени.

Более важной особенностью нам представляется та легкость, с которой свергаются законно избранные президенты, создаются временные госсоветы и проводятся досрочные выборы. Первым пробным шаром здесь стала Грузия, на антиконституционный вооруженный переворот в которой мировая общественность не только посмотрела сквозь пальцы, но и оценила его как «целесообразный». Новая власть была фактически признана тридцатью странами, включая Соединенные Штаты.

Далее была череда переворотов в Азербайджане и наконец события в Таджикистане.

Нет оснований считать, что Россия избежит аналогичного политического кризиса. По-видимому, все эти региональные кризисы есть выражение устойчивой тенденции, суть которой составляет общий системный кризис на территории бывшего СССР.

ТАДЖИКСКИЙ ВАРИАНТ В РОССИИ: «НАШИ» И «ВАШИ»

В то время, когда во всех бывших республиках СССР стремительно формировались националистические движения, в России национализм находился на заднем плане и только теперь начал создавать свои дееспособные политические структуры.

Вследствие такой асинхронности сроки и формы политического кризиса в России обретают определенную специфику. Она может значительно обострить ожидаемый кризис, превратить его в «иррациональный спазм», по сравнению с которым даже вооруженные конфликты в Таджикистане и Грузии покажутся детскими играми. В любом случае в ближайшее время нас ожидает стремительное формирование русского национализма, будь то в форме широкого политического движения, в форме государственной политики или в спонтанных проявлениях настроений масс.

Сравнивая популистские движения в России и других бывших республиках Союза, легко заметить следующую особенность. Народные фронты в России конца 80-х имели преимущественно демократическую направленность, в то время как в Азербайджане, Молдове, Таджикистане они создавались по типу нашего Фронта национального спасения. В одних республиках они сочетали в себе демократическую и националистическую идеологию (например, в Азербайджане), в других — в Таджикистане — носили откровенно антидемократический, реваншистский характер.

Есть несколько поводов для проведения аналогии между Таджикистаном и Россией. Во-первых, и та и другая республики вплотную приблизились к «постдемократической» стадии своего кризиса. Кровавая бойня, устроенная НФ Таджикистана во главе со спикером парламента Кенжаевым, — один из вариантов дальнейших действий «нашего» ФНС. Вероятность перерастания политического кризиса в широкомасштабную гражданскую войну усугубляется национальной раздробленностью страны. В Таджикистане такая раздробленность привела к соперничеству региональных кланов, в России же ее следствием может стать уже набирающий обороты политический регионализм.

Немаловажным обстоятельством является и то, что мафиозный постсоветский социум лишь с очень большой натяжкой можно охарактеризовать как сложившуюся нацию. Пресловутые понятия «наши» и «ваши», введенные в политический обиход Невзоровым, очень точно отражают самосознание кланового общества, существующего, например, в Таджикистане. Но то, что эти понятия так хорошо прижились и в России, наводит на мысль, что мы разыгрываем именно «таджикский вариант». А уж какое место во Фронте национального спасения припасено «нашему Кенжаеву» — Руслану Имановичу — вопросом другой.

РУССКАЯ И ИМПЕРСКАЯ ИДЕИ

Сложнее обстоит дело с имперской идеей в среде российских националистов. Здесь нет окончательной определенности. Процесс создания российской структуры власти в 1990-91 годах фактически возглавили демократы, и по иронии истории именно эти суверенные структуры добились последние остатки коммунистических имперских форм власти в августе 91 года. Националистическая оппозиция так и не смогла окончательно определиться в этом вопросе: с одной стороны, она рассматривает поражение ГКЧП и распад СССР как великое зло, но с другой — против самого факта существования российской государственности, видимо, не возражает. Не следует также забывать, что идея суверенитета РСФСР была впервые высказана именно патриотическим лагерем (Распутин, Белов).

Все это чрезвычайно усложняет и привносит противоречивость в деятельность последователей национальной идеи в России. Можно понимать под ней и «имперскую»,

и «русско-этническую», и даже русско-сепаратистскую, этнократическую идею. (Вспомним проект создания «Русской республики» в составе Российской Федерации.) Как имперская, такая идея не имеет и не может иметь аналогов в национальных движениях бывших республик, хотя практика строительства национальных государств в бывшем СССР показывает эффективность именно национал-сепаратистских, а не национал-имперских движений. Как русско-этническая, она давно проявила себя в различных высказываниях почвенников, например, А. Солженицына (статья «Как нам обустроить Россию?»). Очевидно, с этими версиями смыкается и еще один вариант «русской идеи» — демократический национализм, или «национал-демократия», который исповедуют многие деятели новой волны (Руцкой, Станкевич и др.).

Так или иначе, русский национализм реально ограничен пространством Российской Федерации. Националистическая оппозиция в дальнейшем, вероятно, будет делать ставку не на воссоздание СССР и соответствующих союзных структур власти, а на развитие национальной государственности России и, возможно, на ее переориентацию в некотором неоимперском направлении. (Другой вопрос — насколько это вероятно, но движение в этом направлении уже идет.)

НАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ?

Есть серьезные основания полагать, что либеральная идеология не способна объединить постсоветское атомизированное общество. Эту задачу придется взять на себя носителям какой-то другой идеологии. Какой именно?

Очевидный, на первый взгляд, ответ — национальной. Даже Андраник Мигранян, четыре года тому назад начавший выступать с достаточно абстрактными предложениями по введению в СССР авторитарной формы правления, сегодня вынужден искать «накачку» своей идеи в национализме.

Между тем, с национализмом все обстоит не так просто, как может показаться на первый взгляд. Исторические аналогии свидетельствуют, что национализм как форма политической и духовной жизни общества возникает обычно в период перехода традиционного общества на путь капитализма и урбанизации. Национализм всегда тесно связан с политическим оформлением капиталистических отношений, с потребностью формирования национального рынка и национального жизненного пространства. В то же время национализм сохраняет свою органичность лишь постольку, поскольку естественно «вырастает» из традиционного общества. (Единственный случай создания нации не на основе традиционного общества — Соединенные Штаты Америки.)

Между тем, постсоветское общество в равной степени не является ни традиционным, ни гражданским. Оно — результат уникального коммунистического эксперимента, который, с одной стороны, уничтожил в нем традиционность, а с другой, так и не придал ему гражданского качества. И. Клямкин это общество называет «индустриально-урбанизированным», и, видимо, этой характеристикой следует ограничиться.

Сегодня это посттоталитарное-негражданское-и-нетрадиционное общество выходит на путь развития капитализма и, естественно, встречается с необходимостью формирования своего национального жизненного пространства. По-видимому, нас ожидает совершенно особая форма русского (советского) национализма, обусловленная определенным постиндустриальным и постсоветским контекстом.

Националистические движения в период индустриализации и мировых войн начала XX столетия носили совсем иной характер. Это были, в частности, фашистские движения в Германии и Италии. Отличительные черты такого национализма — тоталитарные политические технологии, идеологизм, активное использование масс-медиа и публичной политики, благодаря чему народный лидер (фюрер) получает возможность демократическим путем узаконить свое лидерство.

Строго говоря, фашистские движения воплощают не обычный национализм, а фундаментализм. И здесь было бы интересно обратиться за аналогиями в мусульманский мир, который принято делить на режимы националистические и фундаменталистские. Исламский фундаментализм во многих отношениях противоречит традиционно арабским ценностям. Само возникновение исламского фундаментализма относится к эпохе Нового времени, к XIX—XX векам, а его приход к власти стал возможен лишь во второй половине XX века. Это дает основание определить исламский фундаментализм в значительной

степени как консервативно-революционное движение, во многом — аналог фашизма.

Не означает ли это, что российский национализм также будет напоминать фундаментализм? Крайне трудно говорить о фундаментализме в России сегодня. Фундаментализм нуждается в идеологии, а для постсоветского общества характерно разочарование не именно в коммунистической идеологии, но в идеологических ценностях как таковых.

Тем не менее, «миф XXI века», возможно, не за горами. В известном смысле сама Россия в нынешних условиях, после всего, что произошло с нею, является мифом. Тем более мифом является ее проекция в будущее...

Формой русского национализма, впрочем, и может оказаться геополитический прагматизм, лишенный какой-либо определенной идеологии. Если же национальное возрождение России пойдет по фундаменталистскому пути, политическая активность в ней неизбежно примет революционный оборот. Такое возрождение не будет ни возрождением традиционного, ни созданием гражданского общества — оно будет носить исключительный характер «третьего пути».

Во многом такой революционный фундаментализм напоминал бы немецкий фашизм, чьи составляющие — национализм, революционность, «народность» и идеологический фундаментализм.

Первые два элемента уже существуют в самой структуре нынешней «право-левой оппозиции», ставшей как бы продуктом исторического распада коммунизма. Революционный элемент изначально заложен в генетике коммунизма, но сегодня на него причудливо наложились демократические формы: масс-политика, «народные движения», персонифицированное лидерство.

Националистический вектор стремительно возникает в ходе разложения коммунизма на «левую», социалистическую составляющую и так называемый «национал-коммунизм». Фактически сегодня мы уже имеем особый аналог нацизма в форме национал-коммунизма.

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ

К настоящему моменту в России возник целый спектр так называемых патриотических движений, весьма пестрых по своему идеологическому содержанию (от коммунистов до монархистов и демпатриотов), но объединенных некоторыми общими задачами, среди которых: сохранение и развитие национальной государственности, ориентация на внутренние ресурсы в период экономической модернизации, охрана культурно-национальной идентичности России, обеспечение ее «нерастворимости» в окружающем мире и значительной роли государства в экономике и в защите гражданских прав.

Во внешней политике — сохранение патерналистской роли России в ближнем зарубежье, предполагающей ее особую ответственность за региональную стабильность, защита русскоязычного населения в республиках бывшего СССР, борьба за признание уникального (евразийского) геополитического положения России в мире и так далее.

Все эти идеи вышли за рамки партийных дискуссий и в самом общем виде обрели характер общенациональных императивов, признаваемых и демократами, и национал-коммунистами, и монархистами. Тем не менее, говорить о русском национализме как о чем-то едином не представляется возможным даже невзирая на возникновение «право-левой оппозиции» в лице Фронта национального спасения и сторонников выдвинутой А. Прохановым идеи великого национального примирения красных и белых.

Не анализируя всю глубину данной идеи, замечательным прототипом которой является посмертное примирение всех участников гражданской войны в Испании, обратим внимание лишь на один ее существенный недостаток. Дело в том, что «белое движение» исторически представляло собой такой же продукт гражданской войны и распада общества, как и «красное», — отсюда и выражение «белый большевизм». А посему примирение «белых» и «красных» еще не означало бы восстановления преемственности русской истории до- и послеоктябрьского периодов, на что идея А. Проханова, безусловно, претендует и что составляет основу воззрений сегодняшних большевиков, которые, по выражению Э. Лимонова, одинаково наследуют и Петру Первому и Ленину.

В этой связи идея «великого национального примирения» отчасти предстает в негативном виде: в известном смысле сегодня в лице «право-левой оппозиции» мы действительно имеем «красных» и «белых» одновременно. Произошло нечто большее, чем совпадение их политических культур («красные» и «белые» уподобились друг другу еще в период гражданской войны) — по воле истории и те и другие теперь как бы персонифицированы в одном и том же политическом субъекте. Причем субъект этот не столько консервативен, сколько революционен и контрреволюционен одновременно. Если угодно, Троцкий и Корнилов теперь как бы соединились в одном историческом персонаже.

Великая мистическая идея «примирения» осуществилась, но осуществилась она в худшем из своих вариантов.

ПАТРИОТЫ ПОВТОРЯЮТ ДЕМОКРАТОВ

Посмотрим теперь на организационное воплощение всей этой провиденциально-исторической феноменологии. К настоящему времени ФНС — организация явно маргинальная, почти не имеющая веса в реальной политике, хотя и создающая вполне определенный культурно-политический настрой. Борис Парамонов как-то написал в «Независимой газете», что русский фашизм, эти самые пресловутые «красно-коричневые», о которых столько сейчас говорят, в реальности не существует. Это бутафория, папье-маше, очень плохой самодеятельный театр...

Сторонние наблюдатели перестройки наверняка вспомнят, как в 1988 году была создана самая первая «бутафорская» партия — Демократический союз. То, что происходит сегодня вокруг нашего радикально-патриотического движения, карикатурно напоминает первоначальный генезис радикально-демократического движения 88-89 годов. Тогда в организациях типа ДС тоже видели лишь политический балаган. Тем не менее, этот балаган открыл дорогу следующему эшелону демократов — «ДемРоссии» и другим демократическим организациям. Мало кто знает, что и сам ДС весной 1989 года готовился трансформироваться в массовое движение, которому и название уже было придумано — «Демократический фронт». Лишь по ряду организационных причин Демфронт так и не состоялся, иначе мы на год раньше имели бы своего рода радикализированный вариант «Демократической России», которая, как известно, образовалась осенью следующего, 1990 года.

Радикал-демократы образца 80-х и радикал-националисты начала 90-х похожи между собой как две капли воды. Несмотря на разность идеологических взглядов, они сходны прежде всего своими политическими культурами, ставкой на массовые революционные технологии. Радикал-националисты олицетворяют сегодня как бы второй, развернутый этап системного кризиса общества. Тем, кто привык ориентироваться только на идеологическое содержание партийных программ, предположение это может показаться нелепым. Но в исторической феноменологии идеологические различия нередко имеют подчиненное, второстепенное значение по сравнению с культурно-политическими константами. Очевидно, общество, не сумевшее — по понятным причинам — организовать на основе либеральной идеологии, сегодня инстинктивно приходит к национализму как единственно возможной объединяющей идее, заимствуя при этом кое-что из своего демократического «подросткового» периода.

Таким образом, нынче создается чрезвычайно опасная смесь из национализма и отдельных, выхваченных наспех демократических фрагментов — национализм, помноженный на демократическую истерию. А это — ситуация, классическая для возникновения фашизма, более того, для его прихода к власти «демократическим» путем.

Впрочем, в ближайшее время «непримиримая» радикал-националистическая оппозиция обречена обретаться на обочине политической борьбы, основными участниками которой, как показал VII съезд народных депутатов, сегодня являются Гражданский союз и либеральная команда Гайдара. Союз между правым центром и «бешеными правыми» не состоялся и не мог состояться по нескольким причинам. Одна из них — ставка ФНС на люмпенизированную часть общества и очевидные большевистские мотивы, выраженные не столько в программе Фронта, сколько в его политической лексике. Другая — оценка

не только Ельцина, но и самого уровня федеративной власти как «преступного центра» и призыв к политической регионализации. Тем не менее, фундаменталистская оппозиция, как уже было сказано, создает мощный психологический фон, прямо или косвенно влияющий на политический кризис, который протекает пока еще в конституционных формах.

Можно назвать несколько факторов, препятствующих пока приходу к власти радикально-националистической оппозиции — подчеркнем: к власти в рамках тех государственных институций, которые существуют сегодня.

1. У оппозиции нет такой харизматической фигуры, какой был, например, Ельцин для демократов. Если верить социологическим опросам, Бабурина и других деятелей ФНС знают не более 20 процентов россиян. (Любопытно, что наиболее популярен среди деятелей правозащитного толка Жириновский.)

2. Сужение мобилизационной базы правительства автоматически не ведет к расширению такой базы у оппозиции. В этом смысле у нас, строго говоря, вообще нет оппозиции, функция которой всегда состоит в том, чтобы переводить «минусы» правительства в собственные «плюсы». По мнению группы независимых экспертов, подготовивших по заказу Партии экономической свободы аналитический прогноз (см. «Независимая газета» от 20 августа 92 г.), мобилизационная база общества сегодня не «перетекает» из правительства в оппозицию, а скорее «рассеивается» в политическом вакууме. Другими словами, это вообще не «мобилизационная база», а некий аморфный социальный потенциал, не имеющий никакой политической субъективности. Динамика его поистине непредсказуема.

3. О росте негативного потенциала общества, вне положенного к политической и межпартийной борьбе, свидетельствует и другое наблюдение. Социальное недовольство населения формируется совершенно автономным, загадочным образом, почти никак не пересекаясь с попытками оппозиции мобилизовать это недовольство. В сущности, мы имеем дело с «вялотекущим» распадом общества, своего рода замедленной социальной революцией, не обретшей пока своего политического оформления.

Все это позволяет сделать достаточно мрачное предположение о том, что ожидаемый политический кризис будет неинституционным, деструктивным для самих основ существующей политической системы. Иными словами, он будет сопровождаться таким же распадом существующей государственности, как и политический кризис в августе 1991 года, когда вместе с непопулярным правительством был «срезан» и весь союзный уровень власти как таковой.

Приход к власти оппозиции был оплачен тогда уничтожением СССР. За приход к власти радикально-националистической оппозиции можно заплатить разрушением России. Ирония истории заключается в том, что разрушителями государственной целостности могут оказаться силы, называющие себя сторонниками национальной государственности.

РАДИКАЛЬНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ НА ФОНЕ «СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА»

Впрочем, распад РФ происходит независимо от деятельности оппозиции. «Стабилизационный период», объявленный Ельциным, слишком напоминает аналогичный правопоцентристский курс Горбачева, чтобы не задуматься о его вероятных результатах. Возможна ли в принципе какая-либо экономическая стабилизация, если в стране отсутствуют необходимые для этого политические и властные структуры? Если нет, то о какой стабилизации идет речь — может быть, о «стабилизации кризиса»?

На VII Съезде Ельцин заявил о необходимости укреплять Российскую государственность, но, спрашивается, какими методами? Оказывается, через Федеративный договор. Именно он взят за основу, в соответствии с ним должна формироваться вся политическая система России. Между тем, на договорной основе не строится ни одно исторически сложившееся государство, где уже имеется Конституция. (По определению, Конституция является не чем иным, как «общественным договором», и, в случае необходимости, Федеративный договор просто становится ее частью.)

В свое время именно попытка вывести Союзный договор из Конституции СССР, превратить его в самостоятельный государствообразующий документ привела не к «реформированию федеративного устройства СССР» (как о том заявлял Горбачев), а к развалу Союза. («Реформа» федеративного устройства СССР с точки зрения всех цивилизо-

ванных аналогов вообще является недоразумением: трудно представить себе что-либо подобное в США или ФРГ. Видимо, у нас настолько привыкли к самому слову «реформа», что готовы его применять к месту и не к месту.)

Союзный договор Горбачева и его знаменитый проект «СССГ» были просто-напросто формой «управляемого» распада СССР. Очевидно, то же самое сегодня происходит и с Российской Федерацией. Иных способов сохранить почти эфемерную российскую государственность, кроме как «договориться» с регионами и автономиями, у президента сегодня нет. Однако такой «договорной» способ государственного строительства грозит обернуться не очень продолжительным «стабилизационным» распадом России.

Немного истории. «Стабилизационный» период Горбачева продолжался меньше года: с декабря 90-го по апрель 91-го имела место вялотекущая и безуспешная попытка силовыми мерами ввести прямое президентское правление (кульминацией этого периода стали январские события в Литве), а весной 91-го было заключено «Соглашение 9 плюс 1» — прообраз будущего Союзного договора, горбачевский вариант «договорного» воссоздания СССР. Чем это закончилось, известно — путчем и окончательной ликвидацией Союза.

Всякие аналогии приблизительны, но чем-то подобным скорее всего закончится и «стабилизационный период» Ельцина. Уже есть аналог «Соглашения 9 плюс 1» — Федеративный договор и созданный на его основе Совет глав республик. Государственная целостность России уже как бы находится в «текучем» состоянии, поскольку конституционность того или иного действия оценивается лишь с точки зрения его «целесообразности», абсолютная государственная ценность во внимание не принимается. Изменение статей Конституции в зависимости от политической конъюнктуры стало обычной съездовской практикой. Все это говорит о том, что Конституции, как основополагающего документа, у нас в строгом смысле не существует. А раз нет Конституции и конституционности как принципа, которым должна руководствоваться государственная власть, то в некотором смысле у нас отсутствует и само государство.

Итак, нет сил, которые могли бы остановить нарастающий процесс распада Федерации с ее очень «пластичной» политической системой. По-видимому, кризис федеративного устройства России повлечет за собой не просто административно-хозяйственную децентрализацию, но и прямую политическую регионализацию. В переводе на обыденный язык последнее означает просто-напросто распад государства как такового. Уже сегодня Гайдар признает: макроэкономика у нас невозможна. Завтра точно так же кто-нибудь скажет: в России невозможна «макрополитика».

Каждое правительство достойно своей оппозиции. Распад России — улица с двусторонним движением. В этом — вся опасность и безальтернативность нынешней ситуации. «Стабилизационный» развал, осуществляемый Ельциным, неизбежно будет способствовать усилению радикально-националистической оппозиции. Какой? При Горбачеве это была «левая» демократическая оппозиция, базировавшаяся в российском (республиканском) эшелоне власти. При Ельцине это будет, вероятно, «правая» радикально-националистическая оппозиция, базой которой станут скорее всего региональные элиты и мафии. То есть, регионализация и распад РФ — это та самая система координат, в которой будет действовать и набирать очки радикально-националистическая оппозиция.

«ДО ОСНОВАНИЯ...» А ЗАТЕМ?

Делая ставку на политическую регионализацию, радикально-националистическая оппозиция отнюдь не идентифицирует себя с разрушителем государственной целостности. По ее мнению, РФ в нынешних границах и по форме своего политического устройства — не государство, а «огосударвленная мафия», политически оформившаяся на обломках реально существовавшего государства — СССР. Теперь Союз разрушен, и системный кризис общества протекает «по ту сторону государственности». Другими словами, де-факто мы уже находимся в состоянии гражданской войны.

Такова позиция, в частности, газеты «День» и — судя по всему — также Фронта национального спасения. Приведем лишь одну очень характерную цитату, принадлежащую политологу С. Кургияну, который не вошел в состав оргкомитета ФНС, но в данном случае очень точно сформулировал позицию радикальных националистов.

«...Регионы, отъединяясь от преступного центра... объединяйтесь в новое сильное

духом великое национальное государство», — пишет С. Кургинян в статье «ГКЧП-2. Когда?» («День», № 27/92).

Отделение регионов от «преступного центра» — лишь первый шаг. Вторым, по мысли наших национал-коммунистов, должно стать воссоздание Советского Союза. Нетрудно заметить, что нынешняя идея восстановления традиционного геополитического пространства СССР очень напоминает то, что имело место в России в 18-22 годах, во время гражданской войны. Тогда гигантская загнивающая Империя также была раздроблена до молекулярного состояния, на множество удельных княжеств. На этом региональном плацдарме большевики и захватили власть. И только после этого началось новое объединение — был создан СССР.

Очевидно, в такой оппозиции есть своя страшная историческая логика, но если национал-коммунисты готовы такой ценой восстановить СССР в его новом качестве, то значит мы обречены на новую гражданскую войну.

О гражданской войне давно говорят как о свершившемся факте, и я подозреваю, что, может быть, поэтому она неминуема. Конечно, если под гражданской войной понимать отсутствие гражданского мира, то такая война уже идет: никакой гражданский мир невозможен без гражданского общества, без естественной и органичной его самоорганизации на основе базисных ценностей.

Но есть другие, очень конкретные признаки гражданской войны, наличие которых еще не в полной мере осознается. Вот эти признаки:

Политизация и раскол армии.

Переход политического кризиса в регионы, в социальную структуру. Другими словами, политический кризис перестает быть лишь политическим, отходит от условных «правил игры» и превращается в социальную войну всех против всех.

Деинституционализация политического кризиса, то есть чреватость его не просто сменой правительств, но распадом целых государственных институций.

Все это грозит сегодня России. Председатель Конституционного суда В. Зорькин предупредил на Съезде народных депутатов: если распадется Россия, произойдет не повторение того, что произошло с Союзом — произойдет катастрофа. Кто бы сегодня ни возглавлял институты российской государственности, необходимо помнить: правительство Ельцина может оказаться последним российским правительством.

«ПОСТДЕМОКРАТИЯ»

Вышесказанное дает основание спросить: не была ли демократия в России лишь промежуточной стадией ее посттоталитарной истории?

По мнению С. Кургиняна, путч в августе 1991 года был не «двойным», а «тройным» заговором по схеме: ГКЧП — демократы — русские националисты. Демократы выполнили роль могильщиков. Они демонтировали нежизнеспособный и разлагающийся Союз и срезали самый верхний слой партократии, который давно осточертел, и русской «новой правой».

Фактически демократия сработала против себя самой: чем настойчивее были попытки демократизировать неработающие структуры власти, тем больше в стране воцарялся хаос. Хаос, в свою очередь, рождал требование жестких репрессивных мер, но на этот раз уже не в виде респектабельной командно-административной системы брежневского образца, где полиция была крайним средством, а в форме военных действий на собственной территории. По мнению А. Зиновьева, все шесть лет перестройки мы двигались от брежневской командно-административной системы, но не к демократии, а в сторону сталинизма. По сути дела, происходил исторический регресс политической системы. Единственным результатом демократизации может быть только диктатура.

Так это или нет, имеет смысл задаться вопросом: что же все-таки мы подразумеваем под демократией? Очевидно, в постсоветском обществе либеральная по своей сути демократия и не могла прижиться. Демократия — функция гражданского общества, его политическое оформление. Но раз нет саморазвивающегося общества, не может быть

и демократии. Вместо демократии как целостной системы, органически встроенной в политическую систему общества, мы располагаем лишь наугад вырванными фрагментами, отдельными и очень опасными орудиями демократии: масс-политикой, «народными движениями» (часто принимающими обличье «фронтов»), идеей персонифицированной харизматической власти в форме президентства... В нынешнем фрагментарном состоянии все это создает весьма благоприятную среду для возникновения фашизма.

Известно, что в демократической стране не может быть харизматического лидера, такая фигура свойственна только традиционному или тоталитарному обществу. Но в нашем случае персонифицированность сильной исполнительной власти вряд ли возможна без харизматичности. Это хорошо видно на примере выдвижения «народных» лидеров в республиках бывшего СССР. Россия едва ли составит исключение. А раз так, то наш лидер больше будет походить на фюрера или императора, чем на демократического президента.

Разговоры об императорстве могут показаться сегодня нелепыми. Но поясним, что, во-первых, мы имеем в виду не монархию в сакральном, традиционном смысле слова, а именно императорство — политическую модель, порожденную Новым временем (чуть раньше — Древним Римом), которая лишь внешне напоминает монархизм, а фактически является его современной прагматичной заменой. И в Древнем Риме и в послереволюционной Франции императорство возникло как «постдемократическая» форма правления, когда общество нуждалось в авторитаризме, но назад, к монархизму, путь был уже отрезан.

Более того, императорство в том или ином виде, как ярко выраженная харизматическая и персонифицированная власть, — непременное условие возвращения России к имперским структурам власти. Невозможно себе представить Империю, которая управляется коллегиально. Неоимперский вариант возрождения геополитического поля СССР, очевидно, будет сопровождаться большей концентрацией военной политики и совмещением ее с политико-административным управлением, что неизбежно приведет к установлению императорской формы правления.



«Мертвым не больно» под арестом

ВАСИЛЬ БЫКОВ: «...НЕ ДУМАЛ, ЧТО МОЯ СКРОМНАЯ ПОВЕСТЬ
УДОСТОИТСЯ ТАКОГО ШИРОКОГО ВНИМАНИЯ»

204

В 1966 году журнал «Новый мир» познакомил читателя с повестью известного белорусского прозаика Василя Быкова «Мертвым не больно». Отсчет первых акций, исходящих от властей предержащих, начался незамедлительно после ее публикации — отделы культуры и пропаганды ЦК КПСС рекомендовали Союзу писателей СССР «укрепить» редакцию журнала «Новый мир», так опрометчиво напечатавшего произведение В. Быкова, квалифицированными работниками. В коллизию вокруг повести были втянуты ЦК КПСС и ЦК Компартии Белоруссии, КГБ СССР и союзы писателей СССР и Белорусской ССР, редакции газет «Правда», «Красная Звезда» и «Советская Белоруссия», Госкомиздат СССР и печатные органы ряда западных стран. Спустя пять лет, в 1981 году, из тех же инстанций вышло поручение ЦК Компартии Белоруссии и Госкомиздату СССР рассмотреть вопрос о целесообразности включения повести «Мертвым не больно» в собрание сочинений писателя.

Вряд ли сам Василь Владимирович знал о материалах, которые были запущены по коридорам власти. На них стоял гриф «Секретно». Однако документы свидетельствуют, что в ходе разгоревшихся тогда баталий он с горечью произнес фразу, вынесенную в заголовок нашей публикации. Такие же горечь и сожаление содержались в телеграмме директора белорусского издательства «Мастацкая літаратура» М. Дубенецкого, направленной им в 1981 году

секретарю ЦК КПСС М. Зимянину. В ней — крик о помощи и возмущение попытками противодействовать включению повести «Мертвым не больно» в собрание сочинений В. Быкова: «...Спасите пожалуйста значительную духовную ценность от средневекового костра, а нашу издательскую практику от позора...»

Споры о повести разделили на два лагеря писателей, интеллигенцию и общественность Белоруссии. Для одних он стал очернителем советской действительности, для других — апостолом нации. Накал страстей вокруг В. Быкова скрывал «великую» тайну нашего времени, смысл которой предпочитали вслух не называть, но всегда подразумевали: не всякой жизненной правде позволительно стать всеобщим достоянием без одобрения сверху. И не только это. В основе размежевания незримо присутствовал протест против, мягко говоря, не очень-то деликатного вмешательства в процесс создания произведения, протест против присвоенной генералами от литературы прерогативы подправлять и подвергать сомнению многосложную архитектуру художественного текста и сам творческий замысел автора. Все эти тонкости политической игры, как показывает знакомство с документами, дорого стоили писателю, больно били по его человеческому достоинству и чести.

Но лучше всего об этом расскажут обнаруженные в Центре хранения современной документации архивные материалы.

Записка В. И. Степакова и В. Ф. Шауро в ЦК КПСС о публикации в журнале «Новый мир» повести В. В. Быкова «Мертвым не больно»

15 апреля 1966 г.

Считаем целесообразным проинформировать о следующем.

В журнале «Новый мир» (№№ 1, 2 за 1966 год) опубликована повесть В. Быкова «Мертвым не больно».

В повести с неверных идейных позиций, во многих случаях клеветнически, отображены

события Великой Отечественной войны, взаимоотношения между советскими солдатами и офицерами. Она заполнена желчными описаниями беззаконий и преступлений, якобы чинившихся в рядах действующей советской армии. В повести самыми мрачными красками злобно нарисованы образы советских офицеров. Нет ни одного командира, хоть сколько-нибудь достойного, — все они тупые карьеристы и самодуры. Командир батальона — «обормот с лакейской мордой», который «тянется перед начальством»; ротный Сарафанов — «набитый дурак и горлопан»; капитан тыловой службы «чокнутый», «дурака кусок», «тыловик проклятый» и т. д. Эти характеристики командиров автор подтверждает изображением того, как они действуют на практике — без проблеска мысли и разума.

Сюжетная основа повести — рассказ о том, как группа раненых советских офицеров и командиров зимой 1944 года пыталась в районе Кировограда уйти от преследования врага. Трагическая судьба этой группы обрисована на фоне хаоса и сумятицы в наших частях и усугублена преступными действиями руководившего группой капитана «особиста» Сахно. Он наделен в повести чертами злодея, убийцы, Сахно творит суд и расправу над солдатами и офицерами, пристреливает наших раненых. Наши офицеры и солдаты без конца стреляют друг в друга. Рядовой стреляет в старшину, ранит его, а затем старшина убивает солдата и т. д.

Повесть призывает к отмщению подобным «особистам». Переноса действие в наше время, в день празднования 20-летия победы над гитлеровской Германией, автор изображает своеобразного двойника Сахно — бывшего председателя Военного трибунала Горбатюка. Горбатюк оправдывает чудовищные жестокости Сахно, который пристреливал раненых советских бойцов, ссылкой на якобы отданный во время войны соответствующий приказ Сталина.

Пафос злого и безоглядного «обличительства» явно ослепил автора повести. Ничем иным нельзя объяснить то обстоятельство, что в отношении действительного нашего врага — немецких фашистов — у В. Быкова не нашлось гневных оценок. Выведенный в повести пленный немец изображен более гуманным, человечным, внимательным, чем многие советские командиры. Позиция автора здесь отчетливо раскрывается в следующих словах центрального персонажа повести: «Мое представление о немцах поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. И сволочи. Впрочем, как у нас. И, пожалуй, как всюду. Люди есть люди. И в общей своей массе — не плохие и не хорошие — разные».

Забвение т. Быковым классовых критериев, грубое искажение исторической правды привели к тому, что из-под его пера вышло произведение, наносящее серьезный вред делу воспитания советских людей, особенно молодежи. Оно мешает правдивому познанию великого подвига советского народа, создает извращенные образы солдат и офицеров Советской Армии. В. Быков спекулирует памятью погибших, отстаивая некую абстрактную «справедливость», которая объективно приводит к оправданию преступлений, совершенных по отношению к советскому народу немецкими фашистами, поскольку автор фактически не проводит разницы между зверствами фашистов и справедливой местью советских воинов.

Повесть В. Быкова сразу же была замечена буржуазной пропагандой. Так, корреспондент «Ассошиэйтед пресс» Коулман подчеркивал: «Как явствует из новой советской повести, Иосиф Сталин приказал советским войскам пристреливать своих собственных раненых с тем, чтобы они не были захвачены нацистами в плен живыми».

Учитывая серьезность ошибки, допущенной редакцией журнала «Новый мир», Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС и Отдел культуры ЦК КПСС поручили редакции газеты «Красная звезда» (т. Макееву) выступить со статьей о повести В. Быкова «Мертвым не больно», а Правлению Союза писателей рекомендовано укрепить редакцию квалифицированными работниками.

Сообщается в порядке информации.

Зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС
(В. Степаков)

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
(В. Шауро)

Записка В. Е. Семичастного в ЦК КПСС о процессах в среде белорусских писателей в связи с публикацией повести В. В. Быкова «Мертвым не больно».

21 мая 1966 г.

Секретно

Комитет государственной безопасности докладывает о процессах в среде белорусских писателей, вызванных опубликованием и критикой повести В. Быкова «Мертвым не больно».

Резкое размежевание мнений было вызвано редакционной статьей газеты «Советская Белоруссия» «Вопреки правде жизни» о творчестве В. Быкова и особенно данной в ней оценкой указанной повести.

Ряд писателей старшего поколения одобряет критику газеты в адрес В. Быкова. По мнению А. Алешко, «Быков зарвался, хотел удивить всех и подчеркнуть, что он особый писатель и пишет так, как ему вздумается. Кто был на войне, таких явлений, которые показаны в повести, не встречал».

Некоторые белорусские писатели открыто стали на защиту В. Быкова, считая, что газета «Советская Белоруссия» выступила необъективно. Заведующий отделом газеты «Литература и мастацтва», член КПСС писатель Г. Буравкин заявил: «Советская Белоруссия» перечеркнула творчество В. Быкова и вызвала обратную реакцию среди писателей. Происходит издевательства. После выступления газеты складывается впечатление, что В. Быкова судят как на процессе».

Член КПСС писатель В. Зуб сказал: «В. Быков написал правду о войне. И такое могло быть в действительности».

Известный белорусский поэт А. Кулешов назвал статью «отрыжкой культовщины».

Некоторыми писателями предпринимаются конкретные шаги с тем, чтобы публично, на страницах печати выступить в защиту В. Быкова. Так, литературовед В. Буран сдал в журнал «Неман» статью под названием «Озаренность трагическим», в которой дается положительная оценка творчества В. Быкова. Редколлегия журнала намерена напечатать ее в ближайшем номере.

Руководитель гродненского отделения Союза писателей Белоруссии, член КПСС А. Карпюк обратился с просьбой к А. Суркову помочь «спасти» В. Быкова.

Молодые писатели Г. Буравкин и А. Вертинский написали письмо в ЦК КПБ против статьи «Вопреки правде жизни» и проводили сбор подписей среди писателей республики.

Повесть В. Быкова привлекла внимание некоторых печатных органов капиталистических стран, которые стремятся использовать ее в пропагандистских целях. Газета «Коррьере делла sera» от 18 марта 1966 года поместила статью враждебного нам характера, использующую именно те моменты повести, которые критикуются за искажение событий периода Великой Отечественной войны.

Гамбургское издательство «Классен» обратилось к В. Быкову за разрешением на перевод его книги, в ответ на эту просьбу В. Быков выслал номера журнала «Маладосць», в которых была опубликована повесть «Мертвым не больно».

Следует отметить, что после выступлений печати В. Быков более критически подходит к своей повести, расценивает ее как неудачу: «Даже не думал, что моя скромная повесть удостоится такого широкого внимания. По всей вероятности где-то в основе замысла была допущена ошибка, неверная посылка, на которой все здание повести вышло наперекосяк. Пойдя на поводу частного факта, я ушел от большой правды, большой войны. Это теперь понимаю отчетливо, рано или поздно, видимо, придется признать — повесть не удалась».

Председатель Комитета Госбезопасности В. Семичастный

На документе резолюция: «тов. Шауро, М. Суслов» и помета: «ЦК КПСС. С запиской т. Семичастного работника Отдела культуры тт. Шауро, Беляев, Мелентьев, Черноуцан и Барабаш ознакомлись. Зав. секретариатом Отдела культуры ЦК КПСС Г. Дьяконов. 16.VII.66 г.»

(ЦХСД. Ф. 5, Оп. 36, Д. 155. Л. 202—204. Подлинник. Машинопись на бланке Комитета Госбезопасности. Подпись-автограф.)

Записка Н. С. Захарова в ЦК КПСС о предисловии к повести В. В. Быкова «Мертвым не больно», опубликованном в г. Мюнхене в журнале «Сучасність» его главным редактором И. Кошеливцем

17 августа 1966 г.

Секретно

Комитет госбезопасности при СМ СССР направляет предисловие к напечатанной в июне 1966 года в журнале «Сучасність», органе одного из националистических центров в г. Мюнхене, повести белорусского писателя Василя Быкова «Мертвым не больно». Предисловие написано главным редактором этого журнала, украинским националистом Иваном Кошеливцем.

Приложение: Предисловие Кошеливца на 3 листах.

Заместитель председателя Комитета госбезопасности Н. Захаров

На документе помета: «Справка. Работники Отдела культуры ЦК КПСС тт. Шауро, Мелентьев и Беляев ознакомились. Зав. Секретариатом Отдела культуры ЦК КПСС Г. Дьяконов. 25.VIII.66 г.».

(ЦХСД. Ф. 5. Оп. 58. Д. 46. Л. 59. Подлинник. Машинопись на бланке Комитета Госбезопасности. Подпись-автограф.)

Приложение

Предисловие И. Кошеливца к повести В. В. Быкова «Мертвым не больно» (перевод с украинского).

ПОВЕСТЬ ВАСИЛИЯ БЫКОВА

Когда в «Новом мире» за январь — февраль этого года появилась повесть Василия БЫКОВА «Мертвым не больно», на Западе она вызвала сенсацию, в буквальном значении слова — как взрыв. Все «советологи» в один голос закричали, что ТВАРДОВСКИЙ не случайно начал шестьдесят шестой год этим многозначительным произведением: он, мол, припас повесть БЫКОВА на предсъездовский период, чтобы этим высказать протест против реабилитации Сталина, которую все ожидали, боялись ее, и она, несмотря на выразительные протесты общественности, на XXIII съезде своеобразным образом все-таки состоялась.

Есть много оснований так оценивать намерения ТВАРДОВСКОГО, так как повесть БЫКОВА бескомпромиссно антисталинская. Но есть одна деталь не второстепенного значения для характеристики ценностей современной западной «советологии»: до того, как повесть «Мертвым не больно» попала на страницы «Нового мира», она была напечатана в 7—8 номерах (июнь — июль) 1965 года в белорусском литературном журнале «Маладосць», который выходит в Минске. Ровно на полгода раньше. И за это время о ней на Западе и пес не гавкнул. Популярным БЫКОВ стал именно благодаря ТВАРДОВСКОМУ.

Так и с любой другой национальной литературой в СССР, с украинской в том числе. Большой роман Леонида ПЕРВОМАЙСКОГО «Дикий мед» не взял ни один западный издатель для перевода только потому, что он не получил апробирования у ТВАРДОВСКОГО — не был перепечатан в «Новом мире».

Василий БЫКОВ родился в 1924 году в селе Чараповщина Витебской области. Семнадцатилетним парнем он попал на фронт и прошел всю войну, будучи то командиром взвода автоматчиков, то взвода противотанковой артиллерии. Был дважды ранен. После войны стал журналистом и к моменту появления повести «Мертвым не больно» работал в редакции газеты «Гродненская правда». Печатается с 1956 года преимущественно в названном журнале «Маладосць», в котором, кроме этой последней, появились еще повести «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Альпийская баллада» и ряд рассказов.

Первое знакомство с русским вариантом повести «Мертвым не больно» в «Новом мире» удивило меня необыкновенностью, которая, парадоксально можно сказать, именно в том, что это редкий образец прозы в непосредственном и наиконкретнейшем значении этого слова. Это утверждение требует пояснения, потому что не один из читателей удивится: и что же здесь такого особенного, когда прозы в общем-то существует очень

много. Дело в том, что есть проза только по названию и есть настоящая проза. Последней намного меньше. И в советской, в частности в украинской советской прозе, очень мало прозы. То, что пишут все наши прозаики (исключая из этого числа двух: Л. Первомайского и из молодых — В. Шевчука) не проза, а документальное свидетельство того, что они не знают своего жанра. Это касается и тех, кого в настоящее время зачисляют в число наилучших мастеров прозы, например, О. ГОНЧАРА и М. СТЕЛЬМАХА.

Все они убеждены, что проза тем лучше, чем больше она насыщена псевдопоэтическими украшениями. Раскроем повесть М. СТЕЛЬМАХА «Гуси-лебеди летят»:

«...вода шаловливо играла в жмурки с солнцем, тучами, тенями и ветерком». «На лодочке и весле к нам приехал май, он прихватил с собой синие дожди, зеленый шум да соловьиные трели, и в село через плетень заглянуло лето». «Я не успел опомниться, как вечер укрыл леса и стал укладывать на ночь цветы, и с них то тут, то там свисали сонные бабочки».

С «бабочками» — то и беда. Автор рвется высказываться по возможности красивее, засоряет текст ненужностями. В результате динамика повествования замедляется, контуры архитектурного построения размазываются и получается (автор удивится, если ему об этом сказать) — не проза (но и не поэзия, очевидно).

БЫКОВ обходится без «бабочек», его рассказ сухой и экономный на слова, собствен-но — проза. Точная и совершенная в деталях.

Прочитав русский перевод его повести, я кинулся на розыски оригинала, который был нужен не только для перевода, т. к. интриговала еще и подпись: «Авторизованный перевод с белорусского М. ГОРБАЧЕВА». Это могло означать, что квалифицированный переводчик, вольно обращаясь с текстом, мог выдать воду и этим намного улучшить произведение.

Сравнение перевода с оригиналом действительно обнаруживает сокращение, изменения и перестановки, но я с удовлетворением констатировал, что это было сделано, исходя из каких-то иных соображений, без внимания на качество, которое нужно отнести целиком в заслугу автора.

Еще одна черта повести БЫКОВА — беспощадность. К самому себе. Она нужна в искусстве всюду, чтобы не сбиться на фальшь. В советских условиях она равнозначна мужеству: не бояться преследования за правду в искусстве. В советской печатной прозе мне известен единственный до БЫКОВА пример такой беспощадности — «Один день Ивана Денисовича».

Не из писаний прославленных К. СИМОНОВА, М. ШОЛОХОВА или О. ГОНЧАРА, а из повести В. БЫКОВА читатель впервые и в полной мере почувствует ужас минувшей войны. И именно этим оправдан украинский ее перевод. А не менее и тем, что это — образец современной прозы.

(ЦХСД. Ф. 5. Оп. 58. Д. 46. Л. 60—62. Заверенная машинописная копия.)

Записка С. К. Цвигуна в ЦК КПСС о выпуске западногерманским издательством «Ульштайн» повести В. В. Быкова «Мертвым не больно».

23 октября 1967 г.

Секретно

Получены данные о том, что повесть белорусского писателя В. БЫКОВА «Мертвым не больно» выпущена массовым тиражом на немецком языке западногерманским издательством «Ульштайн» с предисловием Карин ФРАТЦШЕР (перевод предисловия прилагается).

Заместитель председателя Комитета госбезопасности Цвигун

На документе помета: «ЦК КПСС. В отделе культуры ознакомились. Зав. Секретариатом Отдела культуры ЦК КПСС Г. Дьяконов. 6 ноября 1967 г.»

(ЦХСД. Ф. 5. Оп. 59. Д. 56. Л. 302. Подлинник. Машинопись на бланке Комитета Госбезопасности. Подпись-автограф.)

Предисловие К. Фратцшер к немецкому изданию книги В. В. Быкова «Мертвым не больно».

Этот роман о жизни и смерти нескольких русских людей, одно из ярких литературных произведений, проникших в последние годы из СССР на Запад. Его очаровательная смелость нашла отражение в искусстве, и только из-за недоразумения произведение Василия Быкова «Мертвым не больно» стало поводом и предметом политических разногласий и споров, которых Россия и Запад не знали со времен Пастернака и Евтушенко.

Быков соединяет события этого романа, происходившие в течение нескольких дней русской войны зимой 1944 года и в длинную ночь празднования победы в 1965 году. Книга выигрывает своим прозаичным накалом и поэтической меланхолией, параллелизмом и противопоставлением сцен, которые объединяют героев книги.

Во время медленно тянувшихся часов в ночном Минске он вспоминает советского офицера, чья жестокость стоила жизни его другу. Ему думается, что в праздничной толпе он видит офицера вновь. И в то время, когда он следует за ним по улицам и площадям, его вновь охватывает прежний страх и беспощадная ненависть, как тогда в украинской снежной пустыне, когда он сам входил в положение противника немца и чего не доставало темной фигуре советского офицера. Образ этого мрачного героя войны олицетворяет режим периода войны и показывает эпоху во всей своей наготе, всю ее низменность, характерную ничтожными идеями человека. Эти годы рассматриваются глазами поколения, которое отдало свою жизнь за победу, их обошедшую, и об ужасах которой они не хотели бы ничего больше знать.

Тот значительный отрицательный образ романа путем несоединения его появления на сцену и ухода с нее приносит сверхиндивидуальность содержанию этого образа. Когда Быков воспроизводит его мотивы после войны в другом человеке, вступающем за такую же черствость и презрение к людям, тот образ превращается в типичного носителя зла, типа, который всюду ошибается, поскольку он бесчеловечен. Ему нечего жалеть и он не может понять, что ему следует жалеть. Книга выходит за рамки политики в область поэзии.

Уже в изображении большого горя и безмерной любви к другу роман следует великим традициям русской литературы. Параллельно со сценами горечи и поражения, изображаются сцены возникающей дружбы, изображением смерти друга мотив страдания и любви превращается в боль, которая является характерным оттенком мягкой и очень русской книги, дающей молодежи право не опускать голову, несмотря на пережитое.

(ЦХСД. Ф. 5. Оп. 59. Л. 303—304. Заверенная машинописная копия.)

Записка Е. М. Тяжельникова и В. Ф. Шауро в ЦК КПСС «О публикации повести В. В. Быкова «Мертвым не больно».

30 ноября 1981 г.

Секретно

В белорусском издательстве «Мастацкая Літаратура» готовится к изданию собрание сочинений лауреата Государственной премии СССР писателя В. Быкова. Издательство и автор включили в собрание сочинений повесть «Мертвым не больно».

Эта повесть была опубликована в 1966 году только в журналах «Маладосць» и «Новый мир» и вызвала обоснованную критику со стороны литературной общественности за дегероизацию событий Великой Отечественной войны и другие серьезные идейные просчеты.

Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС докладывали по этому вопросу ЦК КПСС (записка отделов от 15.IV.1966 г.). В записке отделов отмечалось, что в повести с неверных идейных позиций отображены события Великой Отечественной войны. Она заполнена желчными описаниями беззаконий и преступлений, якобы чинившимися в рядах действующей Советской Армии.

В соответствии с поручением отделов ЦК КПСС газеты «Правда» и «Красная звезда» опубликовали статьи, в которых повесть расценивалась, как творческая неудача автора. Аналогичные критические статьи были в белорусской партийной и литературной печати. С 1966 г. данное произведение отдельным изданием не выходило.

Учитывая это обстоятельство, а также принимая во внимание, что В. Быков в своем творчестве в настоящее время не допускает подобного рода ошибки, полагали бы возможным поручить ЦК КП Белоруссии совместно с Госкомиздатом СССР рассмотреть вопрос о целесообразности включения повести «Мертвым не больно» в собрание сочинений писателя, имея в виду вышеуказанные критические замечания.

Просим согласия.

Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС
(Е. Тяжельников)

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
(В. Шауро)

На документе помета: «Согласиться. М. Зимянин, М. Сулов, А. Кириченко, И. Капитонов, Б. Пономарев, К. Русаков, В. Долгих, К. Черненко».

(ЦХСД. Ф. 4. Оп. 29. Д. 40. Л. 129. Подлинник.)

210

Телеграмма директора белорусского издательства «Мастацкая лitarатура» М. Ф. Дубенецкого секретарю ЦК КПСС М. А. Замянину в связи с противодействием включению повести В. В. Быкова в собрание сочинений писателя.

23 ноября 1981 г.¹

Срочная. Москва. ЦК КПСС.

Товарищу Зимянину М. В.

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич.

20-го ноября вечером по указанию тов. Севрука В. Н.² в Минске на завершающей стадии прекращено издание 3-го тома собрания сочинений народного писателя Белоруссии, Депутата Верховного Совета Республики, Лауреата государственных премий СССР, БССР Василя Быкова из-за содержащейся там повести «Мертвым не больно». Повесть опубликована «Новым миром» и «Молодостью», во многих странах вышла книгой. На всех международных встречах издатели, особенно соцстран, упрекают нас, почему этой книги нет на родине Быкова. Эти упреки к счастью, как нам казалось, были уже сняты. Нам, маловеерам, показывалась подписная корректура тома. Решение тов. Севрука В. Н. объективно носит антисоветский, противозаконный, реакционный характер. Об этом недоумии уже знает весь интеллектуальный Минск. Значит, узнает и весь мир. Дорогой Михаил Васильевич, спасите, пожалуйста, значительную духовную ценность от средневекового костра, а нашу издательскую практику от позора. Повесть талантлива, полностью отвечает духу соцреализма, если его понимать здраво, а не вульгарно-социологически.

С искренним уважением и верой в победу разума директор издательства «Мастацкая лitarатура» Дубенецкий Михаил Федорович. (ЦХСД. Ф. 4. Оп. 29. Д. 40. Л. 131—132.)

На препроводительной записке к телеграмме резолюция: «Т. Т. Тяжельникову Е. М., Шауро В. Ф.

24.XI.81 г. М. Зимянин».

Опальная повесть долго была под арестом. Лишь совсем недавно, в 1989 году, издательство «Советский писатель» выпустило в одном томе повести В. Быкова «В тумане» и «Мертвым не больно», а в 1990 году в издательстве «Художественная литература» появилось сразу несколько творческих работ писателя, объединенных общим названием «Повести разных лет», где наряду с другими достойное место заняла и повесть «Мертвым не больно». Таков грустный и счастливый конец у этой истории.

Публикация Г. МЕЩЕРЯКОВА

¹ Поступила в ЦК КПСС 1 декабря 1981 г.

² Севрук В. Н. — в 1981 г. заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС.

АЛЕКСАНДР СТАНЮТА

Мираж (Стефания)

*Над этими страницами мне вспомнилась
дневниковая запись Толстого, когда он,
старенький уже, измученный, одними
любимый, другим, как это ни странно,
неестественно, ненавистный, Лев
Николаевич, на весь мир прославленный
мыслитель, титан духа,— как он
в тяжелую минуту по-детски молился своей
м а м е н ь к е, которую никогда не видел...
Даже и сильным, мудрым, великим это
необходимо. Даже они чувствуют недобор,
недостаточность святой материнской
ласки.*

*И как же счастлив тот, кто и сам давно
уже будучи отцом, все еще не сирота, у кого*

*есть мать, к тому же такая светлая,
неутомимая, как наша белорусская матуля
Стефания Михайловна! Давно завидую
своему младшему другу Александру
Станюте, зная его мать, обаятельно,
жизнерадостно талантливую актрису
и замечательную женщину, каждая встреча
с которой вызывает в душе улыбку, всегда
желанную и нужную, а в наше нелегкое
время — тем более.*

*Диалог «мать — сын» не так уж часто
встречается в литературе и это, я уверен,
нужно современному читателю.*

ЯНКА БРЫЛЬ

211

1

— Нет, это все было как сон. Мираж...

Октябрь, уходящий свет короткого солнечного дня и рыжие, красные листья под ногами.

Круглая деревянная скамья напротив кондитерского магазина «Ромашка» — обеденный перерыв там скоро кончится.

Бесконечный поток людей. Много молодых загорелых лиц. Хлопают дверцы такси, слышен смех, кого-то громко окликают.

— Мираж, конечно...

— О чем ты?

— Обо всем. И, главное, как быстро все промчалось... Я всегда думала: о-о, это еще долго, долго.... А это вж-жик — и пронеслось. Целая жизнь! Ну все равно как сон, ей-богу!

2

...Теперь видно, как в густеющих сумерках сквозь поредевшую уже, осеннюю листву старых деревьев светятся выходящие в сквер окна гримировочных комнат, — но у театра еще пусто.

Пусто и в старом сквере возле него. Редкие фонари и ветер, карканье невидимых ворон. Шесть часов вечера, скоро начнет темнеть.

«В шесть часов вечера после войны» — был такой фильм, в послевоенном Минске шел, кажется, в сорок шестом...

Воздух театра. Ты не актер, никогда не работал в театре, а его воздух, запах всегда узнаешь как запах своего дома. Кажется, что ты вырос тут...

— Бабушка прибегала ко мне, когда я Глафиру играла в «Волках и овцах» Островского, и в антракте я где-нибудь присяду в уголочке — и сцеживаю молоко в бутылку. А потом

наша Каролинка эту бутылку — за пазуху и домой, тебя кормить — опять бегом, по снегу, по морозу...

Идем по улице Кирова мимо старого четырехэтажного здания на углу перед улицей Энгельса.

— Вот тут же почта была, где она работала.

— Почтальоншей?

— Уборщицей. А потом ходила сюда за пенсией своей. «Моя пэнсия, моя пэнсия», — все повторяла, и пешком, пешком сюда почти через весь город, с улицы Толстого... А теперь вот и моя «пэнсия» тут.

Театр рядом. Вахтер громко, почти крича, здоровается с ней и с таким же громким весельем сообщает, что ни писем, ни переводов пока нет. Выходим в сквер, бывший Александровский сад, с единственной уже, наверное, городской достопримечательностью из прошлого века — фонтаном со скульптурой мальчика и лебедя в центре — 1874 год.

— Время... Что такое время? Все — и ничего. А наше время? Господи, что же будет?

Мелькнуло в памяти недавнее: телеэкран и чье-то интервью — хлесткая, злая тирада, с напором, все быстрее, взвинченное, — а она смотрит, слушает и вдруг, будто самой себе, негромко: «Вот говорят, будет гражданская война. Опять? «Правда» — название газеты. А остальное, значит, ложь? Ну никакого же нет права называться так. В тридцатые, в этой же «Правде» — «Смерть изменникам!» К расстрелу все, к расстрелу... Когда и где же была правда, а где — ложь?..»

5

— Знаешь, это какая-то фантастика. Захочешь — и не можешь объяснить. Не верят люди, что я все это видела и помню. Едем как-то после спектакля, поздним вечером, в такси. Я, Николай Пинигин, молодой наш режиссер, еще кто-то. И вдруг у меня вырвалось: «Ой, я же по этой улице еще на конке ездила!» У нас в машине тепло и музыка, и чьи-то голоса в радиотелефоне водителя. И он вдруг глянул на меня и хмыкнул. Мол, ну и веселая старушка, сочиняет...

— А тебе же приходится иногда всю эту фантастику вспоминать на разных встречах со зрителями, в интервью.

— Конечно.

— И ты видишь, как воспринимают.

— Слушают внимательно. А как представляют себе это — трудно сказать. Не знаю. Говорю, например, что пришла в Минский театр, когда он еще был, по сути, любительским кружком. Назывался «Первое товарищество белорусской драмы и комедии».

— Так и в энциклопедиях.

— Я знаю. А играли мы и в «Белорусской хатке» на Красной улице (она и теперь Красная) — в большом таком... бараке, по сути. И в клубе «Сокол» на Магазинной (теперь — Кирова). На площади Свободы был тогда Камерный театр, шли короткие пьесы, одноактовые. Нигде постоянных трупп не держали. А у нас была сцена своя — вот в этом здании, где теперь наш театр имени Янки Купалы. Были и «выездные» представления: на телеге ехали костюмы, декорации, а мы шли пешком — до поезда. А когда зимой выступали в «Интимном театре» — на теперешней улице Мясникова, — то клали сперва на сцену слепленный снежок. Начнет таять — соглашаемся играть. Если не таял — отказывались. Морозы были тогда лютые.

— Это когда?

— Все это до 21-го года.

— А «Интимный театр» — почему так назывался?

— Ой, не знаю. Может, потому, что пьесы там такие собирались ставить. А скорее всего, чтобы завлечь публику. Только интимного в теперешнем «театральном» смысле, по-моему, не было — никто не раздевался и так далее.

— Холодно было.

Иногда, когда она вдруг вспомнит, будто увидит перед собой что-то из давней своей жизни, ловишь себя на том, что как бы видишь это мысленно и сам.

С годами рассказанные ею случаи, подробности соединяются в моем воображении, сближаясь и в своем собственном пространстве, времени.

Там улица Кладбищенская, а сейчас — Платонова, и дом, где она родилась.

Там — и еще одно жилье, у Элиасберга, в доме на Красной. Оттуда мать, Христина Ивановна, водила ее купаться на Свислочь; купальня была отделена от ближайших дворов и домов свисавшими до самой воды густыми ивовыми ветвями. Владелица купальни Тромба брала то ли по три, то ли по пять копеек с человека. Саму ее увидеть не удавалось, но всегда казалось, что она тяжеловесная, как тумба, и важная, будто сидит на троне.

Там же, у Свислочи, стояло двухэтажное здание церковно-приходского училища, каменное снизу и деревянное вверх. Здесь учились соседские девочки, и однажды, оставшись во дворе одна, она тоже пошла в училище, открыла дверь в класс, сделала несколько шагов вперед, и учительница, строго посмотрев на нее, сказала: «Что ты, девочка? Тебе еще рано».

В доме Элиасберга жила еще семья отставного генерала Дураковского (серо-голубая шинель с красной подкладкой); его дочь, узнав, что любовник, офицер, венчается с другой на Соборной площади, встретила, торжественно одетая, молодых при выходе из собора и дала ему пощечину, потом сняла перчатку, скомкала и бросила в лицо, — говорили, что его разжаловали после этого: честь офицерская была оскорблена непоправимо — не вызывать ведь женщину на поединок.

Квартира на Красной была из трех комнат, одну они сдавали для оплаты своего жилья бывшей цирковой наезднице Ксении Андреевне Кашириной, осанистой брюнетке с высоким бюстом и жестким пучком волос на затылке. Она аккуратно получала от какого-то железнодорожного начальника содержание в двадцать пять рублей и часто громко, весело выкрикивала: «Хэля — опп!» Позже осталась без содержания, жила у них уже на полном пансионе и почти как член семьи... Проходил по улице продавец мороженого с большим ящиком на ремне через плечо, кричал протяжно: «Моро-о-оженое!» — и за ним, повторяя его крик, бежали мальчишки. Получившая денежный перевод Ксения Андреевна выходила и всем покупала по порции.

— Мама делала кутью на Рождество и говорила: «Стефочка, отнеси — ему же всю ночь стоять», — и я бежала с завернутой в полотенце миской к деревянной церкви Коломенского полка, недалеко от которой мерз на часах солдат. Одно время я пела в хоре этой церкви. А потом она сгорела. Пожар был страшный: пламя мгновенно превратило церковь в огненный скелет. Неподалеку, там где сейчас троллейбусное депо за площадью Победы, был тогда Конский базар, и там громко мычали коровы, телята... Отец прибежал с бумагой и карандашами, лихорадочно начал рисовать этот пожар и все говорил что-то о сожжении Рима, о Нероне — ужас!

В семье у нас очень любили Пасху. Мама накануне ходила в церковь, варила яйца, красила их в луковой шелухе. Отец несколько штук расписывал красками. Иногда он повторял заученные наизусть неизвестно чьи строки:

Христос воскрес, голубка дорогая,
Воистину воскрес спаситель наш родной.
С трехкратным чистым поцелуем
Святая мысль любовью скреплена.
И мир сознания ликует,
Каким страданием земля искуплена!

Наверное, лет четырех, тайно от всех, я ходила молиться в сторону кладбища возле Золотой горки. В конце темной аллеи притягивало и останавливало распятие. Я замирала перед ним с бьющимся от волнения и страха сердцем. И однажды увидела, что Христос мне кивнул. Я со всех ног бросилась домой, и мама долго не могла меня успокоить...

...Там же, в том времени — и житье-бытье у Лонгина, в доме возле пересечения Богадельной и Подгорной, сейчас это в квартале от главного входа на стадион «Динамо». Квартиру они занимали вверху, и было там нечто вроде мезонина или антресоли, они называли это «салькой».

— Когда приходил нищий, я взбегала наверх за кусочком сахара для него. Почему-то

часто получалось так, что или нищий был слишком нетерпелив, или слишком долго приходилось выпрашивать сахар у занятой на кухне мамы, но, когда спускалась, внизу уже никого не было, и я, сидя на ступеньках лестницы, могла не спеша съесть сахар сама...

Отсюда, из «сальки», меня привели как-то к бабушке Стефании, матери отца. Бабушка, суровая католичка, с трудом вынесла женитьбу сына на «мужичке», дочери скотницы у попа из-под Докшиц, православной. Меня назвали в честь бабушки, она смягчилась.

У бабушки я увидела иконы, непривычно расположенные, и впервые ночевала не дома. На следующий день, когда мы с отцом возвратились, мама в шутку приговаривала: «Нет, уже не моя ты теперь дочка», — и я плакала, как от настоящего горя.

Мама была статной, с длинной густой косой. В ее осанке чувствовалось достоинство, хотя была она малограмотной, в городе до замужества жила и работала в услужении у разных хозяев и, стесняясь своего слишком, как она думала, простонародного имени — Христина Ивановна Хилько, называла себя Лидией Васильевной, — и после женитьбы отец тоже звал ее Лидой. Она умерла сорока с лишним лет от болезни печени. Когда произошла революция, мама плакала: «Как же так можно — без царя, без Бога и без церкви? А что тогда?..»

В городе часто вспыхивали пожары. Летом, когда горело, взрослые разбирали заборы и бревна, чтобы огонь не перекинулся дальше, на соседние дома. Ей, девочке, все это виделось и страшным, и необыкновенно интересным. Теплыми ночами спали во дворе — в домах боялись поджогов: дежурили. Горели магазины, и они, дети, ели однажды почти жареную селедку из обгоревших бочек, а в другой раз — печеные яблоки с почерневших яблонь. А отец рассказывал о каком-то митинге у вокзала, только непонятно, когда это было: выступала женщина по фамилии Шабат; выстрел — и она упала, как подбитая птица, раскинув руки. Он хотел это тут же зарисовать, но пришлось прятаться от выстрелов...

До революции отец, Михаил Петрович, работал счетоводом в конторе старшего нотариуса Минска, в городской казенной палате, затем в коммерческой службе Либаво-Роменской железной дороги и одновременно учился живописи. До своей учебы в Московских свободных художественных мастерских в 1918—1920 годах, где среди его педагогов были Касаткин и Архипов, он начинал у себя в Минске самостоятельно, был знаком с известными тогда здесь художниками Кругером, Кудревичем, Бразером.

— Одно время он ходил учиться к художнице Пальмире Любомировне Мрачковской-Комоцкой. Ее собственный дом и другие, принадлежавшие ей дома, стояли там, где теперь улица Захарова выходит к площади Победы. Вечерами, когда отец занимался у Пальмиры Любомировны, мы с мамой, ожидая его, приходили туда; сквозь стекла большой веранды Мрачковской нам хорошо была видна висевшая на стене и ярко освещенная картина «Гибель «Титаника».

После революции Мрачковской, имевшей раньше немало земли под Минском, оставили нечто вроде крошечного «фольварка» возле Кальварии, тогдашнего пригорода. Папа приходил к ней и сюда, брал с собой меня — я помню, как ела с веток черешню, как бродили по двору, распуская хвосты, несколько оставшихся у хозяйки райских птиц — павлинов и как сидели у крыльца нищие, калеки, приходившие за помощью и служившие художнице «моделями». В 1941 году, когда Минск занимали немцы, дом ее загорелся, но она, уже преклонного возраста, осталась в нем со всеми картинами и кошками. «Просто не захотела выходить, спасаться», — объяснил отец.

Отец в молодости был гуляка, — я помню чей-то рассказ: его видели едущим на извозчике в сдвинутой на затылок шляпе и швыряющим налево и направо накупленные, видно, для нас с мамой бублики — широкий жест!.. Сам же он любил вспоминать, как в детстве нашел где-то горсть мелких медных монет, пробитых насквозь в середине — скорее всего, это цыганки делали из них себе мониста — и, замазав воском отверстия, покупал на эти медяки сласти и пирожки. Частенько можно было видеть отца с гитарой: он пел, играл. И куда-то вдруг исчезал. Мать удивлялась: «Только что тут вот был — уже пропал».

В старинном доме с куполами, что сейчас называется Домом работников искусств, в честь юбилея царской семьи Романовых, кроме прочих торжеств, были «архиерейские чтения». Отец купил билеты, и мы слушали «Тараса Бульбу», смотрели диапозитивы: я увидела панночку, горящего Тараса. Но стал бить страшный кашель, как при коклюше, и архиерей дал понять, что очень недоволен — отцу пришлось меня увести. А «театр» увидела впервые в саду «Ренессанс», возле реки: деревянное строение без стен, на сцене

какая-то тетка поет в красивой одежде, разноцветных лентах, с цветами. Отец сюда привел, но скоро и увел, — так ничего в тот раз и не поняла, а жаль — понравилось.

Там, где они жили, в центре, город казался очень большим и многоликим. Вокруг Соборной площади он был в основном каменный, кирпичный, засаженный пирамидальными тополями, такими же, как те, чьи верхушки еще и теперь видны со стадиона, за верхним краем южной трибуны.

— Здесь были газовые фонари, мощенные булыжником или брусчаткой улицы — «брукованки» и электро-театр «Эден». Повсюду были маленькие частные гостиницы: «Либава» и «Виктория», гранд-отель «Гарни» и «Париж», в зале которого в 1911 году впервые в Минске начала выступать белорусская театральная труппа Игната Буйницкого, и театр-варьете «Аквариум» с рестораном, где потом работали актеры Владислава Голубка... И были бесчисленные приватные фотографии, одна из которых, Бернштейна, красовалась на главной, Захарьевской улице — под названием «Рембрандт».

И закусовых — несть числа. «Попробуй не выпить, — говорил отец, — особенно четырнадцатого числа, в день получки, когда идешь с друзьями после службы, приподняв вверх кепи над козырьком, что означает «доволен начальством» (вместо скучного кепи блином, когда «недоволен»), — идешь, а на каждом углу то бараний бок, то поросенок «под холодное», то гусиная шейка или печенка...»

В минском же деревянном доме у вокзала, на Петроградской, их застала война 1914 года. В небе появлялись немецкие аэропланы. Служба отца эвакуировалась во Владимир, и они добирались туда около месяца в товарном вагоне — четыре семьи, живших в два «этажа».

— Когда вернулись в Минск, я стала учиться не в Мариинской гимназии, куда только успела поступить перед войной, а в «министерской», как ее называли. Здание стояло недалеко от городской тюрьмы, ниже ее, и на всю жизнь запомнились кошмарные фамилии владельцев частной лечебницы на противоположной стороне улицы: Гробовицкий и Абдзерский... В гимназии удалось закончить только четыре класса: революция. (А до того — трехклассное церковно-приходское училище у Свислочи, куда так хотелось ходить вместе с подружками. Нас, учениц, однажды построили на Соборной площади, на возвышении, где теперь сквер на площади Свободы, — и я видела оттуда приезд царя в дом губернатора).

Я знала, что Оля Вашкевич уже принята в театр, — в статистики, правда, но там пели и, самое главное, — танцевали, а все остальное в сравнении с этим уже почти не существовало. Раньше подруга забежит вечером, я выхожу ее проводить, не одеваясь, только украдкой возьму туфли, чтобы мама не видела, — и забывалось все, до ночи: был только танцевальный зал и объяснения учителя...

Дома ей сшили плащ, отец по ее просьбе нанес на подол масляными красками белорусский орнамент. Сама она сшила себе платье из холстины, украсив его рисунком: три каштановых листа, один большой, два поменьше, — листья накладывала на холстину и обводила карандашом, потом закрасила. Была уже даже своя косметика: щеки и губы натирали с Олей красной гофрированной бумагой, тайно обрывая ее с украшенных этой бумагой портретов вождей.

Они танцевали мазурку Венявского...

Может быть, именно благодаря почти помешательству на этом своем «танцевании», она в конце концов и оказалась в группе статистов Первого товарищества белорусской драмы и комедии, которым руководил Флориан Жданович и которое вскоре было преобразовано в Первый Белорусский государственный театр. С горячностью соглашалась на любой выход, в любом костюме. В «Цыганке Азе» надевала мужскую одежду, рисовала усы, была абсолютно уверена, что похожа на молодого цыгана больше, чем кто-нибудь из парней массовки.

Дали со временем и роль — привидение замученной из ревности боярином Бутрым молодой жены — но только на один вечер: заменить заболевшую актрису в спектакле Франтишка Алехновича «Бутрым Немира», где сам он играл главную роль.

— В массовках я чувствовала себя хорошо, уверенно. А тут мы, «привидения» — погубленный ревнивцем соперник и я, со скрипом поднятые на площадке над сценой, оставались как бы наедине со зрительным залом. Я увидела сквозь яркий свет рампы бледные пятна лиц в партере, сказала первую фразу своего коротенького монолога — и замолчала. Ни актеры, ни суфлер не помогли. Речь отнялась. С грехом пополам как-то двинул действие дальше опытный уже артист Антось Жданович, брат Флориана Павловича.

А первая роль, уже именно моя, а не заболевшей актрисы, была роль Химки в спектакле по пьесе В. Голубка «Ганка». Меня спросили: «Ну хоть одну фразу ты сможешь сказать?» — «Конечно!» — ответила я. Надо было выйти на сцену в нужный момент и объявить: «Ганка в колодце утопилась». Я вышла и сказала: «Химка в колодце утопилась». Грохнул смех, я в ужасе умчалась за кулисы...

Самое странное произошло потом. Группу театральной молодежи правительство республики решило послать в Москву для учебы, на несколько лет, открыв там Белорусскую драматическую студию. В справочнике 1926 года «Вся Москва в кармане», в разделе «Художественные вузы» можно было прочитать: «Белорусский государственный институт театрального искусства. Арбат, 51, кв. 33, тел. 5-04-63, 2-86-61. Подготовка квалифицированных работников драматического искусства для сцены Белорусского Гос. театра. Ректор — Лежневич А. Ф.»

В первый набор попала и я. Весной мне наконец исполнилось шестнадцать лет — и я ехала в совсем другую жизнь. Мир изменился. Я еще не знала слов Шекспира: «Весь мир — театр». Зато не сомневалась, что театр — это весь мир, что жить можно только театром.

216

9

— Ах, какие пирожки были когда-то в Витебске у Гитэлэ! Мы брали только у нее — дешевые и оч-чень, оч-чень вкусные! А я была там, в Витебске, звездой, — да-да, а что ты думаешь?! Конечно, сама я этого не знала так, как теперь, но... Смотри, я же тогда, во второй половине двадцатых годов, играла и в «Вакханках», и в «Сне в летнюю ночь», и в «Эросе и Психее». И была героиня по амплуа в полном смысле, да. Двадцать один мне исполнился, а ты погляди какие роли! Агава, Титания... И Психея. Какие авторы, как говорят теперь, — Эврипид, Шекспир, — ну что ты! Вот молодым что играть. А что у нас они сейчас играют? Саших себя?

— А это называется: современников.

— Да-а, «современников»... разных там блатных и алкоголиков.

— Сейчас уже — с заборными словечками, — такая, мол, эстетика распада: вот мы с вас белые перчатки сдернем, ткнем в настоящее.

— Я замечала, этот дурной запах — он многим нравится, будто истосковались по запрещенной раньше гадости. И пишут это, ставят и играют со вкусом, как запрещавшуюся правду — наиважнейшую. Я понимаю, много подсмотрено тут верно, точно. Но только... нет значительности, понимаешь?

10

— У нас ведь в молодости какие были учителя! Вот мой педагог, Валентин Сергеевич Смышляев — он из второго МХАТа, преподавал у нас, в студии в Москве, — так он же действительно был новатор. Человек, художник, который хочет — и умеет! — новое делать после всего, что уже взял от классики. Был он «левым», полушутя-полусерьезно провозглашал: «Борода — на лбу!» Любил смещения, сдвиги в реалистически-достоверном и привычном. Не всегда все шло гладко. Ставил в главном МХАТе «Прометей». Художник, то ли Рындин, то ли Вильямс, не без его, Смышляева, подсказки сделал грандиозные декорации, и Прометей должен был часто находиться где-то высоко вверх — он ведь, по эсхиливскому тексту, прикован к скале на большой высоте. И что ты думаешь? Дошло дело до генеральной репетиции уже — и тут Качалов, он был Прометей, сказал: «Ну, нет! Не могу я там лазать». И все — спектакль не состоялся...

— Ты часто вспоминаешь своих первых учителей?

— Помню всегда Гиацинтову Софью Владимировну...

— В архиве, в Минске, видел справку: ей в качестве месячной платы выдан мешок картошки за преподавание в вашей тогдашней студии. Двадцатые годы.

— Да, так вот и было тогда, так и жили... Недавно, когда я была в Москве, провела на Новодевичьем могилах Смышляева и Афонина Бориса Макаровича, они там за одной оградкой... Учителями были само время, атмосфера тогдашнего искусства. Многое пробовалось впервые, новаторство было как бы «первичнее». Например, ставил Мейерхольд

«Даму с камелиями», специально для Зинаиды Райх: мизансцены как по геометрии выверены, а во всю сцену — зеркало. Общий сценический образ на всю жизнь остался.

— Ты говоришь, была в Москве,— когда в последний раз?

— Ну, здравствуйте! В начале лета на Мосфильм же ездила, на пробы в картине об Антоне Макаренко. Роль его матери... И еще была годовщина со дня смерти Клавдии Шульженко — я познакомилась с ее родственниками.

...50-е годы, лето, театр купаловцев на гастролях в Николаеве. Поздний вечер, спектакль окончен — и домой, неспеша по уже темной, теплой южной улице, под акациями, а возле открытых дверей белого одноэтажного здания какого-то клуба или филармонии плотной толпой стоят люди, и изнутри, где яркий свет,— тот женский голос, те интонации, что слышал с малых лет из комнаты, где патефон под абажуром на столе, родные голоса и смех, и папиросный дым плывет в раскрытое окно, в густую синеву вечернего двора.

— А ты Шульженко знала?

— Нет.

— А кого помнишь из довоенных и послевоенных знаменитостей? Лещенко, Вадим Козин, Утесов?

— Нет, нет.

— Вертинский?

— О, да! Я его видела и слышала. «Живьем». В пятидесятых он как-то приехал в Минск. Оперный театр набит битком. Я — на балконе, все стоим. Но вижу, слышу. Пел много «на бис», щедро очень. Ну, очень хорошо. Хороший дядя...

И она еще не успевает договорить, как я уже вижу, будто при повторе, старые, даже не черно-белые, а бурые кадры военной кинохроники из недавнего фильма об Александре Вертинском: танки идут мимо горящих изб, в дыму, огонь взметнулся над рухнувшими прогоревшими стропилами и бревнами — и из иного, выдуманного мира — нельзя, казалось бы, представить более далекого, несовместимого, ненужного,— слышен несильный голос и слова:

В бананово-лимонном Сингапуре, в буре,
Когда поет и плачет океан...

— и этот голос, слова и мелодия, их откровенно манерная, томная игра не сразу вызывают улыбку, плывут где-то за танками, пожарами — в одно и то же время, все в той же страшной многоликой жизни... Но это ушло, и уже в фильме о другой, самой близкой тебе актерской жизни пожилая женщина в неярком голубом свитере, с лицом и голосом, знакомым с тех пор, как ты себя помнишь, сидя возле сцены после репетиции, говорит, будто себе самой: «Конечно, столько вокруг тяжкого, а мы здесь занимаемся всем этим, играем во что-то... Но если это существует, есть, значит, это тоже жизнь, кому-то нужное...» Но и это ушло, и теперь та же самая женщина, но как будто другая, сидит напротив меня за столом, дома, и перебирает фотоснимки и конверты, рассказывая, как пел Вертинский...

— А Лемешев?

— Козловский. Его не только в спектаклях, в жизни помню. Довоенное время, мы молодые, дача работников искусств — РАБИС — в Крыму, в Мисхоре, напротив знаменитой каменной русалки в воде. Дом отдыха «Маву-Кенар» — что означало? — трехэтажный, деревянный. Ну вот, играли с Козловским в волейбол. Он подарил медальон со своей фотокарточкой. Очень берег голос, в импровизированных концертах, «капустниках» не пел. Но вместе с Барсовой заплывал далеко-далеко, утром или вечером, а оттуда они вдвоем пели: «Цветок душистых прерий...» — из оперетты «Роз-Мари». На все побережье. А у меня косы были, и я была затянута в узкий черный костюмчик. Обьедались белым хлебом и борщами...

— Косы и черный костюмчик — наверное, было на что посмотреть.

— Ого! Тогда был шоколад дорогой — «Золотой ярлык». И как-то там, в Мисхоре, мы идем, гуляем, а какой-то грузин поднялся со скамейки, подкрался этак мягким шагом — и поцелуй мне воздушный изображает, щелкнул пальцами: «Ух ты, мой за-а-ла-той ярлык»

— Не усидел.

— А до революции какой шоколад был! И сейчас могу назвать все его сорта. Пожалуйста: «Миньон», «Жорж Борман», «Сиу и К°», «Тоблер», «Эйнем». А книжки для нас, детей! У нашей знакомой, Кунус Эмилии Ивановны, чердак был завален ими — и мы рылись там, как охотники. Какие детективы! Ужас. А какие сыщики! Нат Пинкертон, Ник Картер, Шерлок Холмс. И все — в дешевых изданиях, доступно. Папа вслух читал дома

«Тайну метрополитена» и еще что-то жуткое, «Пещеру Лейхтвейса», кажется. Потом выяснилось, что ее студенты-литераторы писали.

— А кино тогдашнее?

— Немое. Смотрела Пата и Паташона, комиков. Смотрела и Патти, мрачного толстяка, и миниатюрного Макса Линдера, пузатенького Глупышкина, Чаплина и Бестера Китона... Если Чаплин — это маска, навсегда отработанные движения, быстрота и верткость, то Китон — малоподвижность, никакой улыбки никогда, застывшее лицо — контраст для Чаплина. Мне он нравился не меньше. В «Нашем гостеприимстве» ходил по кругу конь унылый, что-то тянул за собой, а при помощи разных передач поднимался лифт. Конь стал, лифт застрял. Китон взял масленку железнодорожника и подливал из нее машинное масло на копыта. Хохот стоял громовой. Кино!..

— А фильмы ужасов?

— Еще какие! Отец любил бильярд безумно. Мать выпроваживала нас гулять. Он шел в кино поближе к бильярдной, в «Иллюзион» у теперешней Центральной площади, давал на чай швейцару, важному, с бородой, как у Толстого, с золотыми пуговицами, в фуражке, упраскивал контролера и меня пропускали в зал, а он — играть. Так я, малышкой, посмотрела «Человека-зверя». Он был косматый, страшный, с черной маской на лице, ночью лез в окно и похищал свою же дочь, маленькую девочку, наложив ей, спящей, на лицо салфетку с хлороформом. Нет, это было невозможно выдержать, я чуть не закричала, а ночью проснулась не на диване, а на полу, на ковре, и плакала от страха, — мама не понимала, что это со мной, отец молчал, конечно...

218

15

— Вот видишь, как сейчас все дорожает. Но и за огромные деньги можно лишь кое-что купить. А при нэпе можно было купить абсолютно все. Но за какие фантастические суммы! Мы, студийцы, мстили нэпманам: идем мимо витрины, за которой ветчину нарезают тонкими розовыми ломтиками, заходим и, без гроша в кармане, бедно одетые, у прилавка небрежно бросаем: «Нарежьте». Режут. Идем платить в кассу и теряемся в толпе. Или в магазине «Мюр и Мерилиз» — французские духи, пудра: «Выпишите». — «Что?» — «И то, и другое». И опять теряемся у кассы. Так, мол, вам и надо, нэпманы, нарежьте, выпишывайте! Эх, молодость!

Дурачились напропалую. В трамваях давка, невозможно влезть, а Костя Санников говорит: «Если залезем, я поеду сидя». — «Как?!» — «Увидите». Каким-то чудом втискиваемся. И вдруг слышим: «Вот сюда его, сюда!..» Смотрим — а Костя сидит. Глаза закрыты, голова откинута. Это он обморок сыграл.

Но и учились. Жадно, с удовольствием. Не все потом пошли на сцену. А мы вот остались в театре... Я особенно любила танцы, занятия по пластике. Преподавала нам пластику Людмила Николаевна Алексеева. Меня, Александра Ильинского и Константина Санникова считала своими лучшими учениками. Мы втроем ходили заниматься к ней еще и в студию на Остоженке, недалеко от храма Христа Спасителя, тогда еще не взорванного... Я там однажды, на паперти стоя, слушала певшего в храме Шаляпина — войти внутрь нечего и думать было, такая масса народа...

А Людмила Николаевна брала нас иногда на свои занятия с актерами второго МХАТа — я видела среди них Серафиму Бирман — и показывала им нас, свои «модели», с движениями как на древнегреческой вазе. А я все боялась, что у меня слишком полные и красные ноги. — это же надо: в шестнадцать лет вбить себе такое в голову, — и на ночь подставляла под ноги высокую корзину, чтобы к ним кровь не прилиwała. С ума сойти. Тут же, конечно, засыпала и просыпалась, забыв об этой корзине... Да, так Людмила Николаевна меня очень любила, считала одаренной по части пластики, ритмики, умения двигаться. Не раз предлагала взять насовсем тетрадку с ее собственными рисунками и говорила: «Ты всегда сможешь иметь кусок хлеба, если будешь это преподавать...»

16

— Это трудно объяснить сейчас, но мне кажется, что помню до сих пор так ярко многое из того времени — а ты подумай только: аж из двадцатых! — помню так потому, что многое иначе совсем было, чем теперь. Нет, я понимаю, это вечный стариковский рефрен: а вот в наше время — и в таком духе. Но ведь действительно...

— Толстой считал, что с возрастом четче, детальнее, ярче видится в памяти как раз самое далекое уже от человека, его молодость, детство,— степень ясности возрастает именно в таком порядке.

— Может быть. Но я хочу сказать, что тогда, в 20-е годы, наша учеба и первые самостоятельные шаги — все это совпало с большущей такой... ну, интенсивностью и насыщенностью, динамичностью жизни самого искусства.

— Этого сейчас нет?

— Думаю, нет. Ты же представь, что творилось: Камерный театр Таирова, бесчисленные студии, Мейерхольд, Вахтангов... Еврейских было два театра. Камерный театр Грановского с Михозлсом (его в сорок восьмом по указанию Сталина в Минске убили). В том театре еще Зускин был и Гертнер, тоже известные. Этот театр «опекал» еврейскую секцию нашей студии. А второй назывался «Габима», играли они на древнееврейском, там Вахтангов поставил спектакль «Гадивук» (злой дух), и о нем шумела тогда вся Москва. Была еще мастерская Фарегера, где ставили «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского, театр-студия «Самперанте». Так вот, то время: я, девчонка, студентка, видела игру таких актеров! Алиса Коонен, Еланская, Гиацинтова, Качалов...

— Качалов имел какое-нибудь отношение к Беларуси?

— Не знаю, но это же легко можно установить по литературе о нем. А почему ты спрашиваешь?

— У Бунина в «Чистом понедельник» говорится о «капустнике» актеров Художественного театра. И Бунин пишет, что у Качалова свисает на лоб «клок его белорусских волос».

— Интересно... Да, так дальше: Москвин, Леонидов, Церетели, Румнев, Станиславский...

— И Немирович-Данченко, конечно.

— Тебе уже смешно. Но пусть,— это потом все затаскалось в бесконечных упоминаниях, соединениях имен, а мы же видели не только имена написанные, а живых людей и то, что ими делалось — все это было перед глазами. Да что там говорить! Та же Айседора Дункан. Или студия знаменитого тогда Касьяна Голейзовского. О костюмах его танцовщиц шутили «голей Зовского — нет». Но мастерство, пластика были редкие, раскованность, естественность. Я видела их балет-феерию «Иосиф Прекрасный».

— А Михаила Чехова ты видела на сцене?

— Да, Михаила Александровича видела — и не раз. И в роли Мальволио из «Двенадцатой ночи», и Хлестакова, и Гамлета, и Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого. И нигде нельзя было узнать, так непохож был на себя в новой роли. Только голос выдавал его. Особенно поразил меня его Хлестаков. Ведь было всегда так: он элегантен, фат, самодоволен. У Чехова же во МХАТе он оказался сморчком. Мозгляк, ничтожество абсолютное. И внешне, и внутренне.

— Почему же тогда все перед ним пластаются?

— Потому что — столичная шутка, потому что — ревизор. Потому что ревизор все равно должен быть когда-то, рано или поздно, так почему это не он, сейчас? Тем более, в этом маленьком провинциальном городишке, ленивом и пугливом, сытом, где постоянный двор или гостиница с трактиром потерты и замаслены. И декорации такие были: замаслено и в жирных пятнах все, жир проступает и точно стекает с занавеса. А Чехов, как актер, думал — самостоятельно и глубоко. Однажды то ли награждали, то ли отмечали какую-то его дату. Он выходит — орация. И тогда он говорит: «Я принимаю эти аплодисменты как ответ на ту любовь, которую я посылаю в зрительный зал с каждой своей ролью». Это я хорошо запомнила. Он просто заворачивал. Такая сила была...

— Расскажи еще о Москве двадцатых, о вашей белорусской студии.

— Еще? Но получается как-то без последовательности, то об одном, то о другом...

— Ничего, пусть. Вспоминается ведь тоже так, не по порядку.

— А иначе я и не могла бы рассказать. Да и вообще с порядком у меня, ты знаешь, далеко не все в порядке... Подумай, мы ведь были совсем зеленые, молоденькие! Мне шестнадцать исполнилось, когда я поехала в Москву. Весь, с позволения сказать, творческий опыт — театральная массовка, хор, танцы. Все — полулюбительское. Чуть больше практики было, пожалуй, только у наших Ильинских, старшего Николая и младшего Александра. Они уже выступали на сцене: Лапоть-старший и Лапоть-младший... А Ирине Жданович вообще пришлось возвращаться домой — и не из-за неспособости, нет. Сказали, что ей еще надо подрасти, такая она была маленькая, миниатюрная,— и она уехала

в Минск, стала играть в ролях трагедии в театре, где ее отец был художественным руководителем. Мне повезло, я была довольно высокой; длинные косы, шатенка... А так называемый житейский опыт — что мы знали, что видели до Москвы?

Приехали мы из Минска в ноябре двадцать первого, то ли седьмого числа, то ли восьмого — праздник, по-моему, был. Утро. Пустынно, тихо — странно. Вещи едут на подводе, а мы идем пешком. По Тверской, потом Камергерским переулком (это проезд Художественного театра), потом выше, по Кузнецкому мосту, — и я еще там спросила кого-то из наших: «А где же река?» И дальше — на Лубянскую площадь и на Сретенку. Здесь, над кинотеатром «Уран», нас, человек четырнадцать или шестнадцать, и поселили на первое время. Преподаватели приходили сюда к нам, и занимались мы днем в фойе «Урана».

Второе наше жилье было в общежитии возле Красной площади; нам говорили, что где-то там был монетный двор Бориса Годунова. Жили в тесных комнатухах, ели ржаную муку, заваренную кипятком, и занимались в зале со сводчатым потолком, где висели гимнастические кольца и трапеция. Шутили: «Здесь веет духом Бориса Годунова», — и напоминали друг другу, что Годунов ночью на кольцах раскачивается. Вместе с нами жили студийцы нашей еврейской секции (они потом вернулись в Минск и основали городской еврейский театр), а рядом — эстонцы, они ходили на занятия в ГИТИС, и мы позже тоже стали туда ходить по вечерам — на Кисловку, если не ошибаюсь.

А потом жили на Арбате, в служебных помещениях кино «Арс», на девятом этаже, — лифт часто не работал, и мы бегали вверх наперегонки. Здесь мы сдавали свои выпускные спектакли «Царь Максимилиан» и «Сон в летнюю ночь»... Все свои годы я иногда еще слышу как музыку — ту, под которую чаще всего шли занятия по обожаемым мною пластике, ритмике, акробатике. Это было для меня... да, просто счастье, именно так — и я без усталости носилась под звуки музыки Черни, двенадцатых этюдов Скрябина и Шопена, «Мефисто-вальса» Листа. Учеба начиналась с утра, продолжалась днем, вечером шли на лекции в ГИТИС, а потом возвращались к себе и вваливались еще в зал «Арса» на последний сеанс. Так что с утра до ночи и жили только одним искусством, в буквальном смысле: есть-то почти нечего было.

— А ваши постановки, спектакли, — ты можешь сказать, на что прежде всего вы ориентировались? Влияние чего, кого испытывали больше?

— На «синтетический театр», скорее всего, ориентировал нас Смышляев; и на коллективизм.

— А самое сильное влияние того времени?

— Мейерхольд. Я думаю, да — его влияние было самым сильным. И не на нас одних. Мы же были просто увлечены его театром. Смотрели «Лес» и «Земля дыбом», «Даешь Европу!» и «Великодушного рогоносца», — и я еще помню в том спектакле молодых Игоря Ильинского и Бабанову в так называемой «прозодежде», то есть вроде бы в комбинезонах. Три раза смотрела. Мне нравилось лицедейство актерское — то, что в самой натуре актера; и еще фантазия, условность. Например, если клетка с канарейкой должна висеть — так только обозначение этого было, силуэтное изображение, и довольно!

Я и теперь всегда готова к этому, именно к игре, к условности. «Гарольда и Мод» делали ведь для малой сцены, режиссер придумал «игрушечные» декорации — от рояля до катафалка. Но в сцене, где я, Мод, принимаю дома мать Гарольда, нужна была посуда, и это как-то не вязалось с остальным; было бы скучно. Я сразу предложила: чашки — игрушечные тоже, детские. В спектакле много такого — и я не замечаю. Я понимаю свою героиню, чувствую, живу ею, а то, что интерьер, предметы «нереалистичны», мне не мешает, наоборот.

Да, так давай же возвратимся к нашей Московской студии. Дочь Мейерхольда преподавала биомеханику — была у нас даже такая дисциплина — изучали телодвижения, учились устойчивости, равновесию, тому, как падать, носить тяжести. Последний раз я слышала об Ирине Всеволодовне несколько лет назад, когда снималась в Ленинграде; кто-то говорил о ней, и я порадовалась, что еще жива, работает...

Тогда, в Москве двадцатых годов, в мире ее театров я была как щенок, которому все интересно, нравится.

Не только Мейерхольдом увлекались: камерный театр Таирова — вот был еще Олимп! Там все дышало каким-то сосредоточенным, напряженным художеством, притягивало изысканностью, изощренностью поисков. Там, например, говорили: «Ста-а-л-ль,

падая, звен-и-ит», — и как бы рисовали голосом и сталь, и звук падения, звон и вибрацию. Вся творческая элита тогдашней Москвы постоянно ходила в этот театр — художники, поэты, об актерах нечего и говорить. У Таирова долго в репертуаре было только западное. Это потом уже он взял «Оптимистическую трагедию» — вынужден был...

— Расскажи о какой-нибудь вашей постановке того времени. Чтобы можно было «увидеть» хоть фрагменты.

— Ну, вот, скажем, «Сон в летнюю ночь», по Шекспиру. Я — Титания, королева лесных фей и эльфов. Все мы — лесные духи и, значит, не можем же ходить, двигаться привычно, как люди, а должны быть в каком-то особенном ритмическом измерении. И на репетициях мы это ищем, импровизируем под музыку. Все в конце концов выливается в то, что наш руководитель, Смышляев, называет упражнением «зеркало»: по пьесе, Титания и Оберон часто ссорятся, и эльфы в каждой свите зеркально повторяют их движения.

Теперь представь наш лес: на сцене — кубы (это кусты), висят узкие полосы бумаги или материи (стволы деревьев), светит фонарь переливающимся светом: «лес живет своей волшебной жизнью», без людей. Люди входят — он замирает в остановившемся, однотонном свете. Дальше. Мы лежим на спине; лес оживает — мы поднимаем сначала пальцы, потом локти, руки: «трава растет»; потом переворачиваемся — смотри на меня! — и так вот получается полет. Целую пантомиму изобрели, построили. Одеты были в прозрачные плащи, трико — ну эльфы же... В конце же, как и у Шекспира, выходил Пэк и, обращаясь к публике, говорил:

Представьте, будто вы заснули,
И перед вами сны мелькнули...

И на его «мелькнули» мы все, невидимые, вскрикивали:

Вж-ж-и-ик!

А вот еще. Эльфы поют мне, Титании, колыбельную. Я должна уснуть, тогда Оберон выльет мне на глаза любовный напиток, и я влюблюсь в Основу, ткача с ослиной головой, — так у Шекспира. У нас придуманы были качели на фоне черного бархата, и, чтобы они не были видны, я ложилась на них, рукой и ногой закрывая веревки — получалось, что раскачиваюсь взад-вперед над землей в темноте. Оберон вспрыгивал на качели, тоже прикрывая их, и раскачивался вместе со мной, как в пустоте. Гром аплодисментов!..

— Похоже на такой наивный, цирковой «конструктивизм».

— В общем — да, близко к этому. Такое было тогда веяние. Кстати, мы в цирке своего «Царя Максимилиана» и сдавали, уже окончательно. А главное, самим нам очень нравилось. Все это связывалось с разного рода «революционностью» в искусстве, поисками новых форм, со смелым вызовом прежним, классическим принципам. Эх, молодость! Отрывками все вспоминается, не связно...

Первыми нашими учебными постановками были, по сути, этюды — эти студийные упражнения мы потом показывали и в Минске. А первые настоящие спектакли, наши выпускные, дипломные работы — это те же «Царь Максимилиан», народная драма, и «Сон в летнюю ночь».

Валентин Сергеевич Смышляев старался прививать нам не навыки игры в тсх или иных амплуа — скажем, героини, инжню — а всесторонность. Ставил, может, и непосильные для нас задачи, но так мы учились профессиональному отношению к делу: ты — всегда непосредственный соучастник происходящего на сцене, пусть и в массовке, пусть и при пустом зале. Может быть, он пытался что-то использовать у нас и из своего опыта театральных студий Пролеткульта, а не только второго МХАТа. С двадцать третьего года работал у нас уже не просто преподавателем, а художественным руководителем студии — это было назначение Белорусского наркомпроса и представительства БССР в Москве. Конечно, сделал он для нас немало, что и говорить. Мне особенно нравилось, что он старался развить наше воображение, готовность к импровизации, восприятию музыки, — сам он очень любил Скрябина, а дочь композитора Мария Александровна Скрябина, актриса второго МХАТа, часто приходила к нам на занятия. Приходил, бывало, и Павел Антонович Аренский, сын композитора — переводчик, специалист по Индостану.

Белорусский язык преподавал нам талантливый поэт, широко образованный человек Владимир Дубовка. А пение — Ирма Яунзем, исполнительница и собирательница народных песен; в двадцать третьем она уже стала заслуженной артисткой БССР, а лет через

десять — и РСФСР; она жила у нас в общежитии (Красная площадь, дом один) вместе с мужем, своим импрессарио. В двадцать четвертом, кажется, наша студия со спектаклем «Преисподняя» по пьесе Василя Шашалевича должна была ехать на фестиваль национальных театров в Париж, но почему-то не получилось и поехала одна Ирма Петровна.

Шекспировскую пьесу для второго выпускного спектакля, «Сон в летнюю ночь», перевел белорусский литератор, переводчик Юрий Павлович Гаврук.

— Недавно я слышал, что специалисты считают его перевод одним из лучших среди славянских переводов Шекспира.

— Вообще о людях, опекавших нас тогда, помогавших, учивших нас, вспоминается только хорошее. Танцы ставил балетмейстер из Большого театра Лащилин — Лев Александрович, если не ошибаюсь. (Он говорил обо мне: «Вот кого надо в балет!» И я думаю иногда, хоть тебе это и нескромным покажется, что если бы я пошла в балет, то большой балериной была бы — да, не улыбайся так). Спектакль «Преисподняя» ставил у нас Павел Павлович Пашков, а «Черт и баба» — Александр Александрович Гейрот из МХАТа второго. (Помню смешной случай. Он говорит: «Пусть баба потя-а-анется так лениво, как бы в раздумье». А наша Таня Бондарчик, она-то хорошо знала белорусских баб, заметила негромко: «Да никогда она не потя-а-анется так, это нашей бабе не подходит», — и правда, это же не купчиха Кустодиева.)

Как мы все, участники тех спектаклей, старались, выкладывались! И Вася Роговенко, и Степан Стельмах, Зиновий Великий, Евгений Корбуш... Из Минска сперва присылали нам мороженую сладкую картошку, леденцы с налипшим табаком, а потом перестали. Мы меняли ржаную муку на горячий, мягкий хлеб, а спустя какое-то время просто заваривали муку кипятком и пили. Ребятам из еврейской секции иногда присылали кое-что из Америки — ну, и нам что-то перепало, мы ведь все были в основном из Минска. Ах, да хватит об этом недоедании — в конце концов мы все это принимали и переносили безропотно, потому что жили все-таки главным.

18

— Это, может, сейчас кажется высокими словами — и тогда мы их не произносили, не думали о них, — но ведь действительно это было время национального возрождения, те двадцатые годы. Вот уж поистине — не хлебом единым. И какой был тогда настоящий хлеб? Не помню. Зато помню — и благодарна памяти за это — то живое, человеческое, будничное, что входило в понятие «возрождение». И как приходили к нам наши поэты, писатели — Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Тишка Гартный, председатель белорусского правительства Александр Григорьевич Червяков (он говорил: «Вы — наши орлята!»). Мы ведь были тогда первой молодой веточкой, что ли, протянувшейся из Беларуси сюда, в большое, и не только русское, но, по сути, и в европейское мировое искусство. И сделано это было не для нас одних, а для всей нашей национальной культуры, ее будущего: мы, напивавшись культурой, знаниями, развив какие-то свои задатки, способности, должны были потом отдать все это, вернувшись домой. Это — как саженцы, как рассада, которые потом высаживают на своей земле. И белорусские писатели, руководители республики, бывая в Москве, шли сюда, в общежитие, во дворы того квартала перед Красной площадью, где на стене висит мемориальная доска Радищева (он там когда-то жил) — и под арку в древних изразцах, в здание, под сводами которого был наш репетиционный и спортивный зал. Так странно сейчас это, удивительно — как все соединилось: дом Радищева, «Путешествие из Петербурга в Москву», Красная площадь двадцатых годов двадцатого века и наша белорусская речь под сводами, где по ночам на трапедии раскачивался «дух Бориса Годунова»... У меня тогда уже был этот маленький альбом — ты много раз его рассматривал, — и с ним я подходила к нашим гостям из Минска, чтобы они в нем оставили несколько слов... Вот Якуба Коласа стихотворение: «Стэфке Станюте на память», ноябрь 1923 года, — Господи, когда все это было, даже не верится...

Я пайду, міну лясчкі,
Што чарнеюць, нібы бровы —
Там пабачу я свет новы,
Там пацешу свае вочкі,
Там другія ўчую словы.

Стихотворение это вошло в собрание сочинений Коласа без малейших изменений, с теми же звездочками над последней строкой:

Адбягаюць мае далі,
Далі новыя відаць;
Падбівацца ножкі сталі —
Цяжка мне адной дыбаць!

Думаю, у Коласа к тому моменту, когда я к нему подошла в конце его встречи со студийцами, стихотворение уже было сочинено, уже как-то «дышало», в уме или где-то на бумаге, потому что он аккуратно, не спеша и без единой помарки, видишь, тут же написал его в моем альбоме, посвятив мне — подарив таким образом.

У нас были тогда и свои литераторы. Например, Куделька — он же известный потом белорусский поэт Михась Чарот, автор поэмы «Босые на пожарище», драмы «На Купала», — помню его с большой шевелюрой, в косоворотке; за него вышла тогда наша Аня Савич. И еще Василь Шашевский, он стал драматургом, и его пьесы позже ставились у нас в Витебске — «Америка» шла, кажется, в начале тридцатых.

А вот автограф Змитрока Бядули. Тоже ноябрь двадцать третьего. Смотри, какой пафос, как возвышенно — это было очень характерно для того времени и для такого случая: «На добрую память Стэфке Станюте. Долгий, долгий тернистый путь нашего возрождения. Много, много бойцов погибло на нем до времени, расширило дорогу Молодежи. Идете и Вы, молодая, полная энергии и сил, по этому славному пути. Стремитесь и Вы к безмежным высотам Прекрасного, к святому храму Искусства. Счастье лучится перед Вами. Васильки и солнце».

А это вот — Тишка Гартный, его стихотворение, тоже мне посвященное... В прошлом веке в домах были альбомы, куда гости вписывали шутки, эпиграммы, стихи, посвященные хозяйке... В мой альбом писали тоже — вот же осталось навсегда написанное там, у Красной площади. Когда в Москве бываю, всегда захожу во двор, где было общежитие, поклониться светлым местам молодости.

— А Мавзолея не было еще на площади, когда вас Колас навещал. Это же двадцать третий только шел.

— Да, не было, выходит... Была когда-то фотокарточка: Александр Иванович молоденький, кремлевский курсант из Минска, о котором я тогда и думать не могла как о своем втором муже, отце твоём, — стоит в карауле у только что построенного временного Мавзолея той лютой зимой — получается, что мы с ним были в Москве в одно время и, может, жили через площадь, Красную, друг от друга... Во всяком случае, в том январе, когда хоронили Ленина, это было так. На фотографии его лицо под надвинутым на лоб шлемом со звездой блестит от глицерина — им всем в карауле тогда смазывали лицо, чтобы не обморозились на сильном холоде и ветре... Боже мой, когда же это было — и как недавно, и как все связано — нет, будто срачено одно с другим! По крайней мере, так сегодня видится... Москва тех лет, а потом Витебск, где мы своим выпускным курсом начали новый, Второй Белорусский театр — и потом тридцатые: мы приезжаем на гастроли в Минск, играем, но и зачем-то ходим учиться вольтижировке в расквартированный в городе полк. И как в романе: он был кавалерийский офицер, она — артистка. Он нас учил. Мне помогал в седло садиться... У него конь был ярко-рыжий, Огонек, со светлой гривой. Он мимо дома нашего, где я жила во время гастролей у отца с мамой, по Ленинградской, — мимо окон наших проезжал к своим родителям, жившим недалеко от нас — и ехал неспеша так... гарцевал. Это уже когда мы познакомились.

— Я знаю.

Я знаю это, почти вижу — и другое тоже: как лет через десять с небольшим, глубокой осенью сорок четвертого, в вечерних сумерках она со своей свекровью, моей бабушкой, спиливает на дрова черный ствол груши («твердый, как камень») как раз там, на Ленинградской улице, где стоял ее сгоревший в войну дом, и тащит санки с чурбаками по чуть прикрывшему землю снегу.

Город в развалинах, жизнь начинается сначала, а тот, кто гарцевал тут перед окнами когда-то, он, бывший ее муж, скоро окажется в товарняке на запасных путях — и в дальний путь, до снежной Воркуты. А раньше она шила к военным парадом для его Огонька на передние ноги белые «чулки», и все его родные с улицы Толстого ходили смотреть, как он верхом после парада проезжал под Западным мостом в свой полк. Когда же он приезжал к родителям, Огонек стоял во дворе, привязанный у дома (скоба железная в черной

бревенчатой стене — вот для чего она была, — во время войны, в детстве, все никак не удавалось сообразить, зачем она там вбита). И если он со стариком-отцом сидел на крыльце, Огонек стоял спокойно, а если долго был в комнате, тот осторожно просовывал длинную голову со светлой челкой в открытое окно, прямо к столу... Отец отца, второй мой дед, Иван Антонович, когда-то был железнодорожным кондуктором, потом городовым и со значением иногда напоминал домашним о минском доме первого съезда РСДРП: «Я знал, что они там собираются — но молчал...» А Огонька отцу пришлось пристрелить, когда тот взбесился. Он убил его выстрелом в ухо.

19

— ...Да, а потом пришло время прощаться с Москвой. Три спектакля мы поставили и сыграли тут за годы своей учебы. Остальные должны были дорабатывать и оформлять уже в Витебске. Мы приехали туда в двадцать шестом году — это и было началом будущего Второго Белорусского драматического театра, впоследствии — академического имени Якуба Коласа. Чтобы довести до конца работу над незаконченными постановками, с нами в Витебск приехали и наши педагоги.

Как тебе сказать, это трудно определить словами, но вот теперь, из сегодняшнего своего дня глядя, мне кажется, что тогда стало появляться в нашей работе больше всего такого... производственно-патетического и плакатного, броского.

— Вот Заир Азгур, как скульптор, видит в своих воспоминаниях и форму всего этого, пишет, что стилем ваших тогдашних спектаклей (уже не студии, а самостоятельного театра), становилась театрализация жизни, этакая революционная карнавальность и что ты этот стиль выражала собой довольно ярко.

— Стил — да, он был такой, как само время... Мне еще повезло, я в Витебске до всего этого индустриального в репертуаре сыграла другое — мы уже говорили — и в «Вакханках» Еврипида, и в «Эросе и Психее» Юлиуса Жулавского (перевел с польского Янка Купала). Но все чаще нам уже предлагались поправки на классовое, пролетарское. Сначала в самой мягкой форме. Скажем, моя Психея должна была, по пьесе, существовать в разных эпохах. Сперва в древней Греции, в Аркадии, потом в Риме, «куртизанкой», в средневековом монастыре, героиней эпохи Возрождения, содержанкой у банкира — при капитализме, значит, потом — в темнице, откуда ее освобождает Эрос. Для того времени, для нас самих спектакль был интересный. Музыку написал композитор Крюков, нам она нравилась всем. Костюмы тоже были хорошие, прозрачные такие, мы в них «просвечивали» (с ближнего аэродрома приходили летчики с полевыми биноклями, чтоб уже разглядеть все до последнего). Ну вот, и после премьеры заходит к нам за кулисы, по-моему, секретарь обкома партии, улыбается доброй улыбкой, поздравляет, хвалит и добавляет, что было бы еще лучше, если бы после всех картин в спектакле шла еще одна: Психея уже в наше время — в цехе, в красной косынке передовой работницы... А через какое-то время пошли у нас уже «Рельсы гудят» Киришона, «Авангард» Катаева, «Кочегары» Гурского, главного театрального начальника республики. И почти ничего не помню, что делала в этих постановках. А в «Эросе и Психее», когда моей героине пели и читали стихи, говорили: «Вы подобны Солнцу!» — она отвечала: «Тогда играйте в Солнце!» И потом долго еще мы, актеры, уже расставшись с Витебском, помнили эти слова, сделали из них доброе пожелание друг другу, произнося их по-белорусски с измененным смыслом: «Гуляйце у сонцы!» — в солнечном, теплом свете, в радости.

— Мне кажется, тогда, в Витебске конца двадцатых — начала тридцатых годов вы не так уж долго «играли в солнце». В записях Татьяны Бондарчик — их недавно опубликовали — есть такое место: уезжают домой, в Москву, ваши педагоги, и Смышляев на прощальном застолье говорит: «В эту священную для меня минуту прощания с вами хочу напомнить: держитесь, берегите свой коллектив, берегите все, что получили...» — А дальше мне особенно нравится: «...осторожно принимайте новых людей, осторожно увольняйте...»

— Он знал, что говорил. Как чувствовал. Хотя и так уже, наверное, все было видно, мы только по молодости не все замечали. Заслонялось хорошим, тем, что радовало, удавалось. Удалось, например, сделать и раздать всем значок того нашего театра. Я думаю, эскиз нарисовал художник Леонид Никитин: щит рыцаря, на нем василек и буквы:

БДТ-2, — Белорусский драматический театр, второй; первый был в Минске, откуда нас и посылали в Москву. Почему щит? Это из «Царя Максимилиана» нашей первой студийной постановки, где рыцарь — Вася Роговенко — как бы символизировал защиту добра, справедливость. А василек — символ искусства... Да-да, это начало наше, юность и надежда, новая, белорусского театра. Пусть не удалось защитить нам многое и защититься — но все равно... Значок потом признали «нацдемовским». Со временем нас уже стали укорять «смышляевщиной», «мхатовщиной», имея в виду МХАТ-2, откуда были наши учителя. А взять тогдашнее «письмо коллектива театра», где он спешил откреститься от МХАТ-2 и обличал его буржуазные, видите ли, установки: «искусство для искусства», «актеры-жрецы» и все такое. Мол, это уже и к нам пришло, надо искоренять. В Москве, в журнале «Новый зритель», было напечатано спустя всего года два после нашего приезда в Витебск — ну ты подумай только! С каким стыдом я это переживала! А такие письма писались известно как; мы, актеры, не предали своих учителей, ни на каком собрании это «письмо» не обсуждали, не подписывали. Но не в этом дело. А в том, что «солнце» наше постепенно шло к закату. Да, как-то уходить стало все прежнее, когда искусством жилось, как дышалось, и только им одним.

И стали расходиться мы. Я не скажу, что именно по этой, по одной причине, но... Кто уехал в Минск, как я в начале тридцатых по своей воле, кто ушел куда-то в иные места. Словом, уже мы Витебском не дорожили, понимаешь? Не удивительно. Товарищеские суды начались в театре, собрания, где обязательно кого-то или что-то осуждали. А дальше?.. Аресты — боюсь ошибиться в именах — Николая Василевского, Василия Белинского, Зиновия Великого. Был репрессирован, ты знаешь, и Михась Чарот, уже как поэт, он всего около года, наверное, проучился у нас в студии. И драматург Франтишек Алехнович. Василь Сташевский. Иосиф Чайковский сошел с ума и покончил с собой. А Леонид Александрович Никитин, наш художник, оказался в лагерях, на строительстве Беломорско-Балтийского канала, вместе с женой Верой Робертовной, — я их хорошо знала. Теперь я понимаю, все это не только нас тогда коснулось, а было атмосферой времени. Краткий период национального культурного возрождения, какой-то свободы искусства вообще — кончался. Может быть, легче пришлось эстонцам, нашим бывшим соседям по московскому общежитию, но и то лишь на какое-то время. А в целом же понятно все, что тут гадать...

225

24

— Василий Роговенко вот...

— Да, это Вася... Василий Константинович. Видишь, какой он на портрете тут — это в спектакле нашей студии в Москве, в «Царе Максимилиане». Отец его таким по фотокарточке, мне кажется, писал: длинные волосы расчесаны на прямой пробор... лицо такое необычное, худое, и шея открытая, щит у груди. Он рыцаря играл... Да, молодость... И все так видится, будто было вчера. И море первый раз, в Крыму, когда у нас были каникулы, — ночами оно било в берег, под домиком, где мы сняли с Васей каморку. Гудело все от ветра, от ударов волн; радостный ужас, навсегда запомнилось...

— Ну, а потом?

— Потом мы вместе начинали в Витебске. Уже актеры! Приехали мы с Васей на свою первую витебскую квартиру, на улицу Ветреную. С телеги сгружают, вносят в дом наши ящики, сундук. Хозяйка смотрит с уважением на все это. А на меня — ну, в лучшем случае, с каким-то вынужденным терпением, что ли — такая я была в ее глазах девчонка неказистая, наверное. А как узнала, что я буду играть Психею, чуть не всплеснула руками: «Вы — Психея? К нам приезжал театр, и у меня жила артистка. Ну, слушайте, так это же Психея!» — и показывает руками объем бюста и остальные габариты. — «Вот. А вы?» Когда мы открыли ящики, хозяйке стало еще хуже. «Так где же ваш гардероб, а? Только книги?» Да, только книги, но какие! Мы из Москвы везли их, покупали на все свои смешные деньги. В богатых золоченых переплетах — ну, как картины в дорогих рамах, — и Шекспир, и Байрон, и Гете, и Шелли у меня были; кажется, все — издания Брокгауза и Ефрона. И книги на немецком с иллюстрациями о художниках, старых мастерах — Микеланджело, Тициане, Караваджо, Леонардо, Рафаэле, Рембрандте; а на русском, с цветными рисунками — великолепная «История костюма» Готенрота, редкость. Все это я потом перевезла в Минск, и все это пропало, сгорело в войну...

Вообще колорит нашей тогдашней витебской жизни — это тоже что-то особенное,

уникальное. Кривые домики и улицы горбатые, лавочки, магазины... Вот у Шагала это все. Мне с давних пор его картина помнится: на фоне такой улочки, кажется, вечером — она и он. Он идет, а она летит над ним, над домиками. От счастья — так я понимала это... А вывески какие были! «Еминны гандаль». Ну как ты думаешь, что это?

— Гандаль — торговля по-белорусски...

— А «еминны» — от слова «ем», то, что можно есть. И какой это был язык? Еврейский, белорусский? Никто не скажет. Но так было написано, клянусь! Хозяйка звала нас пить чай: «Стефани Михайловна, товарищ Станюта, идите пиче цай!» А в глубине кварталов дворы переходили один в другой, и, чтобы заказчики знали, куда идти, была вывеска: «Портной Вайпрунес живот позади». Значит, портной этот «живет позади» в дальнем дворе, сзади. И наши ребята, актеры — Александр Ильинский, Коля Мицкевич — иногда вечером незаметно меняли вывески местами: булочника — на место сапожника или что-нибудь другое в этом роде. Весело было. На гастролях в Витебске Виктор Манаев спросил у... ну, руководителя города, скажем так, почему в городе нет музея Марка Шагала. А тот: что же Шагал, когда приезжал недавно в Москву, не заехал в Витебск? Он же всегда говорил, что очень любит этот город, обязан ему очень многим в творчестве. А тут, мол, боюсь разрушить давние впечатления. Пусть бы тогда картину подарил любимому городу, это бы ничего не разрушило... Да... (Долгая пауза).

— О чем ты сейчас думаешь? О нехорошем?

— И вот смотри, какая жизнь была потом у него, у Васи, как она была переломана... В театре нашем, в Витебске, парторгом был одно время Гитгарц, дирижер. Ну, начались тридцатые. Поступила команда: находить антисемитов. Гитгарц сперва ответил: тут их нет. Ему: как нет? Вы что же себе думаете? И он понял. А Вася любил шумно шутить, рассказывать анекдоты... С театром ему пришлось расстаться. Долгое время был без работы; да и наша с ним жизнь к тому времени расстроилась, — по другим, своим причинам, конечно... А потом он, будучи в Минске, попал с какой-то компанией на пирушку за городом и что-то, кажется, выкрикнул возле дачи партийного начальства. И тринадцать лет провел в лагерях, в Магаданском крае. Конечно, не Вадим Козин, не Лидия Русланова, что тоже были в тех краях... но тоже, как мог, «выступал». Рассказывал, что выжил и не сошел с ума только потому, что в шута превратился. Потешал заключенных и начальство комикованием, разными шуточками, сценками. Словом, изображал. И одна женщина была там с ним, москвичка. Сдружились, сблизились. И вместе ехали назад, освободившись. Казалось им, что навеки будут сохранять то, что у них было, даже в разных городах живя... Москва. Ей выходить. Простились. А он еще и в тамбур за ней пошел и выглянул. Ее встречали. Он по одежде и по лицам понял, что это люди совсем из другой, из верхней чиновной жизни, с которой она было сорвалась вниз. Но, главное, как она посмотрела на него, оглянувшись: абсолютно другая женщина уже была. Глянула, как будто закрывала перед носом дверь.

— Я вспомнил теперь, он это как-то рассказывал. Но кратко, в двух словах.

— И главное даже еще не в этом. Прошло несколько лет. Ну, он в конце концов устроился опять в театре, в Витебске. Притерся к жизни. Имел семью, детей. Работал. Стал забывать, что было. И вот однажды... Что, я тебе об этом разве не рассказывала?

— О чем?

— Однажды его чуть ли не вынимают из петли — уже близко к этому было. А почему? Его вызвали и вручили бумажку: реабилитирован, нет состава преступления. Понимаешь? Нет — значит, и не было. Никогда! И печать, герб там или что, — заверяют все это. Тогда вот до него дошло: ему документом подтверждают, что жизнь ему сломали ни за что. Да, ни за что — и на вот, мол, теперь, носи, если так хочется, с собой в кармане документальное свидетельство об этом. А хочешь — в рамочку на стенку. И он чуть не повесился...

Москва, поздняя осень. В конце короткого, будто сорванного ветром дня, — затишье, и возле памятника Пушкину, в густеющих, тяжелых сумерках, среди сидящих на скамейках — разговор.

Кто-то молодой, негромко и мечтательно, словно про себя, соседу: «Нет, люди

искусства — они особенные, понимаете? Особенности, да... Они совсем другие. И живут иначе, не так, как все...» И в голосе такая жажда если не быть когда-нибудь, то хотя бы вообразить себя сейчас в числе этих людей, одним из них. Хотя бы так побыть в их мире.

«Люди искусства, они особенные. И живут не так, как все...»

В квартире первых послевоенных лет под сводчатыми потолками дома, принадлежавшего некогда коллегииуму иезуитов, вместе с запахами керосина и непросыхающей сырости, всегда был и другой запах, который теперь можно выделить как смешанный запах скипидара, масляных красок и свежих древесных планок для подрамников.

Так пахла работа деда, художника...

...Раньше о дедке почти не думалось. Он отделялся от всего привычного и постоянного очень редко. С годами, может быть, чаще и заметнее, но каждый раз по-прежнему только на миг.

В том подчас незаметном и каком-то сторонящемся его присутствию в большой семье, где он, дед, был единственным мужчиной, сейчас видится не только стариковски-скромная привычка не докучать собой, но тяга почувствовать себя не то чтобы уединенно, а хотя бы отдельно среди запутанного, тесного, из хлама собранного быта первых послевоенных лет с чужими ржавыми кроватями из развалин, железной печкой, ее изломанно изогнутым жестяным хоботом, протянутым в окно, и с лампочкой на длинном шнуре, где картонка заменяла абажур.

Пожалуй, деду часто-таки удавалось оставаться одному, думаю я сейчас, и вижу, как в тускло-желтом свете вечеров, среди законченных к очередному празднику портретов Маркса, Энгельса, их продолжателей («Заказ! Работа!») — дед долго, целыми часами осторожно отмеряет и ножовкой пилит планки и рейки для новых подрамников, переставляет с места на место возле стен фанерные куски, шкрябая по полу, или напаяв на себя какой-то страшный балахон из заскорузлого брезента, один в осенней темени двора упрямо водит ноющей пилой по безнадежно толстому намокшему бревну, считая, что ему вполне светло и от окошка за спиной... И как по утрам, в широченных штанах на подтяжках, он стоит над электрической плиткой и жарит нам с Володей, своим сыном от второго брака, тонко нарезанные ломти хлеба, растопив в сковородке крохотный кусочек сала и прижимая ножом хлеб, чтобы он лучше пропитался.

Бывало, вкусный теплый этот запах мы вдыхали, не успев как следует проснуться. От близости знакомого удовольствия, от глупой своей, дерзкой радости и бодрости, что требовали выхода, и неизвестно от чего еще, мы сразу начинали приставать к деду, насмешничать, даже мешать. Дед злился, быстро накаляясь, кричал с нервным азартом в голосе, с готовностью к скандалу: «А-а! графы встали к гренадам! Что, уже заягло? Уже свербит, чешутся руки! Да, бурсаки?..»

Мы боялись его весело и с удовольствием. Но какая-то упрямая и непонятная сила толкала нас к вечным ссорам с дедом. Мы его дразнили, хохотали над его привычками, словечками, одеждой. Тут была дурь, мальчишечья бездумная жестокость, что-то еще. А дед так яростно бросался в эти ссоры, так едко, ядовито — главное, на равных! — отвечал, будто лишь ждал их в той своей отдельной жизни, когда молча копался в коридорном хламе, стоял у подоконника, выписывая буквы вывесок, «досок почета», или сидел с какой-нибудь из старых книг.

Дома были деревянные кегли, купленные дедом в надежде приучить нас к хорошим играм; его высокий тонконогий мольберт, который мы дергали, пока не сваливали, привязанным к ножке ремнем, по-партизански лежа под кроватями; и диковинный дедов музыкальный инструмент, цитра, вызывавшая смех своим названием. За стенами же дома оставалось все то, что ждало нас на следующий день: пущенные нами под откос вагонетки разбиравших руины пленных немцев, зависание вместе с ними на тросах, которыми они расшатывали обгоревшие кирпичные стены и дымоходы и бесконечные, с утра и до темноты, осадные обстрелы камнями двухэтажного здания детдома, чьих обитателей мы редко когда видели, но всегда боялись из-за их коварства и жестокости.

Но сумерки сгущались за окном, ярче светила лампа, покойное тепло приятно чувствовалось в теле, и, сдавшись, дед впускал нас в свой невидимо очерченный

круг уединения, где перелистывалась книга из одних рисунков, притягивавших, как магнит.

— Кто рисовал, а?

Недовольно хмыкнув, дед бормотал:

— Доре, Гюстав Доре. Это Моисей... Каин и Авель... Ноев ковчег.

— А кто вот это? Разрывает льву пасть.

— Самсон.

— Он разорвал?

— Это Самсон! Сильнее его не было.

— Ну, а потом? Листни, листни еще.

Дед снова останавливался на Самсоне:

— Ночью, один, унес ворота города.

— А здесь? Она отрезала его волосы?

— Он спал! Вся его сила была в длинных волосах, до плеч...

— Что, он заваливает сам себя?

Самсон, хотя и с коротко обрезанными волосами, раздвигал руками толстенные высокие колонны, сверху уже валялись каменные глыбы потолка, и люди, внизу, запрокинув головы, в ужасе вздымали руки.

— Они его ослепили и вывели, чтобы посмеяться, — говорил дед. — Он обрушил огромный дом с криком: «Умри, душа моя, вместе с филистимлянами!»

— Сила сильнейшая... Таких людей больше и не было, наверное?

В ответ дед снова хмыкал, удивляясь, как можно еще спрашивать такое. Но кто-то из нас начинал привычное:

— А Лурих?

— Лурих! — дед на минуту даже отворачивался, давая понять, что об этом и рассказать нельзя тому, кто сам не видел. — Он в цирке выступал. Борец. Весь как из бронзы вылит. И ни одной капельки жиру, только мышцы!...

— Мускулатура, да?

— Атт! Нечего вам делать.

Бывало даже, что он брал гитару и, пощипывая две струны, показывал, как скрипка с контрабасом возвращаются, не солоно хлебавши, с пьяной свадьбы. «Не ели, не пили, ды яшчэ пабили», — плаксивым голосом вел дед за скрипку, а контрабас его с упреком бубнил басом: «Я казаў, што так будзе, я казаў, што так будзе». Тогда мы кричали: «Антек млоды!» — и дед, чтоб отцепиться, говорил:

— Ну, Антек млоды...

...носил лёды
на Беляны, же аж страх,
гды ему горэячо было
танцавал польку: рах-чах-чах!..

И мы так и видели перед собой этого чудака Антека, который таскал мороженое куда-то в страшную даль, на Беляны, а когда ему делалось жарко, принимался еще и польку танцевать (рах-чах-чах).

Но ни эти разговоры с дедом, ни его песенки, и уж конечно, гренки, — не могли мы представить себе известными там, где пропадали после школы целый день.

Дед выдавал нас с головой. Стоило ему приблизиться к нам на улице, как мы сразу чувствовали себя обнаруженными соглядатаями среди чужого стана. Вся непохожесть, странность нашего домашнего житья-бытья делалась явной.

Ни моя мать, ни Клавдия Прокоповна, мать Володи, с этой стороны не вызывали у нас беспокойства. К тому же мать все дни и вечера работала — в театре и «на радио», а Клавдия Прокоповна варила и стирала на кухне. То были женщины — обыкновенный мир, такой понятный, что его почти не замечали. Но дед и парусиновая его кепка, верх которой был вечно поднят и откинут смятым колпаком назад, и носовой платок, свисавший из-под кепки на затылок для защиты от жары — нет, это было уже чересчур.

И мы сразу отступались и открепивались от него, показывая своим видом, что мы — тут, со всеми, навсегда, а странный дед, взявший невесту откуда и зачем, — просто досадная нелепость, недоразумение.

В то время деду уже было, кажется, под семьдесят, и на холсте, маслом, он почти

ничего не писал. То, что удалось сделать до войны, пропало в годы оккупации вместе со всей почти коллекцией Минской картинной галереи.

Осталось немного, и среди этого — «Автопортрет» и «Портрет дочери».

Дочь он писал в двадцать третьем.

Она уже несколько лет жила и училась в Москве, домой приезжала на каникулы, а когда уезжала снова, отец и мать шли на Брестский вокзал провожать ее — она прибегала откуда-то в последнюю минуту, взволнованная, радостная, с букетом гвоздик, которые сама же себе и покупала для такого случая: она — артистка, она едет в Москву, чтобы учиться дальше, — не было на свете никого счастливее ее в этот момент, она не шла и не бежала, а летела.

И однажды, когда она гостила дома летом, отец решил написать ее портрет. В голубовато-сером сатиновом платье с короткими рукавами, повязав голову узким белорусским пояском, она забралась на стол, поджав под себя ноги, опираясь на стол руками и глядя в сторону, влево от себя, а обе косы упали на колени.

Скорее всего, это она придумала позировать именно так, потому что помнит, как перед этим делала «фон», развешивая цветной платок и укрепляя на нем что-то вроде банта из красной жатой бумаги. Отец взял лист картона, примерно метр на полметра, и за один или два сеанса этот декоративно-плоскостной портрет темперой был кончен, — его можно найти в любом издании репродукций картин из Белорусского художественного музея.

В этом портрете была видна особенность его тогдашней манеры — своеобразная, «наивно»-смелая раскладка цвета (примерно такая же, как в «Натюрморте с яблоком» и «Хатах»). Позднее, с возрастом он станет убежденным и занятым реалистом. Но в домашних вечерних разговорах он, кроме имен Репина и Крамского, Левитана и Поленова, или Милле, Курбе, будет всегда возвращаться и к Матиссу, Моне как к чему-то своему молодому, легкому, свободному от тяжеловесной основательности, которая так и не завладела им целиком.

После Москвы, в 1921 году дед первый раз попал на выставку — у него взяли несколько работ. А спустя четыре года он участвовал в подготовке первой Всебелорусской художественной выставки. Было время надежд, все кипело, дышало обновлением, возрождением.

Он показывал свои новые вещи: романтический портрет В. Роговенко в спектакле Белорусской студии в Москве «Царь Максимилиан» и портрет Михаила Филиповича, своего друга, который потом станет очень ярким национальным живописцем.

Когда война кончилась, дед преподавал рисование и черчение в школах, техникуме, за живопись брался редко.

«Портрет дочери» отыскался после войны в Германии: его привезла обратно в Минск директор художественного музея Е. В. Аладова. А одно свое незаконченное полотно, писавшуюся по памяти сцену ночного объяснения из «Дуры для других, умной для себя» Лопе де Вега — дед сам нашел во время оккупации в вестибюле городской бани и смог вернуть себе: дочь в роли Дианы и Константин Былич — Алессандро.

Дочь возвратилась с театром из эвакуации, и незаконченная сцена у фонтана из ее спектакля снова висела на стене — но Алессандро, Константина Былича, на свете уже не было.

Он не вернулся. Многие тогда не возвратились. Вот судьба: уехать от войны за тридевять земель, на годы — Томск, Новосибирск... — чтобы на обратном, долгожданном пути домой погибнуть ночью, поздней осенью сорок четвертого, где-то под Омском, в крушении поезда...

В предпоследний год жизни дед написал еще один «Автопортрет». Трудно сказать, думал ли он во время этой работы, поглядывая в зеркало, о своем первом, молодом автопортрете, где он изображен с короткими черными усиками, в шляпе — вспоминал ли его? Теперь усы были большие и седые, с опущенными концами, а вместо шляпы — старая темная кепка.

Два или три последних своих года дед с ранней весны чуть ли не до снега просиживал в парке Челюскинцев, на одной и той же скамейке, делая наброски тех, кто присаживался на несколько минут возле него. Мы знали это место, куда он ежедневно ездил троллейбусом, и однажды навестили его там втроем: его дочь, внук и правнук.

Я не помню уже, о чем мы тогда говорили и долго ли пробыли вместе. Но хорошо помню, как перед нашим уходом, поднявшись и переходя куда-то на другое место, он посмотрел на своего правнука и улыбнулся. В улыбке той, кроме всего, было еще и как бы

легкое смущение. Может быть, в тот момент он как-то особенно отчетливо увидел, понял свой возраст, неизбежность скорого своего ухода, — и короткий переход его в ту минуту к другой скамейке от привычной, всегдашней был неслучаен: он не хотел, чтобы все это бросилось в глаза и нам.

Теперь же, когда я думаю об этом, то вижу, как давным-давно он входит из кухни в комнату, освещенную солнцем, и, как всегда, слегка покачнувшись при повороте, вот так же смущенно улыбаясь и чуть кивая круглой блестящей головой, будто соглашаясь с чем-то, спокойно, со вздохом говорит, не глядя на меня, себе: «Да, сколько ни живи, а расчет надо брать...»

Наверное, он взял его вовремя.

Когда его правнук был совсем маленьким, то на вопрос, как зовут его прадеда, отвечал: «Прадед». Потом говорил: «Михаил Петрович», — и когда спрашивали, помнит ли его, отвечал: «Да. Когда я вошел, он лежал на кровати. Он дал мне магнит». Тогда он видел прадеда последний раз. А когда пошел в свою первую детскую студию рисования при домоуправлении, услышал от преподавателя-пенсионера, прошедшего в своей жизни войну, плен и все остальное: «А я когда-то начинал у твоего прадеда».

— Когда-нибудь ты думала, что кроме сцены у тебя будет и кино? Хотела этого или театра было достаточно? Теперь даже представить трудно, чтобы театральный актер не хотел сняться в каком-нибудь фильме.

— Как-то спокойно относилась к этому. Думаю, главное во мне и для меня — это театр. А когда стали приглашать в кино, даже и разницу в работе не особенно чувствовала. Правда, немного что-то зажималось внутри, когда я слышала: «Мотор!» А дальше было проще, или мне кажется, но эта зажатость оставалась. Не знаю, приглашали — и я с удовольствием, мне интересно было все, роль полная или эпизод. Так и сейчас еще. Но точно могу тебе сказать: после «Прощания с Матёрой» — «Прощания», как назвал картину Элем Климов, иначе как-то стала чувствовать себя: свобода появилась, смелость. И началось это еще до Климова, с Шепитько, хотя так мало нам удалось с ней побыть...

— Какой она была? Сегодня вот, сейчас — как тебе видится она, что помнится?

— Самое первое было: ее желание узнать, как я ее воспринимаю по рассказам других. «Что вы обо мне слышали? Что я — деспот, да? Ну вот я — и что, как вы думаете?» Все это, конечно, с улыбкой и женственно, но интерес горячий. И я ответила в том духе, что я же приехала и приглашение приняла, так что... Это самая первая встреча наша была, мы впервые беседовали, в ее кабинете на «Мосфильме».

— А когда начали работать, то как было?

— Только начали — с костюма, с грима — вижу: она актеру — преданнейший друг. Вижу в ее глазах, что я точно какой-то долгожданный для нее подарок. Она прямо-таки проникается тобой, даже неловко как-то. И дело, как я понимаю, не только во мне было, а в том, что это именно она сама такая. Очень много отдает. Потому что очень много требует — и от себя, и от других. Она уже жила этим образом, Дарьей: в гримерной не отходит, хочет примерить на мне что-то, приложить иначе волосы мне к виску... А когда с костюмом сложности пошли, Лариса и каждую складку разгладит сама, и на колени опустится, чтобы внизу поправить. Атмосферу теплоты, любви старается создать. С костюмом моим возится и говорит протяжно так: «моя краса-а-авица...» Она хотела, чтобы в обстановке и в костюме был быт и вместе с тем не быт. Чтобы в соприкосновении с природой все материальное, вещи изменялись; чтобы открывалось в них какое-нибудь поэтическое, художественное свойство.

Должны были быть, например, такие кадры. Я (Дарья, по повести и по сценарию) иду по лесу, отводя от лица еловые ветви, чуть задерживаю их в ладонях, как бы поглаживаю их, живых. Потом согнутое ветром молодое дерево загородит дорогу, я стану его отклонять, оно — ни за что, будто упрется, и я скажу: «Ну что ты, что?» И тут за ним увижу грибную семью: «А, так вот что!...» Ей, Ларисе, хотелось не только земной такой, грубой достоверности, но чтоб и тоньше было все это, изящнее. Блузка Дарьи должна была быть с народным узором по воротничку, а материал — крепдешин. Походку мне хотела оставить как у деревенской женщины тех же лет, тех же мест, но чтоб и маленький каблучок все же на обуви был, незаметный... Застывала над ручьем, подстерегала какой-то самый живой миг

его бега, а ее помощник ловил зеркалом солнце, чтобы оно заблестело сквозь воду на камне. И когда камера замолкала и ловец солнца довольно улыбался, Лариса звала художника Фоменко: «Юра, ну где же ты был? Ты же не видел, понимаешь — не видел!» Она хотела, чтобы в финале седые волосы Дарьи, этой хранительницы покинутого, затопляемого острова старой, вековой жизни как бы сплетались с дымами от подожженных хат, с полосами утреннего тумана... Лариса считала, что есть много превосходных актеров, но для себя разделяла их на «самоигральных», как она говорила, играющих прежде всего самих себя — и тех, кто может фокусировать в себе, в своем образе что-то гораздо более широкое, общее.

— Тот известный снимок, где она с тобой репетирует сцену прощания — ладонь к щеке, склоненные друг к другу лица...

— Это Лариса Майе Булгаковой показывает: ее героиня первой с Матёры уезжает, с Дарьей прощается с любовью, но и с виной. И этот снимок очень многое, по-моему, говорит о Ларисе: о том, какой она была — недолго так! — со своей Дарьей, со своей Матёрой в только начинавшемся фильме — какой она была тогда вообще, и как художник, и как женщина.

— Ты, помнишь, был период, несколько лет, когда буквально друг за другом из жизни уходили Вампилов, Шукшин, Трифонов, Высоцкий... И Шепитько. А потом, чуть не в один день, Папанов и Миронов. Может, здесь есть даже какая-то закономерность: они из тех, что впереди шли, пробивались; и вот почувствовали время, когда заслон слабеет и уже сделаны в стене проломы, она вроде как пошатнулась раз, другой — и они бросились...

— Я понимаю. Как только удавалось или позволяли наконец выбиться на свою дорогу, было уже не до отдыха, не до какой-то размеренности в работе. Да и условия этой работы, нашей жизни... А, что тут говорить? Чувство самосохранения отступало. А ведь — люди, со своим здоровьем, нервами и психикой. Это же хрупко все, близок предел — а незаметно. Ну, так или иначе... сожгли себя.

— Когда почтальон принесла ту твою телеграмму, я начал читать вслух, при ней, на пороге: «Матёра» оборвалась. В автокатастрофе погибли...» Дочитал, а почтальон спросила: «Кто такая Матёра?» Надо было объяснить. А потом ты позвонила, сказала, что картины не будет и роли этой твоей не будет.

— Да, я так думала: ну, значит, не судьба. Нет, даже и не думала об этом много, просто такое мелькнуло, а мысли все были о том страшном, что случилось. Шесть человек сразу, в один миг... Жили в Осташкове, на Селигере, но утром ездили уже в деревню Тарасово на съемочную площадку, там изба моей Дарьи была выстроена; работали до вечера, но Лариса нервничала, не удавалось собрать всех нужных актеров вместе: кто-то занят на других съемках, кто-то — на гастролях. А в то проклятое утро, в начале июля, Лариса, оператор Володя Чухнов — он снимал с ней «Восхождение» по «Сотникову» Быкова, — художник Юрий Фоменко поехали в Калинин, чтобы там сесть на катер и посмотреть на озере места для «натурь». С ними были еще оператор-практикант и заместитель директора картины, — пусть они меня простят сейчас: не смогу назвать имен... Катер уходил в восемь утра, они очень спешили и врезались в груженный кирпичом самосвал с прицепом, пытаюсь его обогнать. Водитель самосвала говорил, что видел все хорошо, давал им дорогу, но машина уже шла зигзагами и попала между кузовом и прицепом.

Я гуляла с маленькой дочкой Фоменко, и когда шли с обеда к гостинице, мне потихоньку сказали, что произошло. Это был такой удар, что я закричала. Девочка подбежала, обхватила меня руками: «Что с тобой, баба Дарья? Тебе больно?» Я говорю: «Живот, рези сильные», — и она: «Ты не расстраивайся, пойдем домой, будем плести корзиночки, я папе и маме сделаю». В гостиницу мне с ней войти тоже было непросто, там стон стоял, плакали в голос...

Не знаю почему, но в Москве их собирались кремировать — может, потому, что их... трудно было узнать? Но всех хоронили в открытых гробах. Только Лариса была похожа, остальные... Она была под белой вуалью, вся в белом; гроб с белым атласом и черными рюшами, к нему распорядители клали только белые цветы. Остальные все, мужчины, были под черными вуалями, узнать их было невозможно, несмотря на все старания нашего гримера. И на «Мосфильме», в зале, где прощались, и на кладбище народу было столько — ты не представляешь. Лил дождь. Шесть раз играли траурный марш, а потом — гимн!.. Я никогда не слышала такого. Это до того не к месту было, нелепо! Тогда подумалось: Господи, когда же это кончится — не похороны, нет — а это вот... как тут сказать...

прекладывание жизни, даже смерти на обязательный торжественно-советский лад. Будто без этого уже и умереть нельзя. Лариса, если б знала...

После похорон, ее мать, Евфросинья Яновна, пригласила всех нас, участников «Матёры», домой: она, я тебе скажу, необыкновенная женщина, такие мужество и выдержка. Все время говорила о работе Ларисы, о том, что мы должны ее закончить. Я потом убедилась, что жить она с той поры стала именно этим и, конечно, Кириллом, сыном Ларисы. А Элем Климов, которому на «Мосфильме» предложили продолжить фильм жены, уже на третий день собрал нас для просмотра отснятого материала. Выяснилось, что все надо начинать сначала.

Жили в той же деревне Тарасово, где снимали с Ларисой, и я жила так, будто я — Дарья, главная героиня фильма: в избе у одной колхозницы. Одета была соответственно, полола в огороде, ходила с коромыслом за водой, мыла на озере посуду, только не пасла стадо, не доила корову, хоть и пробовала. Училась косить — это довольно трудно.

— Помню, Климов говорил, что проблема была серьезная: героиня твоя — женщина деревенская, ты же, мол, — человек полностью городской. Расхождения возникали. Но зато тебе удалось выразить глубинное в этой женщине — он имел в виду сцены, где Дарья перед прощанием с избой белит потолок, моет стены, обряжает избу: нерастраченность душевных сил, запас их.

— Ох, и боялась же я, что не подойду ему, не сделаю все то, что нужно. Ведь он режиссер совсем другого стиля, языка, чем Лариса. А когда работали уже в Красноярском крае, в поселке Гаревом, после просмотра отснятых кадров, очень важных для картины, он вдруг благодарит меня, целует...

— Он был уверен — и говорил об этом тогда, — что на главную роль режиссер всегда подсознательно выбирает актера, внутренне схожего с ним самим; и что Лариса Шепитько в твоём возрасте была бы похожа на тебя, душевно и даже внешне в чем-то. Особенно вот этим: недовольство собой, сделанным — причем, всегдашнее; и еще неспособность вместиться в какой-то жизненный стереотип.

— Не знаю... что-то, видно, получилось. Но и помучились, правда. Да, все хорошее — дорогой ценой...

30

— Среди всего, что ты в кино играла, в «Прощании» — твоя самая значительная роль. В театре такую роль, по-моему, тебе назвать трудно.

— Да, что касается кино — все правильно. Хотя мой внучек объявил это еще задолго до «Прощания» — помнишь, булавкой приколот собственноручную надпись к моей шубе: «Баба Степа — кинозвезда». В гастрономе люди оборачиваются, улыбаются, и я не понимаю, а потом смотрю... Ну, а в театре получилось так, что многое значительное, по крайней мере, для меня, — далеко позади, в молодости, или просто давно уже... И какие молодцы наш главный режиссер Валерий Раевский и Николай Пинигин, что решили в свое время поставить — для меня — эту пьесу Хиггинса и Карьера «Гарольд и Мод»! Мне кажется, я так хорошо понимаю свою Мод, все то, что в ней живет как бы вне возраста. Это мое, конечно... А начал все Роман Мархолия, он работал тогда во Львове: увидел меня на сцене и стал уговаривать на эту роль — давно искал исполнительницу, мечтал поставить спектакль. Мы читали пьесу в Томске, во время гастролей, и все на художественном совете решили: берем, и в главной роли — я... Так я получила в Томске еще одну главную роль — через сорок с лишним лет после нашей эвакуационной жизни там, когда Лев Маркович Литвинов ставил «Собаку на сене» Лопе де Вега со мной в роли Дианы...

— Ты говорила, что сперва боялась.

— Да, боялась. Учти, что мы «Гарольда и Мод» поставили иначе, чем ставили, скажем, во Франции, в театре у Луи Барро. Там это было сделано для западного зрителя, смелее, намного сложнее; границы в чувствах, отношениях главных действующих лиц были неуловимы, как я поняла из читанного об этом: дружба, симпатия... может, в какие-то моменты и любовь, порой даже близко к эротике, несмотря на неимоверную разницу в возрасте. Французские актеры привозили этот спектакль в Москву, роль Мод играла Мадлен Рено, жена Барро, если не ошибаюсь. У нас же — больше светлого, веселого, такой взрослой детскости, наивности; как бы игра.

— До чего же все это разное, что ты играла в последнее время! В кино — старая

женщина из сибирской глуши... платок, ватник, лес, изба. В театре — европейская жизнь, тонкость и обаяние, юмор и шампанское...

— Шампанское, Европа? Да. А мои белорусские бабки в «Верочке» Макаенка, в «Мудромере» Матуковского, в «Страстях по Авдею» Бутромеева? А раньше — в «Людах на болоте» Мележа? А Марыля в «Разоренном гнезде» Купалы?

— Правильно, но и Графиня в экранизации «Пиковой дамы».

— Сама удивляюсь, когда подумаю... А может, есть тут связь какая-то с той атмосферой моего молодого времени: Москва и наша белорусская студия, двадцатые годы, такой широкий веер всего непохожего в искусстве...

Но я всегда как будто знала, понимала: мое ко мне придет, будет со мною, рано или поздно, даже без высоких званий. Или теперь так кажется, что знала? Во всяком случае жила, как будто была уверена в этом. Ну и вот... Благодарить надо Бога и судьбу за то, что люди тебе благодарны...

34

— Нет-нет, мы в этой стране, в этой и ее истории проживаем не одну жизнь, а несколько — я уже не раз так думала и говорила. Как угодно, только не одну, и уж наверняка — не одну лишь свою.

— Не всегда это — к счастью, часто лучше одну, но свою жизнь прожить.

— Конечно. Многие бы дорого за это дали. Чтобы не жить, вернее, чтобы не мучаться еще и в лагерях, и на войне... Да, я хотела рассказать тебе: летом, в Волковыске, мы там играли, после спектакля вдруг ко мне подходит женщина: «Я к вам из сорок третьего. Галина Вильгельмовна Боровая. Помню все ваши спектакли в Томске во время войны. Мне было тогда шестнадцать. Мы с подругой в вас влюбились, ходили следом по городу, ловили взгляд, улыбку, хотели быть, как вы. Могу сказать одно: несмотря на все, вы такая же, как и тогда». А мне тогда было всего только... Господи, время, время! И она говорит: «Спасибо вам за все, низкий поклон». Невозможно представить, чтобы человек столько времени помнил мою фамилию и внешность, теперь уже совсем, совсем другую.

Помнишь, в программе «Время» несколько вечеров показывали, как мы в Томске гастролируем. Спустя сорок с лишним лет после войны, эвакуации. Из того состава нашего второй раз приехали в Томск только я и Здислав Францевич Стомма.

Никогда не могла не то чтобы требовать чего-то — просто постоять за себя, чему-то воспротивиться открыто и решительно, не согласиться, протестовать. А ведь я актриса: мы зависимы от режиссеров, репертуара, дирекции, от всего! Есть, наверное, сильные люди, с большой волей, настойчивые. Я — нет. Я послушная. И в работе. Я иду за режиссером, его мыслью, заданием. И я никогда не могла добиваться, просить роль, даже заикаться об этом. Хотя, бывало, знала: это — мое, и только мое. (Постукивает пальцами по столу, встает, отходит к кухонному окну.) Как каменное делалось все внутри. Потом, конечно, отпускало. (С обидой в голосе.) На годы все это растягивалось. А воевать за себя — нет, и не могла, и не умела. Может, и за своих, свое... Да, белорусы... (Пауза.) Я ведь работаю с пятнадцати лет. И все — в одном, можно сказать, ведомстве. И вот опять у нас все сначала: хлеб будет, видно, скоро за миллионы, как в моей молодости за миллион — извозчик. А как я обеспечила свою старость, с чем осталась? Или эти американские посылки. Я помню из двадцатых годов, потом уже помнишь и ты — с сорок пятого, вместе с трофейными фильмами, а теперь — опять? Нет, давай лучше не будем говорить это о нашей стране, а то так плохо делается, стыдно...

Снова Обь, рыболовецкие колхозы. Но тогда, в войну, нам показывали и домик ссыльного Сталина, его самовар, коробку для табака, — музей его делали, может, руками тех, кого он сам загнал туда... Мы с сорок первого три года в Томске прожили. Убого, сиротливо. Зимой однажды роды принимала — прямо на улице, роженицу муж не успевал в больницу доставить, не мог найти машину, а у нас, шедших поздно вечером со спектакля домой, оказались и марля, и ножницы...

Но что интересно — в театре всегда было много публики, на премьеру с трудом доставали билет. А сейчас вот — кажется, впервые за все время, что помню, — отменили у нас чеховские «Три сестры»: только восемь билетов продали; это в мирное время, в полуторамиллионном городе. Кому это нужно сейчас — Чехов, его какие-то

там три сестры, их разговоры? Скучно. А тогда нам нужно было играть в семь утра, перед рыболовецкой бригадой, до начала смены. Мы сказали: хорошо, только без грима, освещения. Так заведующая клубом — в ужасе: нет, ни за что! Какой театр без грима?

— И была права.

— Конечно! А самый большой успех был у нашей «Дуры для других, умной для себя». Лопе де Вега, плащи, трико, шпаги. А шла война... Жили в Юрточном переулке, рядом с артиллерийским училищем, выступали в госпитале перед ранеными. Я читала «Случай на карнавале» Раскина и Слободского, из «Правды». Вышла, а передо мной — будто белая стена из марли, сплошные повязки, бинты. Сбилась, забыла что-то, все равно кричали «браво». Мы покупали бинты в городе и шили из них занавески, покрывала, распускали на нитки. Дома на стене висела карта, мы отмечали на ней наше отступление. Репродуктор говорил: «После тяжелых, продолжительных боев нашими войсками оставлен...» И мы молчали. Три года ведь не знали — целы, живы ли вы в Минске? В сорок третьем, кажется, партизаны переправили из Минска на «большую землю» жену композитора Любана. Она рассказала, что видела в городе тебя, бабушку, моего папу. На карте мы булавки втыкали все правее и правее. Один Степан Степанович Бирилло кричал с пеной у рта: «Это замечательно! Вы не понимаете: чем глубже немцы зайдут, тем хуже для них. Погибнут, вы увидите!»

— Это он, прочитав «Войну и мир», стратегом таким стал.

— Наверное. А потом и правда началось: освободили, освободили... Мы были в Юрче, играли для курсантов артиллерийского училища, в их летнем лагере. Вдруг узнаем, что освобожден Минск. Мы так закричали от радости, что выскочил начальник училища Иванов, он не слышал радио и ничего не понимал. Мы стали рваться домой.

— Ты как-то говорила, что вы однажды с фронтовой бригадой попали было в Беларусь.

— Под Гомель, в Ново-Белицу. Спали на полу спичечной фабрики «Везувий». Наш Валентин Кравцов с Зинаидой Скачковской остались работать на местном радио, чтобы быстрее добраться до Минска, пока его освободят. А мы и уехали назад, в Томск. Быть так близко и не смочь увидеть вас, узнать хоть что-нибудь!.. В той поездке мы выступали в войсках Рокоссовского. Он с женой смотрел у нас «Примаков», им не совсем понравился спектакль своей мужникой «фривольностью», но банкет он дал в нашу честь отличный — любая радость на войне была радостнее во сто крат. Ох, Боже мой, чего только не было в войну! Ведь я, страшно сказать, была даже охотничьей собакой, настоящей: бросалась в туфлях, чулках за подстреленными на охоте утками, била их, трепещущих еще, головами о каблук — и это я, которая в детстве не могла есть зарезанную мамой курицу. Но тут было чувство: это — мясо, еда, а главное — это для одинокой интеллигентной семьи, с которой я сблизилась, и которая просто не могла выжить в тех условиях. А еще я была белкой: ловко забиралась на кедровые деревья с длинной палкой, сбивала шишки с орехами. И чудом я осталась жить, когда назад мы ехали с театром, в Минск — может, сделала кульбит тогда в вагоне...

— Когда крушение было?

— Да, мы едем, ночь, а я не сплю. Константин Былич хотел поменяться со мной местами, но почему-то не пришел. Проехали Томск. Смотрю в окно с верхней полки и думаю — это запомнила на всю жизнь: как темно, страшно, как доверчиво сидят люди в поезде и все зависит от машиниста, но он должен быть внимательным, настороже... И вдруг будто по бесконечным стыкам рельсов вагон пошел, а это он — уже по шпалам; и тут же затрещало все, загрохотало, наклонилось и перевернулось. Я слышу страшный голос жены Глебова: «Глена!» А Глена, дочь их, вылетела в разбитое окно, в ту сторону, куда лег вагон... У меня под ногами осколки стекла, мокрая трава... Девять гробов мы оставили в Омске. Кроме дочери Глебова, погибли еще Маргарита Шашалевич, Игорь Сченонович, Былич, который так и не поменялся со мной местом и тоже вылетел в окно, под стену упавшего вагона, еще Борис Алексеенко, молодой, красивый: он и Былич были в нашей труппе главными героями по амплу. С трудом рассветало. Осень. Стою у костра, белые «мухи» летают, и зубы все стучат, болят уже челюсти — это нервное что-то началось. Вагон наш, сошедший с рельсов и упавший, был первым из отцепившихся вагонов. За ним другие громоздились друг на друга. Погибло много солдат и офицеров.

— На фронт везли...

— Не довели. А я все думала: вот у наших ребят были освобождения или отсрочки,

а война все равно взяла свое. И вижу: подбегают уже местные жители, тащат наши одеяла, и все, что можно из вагонов, из этого розового крошева.

— И это — тоже война.

— Конечно. А как у нас долго ее хотели представлять? Только торжественное и монументальное подавай. Помню, в Москве, на каком-то юбилее Победы я должна была читать стихи на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Моя одежда, обстановка, текст — все было такое величественно-скорбное. И когда началось — бояться стала. И в одном месте текст забыла, запнулась. Как мучалась потом! Были и взгляды начальственные — не то чтоб явно недовольные, но и все же... Я отвлеклась: добрались, наконец, мы до Минска. Октябрь сорок четвертого, я думаю. Увидела тебя — чужой какой-то, большой, худой, зубы передние кажутся длинными, некрасивыми. Уезжала три года назад на гастроли в Одессу — оставила совсем другого.

— А я смотрю: какая-то женщина смеется, подходит ко мне, в зеленом костюме, светлые волосы уложены на затылке. Я таких еще не видел — и это моя мама?

— Да, и тогда началась как бы еще одна жизнь. Далеко-далеко остались Томск, любимые Басманчики, как мы звали наших хозяев там, Басмановых, — вот довоенный томик Пушкина — это память о них. Началась еще одна жизнь, и мы с бабушкой спилили на дрова грушу как раз на том месте, где я жила когда-то, на Ленинградской.

...И началось тогда детство — опять, во второй раз, снова с мамой, и оно уже запомнилось.

В тесном деревянном доме бабушки начались корь и мамино чтение вслух «Последнего из могикиан», «Всадника без головы», «Хижины дяди Тома», «Приключений Травки» и «Челюскинцев». Начались наши походы с ней в столовую, в здание, где еще недавно была столовая для немецких офицеров и где в зале висели какие-то большие темные картины в рамах, — они, наверное, висели тут и год назад.

О чем-то же мы говорили с ней тогда — но вот о чем?

О чем-то же она меня расспрашивала в это время? Да, о войне, конечно, и о том, как мы здесь, в Минске, жили и остались живы. И что ж я ей рассказал?

Тогда еще, наверное, немного. Все еще было слишком близким, не готовым для таких рассказов и пока просто отошло назад.

Во всяком случае, не думаю, чтобы в то время я мог ей внятно рассказать, как нас едва не расстрелял какой-то пьяный капитан во дворе бабушкиного дома в первые часы после освобождения города за то, что мы тут жили в оккупации: выстроил всех и, став с пистолетом у нашей скамейки под кустами сирени, добивался ответа, стрелять сперва в ребенка или во взрослых; и соседка, учительница Иванова, незаметно увела меня к себе, посадила за стол с бумагой и карандашом, а потом короткая автоматная очередь — это пьяного капитана застрелил, вызвав на улицу, раненый им в руку перед этим младший офицер.

И не рассказывал я ей, красивой и веселой женщине, к которой еще не совсем привык, о том, как в яркий тихий день за мной, бросившим тяжеленный камень в дверцу «опель-адмирала», пришел во двор и стал, глядя на нас с бабушкой, чистившей на крыльце картошку, до столбняка испугавший меня прямой, высокий человек в сером пиджаке, военных серо-зеленых галифе и сверкавших сапогах, — он не достал пистолета, только молча смотрел на нас, а потом медленно ушел, но я, в отличие от ничего не подозревавшей бабушки, все понял так хорошо, что это уже не забывалось никогда.

Я многого тогда не рассказал.

Ни того, как пытался вбивать в крыльцо большие гвозди, чтобы немцы, уже занявшие Минск, споткнулись и упали, входя в дом.

Ни о том, как утром мы подкрались к неподвижно лежавшему на замерзших помоях немецкому солдату и ударили по каске самопалом, чтобы, если он и мертв, считать, что все же убили его мы.

Наконец, я просто не сумел бы тогда рассказать про тот вечер, когда немецкий патруль, увидев щелку света в неплотно зашторенных окнах, прострочил автоматом нашу квартиру с улицы, и несколько пуль прошли между нами, никого не задев, — пробойны нашли в стене и в черном репродукторе.

Нет, скорее всего, я ничего этого матери не рассказывал, когда она приехала — все как-то отступило и забылось на время. И страх ночных бомбежек, тяжелый, как камень в животе; и ослепительные ночи тех налетов наших бомбардировщиков, когда они на

парашютах «вешали фонари» над вокзалом и станцией для лучшей видимости, и все стояли во дворе и радовались, не боясь близких взрывов, а длинные лучи немецких прожекторов, шатались в небе, иногда ловили в перекрестие и вели для зениток крошечный серебристый силуэт самолета с белыми облачками близких разрывов; и то, как недели через три после освобождения города немцы прилетели-таки бомбить его, и утром на траве у забора лежали с забытыми глиной глазами и ртами братья Ушпянские, с которыми мы вместе играли накануне вечером.

Но я не рассказывал ей тогда и другого.

Например, того, как был поражен, зайдя с ней днем в театр и увидев через темный провал пустого зала ярко освещенный снизу («рампой» — узнал я потом) поднимающийся, как стена трехэтажного дома, алый бархатный занавес. Что-то было в нем удивительное, совсем иное, чем во всем, что я видел до тех пор в городе, в домах.

И вот теперь, уже в совершенно другой своей жизни, когда захожу в театр днем, подступает то же чувство почти детского удивления и чего-то уютно-привычного, всегдашнего, твоего — волнующего и успокаивающего одновременно.

Пустые коридоры с ковровыми дорожками, со знакомыми портретами, освещенная среди мрака сцена — в свете софитов устанавливают декорации вечернего спектакля или репетируют...

Где же люди, которые придут сюда вечером, чтобы слушать голоса, знакомые мне десятилетиями и даже всю жизнь? Кто они, эти люди, что они — разве так это важно? Сегодня одни, вчера — другие, завтра — третьи. Важно, что так — всегда, сегодня и давно.

По крайней мере, я абсолютно точно знаю, что это существовало, происходило — и приблизительно так же, вот в чем главное — уже тогда, когда я еще себя не осознавал. Тогда в этой средней ложе бельэтажа, куда я сейчас вхожу и, сам не зная для чего, присаживаюсь в темноте и тишине пустого театра, — тогда в этой ложе, приведенный бабушкой на дневной спектакль, а, может, репетицию мольеровского «Скупого», я увидел, как кто-то на сцене в буклях, чулках и башмаках с пряжками похлопал гитарой по согнутой спине закашлявшегося старика в камзоле, а потом — как в непривычно длинной одежде вышла женщина, в которой я мигом узнал все, что мне только и нужно было здесь, в театре — и тут же закричал на весь зал:

— Мама! Мама!..

Нация или не нация?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

У же название статьи Ксении Касьяновой в журнале «Знание — сила» (11/1992) звучит так, что силы могут оставить и знания обесмыслиться: «ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИ МЫ, РУССКИЕ, СОБОЙ НАЦИЮ?»

Ничего себе... а вдруг не представляем?

Первая, чисто нервная реакция: ну, так и не надо! Что за проходной балл, в самом деле. Пушкин — был? Был. Толстой, Шолохов, Гроссман, Солженицын? Имеются. Так что нам маяться и мучиться, признают нас «нацией» или нет на каком-то там теоретическом уровне? Надо жить дальше. В конце концов, и нынешняя раздача слонов, то есть присвоения суверенитетов, то есть титулование «нациями» всех этнических веточек общечеловеческого древа, — пройдет, как всякая очередная «стадия». И еще вопрос, так ли это будет важно, признают нас «нацией» на излете советской эпохи или не признают. Там, может быть, уже вообще «нациями» не будут мыслить, эпоху спустя, и не так существенно, «русский» или «советский» вклад мы внесли в мировой опыт, «дикиими» или не «дикиими» предстанем в свете вечности, «химерическая» или не «химерическая» у нас культура в результате всех безумств нашей истории. Потому что еще не известно, куда она повернет, история, кто станет судить, кто окажется «передовым», кто «отсталым», и какие «химеры» оживут на поворотах.

Восторг от «многообразия» национальных культур, столь понятный сегодня на излете воспоминаний о нашей казарменной тотальности, — слабое обоснование того дробления культур, которое надвигается. «Пусть расцветают все цветы», каждый народ уникален у господ... этого достаточно для успокоения чувств, но мало для понимания смысла. Поневоле думаешь, не испытывает ли нас господь тем, что Гегель называл дурной бесконечностью? Куда уходит эта линия, этот пучок линий, веер

линий? Или это в самом деле самоцель — бесконечное многообразие национальных культур?

В известном смысле — самоцель. Если встать на точку зрения эстетическую. Которая вполне реальна. Но не исчерпывает мудрости мироздания. Ибо изумляющая людей дифференциация культур дает в результате сугубо прагматический результат: «состояние неравновесности, от которого зависит дальнейшая биологическая и культурная жизнь человечества».

Опираясь на эту мысль К. Леви-Стросса, Ксения Касьянова очень ясно (хотя и не без иронии) формулирует смысл культурной пестроты: «Наличие вариантов страхует человечество от безвыходных тупиков, влияет новые силы в дряхлеющие, когда-то передовые общества и, действительно, любая культура, когда-то считавшаяся «отсталой» и «дикой», имеет шанс в определенный момент «оживотворить мир своими ценностями».

Ирония объяснима: в ситуации, когда потерпела крах коммунистическая идея, последняя из великих идей, связанных с чувством человеческого пути, и этот крах отзывается в ощущении фукуямовского «конца истории», — трудно говорить без иронии о «когда-то передовых обществах» и о том, что «отсталые» и «дикие» имеют шанс.

И все-таки все это очень серьезно. Нация сегодня — кодовый знак всечеловеческого опыта. Нациология — горячая точка человеческого самопознания. И мысль К. Касьяновой несомненно — на переднем крае. Но нам-то, русским, что с того? Человечество будет играть на национальных клавишах? «Предположим», — все с той же тонкой улыбкой соглашается К. Касьянова. Но что мы за клавиша?

«Чем мы можем оживотворить мир? Этим нашим бесконечным терпением, мимо которого ни один лихой иностранный

мемуарист и ни один отечественный интеллеktуал, побродивший по европам в поисках образования, не прошел, не пнув и не обозвав «тупым»; этим нашим смирением, умением в своем представлении и воображении поставить другого выше себя, которое постоянно и упорно путается почему-то в головах европейцев и европеизированных русских с «рабской покорностью»? Какая-то она очень древняя и суровая — эта наша культура, требующая от человека очень сильного самоограничения, репрессии своих непосредственных внутренних импульсов, своих личных индивидуальных целей в пользу социальных групп и глобальных культурных ценностей. Все культуры в какой-то мере построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без них нет культуры и нет общества вообще. Но важна также и сама степень. В нашей культуре эта требуемая от человека степень очень высока.

Прекрасная характеристика. Во-первых, в ней выявлены объективные черты национального характера, которые не зависят от того, апологию русского или поношение его мы затеваем. То есть ни в русофобии, ни в квасные патриоты К. Касьянову не затащишь. Дело в реальности. Самые язвительные насмешники и самые беспардонные клеветники не преуспели бы в своем поношении России, если бы окарικатурировали свойства, реально ей не присущие.

А они присущи. Эту реальность носишь в себе, ее чувствуешь независимо от того, какую систему убеждений принимаешь (либеральную, консервативную, коммунистическую, антикоммунистическую и т. д.), независимо от того, какую Россию выбираешь (романовскую, доромановскую, советскую, постсоветскую). Если живешь в этом народе и с этим народом, то инстинктивно принимаешь некоторую неписанную систему правил, некую иерархию ценностей, некоторую негласно принятую «степень качества» (степень самоограничения, самоумищления, самоотверженности, самопожертвования). Иначе — не жизнь.

Эта система ценностей старше любой формы государственности, она коренится в культурной почве, и даже глубже: в докультурной, предкультурной, природно-этнической почве, изменяющейся так же медленно, как и сама природа. Это неуловимо и непреложно. Это то самое, что необходимо присутствует даже и в противоположных действиях народа. То самое, что называется национальным характером.

Что же получается? Единый язык есть, и общее пространство есть, и общее «хозяство» есть, и национальный характер у русских есть... все прямо-таки по сталинскому определению... впрочем, почему по «сталинскому»? оно столько же и «бухаринское» — разработки-то для Сталина делал Бухарин, к тому же делал их — по общепринятым тогда европейским теоретическим источникам — это был стандарт, и именно его воспроизводит К. Касьянова, чтобы... оспорить.

Все есть у русских, чтобы быть нацией. Но русские — не нация. Русские — «в донациональном состоянии». Русские — только «материал для будущей нации».

Чего не хватает? Осознания. Тут К. Касьянова вводит в традиционную «объективно-научную» категорию нации сильнейший субъективный элемент: нация — это то, что ОСОЗНАНО как нация. По Дюркгейму: «Общество основывается... на идее, которую оно само себе создает». По Сегнору: «Нация — это не родина, это воля к ее созданию». По Ренану, которого перефразировал Ортега-и-Гассет: «Жизнь нации — это ежедневный плебисцит»... Я бы добавил: и по Бен-Гуриону, слова которого передают так: «Еврей — это тот, кто называет себя евреем».

Я бы добавил сюда и то соображение, что если нация — это непрерывное духовное самовоссоздание, то не так уж важно, признают русских на определенном этапе их истории или не признают нацией другие... или сами русские — назовут или не назовут себя нацией. Допустим, назовут. Но в следующее мгновение нужно будет подкреплять и воссоздавать это самоопределение в продолжающемся ежедневном плебисците... так стоит ли так упираться в это стадильное определение?

Стоит, однако. Если исходить из того положения, в котором оказались сегодня русские. Статья Ксении Касьяновой — не просто объективное исследование русской ментальности («бесконечное терпение... глобальные ценности... самоограничение до степени саморепрессии»), — это вопль об имени, это свидетельство о кризисе, это попытка ВЫРВАТЬСЯ из кризиса: пробудиться.

Окликнуть себя. Напомнить себе, кто ты. Назвать по имени. На языке науки это звучит так: «Вербализация существовавших до сих пор на подсознательном невербальном уровне представлений и ценностей народа».

То есть: продумать и высказать. От-

рефлексировать и вербализовать ту культуру, которую мы носим в подсознании.

В пересчете на «ежедневный плебисцит» происходит следующее: народ ждет от интеллигенции притока идей, которые помогли бы ему, народу, осознать ЕГО национальные проблемы, а интеллигенция, вместо этого, осваивает идеи, выработанные НЕ НАМИ для решения «совсем других» проблем, НЕ НАШИХ проблем. Так что мы напрасно «пытаемся осмыслить свои этнические ценности в чужой, заимствованной системе понятий».

Это уже и читателю «Дня» понятно, не говоря уже о читателе «Сегодня». Почти оголенные провода нашей злободневности.

Ответить хочется с такой же оголенной задетостью: да что ж вы призываете-то, вы — делайте! Чего там ждать, пока кто-то

сменит «чужую форму» на «свою» — берите содержание и оформляйте. Вербализуйте! Это же и есть плебисцит, ежедневный, ежемгновенный: сколько отрефлектируете, столько и прибавится нам, русским, как нации.

И, надо признать, Ксения Касьянова эту работу делает. Не только в той статье, какую напечатал журнал «Знание — сила», а в своем фундаментальном исследовании, выжимку из которого и дал журнал. Название этого труда выдержано в жанре усыпительно академическом: «К вопросу о...». Но дочитав название до конца, вы мгновенно просыпаетесь: «...о русском национальном характере».

О том самом.

Но разговор об этом труде — особый. Когда дождемся его публикации.



Summary

SHOTA IOTASHVILY. A Sick City.

An original rock-narration of the tragedy of the Georgian people split by the war. It's a howl of horror of the young generation buried under the ruins of the Empire. Translated from Georgian by Alexander Ebanoidze.

The lyrics by a young woman-poet **GALINA NERPINA** is keenly pierced through by the feeling of being hurt which is characteristic of the generation who came into maturity in late 80-s — early 90-s. Fragile sensitivity and bitter smile of the mind are intermingled in her poetry.

Verses by **ANATOLY NEIMAN** are written in a quite traditional manner and may be called neoclassical. One can recognize the influence of late Pasternak, but Neiman develops his own views on life and original imagery.

The collection of **BORIS SLUTZKI's** verses, which have never been published until now, is marked by rigid straitforwardness and bottomless sincerity — both characteristic of his poetry in general. The verses reveal the author's non-standard way of thinking, original word-stock and vivid associative figurativeness.

The Fall after the Putch.

The problems that challenge Ukrainian intelligentsia today are discussed by the chairman of the Ukrainian People's Ruh **VIACHESLAV CHORNOVIL** and «DN's» correspondent **Lena Tarhova**.

ALEXANDER OBOLONSKY. A Personality or a System.

It's an attempt to analyze two types of mass social consciousness manifested in the views of Russian intelligentsia of the XIX century: one — focused on a system, the other — on a personality.

ANDREY NOVIKOV. Perspectives of Russian Nationalism.

The young author shares his views on a possible development of the phenomenon. «Regionalism» and disintegration of Russian Federation, he thinks, make the system in which radical-national opposition will function and muster its strength.

MIRAGE (Stephania). ALEXANDER STANUTA interviews his mother — a wonderful Belorussian actress **STEPHANIA STANUTA**. Thoughts on some socially important events of the 20-s are paralleled by pictures of the childhood; portraits of distinguished persons are combined with the memoirs on the kins and friends.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-03-54.

Сдано в набор 30.07.93. Подписано в печать 02.09.93. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 24,47. Тираж 54 500 экз. Заказ 3867. Цена свободная.

Российский информационно-издательский центр «Республика».
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

**Воспоминания первого президента СССР
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА.**

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Портреты лидеров национальных движений в России и странах «ближнего зарубежья».

НАШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА ИЛИ ПОИСКИ ИСТИНЫ?

Серия статей о сектах, религиозных движениях и обществах в современной России.

ДИТЕР ГРО. Россия глазами Европы.

Главы из книги известного немецкого ученого, который исследует, философские концепции и общественные предрассудки, определявшие на протяжении последних трехсот лет взгляды иностранных путешественников на Россию.

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ. Русские «басмачи».

История возникновения и разгрома Крестьянской армии, собранной русскими переселенцами Ферганской долины для сопротивления большевистскому вторжению в Среднюю Азию.

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Украинский вопрос.

Культурные и исторические корни русско-украинских противоречий.

АЛЕКСАНДР АХИЕЗЕР. Россия — кризисная точка мировой цивилизации.

Философское осмысление российской истории в контексте мирового развития.

ИГОРЬ ИСАЕВ. Геополитические корни авторитарного мышления.

Анализ «евразийской» специфики российского политического мышления и философии власти.

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Объявление вины и назначение казни.

«Прочитан Астафьев, критические умы на какое-то время воспламенились, и последовали вопросы, много вопросов, обращенных к себе и к каждому...»

Индекс журнала по каталогу Роспечати (1993) и «Известий» (1994) - 70250. Подписная цена одного номера в текущем году 99 руб., в будущем - 390 руб. Можно оформить подписку в редакции по адресу: Москва, Поварская ул., 52.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1993, № 9, 1-240